МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Е. Л. ЛАНН

ДИККЕНС



Е. Л. Ланн

Диккенс



Москва
Берлин
2020

УДК 82.09(420)
ББК 83.3(4=432.1)52-8
Л22

Ланн, Е. Л.

Л22 Диккенс / Е. Л. Ланн. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 499 с.

ISBN 978-5-4499-0432-4

Мало кто сейчас знает, что автор этой книги был дружен с Максимилианом Волошиным и сестрами Цветаевыми, состоял в дружеских отношениях и вел обширную переписку с известным русским историком Е. В. Тарле. К сожалению, имя русского писателя, переводчика, литературного критика Евгения Львовича Ланна (наст. Фамилия — Лозман, 1896–1958) оказалось незаслуженно забыто. Меж тем, он — автор двух исторических романов и ряда литературно-критических сочинений, к которым относится и книга «Диккенс», предлагаемая Вашему вниманию. До этой работы не было ни одного произведения, в котором наиболее полно освещались бы жизнь и творчество самого крупного английского писателя XIX века. Изучив и собрав огромное количество материалов, Е. Д. Ланн рассказывает читателю не только о достоинствах и недостатках книг великого писателя, но и создает образ «живого Диккенса», прослеживая путь, каким шло развитие его миросозерцания.

УДК 82.09(420)
ББК 83.3(4=432.1)52-8

ISBN 978-5-4499-0432-4

От автора

Тираж книг Диккенса, изданных нашими советскими издательствами, исчисляется сотнями тысяч экземпляров. Из всех иностранных классиков имя Диккенса — самое популярное у нас, у Диккенса наиболее многочисленный читатель.

К сожалению, у нас еще нет ни одной книги, в которой освещались бы жизнь и творчество самого крупного английского писателя прошлого века. Не восполняет этого пробела и блестящая книга эссеев Честертона, переведенная у нас лет пятнадцать назад. В этой книге реализм Диккенса тщательно затушеван, а социальное его лицо по-честертоновски искажено. Честертон продолжал не очень славную традицию тех исследователей Диккенса, которые сознательно и немилосердно преувеличивали влияние на его творчество враждебных реализму течений, так как их социальное мировоззрение не мирилось с признанием великого реалистического мастерства Диккенса — основой его поэтики.

Занимаясь Диккенсом в течение долгого времени, я собрал немало материала. Этот материал открыл для меня путь, каким я пришел к живому Диккенсу. Из этих предпосылок возникла моя решимость рассказать читателю не только о достоинствах и недостатках его книг, но и разглядеть за книгами живой человеческий его образ. Поэтому я делаю попытку написать о нем беллетризованную биографию. Жанр беллетризованной биографии отличается от жанра биографического романа. Последний, как правило, удовлетворяется изображением исторического лица в какой-либо период его жизни, и автор такого романа не ставит себе целью проследить внутренний рост своего героя и этапы его деятельности на протяжении всей жизни. Но именно эту цель ставит себе автор беллетризованной биографии.

Для него биографические факты, данные на протяжении всей жизни, являются надежными вехами, помогающими осветить образ его героя более полно и, в конечном счете, более точно.

Если герой беллетризованной биографии историческое лицо, чья жизнь изобилует внешними событиями, эти события являются важнейшими биографическими фактами. Но могут ли такие события считаться важнейшими фактами биографии, если герой книги — писатель?

«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли».

Это писал Ключевский, и он, бесспорно, прав.

Предлагаемая беллетризованная биография — попытка изобразить жизнь Диккенса как историю его обогащения жизненным опытом, как историю его идей и его книг.

Описание социально-политического фона, на котором раскрывается творчество Диккенса, описание основных исторических этапов Англии в эпоху Диккенса должно, мне кажется, помочь читателю в разрешении важной задачи о границах его социального реформаторства. Одну из границ определил Чернышевский, писавший о том, что Диккенс — «защитник низших классов против высших, это каратель лжи и лицемерия». Ознакомление читателя с «важнейшими событиями» жизни Диккенса — с его мыслями — поможет ему дополнить эту характеристику и найти правильный путь к человеческому облику Диккенса.

Здесь не место намечать рубежи между «правдой» и «вымыслом» в жанре беллетризованной биографии. Достаточно будет указать, что в этой книге документированы все высказывания Диккенса, имеющие хотя бы незначительное отношение к характеристике его взглядов и оценок или к изображению его человеческих свойств.

Для всех, кого интересует Диккенс, классическая его биография, написанная Джоном Форстером, включающая письма к нему Диккенса, имеет, разумеется, первостепенное значение. Все исследователи творчества Диккенса, все его позднейшие биографы находили в книге Форстера ценнейший материал. Форстер задумал жизнеописание своего друга задолго до его смерти и тщательно собирал изо дня в день необходимые для жизнеописания данные, но Форстер был человеком чуждым Диккенсу не только своим социальным мировоззрением. Он был слишком непохож на Диккенса всем складом своего мышления и своим темпераментом. Поэтому замечания Форстера о психологических истоках творчества Диккенса почти всегда бывали поверхностными, а оценка роли Диккенса как социально-политического «радикала» викторианской эпохи всегда бывала ошибочной. Первоисточники — то есть письма Диккенса, его речи и воспоминания о нем других лиц — необходимый корректив к классической книге Джона Форстера.

Но в одном пункте Форстер был, несомненно, прав — в вопросе о личной драме Диккенса, приведшей к его разводу с женой. Форстер знал очень много о причинах и поводах этой драмы, но сознательно о них умолчал. Позднейшие биографы, обуреваемые разоблачительными устремлениями, сообщили об этих данных, и некоторые, как, например, Томас Райт, совсем недавно, года за три до второй мировой войны, произвели дополнительные изыскания. «Разоблачительные» тенденции биографов привели даже одного писателя («Ephesian») к попытке написать обвинительный роман против Диккенса. Но этот автор, ставший в позу моралиста, не потрудился дать самому себе отчет в том, что для Диккенса развод с женой был подлинной трагедией.

Мне известны, если я не ошибаюсь, все опубликованные материалы о личной драме Диккенса, но я не считал нужным останавливаться на ней подробно.

Этих материалов слишком недостаточно. Для заполнения пробелов пришлось бы прибегать к вымыслу, описывая участие тех лиц, имена которых Диккенс не хотел в свое время называть и о которых — кроме их имен — мы ровно ничего и теперь не знаем. Поэтому, если бы я решился выяснить источник пережитого Диккенсом душевного потрясения, такой анализ можно было бы расценить не только как отсутствие такта, но и осудить, как бессмысленную попытку измышлять обстоятельства драмы и образы ее участников. А без анализа душевного состояния Диккенса опубликование некоторых документов повлекло бы за собой искажение читательского восприятия этой сложной темы.

Я вынужден был также дать самую скупую характеристику миссис Диккенс. Нельзя не согласиться со Стивеном Ликоком, лет десять назад удивлявшимся, сколь мало материалов о жене Диккенса можно найти в необозримой Dickensiana. За последние десять лет, насколько мне известно, новых материалов о миссис Диккенс не обнаружено.

В книге я считал необходимым уделить немало места вопросам о «превращении» репортера Диккенса в писателя и о насыщении его творчества фактами житейского опыта. Это поможет читателю почувствовать огромное реалистическое его мастерство, которое приходилось не по вкусу многим, переделывающим Диккенса в сказочника и романтика.

Мне казалось также, что в книге надлежало отвести место изложению сюжетов основных произведений Диккенса. Сюжеты Диккенса, обнаруживающие его замечательный дар, который он называл «изобретательностью», несмотря на его готовность идти в финалах навстречу традиционным в его эпоху читательским вкусам, всегда выражали тенденции, характерные для его мировоззрения. Изложение сюжетов должно помочь читателю в раскрытии общественного лица Диккенса.

Читатель проследит также путь, каким шло развитие его миросозерцания. Читатель увидит, что программа чартистов не нашла в Диккенсе сторонника, но он увидит также, что в творчестве Диккенса нашли свое отражение демократические идеи его эпохи. Наш Белинский, сражаясь за передовую идейность современной ему русской литературы, не случайно упоминал о романах Диккенса, «которые так глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени».

Белинский писал это в 1847 году, еще до той поры, когда Диккенс приступил к «Дэвиду Копперфильду», и фраза «задушевные симпатии нашего времени» надежно защищала от цензуры его мысль, хорошо понятную современникам.

Книга о Диккенсе отводит замечательному художнику-реалисту место в ряду передовых людей его эпохи, и читатель этой книги должен, я надеюсь, почувствовать неустанное творческое горение великого писателя.

Часть первая
Рост

1. Городок на Медуэй

Еще во времена королевы Елизаветы лорды адмиралтейства избрали этот маленький городок для постройки обширных доков. Городок лежал милях в тридцати к юго-западу от Лондона, на речке Медуэй, впадающей в широкое устье Темзы. От городка Четема рукой подать до этого устья, и скоро он превратился в одну из главных баз для строительства военно-морского флота. Возвели укрепленные форты около городка, чтобы защитить военные доки от возможных налетов вражеских кораблей. Увы, эти форты не смогли помешать лихому голландскому адмиралу де Рюйтеру, ворваться со своими кораблями в устье Темзы и осыпать чугунными ядрами из кулеврин защищавшие городок форты и потопить несколько военных кораблей, а заодно и вызвать панику в городке.

Было это за полтораста с лишком лет до того погожего летнего вечера, когда четемская главная улица — Хай-стрит, тянувшаяся мили на полторы вдоль реки, мирно и спокойно наслаждалась полной безопасностью от лихих адмиральских налетов. И в самом деле: если когда-нибудь в отчаянную голову какого-нибудь адмирала и придет наглая мысль вновь обрушить огонь батарей на Четем, разве на этот раз новые линии фортов не дадут должного отпора и не посрамят слишком самоуверенного врага?

Впрочем, эти опасения налета решительно лишены малейших оснований. Англия и четемские жители — в полной безопасности. Пять лет назад герцог Веллингтон сокрушил мощь тирана и деспота Бонапарта, сам деспот водворен

на каком-то маленьком островке, затерявшемся в безбрежном океане, и вторично ему уже оттуда не удрать, как он удрал с другого острова, за три месяца до своего окончательного разгрома победоносным герцогом. Теперь его стерегут крепко, и Англия и четемские жители могут спокойно наслаждаться мирной своей жизнью.

И они наслаждаются, по крайней мере четемцы, высыпавшие в этот мягкий июньский вечер на Хай-стрит.

Еще совсем светло, летом темнеет поздно. На Хай-стрит около ратуши, воздевающей над четемцами часы, людно. «Почти как на лондонском Стрэнде», — хвастают четемцы, когда они описывают родной свой город какому-нибудь заезжему путешественнику. Конечно, это преувеличение от патриотизма; Хай-стрит очень далеко до Стрэнда, но в этот вечер в самом деле около ратуши оживленно.

Грубые башмаки моряков вздымают пыль, которая оседает густым слоем на туфельках четемских красавиц и на штиблетах бравых офицеров и клерков. И матросов, и бравых офицеров, и клерков в этот час немало на Хай-стрит. Морские клерки всех рангов — клерки с доков королевского флота, клерки из арсенала, клерки с провиантских складов, клерки военного ведомства, в чьем ведении находятся четемские форты. И моряки всех чинов — от юнги до лейтенантов, уже заряженных немалой дозой горячительных напитков. Вздымают пыль и просмоленные морские волки; они попыхивают трубками, заволакивая дымом подернутое легкой пеленой небо.

Таверн с продажей горячительного много на Хай-стрит — они почти на каждом шагу. Рядом с тавернами — лавки, имеющие прямое отношение к выдающемуся положению Четема среди военных и судостроительных портов королевства. В лавочных витринах можно найти решительно все необходимое для снаряжения и оснастки кораблей и бравых

моряков — от фляги для бренди до компаса любого размера, который необходим моряку решительно для всего и бесполезен разве только для того, чтобы колоть орехи. Рядом с этими лавками — другие, заманивающие в витринах пачками табаку, перца, грудами лимонов и мускатного ореха, необходимых для пуншей, и бутылками джинов и ромов — колониальной бакалеей, соблазняющей, пожалуй, только четемцев, но никак не морских волков, которые и снабжают лавки заморской бакалеей, нанося этими операциями безусловный ущерб королевской казне.

Но они — эти волки, безусые и усатые, — краса Четема, они как бы признанные хозяева его. И они это знают, а потому ведут себя несколько развязно. Правда, они не горланят веселых песен на Хай-стрит — для этого развлечения достаточно в Четеме узких проулков в районе доков, но дым их трубок заволакивает от четемских жителей июньское небо, а аромат винного перегара, исторгаемый привычными их глотками, слегка отправляет приятный аромат цветущих лип, взращенных четемцами на главной улице.

В этот вечер клерки — доковые, арсенальные, провиантские, военные с фортов Питта — уже успели после службы посетить любимые заведения. Должно быть, по этой причине они были не менее жизнерадостны, чем многочисленные матросы и офицеры королевского флота, гуляющие по Хай-стрит.

Клерки облачены были во фраки и сюртуки, синие, зеленые, коричневые, песочные; летние брюки из пестрого пике были широки и покрывали ступню, но франты, прельстившиеся новой модой, в подражание лондонцам уже облеклись в желтые нанковые штаны, доходившие до половины икр. На этих франтов морские волки, не обученные джентльменским манерам, показывали пальцами и гоготали очень бесцеремонно.

Но таких франтов было очень мало, четемцы не могли состязаться с модниками Бата и Брайтона. И четемские мисс, вышедшие из дому под эскортом родителей подышать липовым, табачным и винным ароматами, не шли ни в какое сравнение по части мод с батскими щеголихами. Четемские леди, облаченные для прогулки в мантильи, накидки с пелеринами или в шали, все еще были верны старой излюбленной греческой моде. Их талии все еще находились чуть пониже груди, тогда как щеголихи Бата уже изменили древним эллинам и обрели талию там, где ей полагалось быть.

Ни молодые джентльмены, ни молодые леди не теряли времени даром: восхищенные и милостивые взгляды пронизали Хай-стрит во всех направлениях. Четемские молодые клерки в своем пламенном пристрастии к прелестям леди ничем не отличались от всех остальных клерков королевства.

Впрочем, женское очарование соблазняло отнюдь не всех четемских клерков, не достигших того возраста, когда это очарование уже не производит никакого впечатления.

2. На Ордненс Террас

Достаточно было взглянуть, например, на джентльмена, вышедшего из таверны «Белый Конь» и шедшего мимо ратуши, чтобы убедиться, во-первых, в том, что он клерк, и, во-вторых, что ему нет ни малейшего дела до четемских леди, хотя он далеко не достиг критического возраста.

Джентльмену около тридцати пяти лет, пожалуй, даже меньше. Овальное лицо с карими глазами и узким носом миловидно. Слабый, женский рот, очень маленький, с припухлой нижней губой, и маловыразительный подбородок не обнаруживают в джентльмене силы характера. Одет он в нанковый синий фрак с золочеными пуговицами, на нем

песочные брюки, тоже из нанки. Крахмальный воротник рубашки доходит до щек, концы черной шелковой косынки запрятаны под жилет, открывая манишку. Плоская шляпа с низкой тульей и сильно закругленными полями чуть сдвинута на затылок, и на лбу вздрагивает курчавая прядь, когда джентльмен кивает головой многочисленным знакомым и дружески помахивает рукой.

Он идет мимо ратуши не вполне твердой стопой. Он не качается, но все же его походку нельзя назвать уверенной. И карие глаза чуть больше воспалены, чем полагается, даже если принять во внимание, что джентльмен просидел, не разгибая спины, весь день за своим столом где-нибудь в одной из канцелярий, щедро насажденных в Четеме адмиралтейством.

Джентльмену жарко, он вытирает лицо красивым фуляровым платком, смотрит на часы, вознесенные на башенке ратуши, и решительно убыстряет шаг. Но посещение «Белого Коня», откуда он вышел, не способствует быстрой ходьбе, он вздыхает, машинально помахивает рукой, машинально восклицает: «Хелло, Билль!» и снова замедляет шаги.

Тут он восклицает, на этот раз не машинально:

— Чарли! Откуда ты?

Хрупкий, невысокий мальчик лет восьми, с большими темно-голубыми глазами, в светло-каштановых кудрях, заворачивает из-за угла на Хай-стрит.

— Я… я… домой.

Мальчик запинается. Но если отец идет по Хай-стрит и не может быть одновременно в двух местах, значит он, Чарли, не опоздал к обеду. Поэтому он сознается более твердым голосом:

— Я был на состязании. Мальчики мистера Джайльса играли с мальчиками миссис Боль.

— В шарики? — спрашивает джентльмен.

— Да.

— Кто же победил? — снова спрашивает джентльмен и дружески берет Чарли за руку.

Вот теперь Чарли чувствует, что отец не совсем твердо держится на ногах. Он знает виновника. Это — эль, светлое крепкое пиво, которое отец так любит.

— Мистер Джайльс. Я советовал мальчикам миссис Боль не играть, но они мне отвечали, чтобы я не совался со своими советами, раз я не играю. Ты знаешь, папа, у меня ничего не выходит, когда я начинаю играть в шарики или в крикет. Они говорят, что я не спортсмен.

Мальчик огорчен своими неудачами в игре. Отец переводит разговор на другую тему:

— Ну, расскажи, дружок, о спектакле. В театре ты был с доктором?

Сегодня они еще не виделись. Вчера отец пришел поздно, позже даже, чем Чарли из театра, а сегодня он спал, когда Чарли ушел в школу.

— Как это замечательно, папа! Знаешь, когда герцог Ричмонд убил мечом короля Ричарда, я чуть не закричал. Я даже зажал себе рот рукой.

— Нельзя быть таким нервным, дружок, — говорит отец.

— На моем месте ты сделал бы то же самое! Они дрались около нашей ложи. Совсем близко. Я даже схватил Джемса за руку.

— Доктор взял с собой и Джемса?

— Конечно. С нами была также тетя.

— Ах вот как!

Военный хирург доктор Лемерт живет по соседству и часто бывает у Диккенсов. Его сын Джемс лет на восемь старше Чарльза, но дружит с ним, несмотря на разницу в летах. А доктор Лемерт — вдовец, и ему нравится бывать у Диккенсов, потому что с ними живет миссис Эллин, тоже вдова, сестра матери Чарльза.

Чарльз сжимает руку отца.

— Вчера я кончил «Перигрина Пикля». Я так и знал: Смоллет поженил его на Эмили. У Фильдинга, ты помнишь, Том Джонс тоже женился в конце книги на Софи. Почему они всегда женятся, папа?

— Ну… не всегда, — неуверенно говорит отец и почему-то вспоминает доктора Лемерта. Кажется, доктор в самом деле женится на тетке Чарльза.

— Дон-Кихот не женился, это верно. Но даже Робинзон Крузо женился. И Смоллет женил Родрика Рэндома. А в «Хемфри Клинкере» он всех пережениꞁ. Вот видишь, я прав.

Джон Диккенс нашел нужный ответ, хотя сегодня выпил эля чуть больше, чем обычно.

— Ну, что ж, дружок, и ты женишься, когда станешь взрослым…

Чарльз опускает голову, и перед ним возникает золотоволосая Люси. Он влюбился в Люси Строгилл еще два года назад почти мгновенно, когда ее привел к Диккенсам брат Джордж, товарищ Чарльза, насладиться волшебным фонарем. Да, он женится на Люси. Но она кокетка, она любит дразнить его. А все-таки он женится на ней.

Они идут мимо конторы пассажирских карет Тимпсона. Чарльз любит этот овальный плакат, выставленный в окне. Пассажирская карета Тимпсона битком набита пассажирами в нарядных костюмах. Все очень веселы, по-видимому, потому что едут в карете Тимпсона.

В карете Тимпсона Чарльз ездил в Лондон смотреть клоуна Гримальди. Его возил все тот же милый доктор Лемерт. И теперь Чарльз снова вспоминает поездку в Лондон к Гримальди.

— Я стану актером, когда вырасту, — говорит он.

И думает: он станет таким же знаменитым, как Гримальди, и Люси будет восхищаться им. А может быть, он будет играть на сцене герцога Ричмонда, это тоже неплохо.

Отец не улавливает связи между решением Чарльза стать актером и плакатом пассажирской кареты и поездкой Чарльза в Лондон. Он что-то бормочет и, наконец, говорит:

— Вот мы и дома.

Они подходят к Ордненс Террас — к Артиллерийскому валу. Так называется улочка, на которой находится дом, где проживают Диккенсы.

Вся семья уже ждет их в столовой. Десятилетняя Фанни собирает со столика тетрадки, она прилежна; и в ожидании обеда уже села за приготовление уроков. Летиция — ей пятый год — голодна, она немедленно усаживается за стол, повязывает на шею салфетку и вооружается ложкой. Мать бросает косой взгляд на лицо Джона Диккенса, устанавливает, что он уже побывал в «Белом Коне», и поджимает губы. На коленях у нее ребенок, ему не больше полугода. Около нее, в коляске, спит маленькая Херриет.

Джон Диккенс особенно любит детей, когда опаздывает к обеду, а это случается с ним очень часто. Он нежно целует малютку Фредерика в темя и осведомляется о здоровье горячо любимой жены.

— Прекрасно! Но ты опять опоздал, Джон. Мы умираем с голоду. А ты, Чарльз, почему не пришел раньше?

— Я знал, что папы еще нет, — пытается вывернуться Чарльз.

— Знал? Откуда же ты мог знать? Не выдумывай, Чарльз, — раздраженно говорит мать.

Но Чарльз «выдумывает» неискусно, он не умеет лгать и это знает. В самом деле, откуда он знал, что отца нет дома? Лучше было бы сказать правду: был на состязании в шарики,

и всё тут. Но теперь уже поздно. Он вздыхает и молчит. Потом идет к своему стулу и старается не смотреть на мать.

За обедом отец весел, он говорит много и явно пытается смягчить раздражение супруги.

— Ты можешь себе представить, дорогая, у нас в канцелярии сегодня завязался жаркий спор. Я тебе говорил про мистера Хоуэлла, это такой тихоня, всегда молчит, но клерк он исполнительный, ничего не скажешь. Так вот этот самый мистер Хоуэлл сегодня вдруг объявил, что решительно согласен с петициями о свободной торговле, — помнишь, я тебе говорил месяц назад об этих петициях? Не помнишь? И в Лондоне, и в Глазго, и в Манчестере, моя дорогая, были составлены этакие петиции о том, что вся беда в стране, нищета и прочее, зависит исключительно от отсутствия свободной торговли. Забыла? Ты подумай: должно быть, те, кто составляли петиции, обдумали со всех сторон этот вопрос, вполне допускаю, но спрашивается, какое отношение имеет к свободной торговле мистер Хоуэлл? Никакого! Но ты бы посмотрела этого тихоню! Я, говорит, скорей умру, но не откажусь от своего убеждения, что петиция совершенно необходима. И все зло в стране от протекционизма. Я тебе, кажется, объяснял, что называют протекционизмом. Мы все диву давались, когда смотрели на нашего мистера Хоуэлла. Чтобы подразнить его, мистер Тиллет сказал, что свободная торговля и все эти петиции — пустая затея. Поверишь ли, мы испугались. Лицо у нашего тихони налилось кровью, он постучал пальцем по столу и сказал страшным голосом: «Я бы, — сказал он, — не советовал мистеру Тиллету говорить о том, чего он не понимает». И при этом так посмотрел на мистера Тиллета, что тот не знал, куда деваться. Вот тебе и тихоня, как тебе нравится этот случай, моя дорогая?

Но этот случай никак не нравился миссис Диккенс, он ее совсем не заинтересовал, и монолог мистера Диккенса

не достиг цели. Тогда Джон Диккенс переменил тему. Сегодня он немало времени посвятил размышлениям о том великолепном будущем, которое ждет «наших старших дорогих малюток» — Фанни и Чарльза.

Раздражение миссис Диккенс, вызванное ежедневными визитами супруга в «Белый Конь» и запозданием к обеду, не угасало. Она недоверчиво посмотрела на супруга, когда тот сообщил о предмете своих размышлений. Но это недоверие не остановило любящего отца.

— О! Я не сомневаюсь, что Фанни станет великой музыкантшей, — говорит он, прожевывая говядину, — я слышал недавно ее пассажи, и скажу по совести, ушам своим не верил…

Оставалось тайной, где мог слышать любящий отец пассажи Фанни, которая училась игре на фортепиано, но ходила к дешевому учителю музыки на другой конец городка.

Тем не менее Джон Диккенс, охваченный любовью к «старшим малюткам», продолжает:

— Что касается Чарльза, то мы, дорогая, не можем сомневаться. Из него, я убежден и готов биться об заклад на три бутыл…

Он осекся. Миссис Диккенс еще плотнее поджала губу. Джон Диккенс заторопился:

— Я хотел сказать, что из Чарльза выйдет обязательно писатель, моя дорогая. Он меня поражает своими знаниями в изящной литературе… Решительно поражает! Он помнит столько очерков из «Зрителя» и «Болтуна», он помнит содержание всех романов Фильдинга, Смоллета, решительно всех…

Чарльз привык, что таланты его и Фанни приходят отцу всякий раз на память, когда надо растопить ледяное молчание матери. Этот разговор, вернее монолог отца, он слышал не раз.

— Что случилось со стариком Фильдингом? — слышится голос в дверях.

Это голос доброго, тучного доктора Лемерта. Доктор входит, окидывает взглядом комнату, устанавливает, что миссис Эллин еще нет, здоровается с мистером и миссис Диккенс, ласково щиплет за щеку детей и садится поодаль от стола. Конечно, он будет ждать прихода миссис Эллин.

— Я говорю, Лемерт, что Чарльз обязательно будет писателем. Он чрезвычайно начитан. Как вы находите?

— О да, Чарльз очень начитан, — соглашается доктор Лемерт. — Недавно он мне рассказал содержание нескольких очерков Вашингтона Ирвинга.

Чарльз не в первый раз слышит о своей начитанности.

— Я буду актером, — говорит он.

Отец допускает и эту возможность.

— Очень возможно, очень возможно! — восклицает Джон Диккенс и искоса поглядывает на жену.

Ее лицо понемногу обретает обычное выражение. Она не умеет сердиться долго.

Отец обращается к доктору:

— Может быть, он и прав, ваш любимец. Вы помните, Лемерт, как он пел комические песенки, когда был совсем малюткой? Правда, песенки были не совсем подходящие для его возраста, но я тогда же понял, что он очень способный, и я почти уверен, что он может стать крупным актером. Актером или писателем! Он меня очень развлекает своими рассказами.

Доктор ласково посмотрел на своего любимца и встал. Вошла миссис Эллин, ради которой он является ежедневно к Диккенсам.

Когда миссис Эллин уселась за стол, доктор сказал:

— Вы правы, Диккенс. Я затрудняюсь сказать, видел ли я когда-нибудь столь же наблюдательного ребенка, как Чарльз.

Итак, вместо основательной нахлобучки за опоздание, Чарльз получает похвалы пригоршнями. И все это благодаря пристрастию его милого отца к таверне «Белый Конь». Он прекрасно понимает, что, не будь раздражения матери, его милый отец не пытался бы отвлечь ее внимания рассказами о его, Чарльза, талантах. Это не в первый раз. Но сегодня, пожалуй, отец увлекается приятной для Чарльза темой больше, чем обычно. Пришпоренный репликой доктора Лемерта, Джон Диккенс погружается с головой в свои отцовские чувства и заботы. Он вдруг говорит жене:

— Скажи, моя дорогая, не думаешь ли ты, что Чарльза и Фанни следует поместить в другую школу?

И Чарльз и Фанни посещают школу для мальчиков и девочек. Ее содержит некая богобоязненная старая леди, взимающая за учение по девяти пенсов в неделю с каждого ученика. Чарльз очень не любит эту школу, там невыносимо скучно, а особенно не любит он отвратительного мопса, который так противно хрипит, когда пройдешь мимо него, возлежащего на ватной подстилке в коридоре…

— Эта школа не годится для наших детей. Им нужна лучшая, — торжественно заключает Джон Диккенс. — Вы не находите, Лемерт?

Доктор Лемерт согласен. Согласна и миссис Эллин, тетка, согласна и миссис Диккенс. Но откуда взять деньги для уплаты в другую, лучшую, школу? Ведь за обучение Фанни игре на фортепиано тоже приходится платить.

Миссис Диккенс согласна, и о деньгах она не упоминает. Она умеет так же не заботиться о деньгах, как и мистер Диккенс.

— Чарльз очень хочет учиться, — вставляет доктор, — Он мне говорил, что готов учиться всю жизнь. Не так ли, Чарли?

Чарльз кивает головой.

— Значит, решено! Надо будет поискать другую школу, — заключает Джон Диккенс. Его обуревают родительские заботы, и сейчас не время думать о презренных шиллингах.

3. Если Чарльз будет много работать…

Странный был джентльмен Джон Диккенс. Добряк, неунывающий, безалаберный и беззаботный добряк. Сын любил его, хотя никакой заботы о его развитии и образовании отец не проявлял, никогда ничему его не обучал. Родному языку обучила его и Фанни мать до поступления в школу богобоязненной леди. Но, невзирая на полное безразличие отца к его образованию, Чарльз любил его больше, чем мать, хотя и она была совсем не строга, а тратить шиллинги и пенсы могла ничуть не хуже, чем отец.

Он не умел думать о завтрашнем дне, этот миловидный джентльмен с узким носиком и маленьким ртом. Вот теперь, когда ему минуло только тридцать четыре года, он оказался отцом пятерых детей, а кроме весьма умеренного жалованья рядового адмиралтейского клерка, никаких иных источников заработка у него не было и не предвиделось. Был он маленьким клерком в Портсмуте, все по тому же адмиралтейскому ведомству, одиннадцать лет назад, когда женился в 1809 году на мисс Барроу, сестре своего сослуживца-клерка. Маленьким клерком он оставался и сейчас в Четеме — маленьким клерком с широкой натурой и большим легкомыслием.

Одиннадцать лет назад он мало помышлял о благоразумном расходовании своего жалованья — из восьмидесяти фунтов ежегодного жалованья в ту пору он платил за квартиру целых тридцать пять и с беззаботностью брал взаймы, где только мог. Не изменился он и тогда, когда стал отцом пятерых детей, — с охотой брал небольшие подачки от родственников жены и никогда не задумывался над тем, как и когда он сумеет расплатиться с многочисленными кредиторами.

При этом он был весьма тщеславен — любил, чтобы о нем говорили, удивляясь его щедрости, и для завоевания такой репутации жертвовал и в пользу бедняков, и на погорельцев, и в благотворительные общества значительно больше, чем позволяло его скудное жалованье. Свою работу в четемских доках он исполнял добросовестно, но по служебной лестнице не мог двигаться. Ему что-то мешало. Может быть, мешала готовность распивать со всеми и каждым бутылочки эля и портера, а за бутылочкой развивать перед собутыльниками планы о счастье. Они были очень своеобразны, эти планы: если бы, скажем, получать в год двадцать фунтов (а ведь он получал значительно больше!) и тратить из этих двадцати фунтов девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, то человеку больше, пожалуй, ничего и не нужно. Это и будет то самое счастье, которого он, Джон Диккенс, тщетно жаждет.

Жену он любил и поощрял пристрастие мисс Элизабет Барроу, ставшей миссис Диккенс, к нарядам и кокетливым бурнусам и капорам. Ее сын, Чарльз, не помнил, чтобы его мать олицетворяла собой здравый смысл в противовес безалаберности и безответственности отца.

Джон Диккенс любил детей. В 1820 году у него было бы шестеро детей, если бы один из них не умер в младенчестве. Осталось пятеро: Фанни, родившаяся через год после свадьбы, Чарльз, родившийся 7 февраля 1812 года, две дочери — четырехлетняя Летиция и полуторагодовалая Херриет — и сын Фредерик, новорожденный. Пристрастие к тавернам не мешало Джону Диккенсу питать отцовскую привязанность к детям и к семейной жизни. Когда дети заболевали, легкомысленный отец проводил немало бессонных ночей у их постели, он был ласков с ними, почти никогда не наказывал, гордился талантами двух старших — Фанни и Чарльза.

Фанни рано пристрастилась к игре на фортепиано. У нее были способности. Родители решили обучать ее игре на фортепиано. В первый же день, когда она пошла учиться к какому-то третьеразрядному учителю, отец не преминул сообщить об этом событии собутыльникам в таверне. Разумной заботы о необходимости развивать природные способности девочки Джон Диккенс не проявил, посылая Фанни учиться музыке. Только тщеславия ради он решил обучать ее игре на фортепиано.

То же тщеславие толкало его брать с собой в таверны Чарльза, пока тот не пошел к богобоязненной леди. У мальчика был музыкальный слух и приятный голосок. Добродушный отец научил его петь песенки, из коих некоторые были совсем не по возрасту ребенку пяти-шести лет. Но отчего же не доставить удовольствия посетителям таверны?

И маленький большеглазый Чарльз, взирая на бутылки и кружки, расположенные на столах, за которыми восседали возбужденные горячительным завсегдатаи трактиров, развлекал их своими песенками, исполняя гордости сердце любящего отца, который доставлял это развлечение собутыльникам вполне бескорыстно, если не считать, конечно, удовлетворенного тщеславия. О том, что такого рода посещения трактиров едва ли являются достижением педагогики, Джон Диккенс не задумывался.

Миссис Диккенс была занята по хозяйству, мистер Диккенс — службой и «Белым Конем», и маленький Чарльз был предоставлен самому себе. Ни предместья Портсмута — Портси, — где он родился и прожил первые два года своей жизни, ни Лондона, где он жил следующие два года, он не помнил. Четему, куда семья Диккенсов переехала, когда Чарльзу пошел пятый год, суждено было стать тем городом, с которым у взрослого Диккенса связывались ранние воспоминания детства.

Грязный и пыльный маленький городок, по уличкам которого, мимо выставленной для продажи рухляди, бродили пьяные матросы и офицеры королевского флота и бесчинствовали вдосталь, претерпевал в воспоминаниях волшебную метаморфозу. Театр, где впервые предстали перед ним волнующие образы, казался ему дворцом. Это был захудалый крошечный театрик. Хай-стрит казалась ему широкой и нарядной — она мало чем отличалась от деревенской. Замком казалась ему ратуша — маленькое здание, напоминающее часовню.

Но за пределами Четема, к которому примыкали два других городка — Рочестер и Струд, — мальчик мог наслаждаться прогулками по лугам и рощам, и архитектурный его вкус воспитывался обозрением прекрасных старинных построек, которыми так богата английская провинция и, в частности, графство Кент. А в Рочестере Чарльз мог видеть действительно образцовое, высокого вкуса, здание — рочестерский собор XII–XIV веков, напоминающий по стилю собор кентерберийский.

И сколько раз Чарльз бродил мимо Гэдсхилла — холма в нескольких милях от города! Там на холме стоял, весь в зелени, прекрасный дом, казавшийся, мальчику не менее великолепным, чем лучшие замки, виденные им на гравюрах. Своим восхищением мальчик поделился как-то с отцом, которого он уговорил в воскресный день отправиться к Гэдсхилл. К своему удивлению, он узнал, что понравившийся ему холм с великолепным, по его мнению, домом, известен каждому образованному человеку. Так сказал ему отец, попивая эль в таверне, на вершине холма неподалеку от замечательного дома. Да, вот именно здесь, где они отдыхают и наслаждаются пейзажем, весельчак и забулдыга толстяк Фальстаф, если верить Шекспиру, собрался было напасть

на путников, чтобы облегчить их карманы, но вынужден был в конце концов улепетывать куда глаза глядят.

А Чарльз долго смотрел на прекрасный дом, расположенный поодаль, и, наконец, заявил, что у него есть твердое намерение жить в этом доме. Вот тогда-то отец вспомнил, что сейчас уместно исполнить родительский долг и наставить сына на путь истины. И он начал долго разглагольствовать о том, что каждый человек должен работать не покладая рук. Свои наставления он щедро запивал элем и, наконец, выразил уверенность: если Чарльз будет много и хорошо работать, то вполне возможно, что ему удастся поселиться в этом великолепном доме.

4. Миснар, султан Индии

У Чарльза не было спортивных способностей, даже в шарики он играл из рук вон плохо, никогда не удавалось ему сберечь эти шарики — отраду английских мальчиков. Он быстро их проигрывал — сперва гранитные, потом глиняные, покрытые цветной глазурью, и, наконец, мраморные. Правила игры были разные, он хорошо их знал, но, увы, это не помогало. Еще хуже обстояло дело с крикетом и ножным мячом. Приходилось больше наблюдать, чем участвовать в спортивных развлечениях сверстников. Это надоедало, уж лучше бродить за городским валом в свободное от уроков время или наблюдать там за военными экзерцициями.

Но еще лучше — читать. У Джона Диккенса было совсем мало книг. Он не был любителем чтения. «Робинзон Крузо», «Дон-Кихот», несколько романов Фильдинга и Смоллета, «Векфильдский викарий» Гольдсмита, томики с очерками из «Зрителя», «Болтуна» и «Опекуна», — листков столетней давности, заменявших журналы, — избранные сказки из «Тысячи и одной ночи» да очерки американца Вашингтона Ирвинга — вот, пожалуй, вся библиотека.

Чарльз проглотил эти книжные сокровища еще до той поры, когда покинул, по решению отца, богобоязненную леди, памятную ему не столько своими уроками, сколько отвратительным мопсом.

Откуда-то он добыл еще одну занимательную книгу — «Жиль Блаза» — и так ею увлекся, что непрестанно надоедал родителям рассказами о приключениях этого испанского лоботряса.

Вооруженный всеми этими знаниями в области отечественной и мировой классики, он не извлекал никакой для себя пользы из школы старой леди. Ему нужен был другой, более опытный, учитель.

Но Джон Диккенс нисколько не собирался экономить презренные фунты, да и миссис Диккенс не могла успешно бороться с соблазном купить лишнюю шелковую ленту на капор. Тем временем терпение кредиторов истощалось, и не оставалось другого выхода, как съехать с квартиры на Орденс Террас и перебраться в другой, очень тесный домик на окраине Четема.

Теперь Чарли не мог так же часто, как раньше, встречаться с золотоволосой Люси. Образ ее стал понемногу тускнеть. Переход в другую школу облегчал забвение.

Фанни не бросала уроков игры на фортепиано, и Чарльз вместе с ней пошел в школу, находившуюся неподалеку от их новой квартиры.

Эту школу содержал баптистский священник мистер Вильям Джайльс.

Мистер Джайльс заинтересовался мальчиком, который не только читал отечественных классиков, но и хорошо помнил прочитанное. Мистер Джайльс уделял ему больше внимания, чем другим своим ученикам.

Может быть, это внимание мистера Джайльса помогло мальчику стоически выдержать разлуку с семьей. После

многолетней службы в четемских доках Джону Диккенсу удалось добиться перевода в столицу — в Лондон — все по тому же адмиралтейскому ведомству.

Чарльзу было лет одиннадцать, когда произошел этот поворот в судьбе мистера Диккенса, произведшего на свет еще одного, шестого, ребенка. На семейном совете решили оставить Чарльза продолжать учение у баптистского священника, а всей остальной семье перебираться в Лондон.

Чарльз остался в Четеме. Он был верен своим литературным вкусам. По-прежнему его пленяли сказки «Тысячи и одной ночи», и плодом этого увлечения явилась трагедия, написанная им после отъезда семьи в Лондон.

Трагедия носила заглавие «Миснар, султан Индии». Тщательно переписанная, она была вручена для прочтения мистеру Джайльсу.

Начало литературной карьеры Чарльза Диккенса было удачным. Мистер Джайльс очень высоко оценил драматургический талант своего одиннадцатилетнего ученика и посулил ему в будущем широкую известность.

Очень скоро после этого триумфа, еще до окончания учебной четверти, Чарльз был вызван родителями в Лондон.

В 1823 году не было еще железных дорог. В Англии, где она появилась впервые, крохотная линия протяжением в двадцать миль, между Стоктоном и Дарлингтоном, открылась только через два года. И переезд Чарльза из Четема в Лондон совершился по старинке — в пассажирской карете. Одна из томпсоновских карет носила поэтическое имя «Голубоглазая девушка»!

В этой карете одиннадцатилетний Чарльз покинул Четем. Он оставлял за собой годы безмятежного детства — ни одно из четемских воспоминаний взрослого Диккенса не замутнено скорбью или горем.

Чарльз ехал в Лондон.

5. О мальчике забыли

Теперь, когда Чарльз вторично приехал в Лондон, он смотрел вокруг другими глазами. Теперь он переезжал в Лондон на постоянное жительство. В этом гигантском городе он будет жить. Вот на этой улице, по которой снует больше народу, чем наберется во всем Четеме, он будет ежедневно бывать. Какие дома и какие магазины!

На станции пассажирских карет его встретил отец. Он был печален. В семье было горе: умерла маленькая сестренка Чарльза — четырехлетняя Херриет. Поэтому родители вызвали его в Лондон.

От станции пассажирских карет пришлось идти долго. Чем дальше шли Чарльз с отцом, тем меньше походил Лондон на столицу метрополии, тем ниже становились дома, грязней и уже улицы. И прохожие были, казалось, не те, каких он видел из окна кареты, когда проезжал через центр. Простоволосые женщины с изможденными лицами, мужчины, хмурые и бледные, в рабочих блузах, оборванные, грязные ребятишки…

Это была Байхем-стрит, на северо-западной окраине Лондона, называвшейся Кемден Таун. Окраина переходила в поля, а за полями уже виднелись лондонские пригороды.

А домик был маленький и грязный, даже бедней, чем четемский. Отец, правда, служил в одном из бесчисленных отделов адмиралтейства, но без конца должен был уплачивать долги. А для этого снова брал деньги взаймы и снова должен был раздобывать их для расплаты.

Когда Диккенсы уезжали из Четема, они взяли с собой для помощи по хозяйству сироту из четемского воспитательного дома. В Лондоне они заменили ее более солидной служанкой — пожилой глуховатой женщиной. Но теперь пришлось отпустить ее, и снова из воспитательного дома был

взят мальчик-сирота. Он возился с детьми, работы ему было много, детей было трое, кроме Чарльза и Фанни.

Фанни продолжала учиться на фортепиано. Дешевого учителя нетрудно было найти, — у Фанни были всегда дешевые учителя; надо было удивляться тому, что она делала успехи непрерывно. Стоило только раз послушать ее игру, чтобы в этом убедиться.

Чарльз тоже ждал, что его отдадут в школу.

Ждал он напрасно. Родители, обремененные долгами и большой семьей, не выражали намерения послать его в школу, куда пришлось бы платить.

Отец нередко поступался всеми своими удобствами, покоем и самоотверженно ухаживал за детьми, когда они заболевали. Но что поделаешь, если у отца такой характер, по вине которого он влез в неоплатные долги и никак не мог справиться со своим неподражаемым легкомыслием, а при скудости средств забыл обучать старшего сына…

На мать надежда была плоха, еще хуже, чем на отца. Мать могла не «позабыть», даже наверное она не забыла об обучении сына, но, по-видимому, у нее были другие планы. Скоро пришлось Чарльзу в этом убедиться.

И он взялся за нелегкую работу по дому. Другого ничего делать не оставалось. Когда мальчишка из воспитательного дома возвращался из бакалейной с пустыми руками, Чарльз бежал к бакалейщику, упрашивал его отпустить еще несколько фунтов овсянки и не требовать уплаты всего долга. Возвращался мальчишка от мясника с таким же отказом — Чарльз бежал к мяснику. Он делегировался и к домохозяину, он улещивал и сборщика от водопроводной компании, он принимал самое деятельное участие во всех хозяйственных операциях миссис Элизабет Диккенс, изощрял свое дипломатическое искусство.

К тому же он вел созидательную работу по укреплению домашнего очага — мыл полы, растапливал плиту, помогал нянчить детей, чистил отцу штиблеты. Мальчишка-сирота никак не мог справиться с домашней работой, особенно если принять во внимание, что миссис Диккенс не любила обременять ею себя.

Словом, работы было немало. А когда Чарльз бывал от нее свободен, он бродил по Лондону. Он шел в Риджент Парк с его прудами, лужайками и аллеями, уходящими к северо-западным предместьям. Когда-то, во времена королевы Елизаветы, соседствуя с Кемден Тауном, на этом месте тоже был парк, но назывался он иначе, парк с оленями и дичью; потом, при Кромвеле, парк вырубили, исчезли и олени и дичь, и на пышных лугах мирно пасся скот. А затем там же разбит был новый парк, названный Парк Регента в честь Георга Четвертого, который в ту пору был регентом. Зоологического сада, излюбленного лондонскими детьми, еще не было в Риджент Парке, когда Чарльз углублялся в его аллеи. Риджент Парк напоминал ему другой парк — в Кобеме, неподалеку от милого Четема. Но там, в Кобеме, парк был куда лучше — так казалось Чарльзу — старинный парк, да к тому же украшенный старинным замком не хуже рочестерского. Здесь замка не было. И все же этот парк и простершиеся за ним поля влекли к себе Чарльза, — можно было вспомнить о тех счастливых днях, когда после школы леди с мопсом и мистера Джайльса он уходил в Четеме далеко за форт Питта…

Но, пожалуй, еще лучше, еще занимательней было бродить по Лондону.

Уже в этот первый год пребывания в Лондоне обострилась его наблюдательность. Никто ему не подсказывал сделать описание полуглухой старухи, которая помогала его матери по хозяйству и позднее была заменена мальчиком

из воспитательного дома. Тем не менее Чарльз подробно записал в своей тетрадке манеры ее, привычки и характерные черты и прекрасно описал внешний ее вид. А затем он описал еще более подробно одного старого чудака. Старик был постоянным парикмахером его дяди, Томаса Барроу; он очень любил рассказывать о наполеоновских войнах, считал себя знатоком военного дела и немилосердно критиковал Наполеона.

Но Чарльз был застенчив и никому не показал этих описаний. Он продолжал свои прогулки по Лондону один, без спутников, подолгу наблюдал горячечную деятельность на берегах Темзы, запруженной кораблями и лодками, разгрузку и погрузку товаров на бесчисленных пристанях, слушал шуточки лодочников, славившихся своим веселым нравом и умением поиздеваться над горожанками… Он глазел на субъектов без определенных занятий в небрежно сдвинутых набекрень шляпах и в сюртуках, давно потерявших первоначальный цвет; эти субъекты, казалось, ничего не делали, только зорко буравили глазами встречных и частенько презрительно сплевывали на грязную мостовую; вид у них был довольный, хотя костюм нимало не свидетельствовал об их обеспеченности; по временам эти субъекты вдруг ныряли в толпу, словно проваливались, а потом снова появлялись, и вид у них был еще больше презрительный и надменный; изредка удавалось ему уловить несколько их слов, совсем непонятных, брошенных не то в пространство, не то проходившему мимо такому же независимому завсегдатаю порта. В притемзинских проулках он видел сотни джентльменов в зрелом возрасте, облаченных во фраки десятилетней давности; эти джентльмены чаще расхаживали парами и тут же на улице обменивались какими-то бумажками, а еще чаще спорили между собой и нередко тут же расплачивались, после чего расходились в разные стороны. Еще больше было джентльменов другого склада. Возраст их был различный,

от юношеского до престарелого. И одеты они были по-разному, но чаще в дешевые коленкоровые штаны и в нанковые сюртуки, а лица у них, даже самые молодые, уже успели покрыться серым налетом или приобрести отёчный восковой оттенок — лица, на который редко падал луч солнца. В Четеме Чарльз встречал немало таких людей, но здесь, на улицах Сити, они собрались, — так казалось мальчику, — не только со всей Англии, но и из страны Миснара, султана Индии. Нередко попадались на этих улицах и джентльмены, выделявшиеся из толпы растерянным своим видом и добротным толстым сукном своих старомодных фраков и плоскими шляпами с низкой твердой тульей, походившими на извозчичьи. И этих джентльменов он видел в Четеме, но там они не бросались в глаза, а здесь даже он мог их сразу выделить из лондонской толпы — здесь они не были у себя дома, как в Четеме.

Бродя по Лондону, Чарльз присматривался с опаской к буйным своим сверстникам, мечущимся с охапкой свежих газет, играющим в засаленные карты где-нибудь под забором или подсчитывающим выручку за день работы по облегчению карманов у прохожих.

Но друзей-сверстников у Чарльза не было. Он посещал своего дядю, жившего в противоположном конце города, у доков, бывал у своего крестного отца, мистера Хафема, развлекал, как и раньше, пением комических куплетов приятелей мистера Джона Диккенса, но друзей у него не было, если не считать Джемса Лемерта, сына доктора Лемерта.

Джемсу Лемерту было около двадцати лет. Его отец женился, наконец, на тетке Чарльза, миссис Эллин, и уехал с ней в Ирландию. Джемс кончил военную школу и ждал в Лондоне назначения в армию. И вот тогда миссис Элизабет Диккенс пришла в голову мысль уговорить Джемса, чтобы он поселился у них на Байхем-стрит. Таким путем, взяв жильца,

который платил за комнату и питание, мать Чарльза рассчитывала улучшить питание семьи.

Дела мистера Диккенса шли все хуже. Иногда не на что было купить провизии для обеда.

Джемс Леmерт согласился и некоторое время жил у Диккенсов. Он очень хорошо относился к Чарльзу, который, конечно, познакомил его с трагедией «Миснар, султан Индии», заслужившей полное одобрение мистера Джайльса, его четемского учителя. Лемерт помог Чарльзу смастерить куколки и декорации кукольного театра. На сцене этого театрика была поставлена знаменитая трагедия «Миснар, султан Индии». Успех постановки, признанный всем семейством Диккенсов, еще больше распалил тягу Чарльза к театру. Но за театральные билеты надлежит платить, а денег не было. Приходилось заменять театр чтением пьес.

И Чарльз читал и перечитывал случайно попавшуюся ему книжку с пьесами Джона Кольмена-младшего, популярного автора комедий и водевилей, который в то время был самым известным комедиографом. Эту книжку он получил от вдовы книгопродавца, жившей в том же доме, что дядя Чарльза. Сжалившись над Чарльзом, взиравшим на книги голодными глазами, она подарила ему еще несколько книжек. Но о том, чтобы покупать книги, Чарльзу нельзя было и думать. Жалованье отца почти целиком уходило на расплату с кредиторами. Положение семьи становилось со дня на день тяжелее. Не помогла и скромная ежемесячная сумма денег, уплачиваемая Джемсом Лемертом за пансион. Не помогла и удача, выпавшая на долю Фанни.

Впрочем, это нельзя было назвать удачей, потому что Фанни заслуженно награждена была судьбой. Она не зарыла в землю своих музыкальных способностей. Она никогда не ленилась, занимаясь игрой на фортепиано. И судьба воздала ей по заслугам. Фортепианный мастер, ремонтировавший

эти инструменты в музыкальных школах, прослышал о ее способностях от ее дешевых учителей. И мастер сообщил о ней педагогам, которые привлечены были к организации Королевской музыкальной академии. Вступительный экзамен в академию прошел удачно. Фанни была принята. Отныне она должна была жить в академии и там учиться.

Чарльз любил сестру. И ни на один момент зависть не заслонила в нем доброго чувства и радости, когда Фанни сообщила родителям о своем успехе. Но ему было очень горько, когда счастливая Фанни покидала Байхем-стрит, чтобы отправиться в академию, где ей предстояло жить в дортуаре совместно с другими счастливицами. Подумать только: учиться в Королевской музыкальной академии! А он по-прежнему не мог учиться в простой школе.

Но и переезд Фанни в академический дортуар не облегчил положения семьи. Тогда было решено, что миссис Диккенс откроет школу для девочек. Эта идея принадлежала мистеру Диккенсу. Частная школа — прибыльное дело, это несомненно. Надо только удивляться, почему такая идея не пришла ему раньше в голову.

Когда Диккенсы поделились этой великолепной идеей с более практическими знакомыми, последние единодушно решили, что район Байхем-стрит отнюдь не открывает никаких перспектив для применения педагогических талантов миссис Диккенс. Если бы даже и удалось соблазнить жителей Кемден Тауна блестящей будущностью, ожидавшей их дочерей, которых они вверили бы попечению миссис Диккенс, кемденцы могли бы платить только гроши. Поэтому решено было переехать в другой район, населенный людьми более состоятельными.

И в начале 1823 года Диккенсы переехали на Гоуэр-стрит, откуда недалеко было до Британского музея. На двери дома появилась табличка: «Пансион миссис Диккенс для девиц».

Джон Диккенс тщательно очинил дюжину гусиных перьев и, вооружившись справочником с адресами жильцов нового района, изо дня в день строчил письма, в которых восхвалялась постановка дела просвещения в новооткрытом пансионе. Почтовые расходы увеличивались с каждым днем, все новые десятки отцов и матерей оповещались о безусловных достоинствах нового заведения, и трудно было понять, почему никто из них не откликался на неоспоримые доводы мистера Диккенса. Увы! Никто в этом районе не знал раньше о существовании миссис Элизабет Диккенс, и никто из окрестных жителей не соблазнился отдать любимую дочь в образцовое педагогическое заведение на Гоуэр-стрит. Новая квартира стоила много дороже, чем старая, Джемс Лемерт отказался переехать на Гоуэр-стрит, и к концу 1823 года положение стало совсем плачевным.

6. Гостеприимная тюрьма

Была середина февраля. Джон Диккенс вернулся со службы рано. На этот раз он не заходил в таверну. Обед был очень скудный. После обеда он посидел в столовой, рассказал детям смешную историю об одном из сослуживцев, очень рассеянном джентльмене, потом осведомился, что за книга появилась в руках Чарльза.

— Ах, вот что! «Шотландские вожди»? — бросил он взгляд на переплет. — Хорошая книга. Очень хороший исторический роман. Читай, дружок. Исторические романы миссис Портер приносят пользу. Знакомишься с нравами, так сказать, переносишься в прошлое… Вот, вот… Словом, знакомишься с историей, а это, так сказать, очень расширяет умственный кругозор…

Он не продолжал. Его занимала другая мысль. В кармане он нащупал несколько мелких монет, бросил искоса взгляд на жену, которая сидела неподалеку и штопала детские

вещи. Сегодня она была неразговорчива. Только часа два назад зеленщица сказала, что решительно отказывается давать в долг, пока не заплатят за последние три месяца.

Джон Диккенс стал напевать какой-то мотив. Наконец он решился:

— Почисти-ка мне, дружок, ботинки. Я пойду пройдусь.

Просьба относилась к Чарльзу. «Пройтись» значило зайти в таверну. Чарльз послушно встал. Он всегда чистил ботинки и отцу и матери, чистил с вечера, а если родители выходили из дому не только утром, но и днем, то приходилось чистить и второй раз.

И в этот момент в наружную дверь постучали. Стук был энергический — так обычно стучат кредиторы, Чарльз хорошо знал этот стук. Летиция побежала открывать дверь.

В комнату вошли два незнакомца. Нет, это не кредиторы, их никто не знал. Один из незнакомцев, коренастый, с короткой шеей и с лицом злого мопса, сказал, глядя на Джона Диккенса:

— Вы Джон Диккенс?

— Вы не ошиблись, сэр, — ответил тот, и в глазах его мелькнула тревога.

— Вы взяли взаймы сто фунтов… Вам давали несколько раз отсрочку, но, наконец, ваш кредитор подал вексель к взысканию. Вы арестованы, Джон Диккенс.

Неисправимый должник, по английским законам, мог быть арестован и заключался в специальную тюрьму, пока не уплатит долг. Мистер и миссис Диккенс хорошо знали этот закон. Но мистер Диккенс попытался улыбнуться, увидев, что жена вот-вот заплачет. Дети смотрели с ужасом на незнакомцев, которые были очень спокойны.

— Ну, что ж! Я подчиняюсь закону. Пойдемте! — бодро сказал мистер Диккенс.

Мать и дети заплакали. Он по очереди всех поцеловал и с застывшей улыбкой двинулся к полицейским чиновникам. Один из них сказал:

— Ваши вещи, Джон Диккенс, пусть доставят в Маршельси.

Миссис Диккенс заплакала громче. Маршельси была долговой тюрьмой.

Для семьи настали еще более трудные времена. И зеленщица, и мясник, и бакалейщик, и пекарь узнали о судьбе Джона Диккенса через полчаса, а домовладелец еще раньше. И все они на следующий день явились с требованием денег, которые задолжали им Диккенсы. Отсрочить платеж? Об этом не может быть речи. Они и так дождались, что глава семьи угодил в долговую тюрьму.

Родственники миссис Диккенс, Барроу, поахали, повздыхали, но денег не предложили. Они давно предупреждали-де миссис Диккенс, что ее супруг очень легкомысленно относится к расходованию фунтов и шиллингов. Нет спора, куда легче тратить деньги, чем их наживать, но неужели Элизабет не могла внедрить в легкомысленную голову мужа, что он попирает священные обязанности, возложенные всевышним на главу многочисленной семьи? Короче говоря, миссис Диккенс должна сама изыскивать выход из положения. Тем более, что она сплошь да рядом забывала и сама об экономии и тратила на новые наряды те самые фунты, которые могли бы пойти на удовлетворение более насущных потребностей.

И почти ежедневно Чарльз шел к ростовщику, ссужавшему деньги под залог вещей. Нужно платить высокие проценты и оставлять вещи до той поры, когда можно будет выкупить их. Но иного выхода не было, кредиторы не ждали, да к тому же надо как-то питаться всей семьей. К ростовщику постепенно переходила одна вещь за другой из хозяйства Диккенсов.

Тюрьма Маршельси находилась за Темзой, в заречном Лондоне. Когда Чарльз впервые пришел повидаться с отцом и передать ему кое-какие вещи, бодрость Джона Диккенса почти совсем испарилась. Он плакал, как и Чарльз. В тюремной камере с зарешеченным окном мистер Диккенс жил не один, но второй жилец отсутствовал — был в гостях у соседей.

Камеру украшал камин. Тюремные власти вложили в камин по кирпичу с обеих сторон, чтобы заключенные не жгли много дров, — наблюдательный мальчик заметил сразу эту уловку.

Мистер Диккенс долго говорил, что надо жить экономно и опасаться Маршельси, и, выговорившись, послал Чарльза к капитану Портеру, этажом выше. Наступало время обеда, который можно было получить за наличные шиллинги в тюремном буфете, но для Чарльза у мистера Диккенса не было ни ножа, ни вилки, а капитан Портер, такой же узник, как и мистер Диккенс, проживал в тюрьме вместе с семьей, и домашнее хозяйство у него было налажено. Но, повидимому, налажено плохо, потому что у капитана отсутствовала такая важная часть туалета, как костюм. Заметить это было нетрудно, когда нечесаный капитан в ветхом коричневом пальтишке вручал Чарльзу нож и вилку. Пальтишко было надето прямо на грязное белье, и ничуть не менее чем белье капитана, грязны были платья двух его взрослых дочерей, пребывавших в той же камере, что и Портер.

В этот первый свой визит в Маршельси Чарльз унес воспоминание не только о неудачливом капитане, но и о меланхолическом напутствии отца, потерявшего обычную жизнерадостность. Обед не улучшил расположения духа мистера Диккенса, и перед уходом Чарльза он заявил горестно, что только смерть освободит его из тюрьмы, да, только смерть, он это предчувствует.

Через несколько дней Чарльз снова навестил отца. И вновь ему удалось увидеть капитана Портера. Но на этот раз Чарльзу повезло. Он мог наблюдать не только нечесаного капитана, но и других узников Маршельси, а сам капитан выступал в роли общественного деятеля и по этому поводу был еще более растрепан, что вызывалось немалым его возбуждением. День был необычный — очередная годовщина дня рождения его величества, и по сему торжественному поводу капитан Портер возглавил широкое движение маршельсийских узников, алчущих выпить горячительного за здоровье короля и за счет британского казначейства. Капитан составил петицию об этом на имя начальника тюрьмы и восседал за столом в камере мистера Диккенса, а королевские верноподданные дефилировали перед Чарльзом и с энтузиазмом подписывались под капитанской петицией. В оба глаза смотрел мальчик на этот парад обитателей долговой тюрьмы. Лет через пятнадцать читатель «Пиквика», ежели бы знал, вспомнил бы с благодарностью о капитане Портере, читая описание тюрьмы Флит.

Но в те времена Чарльз был занят другими размышлениями и другими заботами. Размышления были печальные, а забот было слишком много. К ростовщику перешли уже все вещи, без которых семья могла как-нибудь обойтись, и начали уплывать предметы самые необходимые. Остались кровати, стол, несколько стульев да кое-какая одежда. Чарльз связал свои книги и понес их ростовщику. Но тот их не взял. Неужели придется их продать?

И много лет спустя Диккенс описал букиниста, которому Давид Копперфильд продал на Сити Род свои книжки. Это тот самый букинист на Хемстид Род, кому Чарльз продал единственное свое сокровище. Что же делать дальше?

Миссис Элизабет Диккенс посоветовалась с узником Маршельси. И они приняли решение: мать с младшими детьми переезжает к мистеру Диккенсу в тюрьму.

Тюремные власти не возражали против проживания несостоятельных должников совместно с семьями; таким образом Диккенсам можно было не заботиться о квартирной плате.

Но Чарльз, по решению родителей, не переезжал в долговую тюрьму.

Отныне ему надлежало посвятить себя совсем иному роду деятельности, чем тот, какой предрекал ему мистер Джайльс, восхищенный «Миснаром, султаном Индии». Будущая его профессия не имела также ничего общего с профессией Гримальди или другой какой-нибудь театральной знаменитости. Мистер Диккенс высокопарно назвал эту будущую профессию Чарльза «коммерческой карьерой».

Решение родителей... Об этом решении миссис Диккенс оповестила Чарльза после того, как сообщила ему о своем переезде, вместе с младшими детьми, в тюрьму, к мистеру Диккенсу.

Родители Чарльза — таково было решение — не имеют возможности дать ему дальнейшее образование, Чарльз уже большой мальчик и должен сам заботиться о средствах к существованию, чтобы в недалеком будущем оказывать помощь семье.

Всё. Для начала своей «коммерческой карьеры» Чарльз должен поступить на фабрику ваксы Джорджа Лемерта.

Джордж Лемерт был коммерсант, родственник приятеля Чарльза Джемса Лемерта, который отказался от мысли стать военным и принял участие в коммерческих предприятиях.

Жестокое было решение, и тяжелы были его последствия для психики Чарльза Диккенса. И родители его, и их родственники, и все знакомые Диккенсов должны были заметить исключительную восприимчивость мальчика, его недетскую наблюдательность, его отношение к книгам, его природные способности и ум; должны были знать о его попытке писать

и о том его отношении к театру, которое не походило на обычный в его возрасте интерес к зрелищам. Они знали это и видели, но, тем не менее послали его не в школу, а на фабрику ваксы. А легкомысленный его отец стал даже разглагольствовать о прекрасной коммерческой карьере, которая ждет Чарльза на фабрике ваксы.

На протяжении всей своей жизни Диккенс всегда избегал говорить о своем состоянии в это страшное для него время. Даже близким людям он никогда не выражал желания описать свое душевное потрясение, вызванное решением родителей. Но соблазн вернуться к мучительным воспоминаниям был слишком велик. И Диккенс уступил ему, когда, много позже, решил записать некоторые автобиографические эпизоды. И вот тогда он записал:

«Пока старый Хенгерфордский рынок не был разрушен, пока старая хенгерфордская лестница не была сломана и все вокруг не изменилось, я никогда не находил в себе мужества идти туда, где началось мое рабство. Больше я никогда не видел этого места. Даже поблизости я не мог проходить. Много лет спустя, когда я проходил неподалеку от Роберта Уоррена[1] по Стрэнду, я переходил на противоположную сторону улицы, чтобы не ощущать запаха цемента, который клали в ваксу, напоминавшего мне, кем я был когда-то… Тот путь, каким я в те времена шел домой через Баро[2], вызывал у меня слезы уже после того, как мой сын начал говорить».

Рана была глубока. Диккенс не мог ее скрывать, когда вспоминал об ответственности перед ним отца и матери:

«Меня удивляет, как легко в этом возрасте я попал в число отверженных. Меня удивляет, что, когда по приезде в Лондон я превратился в беспомощного маленького чернорабочего,

---

[1] Так называлась фирма Лемерта.

[2] Так называется район в южной заречной части Лондона — в Саусуорке.

никто не пожалел меня, ребенка очень способного, хрупкого, беззащитного телесно и духовно, и не подсказал родителям хоть сколько-нибудь сократить расходы, чтобы послать меня в какую-нибудь школу. Наши друзья умыли руки… Никто не пошевелил пальцем. Отец и мать были довольны. Едва ли они были бы более довольны, если бы мне в двадцать лет удалось отличиться в колледже и поступить в Кембридж…»

Все мечтания его разбились в пыль. Он не станет ни писателем, ни актером, он должен довольствоваться начальной школой, он останется отверженным, он обречен вечно влачить жалкое существование раба мистеров Лемертов, — а сколько их впереди, таких Лемертов! — он докатится и до той ступени, на какую скатываются обитатели трущоб Уайтчепла.

Воображение, получив толчок, дорисовывало это горестное будущее. Воображение было сильным, и не было у потрясенного мальчика от него защиты.

Кто виновник той судьбы, которая его ждет? Отец и мать? Их нелюбовь к нему? Нет, они его любили, он это знал, они были легкомысленны, это верно, но когда мистер Диккенс разглагольствовал о блестящей коммерческой карьере, которая ждет Чарльза, мальчик чувствовал, что фантазер-отец сам верит в эту чепуху. И, во всяком случае, эти глупые разглагольствования — от бессилия помочь, от желания убедить себя в том, что будущее Чарльза именно таково, но не от безразличия или злой воли. Одиннадцатилетний Чарльз не возлагал ни на отца, ни на мать ответственности за свою беду. Только много позже, когда он подрос, он мог написать горькие слова о том, что удивляется, сколь легко он попал «в число отверженных». Но одиннадцатилетнему ребенку не они приходили на ум. Да и как эти слова могли прийти ему на ум, когда сам отец попал в Маршелси?

Виновник его потрясения — бедность. Это виновник подлинный и реальный. Это враг беспощадный, враг страшный его ребяческих мечтаний.

7. Баночки с ваксой

Когда в положенный час Чарльз явился в заведение по производству ваксы Уоррена, незначительный эпизод обнаружил ту пропасть, которая пролегла между прошлым Чарльза и его настоящим. Фирма Уоррена принадлежала Джорджу Лемерту, совладельцем мистера Лемерта был приятель Чарльза — Джемс Лемерт. Вместе с Джемсом Чарльз не раз мастерил кукольный театр, Джемс Лемерт был постоянным участником «живых картин», которые ставили у Диккенсов, он прекрасно знал «Миснара, султана Индии» и совсем недавно, занимая у Диккенсов комнату, был на положении члена семьи.

Здание «фабрики» Уоррена мало походило на фабричное. Это был длинный сарай, грязный, закопченный снаружи, да к тому же очень ветхий. Войдя в контору — маленькую обшарпанную комнату, Диккенс увидел несколько клерков, а за главным столом сидел его приятель Джемс.

— Здравствуй, Джемс, — направился к нему Чарльз и протянул руку.

Клерки оторвались от своих занятий, сделали пол-оборота на своих высоких табуретах перед конторками и уставились на него.

Джемс Лемерт нахмурился, подал руку, потом как-то чересчур быстро вскочил со своего хозяйского кресла, на котором сидел до прихода мистера Джорджа Лемерта. И быстро проговорил:

— Вот и прекрасно! Я покажу тебе твое место.

Когда они выходили из комнаты, клерки молча проводили его взглядами до двери и зажужжали, как только она

закрылась. Не успел Чарльз сделать двух шагов по темному коридору, как услышал голос Джемса:

— Я бы хотел, Чарльз, попросить тебя…

Он запнулся. Но затем продолжал уже более решительно:

— Я бы просил тебя обращаться ко мне, как все мои служащие. Меня нельзя называть по имени. Ты должен говорить мне «сэр»!

Он должен величать Джемса «сэром»! А к тому же, когда Джемс сказал «мои служащие», Чарльзу явственно послышалось ударение на коротеньком слове «мои».

Чарльз не успел прийти в себя от такой неожиданности, как они вошли в комнату. В тот же момент у ног его что-то зашуршало. В тусклом свете дождливого дня, просочившемся сквозь грязное окно, Чарльз успел рассмотреть жирную крысу, которая метнулась в угол и исчезла. Испуганный, он схватил Джемса Лемерта за руку, но вдруг вспомнил его наставление и отдернул руку.

Комната была сырой, грязной, по углам был навален какой-то хлам, а у стола, придвинутого к окну, не мытому с незапамятных времен, сидели две фигурки, склоненные над целой батареей баночек, клубками шпагата и листьями цветной бумаги.

— Сядь на этот стул, присмотрись, как они работают, а я через час приду. Надеюсь, что скоро ты оставишь их позади, у тебя ловкие руки.

И «сэр» Джемс Лемерт исчез. Чарльз медленно опустился на шаткий табурет у стола.

Мальчишки уставились на него. Один, пониже и покоренастей, задумчиво поковырял в носу, но ничего не сказал и схватил баночку с ваксой. Другой был повыше, более тощий, рыжеватый вихор, венчавший его голову, очень напоминал клоунский. Вдруг Чарльзу показалось, что вот-вот этот вихор покорно ляжет на лоб, как это бывает у «рыжего»

в цирке. И Чарльз улыбнулся помимо воли. Но вихор не лег. Его владелец встряхнул им и сказал с акцентом заправского кокни:

— А ты не очень-то слушай хозяина. Если будешь нас обгонять, пальцы сломаешь. Потом сам не обрадуешься.

Чарльзу казалось, что оба они не боялись сломать пальцы, которые так и мелькали. Баночка с ваксой сама падала боком на листок промасленной бумаги, затем вставала уже облаченная в промасленный костюм и снова падала на другой листок — синий, — затем вокруг ее горла молниеносно затягивался шнурок, возникали неведомо как ножницы — рррраз! — и костюм вдруг укорачивался, превращаясь в широкополую шляпу, напоминавшую аккуратную бумажную шляпку на аптечной банке с мазью. Потом с такой же быстротой мелькала кисточка с клеем, и на концы шнурка, свисающего с горла, пришлепывалась к банке этикетка с фирмой. Баночка отлетала вправо, к таким же банкам ваксы Уоррена, а слева на промасленный листок уже падала новая банка, которую надо было экипировать.

И вот так с утра до вечера: банка, листок бумаги, шнурок, ножницы, кисточка, этикетка! И этим банкам не видно конца. Неужели столько банок ваксы Уоррена требуется в этом ненасытном Лондоне! Ох, не только в Лондоне. Вакса Уоррена известна по всей Англии, говорил отец, рисуя блестящие коммерческие перспективы плодотворной работы у этого грязного окна в сыром сарае с жирными крысами, разгуливающими среди бела дня. Надо согнуться над этим столом и сидеть вот так, не вставая, с утра до вечера — только полчаса давали на завтрак в течение дня мистер Джордж Лемерт и Джемс Лемерт. Но обедать можно было только после окончания работы. Лемерты не разрешали своим служащим урывать рабочее время для скудного обеда. Отработав десять часов, можно было идти обедать домой.

Перед Чарльзом открылась широкая дорога преуспеяния.

На работе некогда было думать — надо было спешить, чтобы не отстать от Боба Феджина и Поля Грина.

Рыжеватый и тощий Боб Феджин был сирота. У коренастого Поля Грина отец был пожарный. Но Боб и Поль в равной степени относились с полным безразличием к судьбе героев Фильдинга и Смоллета, когда Чарльз пытался внушить им интерес к знакомым книгам. Когда наступал получасовой перерыв для завтрака, они предпочитали отправиться на угольные баржи, пришвартованные к берегу Темзы. Там они «разминали кости», гоняясь друг за другом. Иногда Чарльз к ним присоединялся, но обычно проводил свободные полчаса один. Если у него в кармане звякали монеты после еженедельной получки — он получал каждую неделю шесть шиллингов — путь его пролегал к кофейне. Там он заказывал чашку кофе и сандвич. Но шиллинги таяли молниеносно, ведь надо было платить за квартиру, и хоть что-нибудь есть вечером, и значительно чаще, чем в кофейню, Чарльз направлялся во время перерыва на Ковент-Гарденский рынок, где предавался созерцанию ананасов. Затем он возвращался к баночкам с ваксой и уже не вставал до вечера с табурета.

В первые дни, к вечеру, он чувствовал ломоту во всем теле. Десять часов приходилось сидеть, сгорбившись, над столом в комнате с сырым, тяжелым воздухом, и получасовой перерыв приносил мало облегчения. Усталость была такая после рабочего дня, что в первое время трудно было осознать перемену в судьбе. Приходя домой, Чарльз валился на постель и немедленно засыпал.

Но когда тело немного приспособилось к этой перемене, сознание измерило глубину несчастья. «Не в моих силах выразить, как я страдал. Человеческое воображение не может представить этого», — записал Диккенс много лет спустя.

Он понял: отныне его ждет вечная работа у грязного окна, над столом, заваленным бумагой, шнурками, банками с ваксой.

Между ним и его товарищами, Бобом и Полем, пропасть залегла уже с первых дней. Для Боба и Поля он не был товарищем, и для взрослых служащих заведения он не был товарищем Боба и Поля. И для мальчиков, и для служащих он был «молодой джентльмен». Такое отношение служащих могло только укреплять мальчика в его уверенности, что ему предназначен был судьбой иной жребий.

И почти немедленно вслед за появлением в заведении Чарльз решил доказать, что свое дело он может выполнять не хуже, чем Боб и Поль. «Если я буду делать его не так хорошо, как другие, меня станут третировать и презирать», — записал он много позже. И, не разгибая спины, он работал у грязного окна. Но ни слова не говорил матери и отцу об усталости и о своих страданиях.

Первое время он возвращался после трудового дня домой — к матери, братьям и сестрам. Но в один прекрасный день мать сообщила ему, что завтра переезжает с младшими детьми в Маршельси, к мистеру Джону Диккенсу. Отныне Чарльз будет спать вместе с двумя сверстниками в мансарде у «славной леди», миссис Роуленс, которой поручено о нем заботиться. «Славная леди», сдававшая в своей мансарде койки, оказалась хромой «старой ведьмой». Эту кличку старуха получила очень скоро после водворения Чарльза в комнате на чердаке, и заботы миссис Роуленс не простирались дальше запрещения мальчикам разговаривать, когда они укладывались спать. Чарльз запомнил на всю жизнь первую свою «квартирную хозяйку», — миссис Пипчин в «Домби» очень ее напоминает.

В крохотной комнатке по ночам была такая духота, а постоянные окрики злой старухи так надоели Чарльзу,

что в одно из своих воскресных посещений тюрьмы он не выдержал и попросил мать найти ему другое пристанище. Эти посещения Маршельси происходили по воскресеньям: утром Чарльз заходил в Музыкальную академию за Фанни, и они шли в тюрьму, а вечером он отводил сестру домой и плелся в свою мансарду. Жизнь у «славной леди», сколь мало времени он там ни проводил, была очень несладкая. Об условиях работы у Лемертов он не говорил родителям; та же гордость, которая заставляла его не отставать от Боба и Поля, препятствовала ему жаловаться. Родители послали его работать, и он работал. Но о «славной леди» он рассказал.

Мать нашла ему такую же крохотную комнатку, но теперь он был в ней один, и когда он вступил во владение этой конуркой на Лент-стрит, где позже поселил Боба Сойера из «Пиквика», эта конурка показалась ему райским пристанищем. Не было противной старухи и случайных сожителей. Можно было выплакаться всласть, когда после скудного обеда — нередко это был кусок хлеба с сыром — приходилось по возвращении домой укладываться спать, размышляя о том, что нет никакой надежды вырваться из мира отверженных.

Отверженных… Мальчик чувствовал себя одним из них; в эти тяжелые одинокие вечера казалось ему, что жизнь для него кончена.

Теперь ему приходилось вставать еще раньше, чем прежде. Когда мать и младшие дети переехали в тюрьму к мистеру Джону Диккенсу, он шел завтракать в Маршельси до работы. Он должен был попасть в тюрьму, как только открывались тюремные ворота, и из Маршельси мчался на Стрэнд, в заведение Лемертов.

Так шли дни и недели. И один день был похож на другой, и не видно было никакого выхода. К этим дням он не раз возвращался в своих снах, когда стал Чарльзом Диккенсом. И, просыпаясь, он забывал, что у него уже есть жена и дети,

что имя его известно в Европе и в Америке, и все еще перед ним мутнело грязное окно и перед окном стоял стол с баночками из-под ваксы, а у этого стола, сгорбившись, сидел он, и баночки из-под ваксы метались по столу, как сумасшедшие.

8. О мальчике вспомнили

Как-то вечером, в конце мая, после работы он брел в Маршельси. Ему нездоровилось. Может быть, потому было еще тяжелей на душе. Он вошел в знакомые ворота после обычных опросов тюремной стражи, пересек двор, поднялся в третий этаж, не обращая внимания на слишком знакомые фигуры постояльцев Маршельси, шныряющих в коридоре. Приближаясь к двери, за которой обитал мистер Джон Диккенс с семьей, он услышал смех и громкие голоса в камере. Давно он не слышал в семье смеха.

Он постучал в дверь. На пороге показался улыбающийся отец. И тут же сообщил, что скоро покидает тюрьму.

Кто заплатил долги за мистера Джона Диккенса? Почему благодетель сжалился над ним и «невинными малютками» только теперь?

Нет, он, Джон Диккенс, не обязан никакому благодетелю. Он получил маленькое наследство, вот и все. Не благодетель пришел ему на помощь, но благодетельный случай. Наследство было совсем маленькое, от какого-то дальнего родственника. Но от кого — Чарльзу он не сказал.

Через несколько дней мистер Джон Диккенс покинул Маршельси.

Расположение духа у него было прекрасное. Он снова вернулся на службу в адмиралтейство; теперь, после такого испытания, он, конечно, будет расчетлив и не позволит себе жить не по средствам. Квартиру надо снять в самом дешевом районе, хотя бы в том самом пригороде Кемден Таун, где они

жили до той поры, пока ему не пришла в голову эта злосчастная идея открыть пансион для девиц.

И семья поселилась на Джонсон-стрит в Кемден Тауне, в том доме, куда Чарльз Диккенс поселил четверть века спустя семью Микобера и где дал ему в жильцы Трэддльса.

Если бы мистер Джон Диккенс не был так погружен в те переживания, которые принесло ему освобождение из тюрьмы, он должен был бы заметить настороженный взгляд Чарльза всякий раз, когда они виделись после возвращения мальчика с работы. Но мистер Диккенс не замечал этого взгляда.

Чарльз ждал. Он ждал, что отец сообщит о своем решении взять его от Лемертов. Он ждал молча и понапрасну. Казалось, что мистер Диккенс вполне удовлетворен положением дел. В самом деле, разве у него не способные дети? Чарльз, например, быстро продвигается к преуспеянию, и не за горами тот день, когда он станет крупным промышленником и коммерсантом. А дочка Фанни — талантливая музыкантша, за свою игру на фортепиано она удостоилась премии, которую присудила ей Королевская музыкальная академия, где она продолжала обучаться. И перед ней открывается прекрасное будущее.

Знакомые Диккенсов были совершенно согласны с такой оценкой Чарльза и Фанни. Перед обоими открываются широкие горизонты на жизненном пути.

Впрочем, широкие перспективы открывались покаместь перед Фанни — только перед ней.

Нет, не зависть к сестре заставила Чарльза рыдать, когда он шел домой из Музыкальной академии после вручения Фанни премии за успехи в музыкальном образовании. А когда он укладывался в тот вечер спать, он молился особенно горячо о том, чтобы кто-нибудь пришел ему

на помощь и вытащил из бездны унижения и оторвал от ненавистных банок с ваксой Уоррена.

Но на помощь никто не приходил, мальчик ни разу не попросил отца и мать взять его из заведения Лемертов и послать в школу.

И внезапно, неожиданно он был избавлен от унижений, связанных с заведением Лемертов. Родители его попрежнему не помышляли о необходимости дать ему дальнейшее образование. На помощь Чарльзу пришла амбиция мистера Джона Диккенса.

«Фабрика» Лемертов перешла в новое помещение. Оно было лучше и просторней старого. Чарльз с товарищами упаковывал свои баночки и наклеивал ярлыки перед большим окном, выходящим прямо на тротуар. Каждый уличный прохожий мог сколько угодно глазеть на мальчиков. Теперь Чарльзу казалось, что он выставлен на показ. Было еще тяжелей, чем раньше.

Однажды, во время работы, он поднял голову и увидел перед окном… отца. Приветливое лицо отца, к которому он так привык, являло все признаки бурного гнева. Мистер Диккенс жестом вызвал его на улицу. Чарльз был в недоумении, которое рассеялось, когда он вышел к отцу. Оказывается, гнев мистера Диккенса вызван был не сыном, но Джемсом Лемертом. Как он смел, этот юнец, посадить его, Джона Диккенса, сына перед окном, выходящим на улицу, на показ всем уличным зевакам!

Чарльз получил строгий приказ: заявить Джемсу Лемерту, что мистер Джон Диккенс настоятельно предлагает мистеру Джемсу Лемерту подыскать другое рабочее место для Чарльза. Но мистер Диккенс не удовлетворился этим приказом. Он сомневался, достаточно ли внушительно сумеет Чарльз сообщить Джемсу Лемерту требование мистера

Джона Диккенса, который рассматривает все происшедшее как неуважение к семье Диккенсов.

И Джон Диккенс написал Джемсу Лемерту столь возмущенное письмо, что тот почел себя оскорбленным. И уволил Чарльза.

Чарльз был ошарашен, когда шел домой со Стрэнда, чтобы сообщить матери эту новость. Что будет дальше — неведомо, но, во всяком случае, он никогда уже не вернется к проклятым банкам с ваксой. Это счастье, большая радость, несмотря на то, что он перестанет получать семь шиллингов в неделю, которые были так необходимы, о чем ему неоднократно говорила мать. Неужели и она, и отец снова пошлют его на какую-нибудь фабрику?

Должно быть, потому, что он опасался этих последствий увольнения, его радость была отнюдь не полной. Похоже было на то, что он был больше растерян, чем обрадован.

Но когда миссис Элизабет Диккенс, узнав об увольнении, приказала ему подать ей шляпу и летнюю мантилью, и он понял, что она собирается идти к Джемсу Лемерту просить о возвращении Чарльза на работу, мальчик застыл от ужаса.

Но он ни слова не сказал матери, ни одного слова. Он не попросил ее отказаться от посещения Лемертов. Он только смотрел на мать с недоумением, его привязанность к ней, обычная для детей его склада, начала рваться в те минуты, когда он убедился, что мать ничего не смыслит в его переживаниях и ровно ничего не замечает.

Он ждал возвращения матери от Лемертов, слоняясь в тоске из угла в угол.

Мать вернулась торжествующая. Джемс Лемерт согласился забыть оскорбительное письмо мистера Джона Диккенса и снова принять Чарльза на службу.

Мальчик выслушал этот приговор как будто спокойно. И теперь он ни о чем не попросил мать.

Но вот пришел отец со службы. На этот раз он пришел домой, не заходя по дороге в таверну. Сели обедать. Мать, возбужденная успешными хлопотами, свидетельствующими о ее материнских заботах касательно будущности сына, сообщила мужу о посещении Лемертов.

Наконец Чарльз не выдержал. Впервые за все эти месяцы, он сказал, что не хочет идти на фабрику ваксы. И впервые он сказал, что просит послать его в школу. Очень просит, если это возможно.

Отец молча ел. Его брови, которые всегда были чуть вздернуты, медленно поднимались. Он размышлял, и, по-видимому, впервые ему пришло в голову, что Чарльз страдает. Вероятно, в тоне мальчика были ноты, которые натолкнули мистера Джона Диккенса на это открытие.

Но мать была более глуха к этим нотам, чем отец.

Она запротестовала. Чарльз еще слишком мал, чтобы иметь правильные понятия о своем участии в таком цветущем промышленном заведении, как производство прославленной ваксы Уоррена. Выгоды такого участия для его будущей карьеры неизмеримы. Она не сомневается, что он станет совладельцем Лемертов и перед ним будет открыта дорога к самым вершинам человеческого благополучия.

Теперь Чарльз смотрел на мать, бледный от ужаса.

Но отец прозрел. Еще совсем недавно он сам с жаром фантазировал об уготованной сыну блестящей карьере у Лемертов. Теперь он забыл об этих фантазиях так же легко, как легко уверовал в них раньше. Пожалуй, мальчик прав, ему надо учиться.

Внезапно придя к такому заключению, мистер Джон Диккенс воспламенился идеей послать сына в школу, и никакие доводы матери не могли его поколебать. Крупный

промышленник должен быть очень образованным джентльменом. Что если Чарльзу уготованы апартаменты Мэншон Хауза? Лондонский лорд-мэр беседует со всеми выдающимися людьми страны, даже с самим королем. Вопрос ясен — Чарльз идет в школу.

9. Школа мистера Джонса

Школа с пансионом, которую отец выбрал для Чарльза, носила пышное название: «Классическая и коммерческая академия». Называлась она и иначе: Веллингтон Хауз, и помещалась на Гренби-стрит, Морнингтон Плес. В округе она пользовалась хорошей репутацией, как часто бывает, необъяснимой, ибо учили в ней плохо.

В июльское утро 1824 года Чарльз переступил порог этой школы как приходящий ученик.

Владельцем школы был валлиец, некий мистер Джонс, джентльмен вполне невежественный, прозванный питомцами «тираном». Он мало заботился о внедрении в учеников школьной премудрости, — куда меньше, чем его ученики заботились о дрессировке мыши, обитавшей в футляре от латинского словаря.

К словарю, уступившему свой футляр для проживания этой мыши, Чарльз, по-видимому, прибегал не часто.

Чарльз даже получил награду за латынь, но, нужно думать, латыни и греческому у мистера Джонса обучали так плохо, что мальчик не вынес из школы ни любви к древним языкам, ни знаний.

Почти полтора года назад Чарльз приехал из Четема в Лондон и все это время лишен был школьной обстановки, всегда благодетельной для детей его возраста. Мальчик был загружен работой по дому, которая была нелегка, — слишком легкомыслен был отец и безалаберна мать. Он был целиком предоставлен самому себе в свободные часы, лишен

был товарищей, не мог не завидовать сверстникам, для которых среда мистера Диккенса открывала двери школы, знакомой мальчику по Четему.

А затем — тяжелый эпизод службы у Лемертов.

Школа мистера Джонса восстановила в мальчике утраченные на время свойства характера. В годы учения в Веллингтон Хаузе он мало походил на страдающего, всегда готового разрыдаться мальчика, пригвожденного к столу, заваленному банками с ваксой. Он стал шаловливым школьником, искусным выдумщиком школьных проказ и развлечений. Он пребывал в прекрасном расположении духа, обучаясь у мистера Джонса нехитрой премудрости. Он изобрел язык, на котором школьники могли говорить, не опасаясь, что их поймут непосвященные. Язык был крайне несложен: надо было лишь прибавлять к каждому слову одни и те же два слога. Если такую фразу произносить быстро, то на улице, пожалуй, можно сойти за иностранцев.

Но развлечением более занятным являлось чтение друг другу рассказов. Эти рассказы надо было придумать, что было более интересно, чем изучать предметы, преподаваемые в академии мистера Джонса. Чарльз увлекся этим занятием. Но главным развлечением мальчиков был школьный театр.

Любовь к театральным представлениям, открывшаяся в мальчике еще в Четеме, и участие его в домашних спектаклях обеспечили ему важную роль в школьных постановках. Он не был рядовым участником школьных спектаклей. Он был режиссером. Но когда решили ставить такую пьеску, как «Мельник и его люди», пришлось обратиться к помощи взрослых. Эту помощь оказал учитель Беверли. Он смастерил мельницу, которая по ходу действия должна была сгореть. Мельница и в самом деле чуть не сгорела. Фейерверк, зажженный режиссером, создал не только иллюзию пожара для очарованных реальностью постановки зрителей, — он

вызвал переполох на улице, и испуганные полисмены ворвались в зрительный зал тушить предполагаемый пожар.

По мере того как Чарльз проходил курс наук, необременительный для учеников мистера Джонса, положение семьи Диккенсов улучшилось. Джон Диккенс, правда, не служил больше по морскому ведомству — его уволили через несколько месяцев после выхода из Маршельси, — но теперь он мог избрать себе любую профессию, не теряя полученной пенсии. Пенсия была скромная — три фунта в неделю, но в соединении с заработком, который сулила какая-нибудь профессия, доход мистера Диккенса мог обеспечить содержание семьи.

И мистер Диккенс попробовал свои способности на другом поприще. Он поступил разъездным торговым агентом к виноторговцу. Эта профессия была ему по душе. Теперь мистер Диккенс, любитель без конца болтать за кружкой эля, мог оправдать свое пристрастие к тавернам и к собутыльникам. В тавернах ему, в самом деле, удавалось продать собутыльникам две-три бутылки вина, и такие успехи его окрыляли. В течение нескольких месяцев разъезжая по городкам и местечкам Мидльсекса, он с гордостью относил себя к числу преуспевающих коммерсантов, одаренных незаурядными способностями.

Но это преуспеяние не было долговечным. То ли мистер Диккенс пристрастился к элю и к переездам из одной гостиницы в другую больше, чем полагалось коммерсанту, то ли он увлекался проповедью верных способов обогащения и забывал о бутылках своего патрона, но постепенно его новая профессия стала угрожать и трехфунтовой еженедельной пенсии. Неудача, впрочем, не сломила его. Он решил перейти к такой деятельности, в которой природные его качества могли бы найти применение. Он решил стать газетным репортером.

Закончив свое образование в академии Веллингтон Хауз к пасхе 1827 года, Чарльз вернулся домой и нашел семью отнюдь не в таком положении, чтобы ему можно было помышлять о дальнейшем образовании. Он был старшим сыном, отец теперь смотрел на него как на помощника, и пятнадцатилетний помощник должен был искать профессию.

Это было нелегко. Только два года назад произошел знаменитый крах многочисленных банков; много сотен мелких предприятий обанкротилось, и безработица снова резко возросла. Последствия этого кризиса еще не изгладились. Подросток выходил в жизнь в ту пору, когда и взрослому, получившему образование не столь поверхностное, какое получил Чарльз у мистера Джонса, трудно было найти работу.

Пятнадцатилетний Чарльз закончил свое школьное образование. Никогда больше ему не придется учиться систематически. В будущем ему уготовано немало сил, а еще больше нервов, вложить в дело народного образования, но сам он, Чарльз Диккенс, не воспользуется благодеянием, которое дает наука каждому, даже самому бездарному, его соотечественнику, имеющему возможность продолжать обучение в колледже и в высшей школе. Чарльз Диккенс отныне предоставлен самому себе в выборе путей и средств, которые могли бы удовлетворить его тягу к знанию. У него нет и не будет ни руководителей, ни даже советников для ориентировки среди отраслей знания. Он будет метаться от одной отрасли к другой, без компаса, лишенный нередко элементарных сведений в некоторых из них. Из академии Веллингтон Хауз, из никуда негодной школы, он вступил в иную школу — в живую жизнь.

Может быть, именно в конторе атторни — английского адвоката — живая жизнь представала перед каждым во всей своей откровенной наготе. Поистине только молодость

Чарльза, его жизнерадостность и его веселая энергия помогли ему не стать ипохондриком и мизантропом у мистера Блекмора.

К мистеру Блекмору, владельцу адвокатской конторы, найден был через знакомых «ход» мистером Джоном Диккенсом, и Чарльз поступил в контору «Эллис и Блекмор» одним из младших клерков.

10. Школа жизни

У него был уже жизненный опыт. После Четема он видел бедноту Кемден Тауна, он видел заключенных Маршельси, в своих блужданиях по Лондону после приезда из Четема он наблюдал толпу гигантского города. А затем ему пришлось пережить самые тяжелые месяцы во всей его, столь еще недолгой, жизни — кабалу у Лемертов.

Жизненный опыт у него был. Если школьные годы ничего не прибавили к этому опыту, то, во всяком случае, ничего не отняли. Но очень скоро после того, как Чарльз уселся на табурет клерка в конторе атторни в Грей'с Инне, он понял, сколь мало он узнал о жизни и о людях за свои пятнадцать лет.

Мистер Блекмор не был выдающимся адвокатом. Но все же в его контору длинной вереницей шли клиенты. Большинство из них были небогаты, совсем небогаты.

Перед младшим клерком открывался совсем новый мир. Эти бумаги — им не было числа, — которые он должен был переписывать, шедшие по конвейеру в судебную машину, где они бесследно исчезали, эти юридические документы носили замысловатые названия, не только отечественные, но и латинские. Но каждая из бумаг с загадочными латинскими и отечественными названиями, вроде «первоначальный приказ» «capias», «breve», «атторнийская

гарантия», «subpoena» и т. д., открывала больше, чем мог прочесть в ней рядовой переписчик.

Бумаги, лежавшие на его конторке, раздвинули перед ним занавес, за которым скрыты были от него реальные интересы людей, их страсти, их обиды, их пороки, их заботы и подлинные их горести. Чем больше переписывал Чарльз эти сухие, лаконичные, сугубо формальные манускрипты, тем ближе он подходил к самым истокам человеческого поведения и тем полней обнажались перед ним самые рудиментарные основы этого поведения.

Пятнадцатилетний мальчик внезапно соприкоснулся с отражением на безличном юридическом языке простейших и всеобщих страстей и свойств — алчности и возмущения несправедливостью, стяжательства и беззащитности, лживости и доверчивости, цинической жестокости и беспомощности.

Рядом с ним на таких табуретах перед конторками сидели другие клерки, а также и главный клерк. И они читали те же манускрипты. Для них они были не больше, чем ноты для того, кто не умеет читать нотные знаки.

Вот он сидит на табурете и выводит еще не вполне зрелым почерком текст судебного приказа. Он пишет копию и пришьет ее к делу. Он уже знает, что значит этот приказ capias ad satisfaciendum, — на юридическом жаргоне он именуется кратко: c a - s a.

Простой смертный не поймет этой тарабарщины. Его приятель Поттер, скрипящий пером неподалеку от него, поймет и объяснит, если его спросить: приказ c a - s a выдается судом по требованию истца для задержания должника, не желающего платить свой долг. Бейлиф, которому вручит приказ контора мистера Блекмора, арестует джентльмена, чьи фамилия и имя обозначены на бумажке. Все. Поттер, переписывая c a - s a, уставился пустыми глазами на него.

И Чарльз переписывает ca-sa. Он не знает истца — сколько их Джонов Джонсонов! — и не знает ответчика, которых не меньше, чем истцов. Но вот этот Джон Джонсон мог истребовать у суда другой приказ против неисправного ответчика. Нет, его не удовлетворял приказ о конфискации имущества неплательщика, он потребовал ca-sa. От него нет никакой пользы Джону Джонсону. Джемс Паркер будет схвачен и отправлен в Маршельси или во Флит. Джон Джонсон не получит ни пенни, потому что он охотился не за имуществом должника. Но Джон Джонсон предпочитает ждать, ждать и ждать, чтобы упрямство Паркера сломилось. Он терпелив, и зол, и мстителен. Он охотится не за десятком гиней, он хочет наказать Джемса Паркера за отказ уплатить. Но, может быть, в самом деле Джемс Паркер не должен платить, хотя он и проиграл дело в суде? Об этом знают он сам и Джон Джонсон, который победил. И он, этот победитель, упивается победой, он торжествует, он мстит — за что? — своей жертве, он по закону имеет право требовать ca-sa... Он зол и жесток, Джон Джонсон.

А Джемс Паркер, кто он, этот новый постоялец Маршельси? Чарльз переписывает его возражения на иск жестокого Джона Джонсона. Джемс Паркер убеждает суд, что произошло недоразумение, что он не нанес никакого ущерба имуществу и доброму имени Джона Джонсона. Он убеждает суд, что истец выставил свидетелями своих добрых приятелей и, несмотря на присягу, ими данную, они — свидетели ложные. Увы, суд не внимает убеждениям Джемса Паркера...

Но Чарльз верит Джемсу Паркеру. Может быть потому, что видит его, оборванного и несчастного, среди тех, кто бродил по тем же коридорам Маршельси, что и он, в памятную для него пору. Да, конечно, Джемс Паркер — это тот самый чахоточный, жалкий арестант, который так ужасно кашлял за стеной камеры мистера Диккенса.

Нет, не он! Его зовут иначе — Сэмюэль Джексон. Чарльз переписывает другую бумагу. И у нее затейливое латинское название — cognovit. Истец прилагает ее к иску, надо снять копию. Истец хитер — ох, сколько хитрости в сердце человеческом! — он выудил у Сэмюэля Джексона cognovit. Это значит, что Сэмюэль Джексон письменно признал справедливость иска. А вот теперь бедняга рвет на себе волосы и убеждает суд, что выдал эту бумажку потому, что не было у него другого выхода. Не выдай он cognovit на всю сумму иска — и не видать ему тек жалких нескольких фунтов, которые нужны ему были для спасения дочери... Чарльз уже знает, что Сэмюэлю Джексону не помогут никакие мольбы. Суд увидит эту проклятую cognovit, и истец может быть спокойным: Сэмюэль Джексон отправится в Маршельси. И там будет кашлять чахоточным кашлем и ждать, пока кто-нибудь заплатит за него долг хитрому врагу.

Должно быть, враг Сэмюэля Джексона далеко закинул сеть. Фантазия Чарльза распаляется.

Он видит хитрого, как библейский змий, старика — у него черное сердце — сидящим в кресле. Руки у старика в набухших венах, и пальцы двигаются безустанно, словно паучьи ноги. А на губах у него нехорошая улыбка. Он сидит и ждет. Вот-вот должна прийти дочь несчастного Сэмюэля Джексона, чтобы умолять паука о спасении отца, который умрет в Маршельси от своего кашля и от горя. Но паук не склонен простить неосторожному Сэмюэлю Джексону, который ради дочери выдал ужасную бумагу cognovit. Если дочь выйдет за него замуж, старик, пожалуй, помилует ее отца. Да, он хочет жениться на дочери Сэмюэля Джексона, хотя она годна ему во внучки. Потому-то он улыбается так нехорошо. Он уверен — несчастная девушка станет его женой ради отца.

О, каким может быть черным человеческое сердце! И каким оно может быть светлым!

Ни Поттер, ни другие клерки не размышляют над этим. И они не замечают клиентов, которые идут к мистеру Блекмору, чтобы просить у него помощи против козней недругов или плести покрепче паутину, где скоро забьется беззащитная муха. Впрочем, нет. Клерки любят посмеяться. Например, сегодня был какой-то совсем чудной джентльмен, почти полоумный. Он то и дело просыпал табак, пока рука его тянулась к носу, она дрожала, а он не замечал и втягивал, можно сказать, воздух вместо понюшки. Он покорно ждал, когда мистер Блекмор освободится, и сидел молча на стуле, и все время был у него такой вид, словно он забыл что-то чрезвычайно важное и никак не может вспомнить; он морщил лоб и снова и снова подносил руку к носу, просыпая табак на шейный платок, весьма небрежно повязанный. А когда он встал, чтобы так же молча подойти к двери кабинета мистера Блекмора, все увидели, что и ноги у него дрожат, не только руки. Дверь была все еще закрыта, он повернул назад и тут наткнулся на главного клерка, а потом подошел к своему стулу и сел. Но не на стул, а мимо, хотя в комнате было еще светло.

И Поттер и другие клерки завизжали от смеха, и Чарльз тоже засмеялся, но не громко, очень уж был смешон джентльмен, дрыгающий в воздухе тощими ногами в обтрепанных гетрах.

Но потом внезапно Чарльзу стало совсем не смешно. Он поймал взгляд джентльмена, такой жалкий и такой беспомощный…

Может быть, это тот самый джентльмен, которого имел в виду Канцлерский суд, чье извещение Чарльз переписывал в это время. Если это так, то понятно, почему глаза у джентльмена такие жалкие. Джентльмен решительно не может уплатить долг, и Канцлерский суд счел такую невозможность за неуважение к суду. Если суд постановил именно так,

то никакие силы не спасут джентльмена от заточения на долгие, долгие времена. Тогда понятно, почему вид у джентльмена полоумный…

Чарльз переписывает у мистера Блекмора юридические бумаги и видит новых и новых клиентов. У одних растерянные, беспомощные глаза, у других спокойные, холодные. Бывают и такие, которые не могут бороться со страхом, и этот страх — Чарльз знает — погнал их в контору атторни. Не надежда влечет тех, кто идет сюда с окаменевшей горестной маской на лицах. Этих гонит отчаяние, и горестная маска не сползает с лица, когда уходят они от мистера Блекмора. Появляются новые лица, с ястребиными цепкими глазами, Чарльз уже знает этих клиентов, хорошо знает. Они исчезают за дверью атторни, и Чарльзу кажется, что они облизывают губы, когда выходят от мистера Блекмора. Случается так, что эти опытные дельцы сталкиваются в канцелярии с забавными старухами, вооруженными гигантскими сумками. В сумках кипа бумаг, самых бесспорных документов. Бесспорные документы вручаются сперва главному клерку, который знает эту породу клиентов и потому требует, чтобы старухи предъявили бумаги ему до визита к мистеру Блекмору. Документы выгружаются на конторку главного клерка, старухи тычут в них сухими коричневыми пальцами и в чем-то убеждают главного клерка. Но тот не сдается и, быстро обозрев бумаги, решительно заявляет, что мистер Блекмор очень занят. Старухи ни за что не желают уйти, не повидавшись с атторни, они не верят главному клерку. Иногда настойчивость их побеждает, они проскальзывают в кабинет атторни. Но скоро они оттуда выходят, запихивая в сумку бесспорные документы. На прощание они ругают и мистера Блекмора и главного клерка. А остальные клерки покатываются от смеха. Смеется и Чарльз, но ему почему-то жалко старух.

Но ему не жалко других посетителей атторни мистера Блекмора. Не жалко даже тогда, когда перед уходом они возмущаются отказом атторни «начинать дело» по их поручению. Они тоже бедны — мистеру Блекмору нет расчета числить их своими клиентами, — но лица у них совсем не похожи на лица старух с бесспорными документами. Чарльз изучил и их. Выражение их лиц обиженное, и его не смоешь ничем. Они вечно обижены, им кажется, что решительно все норовят их обидеть. Они готовы «начинать дело» против каждого, кто нечаянно их толкнул на улице. Чарльз знает — это сутяги, ненасытные охотники за возмещением ущерба, которого никто им не наносил.

Нет, Чарльз не знал раньше всех этих людей. Он не ведал, не подозревал даже, что рядом с ним идет непрестанная и жестокая война человека с человеком. В этой войне противники напрягают все свои силы: одни, — чтобы устоять против злой судьбы, другие — чтобы уготовить врагу самую тяжкую участь. Чарльз не ведал, как хитроумен бывает человек, когда отбивает у другого блага, на которые позарились его глаза, и как он бывает изобретателен, когда защищает свое достояние. Чарльз не ведал, что те бедняки и те несчастные, каких ему пришлось видеть немало в узких улочках Лондона, едва ли чем отличаются от клиентов мистера Блекмора, проигравших тяжбу. Разница была лишь, в том, что по документам, которые он переписывал, можно было легко установить, чьей жертвой пал вот этот посетитель мистера Блекмора, ощупью отыскивающий дверь из канцелярии, хотя за окном светит яркое солнце. А там — в кварталах Сохо, Уайтчепля или того же Кемден Тауна — Чарльз не знает и не узнает того, кто довел идущую по улице оборванную девушку до такого состояния, что она орет пьяным голосом самые непристойные песни.

Но и на улочках Уайтчепля и в конторе атторни виновник один — сильнейший. И сердце у него жестокое. И жертва одна — слабый человек с мягким сердцем.

Именно здесь, в канцелярии атторни, могла родиться эта схема Чарльза Диккенса: жизнь есть непрестанная борьба сильного против слабого, жестокого сердца против кроткого.

Чарльз слушал, смотрел и запоминал. Когда, много позже, мистер Блекмор вспомнит о юном своем клерке, ставшем Чарльзом Диккенсом, он сообщит, что в «Пиквике» и в «Никльби» он прочитал некоторые эпизоды, очень напоминающие те, которые происходили у него в конторе. И он подозревает, мистер Блекмор, не вывел ли его бывший клерк в этих романах участниками подобных эпизодов вполне реальных клиентов конторы «Эллис и Блекмор».

Мистер Блекмор не углублялся в изучение творчества своего бывшего клерка. Если бы он почувствовал к этому призвание, он нашел бы, что и в других своих книгах Диккенс вспомнит о людях, встреченных им в ранней юности в конторе атторни. А также о сценах, свидетелем которых он был.

11. Черные мантии

Ареной этих сцен был английский закон. Участниками их — люди, чьи конфликты втянуты в орбиту закона. Для одних закон был враг, для других — союзник.

Переписывая документы, Чарльз скоро понял, что этот враг страшен. По мере того как длилось его пребывание у атторни, он понял, что закон не менее страшен как союзник.

Это было дополнение к опыту, найденному Чарльзом у мистера Блекмора.

В мире нет более громоздкой и сложной машины правосудия, чем в Англии. Все цивилизованные народы мира навели хоть какой-нибудь порядок в своем правовом хозяйстве.

Ни у одного народа правосознание не колебалось, решая вопрос о кодификации законов. Система правовых норм, выраженная в кодексе, благодетельней, чем бессистемность, — эту азбучную истину усвоили все народы. Но не английский. Английский народ, который мог добиться многого в самых различных областях социально-политической жизни, бессилен был в борьбе с теми, кого он доставил стражами закона. У английского народа не было и нет кодекса законов.

Ссылки на «национальный дух», на особый, чисто английский, пиетет к покрытым плесенью указам и прецедента ничего не объясняют. В английском быту, в повседневной жизни только посвященные могут «обращаться» с законом без риска для себя. В тех случаях, когда каждый обыватель в любой другой стране решает простейшие юридические вопросы, либо заглянув в кодекс, либо обращаясь лично в соответствующее учреждение, англичанин вынужден обратиться к юристу. Во времена Диккенса у них были разные названия — у юристов — разные степени в иерархии законоведов. Ныне это число названий сократилось, но и по сию пору без помощи юриста англичанин не решит ни одного бытового вопроса, связанного хоть сколько-нибудь с правопорядком.

Чарльз убедился в этом очень скоро, служа младшим клерком у Блекмора. И с каждым днем его жизненный опыт в этом направлении расширялся.

Прежде всего, Чарльз раз навсегда решил для себя, что английские юристы сознательно изобрели иероглифическое письмо, отличное от общепринятого. Загадочность этого письма не в латинской номенклатуре и не в профессиональной терминологии. У медиков, скажем, есть собственная номенклатура и терминология, и обвинять юристов в создании собственного языка не следует.

Но их должно обвинять в том хаосе правовых норм, который они сознательно не желают упорядочить. В этом хаосе

только они, посвящённые, могут найти направление. В этом хаосе существуют указы, статьи и прецеденты, взаимно друг друга исключающие; от сноровки юриста, его умения и беспринципности зависит извлечение из фолиантов нормы, ссылаться на которую юристу удобно в данный момент. Пробиться сквозь эти нормы, чтобы добраться до нужного прецедента либо параграфа, не дано простому смертному. Он заблудится в лесу иероглифических знаков, понятных только тем, кто обучен их чтению.

Об этих знаках Чарльз получил ясное представление. С тайнами юриспруденции он знакомился по хитроумным бумагам, исходящим от патронов конторы. Эти бумаги лежали на всех конторках бесчисленных клерков всех четырех иннов — корпораций английских юристов, к одной из которых — Грей'с Инну — принадлежал мистер Блекмор и его старший компаньон. Мистер Блекмор не отличался ничем от любого атторни, он отнюдь не был хуже других жрецов юриспруденции.

Все они — эти жрецы — были крючкотворами, хитрушами, извлекавшими немалую выгоду из хаоса, в котором пребывало так называемое материальное право. К этому выводу Чарльз пришел решительно и бесповоротно.

Различие между материальным правом и процессуальным он усвоил очень быстро — для этого не нужно было слушать лекции в университете, как принято на континенте для тех, кто собирается себя посвятить юридической профессии. Чтобы стать английским атторни, надо обучаться именно так, как обучался Чарльз, затем сдать экзамены, пуститься в плавание по мутным волнам адвокатской практики, снова сдавать экзамены для получения права выступать на суде. И тогда можно уже помечтать не только о высшей адвокатской степени «сарджент», но и о том, что после твоей фамилии будут стоять две буквы К. С., что означает королевский советник.

Чарльз увидел судебную процедуру не со скамей публики, но со своего табурета клерка и простился с иллюзией справедливого суда.

Подростку казалось, что накопленный веками опыт английских гражданских судей преследовал одну только цель: выманить у бедняка последние его фартинги. Только для этой цели создан был институт суда.

Ответственность за него несут люди. Эти люди — самые достопочтенные граждане в черных мантиях и театральных париках — стражи и хранители изощренных орудий пытки, которые именуются вековыми традициями английского суда. Самая жестокая пытка — пытка временем, та гибельная волокита, которая обрекает всех попавших в ловушку на полное бессилие. И сам судья освящает эту пытку, хитро сплетенную атторни, солиситорами, барристерами, сарджентами и королевскими советниками, — так именовались законники всех рангов в английских судах.

Гусиное перо Чарльза скрипело, рядом с ним такие же, как он, младшие клерки пригибались к конторкам, перед ним калейдоскопически сменялись алчущие правого суда, а эти выводы, к которым он приходил в конторе «Эллис и Блекмор», цепко удерживала память. Из конторы в Грей'с Инне он вынесет их в жизнь. И вынесет образы законников всех видов. В галлерее его образов черные мантии займут по численности третье место. Читатель встретится с ними тридцать пять раз.

12. Галлерея прессы и любовь

По вечерам он развлекался. Его сотоварищ Поттер тоже оказался любителем театра. Вдвоем они посещали театр весьма часто, Чарльз — чуть ли не ежедневно. Теперь у него были карманные деньги, он получал пятнадцать шиллингов в неделю.

Карманные деньги позволяли предаваться любимому развлечению — посещению театров.

Остается загадкой, когда он ухитрялся изучать стенографию. На эту идею его натолкнул Поттер, и Чарльз с необычайным усердием засел за руководства по стенографии.

Мистер Блекмор, узнав об этом, решил использовать прилежание Чарльза и посылал его стенографировать процессы своих клиентов.

Но последствия оказались, быть может, неожиданными для изобретательного мистера Блекмора. Чарльз вкусил относительной свободы. Как ни трудно — в особенности начинающему — стенографировать судебный процесс, но это занятие оставляет куда больше досуга, чем переписка бесконечных юридических документов в адвокатской конторе. Газеты охотно помещали отчеты о судебных процессах. Стенография помогла бы делать эти отчеты очень точными. А кроме того, судьи нередко нуждались в стенографических записях процесса. Почему бы не стать судебным репортером?

И Чарльз решился покинуть мистера Блекмора.

Отец не возражал против такого решения. Он сам предавался в это время новому занятию — репортерству в газетке «Британская пресса» — «Бритиш Пресс». Возражала мать. Она простилась с мечтой увидеть Чарльза крупным коммерсантом после завершения его карьеры на фабрике ваксы. Теперь ей приходилось проститься с надеждой увидеть Чарльза королевским советником.

Но Чарльз обрел уже достаточную самостоятельность. Он попрощался с конторой в Грей'с Инне и стал репортером в суде Докторс Коммонс.

Днем он стенографировал в суде. Вечером расшифровывал свои записи. Тем не менее он находил время для регулярного посещения читального зала Британского музея. Там он читал, — читал он без всякого плана и без системы,

но читателем он был усердным. Тем не менее судебный репортаж оказался значительно более выгодным занятием, чем переписка бумаг в конторе атторни. Несмотря на то, что ему пришлось теперь платить за небольшую комнатку, где он расшифровывал свои записи и писал отчеты, чистый его заработок был выше, чем жалованье клерка. А ведь это было только начало. Перспективы открывались радужные.

Они были необходимы — эти перспективы. Хотя бы потому, что приходилось помогать семье. Легкомысленный мистер Джон Диккенс, уезжая в свои репортерские поездки, застревал иногда на недели и не очень заботился о присылке вовремя денег семье, которая продолжала разрастаться.

Работоспособности Чарльза мог бы позавидовать каждый его сверстник. Он не только давал репортерские отчеты о процессах, но завел записную книжку, куда заносил зарисовки участников судебных состязаний и их характеристики. Он заготавливал их впрок — эти описания, которые казались ему достойными лучшей участи, чем попасть в сухой хроникерский отчет. Позже он введет их либо в свои скетчи-очерки — например, процесс Джерман против Бегстер и Джерман против Уайз, — либо сохранит для своих романов.

А между делом он затеял работу литературную. Он еще совсем не доверял своим способностям измыслить сюжет пьесы и перерос детского своего «Миснара». Поэтому он выбрал одну из пьес Гольдони, переделал ее и назвал «Стратагема Розанцы», снабдив подзаголовком «венецианская комедийка». Но у Чарльза не хватило духу предложить ее какому-нибудь театру.

И он начал подумывать о расширении поля газетной своей работы. Вот уже второй год он знакомит читателей с поединками в стенах английского суда. Процессы встречаются интересные, слов нет, читатель получает полное представление из его отчетов о правопорядке и правосудии. У многих

из читателей, быть может, составилось такое же решительное мнение насчет достоинств и недостатков судебной машины, как у самого Чарльза. Но все же давать изо дня в день сухие отчеты надоедает. Как раздвинуть границы своей общеполезной деятельности?

Мистер Джон Диккенс подсказал выход. В один прекрасный день он сообщил о своих выдающихся успехах на репортерском поприще. Отнюдь не интересно сообщать согражданам о драках, пожарах и кражах. Газетный работник должен не терять из виду просветительных целей, он должен заботиться о расширении кругозора сограждан. Конечно, это не под силу любому газетному работнику, но тот из них, кто обнаружил незаурядные способности, обязан подумать о насущных потребностях каждого мыслящего человека. Нелегко также разбираться в политической обстановке. Но способный газетный работник обязан принести свои силы на алтарь долга и посвятить себя трудам по политическому просвещению читателей. Парламентские дебаты — лучшая школа такого просвещения, и каждый выдающийся деятель периодической печати может стать проводником здравых политических идей, если займется передачей парламентских прений.

Он, Джон Диккенс, уже успел обратить на себя внимание своим репортажем и теперь занимается передачей дебатов в парламенте. И Чарльз должен последовать его примеру.

Слушая разглагольствования отца, Чарльз знал, что никаких успехов у мистера Диккенса на репортерском поприще не было и дело обстояло проще. Газету «Миррор оф Парламент» — «Зеркало парламента» — редактировал дядя Чарльза, Джон Барроу, и мать Чарльза упросила брата принять Джона Диккенса на должность парламентского репортера.

Но если это и так, все же следует признать, что совет отца заслуживает внимания. У подавляющего большинства

парламентских репортеров нет знания стенографии, что не мешает им давать отчеты. А он, Чарльз, не только обнаружил литературную грамотность в обработке материала, но прошел хорошую школу стенографии.

И Чарльз решил перейти от судебного репортажа к парламентскому.

Он предложил свои услуги редактору небольшой газеты «Сан» — «Солнце». Тот проэкзаменовал его по стенографии и принял сверхштатным сотрудником. Чарльз рассчитывал на штатную службу, но утешил себя тем, что от него самого будет зависеть успех на новом для него поприще. Блестящая карьера журналиста должна быть обеспечена ему. Так он решил, и так будет.

Он умел работать, он зарабатывал скромно, но достаточно, чтобы заботиться о своем костюме и уделять кое-что семье. А кроме того, был давно влюблен. Блестящая карьера совершенно необходима для осуществления его планов. Конечно, он должен жениться на Мерайе Биднелл. С нею он познакомился еще в 1830 году.

Мисс Биднелл отнюдь не была очень маленького роста и не понимала, почему Чарльз называл ее «карманной Венерой», а влюбленный в нее юноша не объяснял. Но Мерайя хорошо понимала, что молодой репортер не является для ее почтенных родителей желанным претендентом на руку их дочери.

Она не ошибалась. Мистер Биднелл был банкир с Ломбард-стрит, с улицы банкиров. У банкиров свои предрассудки, и среди последних была уверенность, что репортеру — хотя бы даже парламентскому — можно простить некоторую материальную необеспеченность, если он пожелает стать женихом мисс Биднелл, только при одном условии: парламентский репортер должен располагать аристократическими предками.

Такими предками Чарльз не располагал. Но это не мешало ему влюбляться в Мерайю, бывшую на год старше его, все сильнее и сильнее.

В особенности она нравилась ему в платье малинового цвета с черным бархатным вандейковским воротником.

Впервые Чарльз полюбил, и первая его любовь была несчастна. Мерайя принимала эту любовь, но не больше. Молодой репортер познакомился с ее семьей через одного из своих знакомых, Генри Колля, который и ввел Чарльза в дом Биднелл. Хенри Колль влюбился в сестру Мерайи — Энн, но влюбился более удачно, чем Чарльз. На фоне этой счастливой любви Генри и Энн еще острей Чарльз чувствовал, что препятствием для его брака с Мерайей является не только ее дочернее послушание, но и слабая заинтересованность в матримониальном исходе их знакомства.

Мерайе, пожалуй, нравился этот пылкий юноша с очень живыми глазами и с длинными кудрями. Когда он говорил о том, что его интересовало, он в возбуждении вскакивал со стула и бегал по комнате. Как он был счастлив и как не умел скрывать своего счастья, когда она подарила ему какую-то безделушку! И с какой уверенностью он утверждал, что добьется успеха на поприще журналиста! Ему нужно лишь знать, что Мерайя к нему не безразлична, и если он в этом уверится, то никакие препятствия ему не страшны.

К сожалению, Мерайя не могла укрепить в нем такую уверенность.

Впрочем, мистер и миссис Биднелл также не были уверены в чувствах своей дочери к этому горячему молодому человеку, который решительно не подходил, по их мнению, для роли мужа Мерайи. Но если Чарльз не был уверен в том, что небезразличен для Мерайи, мистер и миссис Биднелл не были убеждены в ее безразличии. Они захотели познакомиться с мистером и миссис Диккенс. Знакомство состоялось.

Оно не удовлетворило банкира Биднелла — социальное положение Диккенсов оценено было им очень невысоко.

Против такого вывода — он был ясен — Чарльз не мог протестовать, если бы даже хотел. Можно ли было помещать мистера Джона Диккенса на верхних ступенях социальной лестницы, если совсем недавно преуспевающий репортер «Мирор оф Парламент» снова был арестован за долги? Пришлось Чарльзу взять взаймы у атторни мистера Блекмора десять фунтов, чтобы избавить отца от Маршельси.

Чарльз посещал галлерею прессы. И он пребывал в таком же горячечном состоянии, как и вся Англия. Шли великие бои за реформу. За реформу избирательной системы. Но для Чарльза они разыгрывались на фоне его личных переживаний, не менее бурных, чем переживания лондонцев, да и всех англичан, в эти памятные дни 1831/32 года.

Реформу надо было завоевать, она не падала в руки радикальной Англии. Вся консервативная Англия объединилась в борьбе против реформы. И Мерайю надо завоевать и надо принудить банкира мистера Биднелла и его супругу к капитуляции. Конечно, если бы он, Чарльз, был знаменит, если бы папаша и мамаша Биднелл могли бы похвастать своим будущим зятем в кругу своих благонамеренных знакомых, все обстояло бы превосходно. Не говоря уже о том, что сама Мерайя, не колеблясь, упала бы в его объятья, будь он знаменит.

Чарльз был уверен в этом. Но как стать знаменитым? Карьера парламентского репортера еще не успела ему надоесть, в эти дни она никак не могла почитаться скучной, в нервной работе этих дней он находил удовлетворение. Но если подумать, то путь к славе через галлерею прессы в Палате общин — несколько длинный.

К тому же… Бóльшего удовольствия, чем посещение театра, Чарльз никогда не испытывал. А игра на домашней

сцене! Вот когда можно с уверенностью сказать, что все существо твое целиком захвачено эмоциями. Игра на сцене — это не работа, это радость. А те триумфы, какие выпадают на долю талантливого актера, — разве не являются они пределом мечтаний для каждого смертного? И к тому же они, вне сомнения, покорят любого мистера Биднелла.

Тем временем мистер и миссис Биднелл не пребывали в бездействии. Они задумали адский план, они прибегли к старому испытанному способу. Молодых людей надо разлучить. Но разлучить так, чтобы их дочь могла найти в новой обстановке противоядие чувству, которое, боже избави, может возникнуть.

Париж — неплохое противоядие для молодой девушки, которой угрожает опасность влюбиться в молодого человека, нежелательного, по мнению родителей, претендента на ее руку.

Правда, у Чарльза было достаточно времени, чтобы пробудить в мисс Биднелл самые нежные чувства. Но он не пробудил, как мы знаем из его же записки, ей адресованной, от 18 марта (должно быть, 1832 года), в коей он объявляет, что «последние их встречи являются для него чуть-чуть больше, чем многочисленные демонстрации бессердечного равнодушия». Но заботливым родителям все еще казалась опасной настойчивость парламентского репортера, — вероятно, более опасной, чем самой Мерайе.

Она отправилась в Париж, нисколько не сетуя на злую судьбу. А бедняга Чарльз писал длиннейшие письма и рвал их, и снова писал, но адрес жестокой Мерайи был ему неизвестен.

Парламентский бой за реформу был в самом разгаре, по-прежнему он был репортером «Солнца», успевшего уже переименоваться в «Настоящее солнце» — «Трю Сан», он был захвачен этой борьбой и, конечно, являлся сторонником

реформы. Но путь к славе и к завоеванию Мерайи не укоротился. И едва ли Чарльза могла удовлетворить его роль в тех событиях, какие воспоследовали в результате агитации сторонников реформы. Роль была, в самом деле, более чем скромная, — не столько участника, сколько зоркого свидетеля. В этих условиях его занятие могло показаться даже скучноватым. Молодая энергия искала выхода.

На короткое время выход открылся. Владельцы газеты «Трю Сан» — «Настоящего солнца» — посулили репортерам и хроникерам гонорар, который в какой-то мере соответствовал их работе в эпоху столь бурных общественных событий. Когда дело дошло до расплаты, обещание их оказалось невыполненным. Это возмутило Чарльза. Несмотря на свой короткий стаж газетной работы, он оказался одним из застрельщиков крутых мер с недобропорядочными предпринимателями. Он агитировал за стачку, провел это решение, а затем вместе с некоторыми из сотоварищей предъявил ультиматум владельцам «Трю Сан».

Время было неподходящее для стачки с точки зрения предпринимателей, и они немедленно сдались.

Но эта активная общественная работа оборвалась столь же быстро, сколь внезапно возникла.

Вот тогда-то Чарльз решился испытать новые пути и средства в игре с судьбой, неблагосклонной к нему, по его твердому убеждению.

Он написал письмо режиссеру Ковент-Гарденского театра мистеру Бартли с просьбой испытать его актерские дарования. В этом письме он сообщал о своей способности перевоплощения, о том, что знает почти все монологи Чарльза Мэтьюса. Эти монологи в его исполнении — он надеется — понравятся мистеру Бартли.

Чарльз Мэтьюс едва ли бы так прославился, если бы оставался комическим актером Ковент-Гарденского театра.

Но он ушел из театра и после своей поездки в Америку начал выступать со своими скетчами и монологами, объединенными им под названием «Дома». Эти представления в ту пору именовали «дивертисментом», ныне Чарльз Мэтьюс назывался бы актером эстрады.

Его монологи были очень популярны, и актер он был прекрасный. Чарльз был пленен им в такой мере, что когда, много позже, сын актера Чарльз Джемс, также комический актер, но значительно более слабый, написал свои мемуары, они были изданы под редакцией Диккенса.

Мистер Бартли ответил любезным согласием прослушать молодого человека и оценить степень его дарования. Вместе с ним — Бартли — прослушает мистера Диккенса и Чарльз Кембль, совладелец Ковент-Гарденского театра.

Чарльз Кембль далеко не был так талантлив, как его брат, великий Джон Кембль, и сестра Сара, вошедшая в историю английского театра как Сара Сиддонс, лучшая трагическая артистка Англии. Но Чарльз Кембль был опытный актер и режиссер, игравший вместе с братом еще за тридцать лет до экзамена молодого парламентского репортера.

Поэтому нетрудно представить, как волновался Чарльз, репетируя монологи Мэтьюса. Помогала ему сестра Фанни, аккомпанируя песенкам, входившим в репертуар прославленного артиста эстрады.

К экзамену в Ковент-Гарденском театре Чарльз готовился усиленно. Но в его планы вмешался злой рок — так склонен был тогда считать Чарльз неожиданный приступ лихорадки, нагрянувший как раз в ночь перед экзаменом. Утром нельзя было и помышлять о чтении монологов Мэтьюса перед Кемблем, — сильно болело ухо, а лицо распухло.

Что делать? Чарльз написал мистеру Бартли записку и убедительно просил назначить ему другой день для экзамена, после выздоровления.

Мистер Бартли, вероятно, удовлетворил бы эту просьбу, но Кембль через неделю уехал в Америку. Без Кембля прием нового актера был невозможен.

Решительно не везет! К тому же издатели «Трю Сан» считали его вожаком репортеров, угрожавших им стачкой. Этот молодой человек может причинить немалые хлопоты.

Чарльз скоро убедился, что нужно оставить работу в «Трю Сан». Молчание Мерайи, которая, по-видимому, развлекалась в Париже, не могло улучшить расположение духа Чарльза.

Крупные газеты имели постоянный штат долголетних парламентских репортеров. В такие газеты не проникнуть. Куда перейти на работу?

Борьба за реформу с каждым днем становилась более напряженной. Но мистер Джон Диккенс, представлявший газетку мистера Барроу, своего шурина, «Миррор оф Парламент», на галлерее прессы, не привык ставить служебные интересы на первое место. Внезапно он покинул Лондон. Кажется, на этот раз он снова не имел возможности уплатить какой-то очередной долг. Мистер Барроу давно простился бы с таким сотрудником, каким был его зять, но миссис Диккенс умоляла его быть снисходительным к ее мужу. И Барроу его не увольнял. Когда тот уехал, Барроу согласился, чтобы Чарльз заменил отца на галлерее прессы.

И Чарльз покинул не без удовольствия «Трю Сан». Теперь он стенографировал для «Миррор оф Парламент» речи коммонеров, посвященные все тому же вопросу — биллю о реформе. В стране и в парламенте великая битва за реформу все еще шла.

13. Галлерея прессы и великая битва

Битва была историческая. Буржуа долго готовился к боям с лендлордом — землевладельцем — и, наконец, на них

решился. Вся страна принимала участие в походе буржуа против избирательного закона.

Любопытен был этот старый избирательный закон, по которому производились выборы в Палату общин. Издан он был в самом начале восемнадцатого века и с той поры почти не претерпел никаких изменений. В Англии за это время выросли крупные промышленные города с десятками тысяч промышленных рабочих. Английская буржуазия уже опередила буржуазию всех стран в распоряжении колониальными богатствами мира, а город Лондон посылал в Палату общин только пять-шесть человек, а крупнейшие промышленные города, как, например, Манчестер, Бирмингем, Лидс и другие — не посылали ни одного.

Когда во времена королевы Анны издан был этот закон, сохранившийся до тридцатых годов XIX века почти в той же редакции, поземельная аристократия обеспечила себе в парламенте бесспорно господствующее положение. Немногие городские депутаты должны были иметь крупную недвижимую собственность и извлекать из нее очень высокий доход. Английская аристократия — от баронета до герцога — владела основной массой земель Англии. Целая армия фермеров, арендующих у ноблъменов — аристократов — землю, была целиком в их руках. Столь же крепко держала фермеров и другая группа землевладельцев — нетитулованные дворяне, сквайры. И им принадлежало немало плодоносных земель и пастбищ, и они не меньше, чем ноблъмены, были полновластными хозяевами своих имений. Фермеры не имели избирательного права, и землевладелец просто-напросто назначал членом Палаты общин человека, целиком от него зависящего. Закон эпохи королевы Анны давал отдельным местечкам право посылать членов палаты. Местечки эти находились в собственности крупных землевладельцев, они продолжали посылать одно и то же число членов,

угодных землевладельцу, хотя число избирателей уменьшилось за столетие с четвертью во много раз.

Выборы в таких «гнилых боро» — местечках — превращались, конечно, в фарс. Какое-нибудь захудалое боро Тивертон с двумя десятками избирателей посылало двух членов в палату, а боро Тэвисток с десятком избирателей — одного. Еще более курьезно протекали выборы в Олд Сэрум, где из двенадцати жителей имели право избирать двух членов палаты только двое. Эти избиратели, конечно, избирали самих себя. Наконец было и такое прибрежное местечко, которое давным-давно исчезло, поглощенное морем. Тем не менее и это боро имело право избирать одного члена палаты. Комедия выборов происходила так: собственник берега, уцелевшего от затопления, усаживался в лодку вместе с тремя избирателями и там, над тем местом, где в пучине морской покоилось боро, трое избирателей выбирали собственника берега коммонером — членом Палаты общин.

Давно уже старый избирательный закон пережил себя. Давно уже английский народ отказывался понимать, почему в Бате избирательным правом пользовались тридцать один человек — лорд-мэр и тридцать олдерменов, а остальные жители его не имели. И почему в Эдинбурге, где насчитывалось сто тридцать тысяч жителей, избирали одного члена парламента только тридцать три магистрата. Давно уже английский народ хорошо знал о системе подкупов при выборах в парламент и даже о расценке голосов. Таких продажных боро было десятки.

Но порядок этот существовал давно. И давно уже избирательный закон был историческим анахронизмом.

Почему же борьба за реформу его приняла такие масштабы к тому времени, когда парламентский репортер Чарльз Диккенс появился на галлерее прессы в Палате общин?

В конце 1829 года даже поверхностному наблюдателю заметно было процветание крупных экспортных и импортных контор и благоденствие торговой буржуазии. Безработица принимала опасные размеры. В городе Престоне, например, третья часть всех жителей получала нищенское пособие от органов общественного призрения. Многочисленные митинги собирались во всех концах Англии, и о них читаем мы в «Таймсе», в одном из январских номеров 1830 года: «Ни один из этих митингов не проходит без указаний на небывалое и из ряду вон выходящее бедственное положение рабочих классов». С каждым днем учащались грозные симптомы глубокого экономического кризиса: пылали усадьбы лендлордов, а в городах безработные разгромили уже не одну фабрику.

Какова причина современного бедственного состояния страны?

На этот вопрос энергичный и дальновидный буржуа ответил в середине декабря 1829 года, собрав в Бирмингеме полтора десятка промышленников и коммерсантов. Эти полтора десятка человек немедленно организовали «Политический союз для защиты общественных прав».

Они призвали весь народ Англии к единению и согласию между «всеми классами подданных его величества» и к направлению «всех сил страны к одной общей мирной и законной цели». Так поступил и Бирмингемский политический союз и все другие союзы, почти копировавшие свои декларации по образцу бирмингемской.

И у всех этих союзов, молниеносно возникших в начале 1830 года, была одна цель: реформа Палаты общин. Иначе говоря, реформа избирательного закона, преграждавшего пути в парламент энергичному буржуа.

«Низшие» классы общества втянуты были в вихрь, вынесший английского буржуа на своем гребне к первой организованной победе над английским землевладельцем. «Низшие»

классы подчинились лидерам движения и вложили всю свою энергию в общую с буржуазией борьбу против избирательного закона. Когда в процессе жестокой борьбы буржуа за реформу Лоуэтт на одном из митингов воскликнет: «Бесполезно проповедовать терпение голодающему народу! Если бы средние классы были вполне искренни, то они прежде всего позаботились бы о том, чтобы одеть и накормить рабочих!» — когда Лоуэтт задаст вопрос «средним классам», «добиваются ли они чего-нибудь, кроме порабощения рабочего класса и превращения его в слепое орудие своих целей», — крики неудовольствия заглушат его голос. Так повествует очевидец.

Буржуа наткнулся на жестокое сопротивление всех консервативных сил страны.

Митинги, грандиозные митинги по всей стране. На митингах произносятся горячие речи, выносятся резолюции, пишутся петиции. Большинство резолюций требует реформы избирательного закона, но никак не прямого, равного и тайного голосования.

К власти приходит сторонник реформы лорд Грей. Он дает обещание подготовить билль о реформе.

Грей вносит билль о реформе 1 марта. Звон колоколов, иллюминация сопутствуют этому торжественному акту. Но агитаторы тори не дремлют. Правительство терпит поражение. Оно отвечает роспуском парламента.

Новые выборы проходят в обстановке невиданного возбуждения народных масс. В середине июня созывается новый парламент. Сторонники реформы имеют в нем значительное большинство, и билль проходит в окончательном виде.

Теперь слово предоставляется лордам — Палате лордов — оплоту консерватизма.

Лорды непримиримы не меньше, чем их вождь — герцог Веллингтон. На возбуждение народа и на петиции,

посылаемые в палату со всех концов страны, они не обращают никакого внимания, даже тогда, когда в один прекрасный день к палате прибывает целый фургон, доверху нагруженный этими петициями. Никакие опасения более дальновидных политиков из среды нобльменов не могут сломить упорство лордов, и билль о реформе проваливается 8 октября 1831 года.

Страна отвечает волнениями. Митинги и демонстрации следуют непрерывно. Число участников лондонских демонстраций достигает сотен тысяч человек. Уже раздаются возгласы: «Билль или баррикады!» Вспыхивают пожары — горят замки некоторых непримиримых лордов. Лидеры движения пугаются. И советы политических союзов обращаются с воззваниями ко всей Англии. Прокламации союзов призывают народ воздерживаться от насилия. Население Бристоля не внемлет этим призывам. Там происходят беспорядки, и в течение нескольких дней на улицах Бристоля народ сражается с полицией и войсками.

Отвергнутый лордами, билль снова в новой редакции вносится в Палату общин. Снова бои в палате, и в марте билль в новой редакции принимается.

Вся страна напряжена. Как ответят лорды?

Идет 1832 год.

Чарльз Диккенс уже на галлерее прессы в Палате общин. Он видит воочию бойцов обоих лагерей, он записывает их речи. На галлерее тесно, очень тесно, приходится нередко стоять, так как на скамьях не хватает места. Чарльз стоит на коленях, судорожно наносит знаки на странички своего блокнота и наблюдает с галлереи достопочтенных джентльменов, изрыгающих оскорбления в лицо противников, мелькающие в воздухе кулаки, потные, красные физиономии «представителей нации», перекошенные злобой.

Чарльз всматривается в их лица и, как мало он ни размышлял в эту пору о законах социальной борьбы, которая отражалась в боях за билль о реформе, но, нужно полагать, именно здесь, на галлерее прессы, начало складываться у него мнение о «представителях нации» и о парламенте.

Через десять лет Диккенс скажет Форстеру: «Вы знаете, как мало уважения я питаю к Палате общин». А еще через двенадцать лет он напишет Роулинсону: «Что же касается парламента, он делает так мало, а говорит так много, что самой интересной церемонией, которую я знаю в связи с ним, была та, какую совершил некто, выгнавший парламент вон и положивший ключи от дома в карман».

Диккенс имел в виду, конечно, Кромвеля, совершившего эту церемонию.

Как ответят лорды на новое принятие билля общинами?

Упорство их нерушимо.

Страна отвечает лозунгом: «Нет билля — долой налоги!» За десять дней созывается по стране больше двухсот грандиозных митингов.

Правительство находит один выход: угрозу назначить в Палату лордов столько новых лордов, сколько будет необходимо для принятия билля! В сан лорда возводит король. Министерство предлагает королю выбирать: либо этот выход, либо народное восстание.

Только тогда землевладельцы складывают оружие перед буржуа. Сотня лордов во главе с Веллингтоном в день голосования демонстративно покидает палату. Билль о реформе избирательного закона проходит. Седьмого июня он санкционируется королем.

Но какая куцая реформа!

Новый избирательный закон отнимал только право представительства у мелких боро, но крупнейшие промышленные города получали лишь по… два представителя в Палату

общин. И по одному представителю получали около двадцати городов, менее значительных.

Однако и за эту уступку землевладельцы потребовали новых шестьдесят представителей для графств, то есть для себя. И виги на это пошли. Они пошли ради того, чтобы послать в Палату общин только шестьдесят с лишним коммонеров — членов палаты — от городского населения.

Шестьдесят буржуа — домохозяев, либо состоятельных арендаторов домов. Только они могли избирать, и только их могли избрать коммонерами.

Ради чего же в многотысячных процессиях, требующих реформы, шла Англия беднейших лондонских кварталов — Кемден Таунов и Сохо, Уайтчеплей и Клеркенвиллей, текстильщики Ланкашира, металлисты Бирмингема и горняки Кардифа?

14. Дорогу фантазии!

Мерайя в Париже, билль о реформе принят, взбаламученное море медленно успокаивается, горячка, охватившая страну, спадает.

Чарльз задумывает поставить оперетту «Клари» и водевили. В оперетте участвует он сам, сестра его Фанни. Он предлагает мистеру Коллю, счастливому искателю руки мисс Биднелл, сестры Мерайи, принять участие в спектакле. От мистера Колля он надеется узнать адрес Мерайи. Тот соглашается дать адрес Мерайи.

Вся семья Диккенсов увлекается постановкой спектакля. Мистер Джон Диккенс снова временно остепенился, и на какой-то срок угроза очередного бегства от кредиторов миновала. К тому же Чарльз зарабатывает больше, чем раньше. Диккенсы переезжают в новую, более поместительную, квартиру на Бентинк-стрит. Расположение духа у миссис Диккенс улучшается, она снова имеет возможность обновлять,

хотя бы и скромно, свой туалет. И она также принимает участие в подготовке к спектаклю. В это дело вовлечены все — и братья Чарльза, и сестры, и кузины, даже дядя Томас Барроу, к которому Чарльз привык с детства. Вся семья рисует декорации, шьет незатейливые костюмы. Фанни стала опытной пианисткой, и потому пьески должны идти с музыкой. Но все же подготовка спектакля подвигается медленно. Трудно собрать всю труппу вместе — то Чарльз занят на заседании палаты, то пожилая леди не отпускает Фанни, которая должна развлекать ее музыкой в качестве компаньонки, то занят в своей конторе мистер Колль.

Чарльз уже послал письмо Мерайе. С трепетом он ждет ответа. Ответ дипломатический — о чувствах к Чарльзу ни слова, но зато много слов о Париже. Впрочем, она объясняет свое молчание — ей неизвестен был адрес Чарльза. И в конце упоминание: в начале нового года она будет в Лондоне.

Она возвращается из Парижа. Чарльз томился и страдал слишком долго. Скоро день его совершеннолетия, он уже не юнец и может спросить ее без обиняков, согласна ли она выйти за него замуж.

Он задает этот вопрос. И *в* ответ слышит, что мистер и миссис Биднелл по-прежнему считают его неподходящим для нее супругом. Она примерная дочь и даже не может себе представить такого пассажа — свадьбы без разрешения обожаемых родителей.

Все ясно. Сердце его вот-вот разорвется от горя. Она его не любит, сомнений нет. И не должно быть колебаний. Надо вырвать из сердца эту любовь.

Он загружает свой день доверху — кроме утомительной работы на галлерее прессы, он снова проводит много часов в суде и дает судебные отчеты, но и этого мало ему. И он находит время для устройства домашних спектаклей. Зрителям рассылаются билеты, приглашаются знакомые

всех членов семьи. В квартирке на Бентинк-стрит бывает очень тесно и очень шумно. Но на скуку пожаловаться нельзя. Он не боится утомить зрителей, эта мысль не приходит Чарльзу в голову. Участники спектакля не боятся утомить и себя. Зрелище может удовлетворить разнообразные вкусы. На сцене можно увидеть «Пролог», оперу «Клари», идущую под аккомпанемент Фанни, интерлюдию «Женатый холостяк» и даже водевиль «Любители и актеры».

Он пробует повторить свой драматургический опыт. Раньше он переделал Гольдони, теперь он берется за переделку Шекспира. Для домашнего спектакля можно посягнуть и на Шекспира и написать, например, пародию на «Отелло». Но нет необходимости придерживаться строго академических правил, и зритель должен знать, кого имеет в виду автор, вводя новых участников в трагедию. И зрители знают, они могут легко догадаться, что Чарльз посягнул не только на Шекспира, но и на своего собственного отца. Каждый узнает в «великом неплательщике» мистера Джона Диккенса.

Но образ Мерайи не тускнеет. Чарльз страдает. Много лет спустя он напишет Мерайе, давно ставшей уже миссис Винтер: «Моя безграничная преданность вам и нежность, не нашедшая отклика в те тяжелые годы… оставила во мне такой глубокий след, что этим я объясняю мою сдержанность, которая совсем несвойственна моей натуре, но тем не менее заставляет меня скупиться на проявления любви даже к моим детям…»

Итак, работа и работа. Как отдушина для творческой фантазии — режиссура домашних спектаклей и участие в них. Но удовлетворения нет.

Он считается прекрасным репортером, он получает завидный гонорар — пять гиней в неделю — пятьдесят пять рублей. Но разве он видел себя репортером в своих детских мечтах? Репортерская работа требует добросовестности

и сообразительности, как и всякая работа. Но в ней нет места фантазии. Плох тот репортер, который дает волю воображению. Оратор не узнает произнесенной им речи, очевидец происшествия станет недоумевать, о том ли происшествии говорится в заметке. Скетч — не отчет и не заметка. В нем можно и пофантазировать. Надо выбрать какой-нибудь эпизод, происшествие, событие и рассказать о том, что произошло. Можно, конечно, описать что-нибудь, достойное описания, даже если ничего не случилось. Но, пожалуй, будет занимательней, если выбрать какой-нибудь эпизод. Скажем, из повседневной жизни.

Такой случай представился очень скоро. Джон Диккенс созвал своих приятелей на обед. Этот обед он задумал дать в честь своего шурина Томаса Барроу. Но по своей беззаботности он не задумался над тем, приятно ли будет старому холостяку такое чествование. Мистер Барроу оказывал покровительство мистеру Джону Диккенсу, но терпеть не мог его словоизвержений. А кроме того, холостяк, привыкший обедать в таверне, не любил обедать в семейных домах, даже у сестры. Отказаться от посещения все же было неудобно, и старик согласился. Он отправился к Диккенсам.

Репортер должен быть точным и не позволил бы себе измыслить, что мистер Томас Барроу проплутал немало времени, прежде чем попал на званый обед. Но разве не соблазнительно пофантазировать и заставить гостей то и дело с тоской взглядывать на часы в ожидании яств, которые могут перестояться на плите, пока герой торжества блуждает по Лондону, словно по индийским джунглям? А когда мистер Барроу, наконец, появляется, его ждет испытание, которого он терпеть не может: болтливость мистера Диккенса и тосты. Но радушному и легкомысленному мистеру Диккенсу нет до этого дела, и бедный герой должен произносить ответные

спичи. И в довершение всего мистер Барроу, возвращаясь домой, промокает до костей под привычным лондонским дождиком.

Очерк написан. Заглавие выдумать нетрудно: «Обед на Поплер Уок». Но как подписать?

Чарльз перебирает десятки псевдонимов. И вдруг в голову приходит странное, короткое имя: *Боз.*

Этот обрубок имени, это прозвище создано в недрах семьи Диккенсов. Младший брат Чарльза, Огастес, в детских играх охотно исполнял роль Мозеса — одного из участников прославленного романа Гольдсмита «Векфильдский викарий». Но маленький Огастес произносил очень смешно, в нос, имя «Мозес» — у него выходил «Боз».

И Чарльз подписывает под перебеленным скетчем: «Боз».

Журнал, которому надлежит прославить это «неведомое пока» имя, намечен уже раньше. Это «Ежемесячный журнал» — «Монсли Мэгезин». Его издает капитан Холланд, сражавшийся рядом с самим Боливаром за объединение южноамериканских республик. Редактору нравится «Обед на Поплер Уок». Подпись незнакомая — по-видимому, новичок. Он принимает очерк — вернее, не очерк, но скетч, короткий рассказ.

Очередной номер «Монсли Мэгезин» выходит. У Чарльза рябит в глазах, когда он впивается в оглавление. Боз… Такое короткое имя, оно бы бросилось в глаза. Но, увы, его нет. Конечно, редактор не успел поместить скетч.

Чарльз убеждает себя, что это именно так. И бодро берется за другую тему. Совсем недавно на один из домашних спектаклей была приглашена некая уксусная, всегда и всем недовольная, придирчивая леди. А также мистер Томас Барроу. Ставили «Отелло» с дополнительным персонажем, который не значился у Шекспира в списке действующих лиц. У мистера Барроу был «конек» — он считал себя лучшим

в Англии знатоком Шекспира. У сидевшей рядом с ним уксусной леди не было этого «конька», но нетрудно было предугадать последствия такого соседства уксусной леди со знатоком Шекспира.

Чуть-чуть фантазии, и скетч о домашнем спектакле с придирчивой леди и «дядей Томом» начат. Но писать его можно только урывками, как и первый рассказ.

Проходит недели две. Снова знакомая обложка. Чарльз видит ее в ресторане на столе перед обедающим джентльменом. Посетитель знакомится с титульным листом. Достаточно беглого взгляда — на листе снова отсутствует короткая и такая выразительная фамилия — Боз.

Рассказ «Миссис Джозеф Портер» не пишется. Он перекочевывает со стола в ящик.

15. Обед на Поплер Уок

Последние дни ноября 1833 года. Лондонские издатели уже выбрасывают в розничную продажу декабрьские номера своих журналов.

Туманный, по-ноябрьски, темный день, хотя нет еще четырех часов. Дождит, потом короткие перерывы, и снова мелкий лондонский осенний дождик.

Чарльз идет по Стрэнду. Слишком хорошо знакомая дорога к Трафальгар Скверу. А затем поворот на Уайтхолл и дальше по Парламент-стрит. Сегодня в палате предстоит скучный денек. Но идти надо. «Миррор оф Парламент» будет ждать отчета.

Чарльз зевнул. Он не выспался ночью, а днем пришлось, как всегда, расшифровывать записи. Потом — редакция, около часу просидел в Суде общих тяжб по просьбе редактора судебного отдела. Интересный процесс, но как надоело торчать на галлерее палаты и в суде! А тут еще этот противный мелкий дождь.

Он застегнул коричневое пальто. Пальто было новым и модным, совсем недавно появились эти двубортные короткие пальто с расходящимися, наподобие кринолина, полами. Хорошее, модное пальто. И коммонеры и эти сутяги все-таки могут быть полезны. Можно думать, что от этого мелкого дождя сукно не испортится. Оно первосортное, уверял портной.

Газетный киоск. Не подойти ли? А вдруг уже появился декабрьский номер «Монсли Мэгезин».

Ну да, вот он! Чарльз слишком хорошо изучил обложку этого журнала.

Он схватил журнал столь стремительно, что газетчик с испугом воззрился на него. Нет, молодой джентльмен, кажется, не пьян.

Молодой джентльмен так же стремительно перелистал журнал.

«Обед на Поплер Уок». Черным по белому.

Какие-то монеты очутились в руке у Чарльза, а затем перешли к продавцу. Тот продолжал смотреть на покупателя с удивлением.

Чарльз отошел от киоска, все еще держа перед глазами номер журнала. И только тогда до сознания дошло, что он не видит ни под заглавием, ни в оглавлении короткого словечка «Боз». Да, скетч анонимный. Неважно! Пусть анонимный. Но это его рассказ. Это его первый рассказ.

Стрэнд не очень подходящее место для чтения. Глухо, словно издалека, доносились до него какие-то возгласы, напоминающие проклятия. И кто-то ежеминутно колотил его в бока. Он шел к Трафальгар Скверу. Наконец опомнился и решил перечитать рассказ сызнова. Он успеет перечитать до начала заседания в палате. Но надо выбрать место более удобное. Надо погрузиться в эти несколько страниц и сосредоточиться. Если опоздает к началу заседания, черт с ним!

Какое великолепное начало: «Мистер Огастес Миннс был холостяк лет около сорока, как говорил, он сам, или лет около сорока восьми, как говорили его друзья. Он всегда был чрезвычайно опрятен, пунктуален и аккуратен, быть может, немного более самодоволен, чем полагается, и на всем белом свете не было такого, как он, любителя покоя». Превосходно!

Он шел дальше по Уайтхоллу. Он решил зайти в Вестминстер Холл. Там можно найти какой-нибудь пустынный судебный зал и насладиться снова рассказом. От Вестминстер Холла рукой подать до палаты, пожалуй, он даже не опоздает.

Пустынный судебный зал в Вестминстер Холле он нашел очень легко. Он сел на скамью и снова начал перечитывать «Обед на Поплер Уок».

Кто может сказать, что он просто записал эпизод с обедом у мистера Джона Диккенса, как записывает, скажем, речи своих коммонеров? Разумеется, никто. Это отнюдь не отчет об обеде. Мистер Миннс, натурально, имеет некоторые общие черты с мистером Томасом Барроу, но, насколько он понимает, так всегда поступают писатели: берут какого-нибудь живого человека за образец, извлекают из него несколько характеристических черт, потом дают волю фантазии, измышляют другие черты, которые могли бы ужиться мирно с первыми, и смело рисуют портрет. Конечно, мистер Миннс не мистер Барроу, да он и не должен им быть. А семью Бадден отнюдь не следовало точно копировать с семьи Диккенсов. И здесь надо было дать волю фантазии, что он и сделал. Вполне достаточно одного сынка мистера Баддена; этот сынок — мастер Александер — нужен для того, чтобы объяснить читателю, зачем понадобилось мистеру Октэвиусу Баддену пригласить на обед своего родственника мистера Огастеса Миннса. Кажется, он дал объяснение. Мистер и миссис Бадден зовут мистера Миннса обедать, чтобы выразить

ему свое уважение и любовь, а богатый мистер Миннс, в благодарность, не оставит мастера Александера своим попечением и не обойдет в своем завещании. Повод вполне правдоподобный для званого обеда. Каждый, кто знает человеческую душу, должен с этим согласиться.

Каждый, кто знает человеческую душу… Должно быть, он, Чарльз, еще не знает человеческой души, если надеялся все время, что Мерайя может его полюбить.

Чарльз вздохнул. Опять воспоминание о Мерайе вторглось неожиданно в течение его мыслей. Так бывает всегда, все еще воспоминание о ней не покидает его.

Но «Обед на Поплер Уок» потушил промелькнувшую горькую мысль о Мерайе, не дал задержаться. На смену ей непонятно откуда возникла уверенность, что и мистер Джон Диккенс неспроста пригласил мистера Томаса Барроу на обед. Вот именно — неспроста. Нужно думать, и он, мистер Джон Диккенс, рассчитывал, что мистер Барроу не оставит своими попечениями и Чарльза, и Фанни, и Огастеса, и других младших отпрысков.

Чарльз задумался на момент. Нет, когда он фантазировал, когда он сочинял повод для приглашения мистера Огастеса Миннса, он совсем не думал, что мотивы у мистера Баддена и у мистера Джона Диккенса общие. Но как странно получилось! Не значит ли это, что писатель, знающий человеческую душу, может вдруг натолкнуться на правильную догадку о любой человеческой душе? И насколько интересней писать вот такие скетчи и фантазировать, чем записывать речи коммонеров. Правда, этот «Обед» не вполне может быть назван рассказом, это верно, потому что эпизод-то с обедом и с недовольством мистера Миннса он не выдумал… Но как хорошо написано!

Чарльз дочитал «Обед на Поплер Уок», закрыл журнал, встал и вышел из судебного зала. На улице посветлело. Или это ему так показалось?

16. Наконец рождается Боз

«Миссис Джозеф Портер» была извлечена из ящика в письменном столе. Миссис Портер, восседая рядом с дядей Томом, все еще продолжала ждать поднятия занавеса, отделяющего сцену от зрительного зала в квартире мистера Гэттльтона.

Теперь надо было поднять занавес. Но занавес никак не поднимался, он застрял. Миссис Портер фыркала от недовольства, дядя Том смеялся, и, наконец, стена из коленкора обнажила сцену, на которой появился мистер Гэттльтон, облаченный в одеяние Отелло. Встреченный овациями, он, запинаясь, оповестил, что мистер Вильсон, играющий ответственную роль Яго, опаздывает, так как его, несомненно, задержали на службе в почтамте. И потому эту роль решили передать другому джентльмену, почему приходится начать спектакль с опозданием…

Чарльз не терял из виду придирчивую миссис Портер, хотя отвлекся в сторону описанием Яго, обутого в веллингтоновские сапоги, — мистер Вильсон все же примчался с почтамта. Когда Отелло адресовался к сенату, миссис Портер, в надежде придраться хоть к чему-нибудь, громким шепотом справилась у знатока Шекспира, дяди Тома, не перевирает ли его племянник текст. Дядя Том решительно заявил, что перевирает. И тогда миссис Портер потребовала, чтобы знаток Шекспира поставил это на вид мистеру Гэттльтону. Дядя Том поставил на вид, и Отелло охотно согласился.

Чарльз увлекся, миссис Портер — весьма зловредная леди — то и дело подстегивала знатока Шекспира, и тот вмешивался в ход действия непрестанно, и ничто не могло его остановить к вящему торжеству миссис Портер…

Кажется, получился смешной скетч — снова не очерк, а рассказ. Правда, как и в «Обеде», тема была взята «из жизни», но, во-первых, читатель этого не знает, а во-вторых,

немало Чарльз нафантазировал, изобразив домашний спектакль. Словом, надо отнести зловредную миссис Портер к капитану Холленду…

Капитан не откладывал «Миссис Портер» «для будущих номеров». «Миссис Портер» появилась ровно через месяц после «Обеда на Поплер Уок» — в январском номере 1834 года. Но и под «Миссис Портер» не было подписи «Боз».

Когда Чарльз с гордостью сообщил мистеру Блекмору о том, что он стал постоянным сотрудником «Монсли Мэгезин», бывший его патрон осведомился о размере полученного им гонорара. Увы, капитан Холленд не упоминал о гонораре, а Чарльз постеснялся напомнить. Мистер Блекмор, джентльмен весьма деловой, высоко поднял брови, и Чарльз отправился в редакцию «Монсли Мэгезин». Там капитан Холленд, доблестно сражавшийся против испанцев плечо к плечу с самим Боливаром — борцом за независимость южноамериканских стран, — сообщил ему, что бюджет журнала никак не позволяет платить гонорар начинающим авторам.

Но не прекращать же сотрудничества в журнале только потому, что в нем заведен такой порядок?

И Чарльз начал искать тему для нового рассказа. Хорошо было бы придумать какую-нибудь концовку, более неожиданную, чем в первых двух. Читатель любит неожиданные концовки. Скажем, так: героя принимают за весьма значительное лицо, а он оказывается… словом, трагическое разочарование, прямо-таки скандал.

Если остановиться на этой теме, то можно неплохо подтрунить над человеческими слабостями. Например, над тщеславием и над склонностью людей пускать ближним пыль в глаза. И над преклонением маленького человечка перед людьми преуспевающими, а в особенности перед титулованными. Таких маленьких людей Чарльз уже успел насмотреться вдоволь — взять хотя бы отца и мать, и всех знакомых,

и всех родственников. Все они только и думают о том, чтобы окружающим казалось, будто принадлежат они совсем к другому обществу и вращаются среди таких светил рода человеческого, как судьи, члены парламента, а с баронетами на короткой ноге. Эту забавную черту — тщеславие — хорошо бы высмеять.

Сюжет был придуман скоро. Недавно разбогатевший коммерсант и его супруга стремятся выдать замуж свою двадцативосьмилетнюю дочь, засидевшуюся в девицах, особу крайне романтическую. Выбор их падает на некоего молодого джентльмена — Хорэшио Спаркинса, которого они встречают на каком-то званом вечере. Джентльмен вещает глубокомысленную чепуху, приводящую в восторг и романтическую невесту, и всю ее многочисленную семью, решающую, что столь привлекательный юноша принадлежит к избранному обществу. Почтенный отец невесты всячески скрывает, что совсем недавно был владельцем какой-то лавки и вместе со своей супругой приходит в ужас всякий раз, когда обычный посетитель дома — дядя невесты — упоминает в простоте душевной об этой лавке. Профессия молодого Спаркинса остается тайной, но все его поведение укрепляет уверенность в том, что он не имеет никакого отношения к торговому прилавку.

Прежде чем написать концовку, Чарльз подумал, что читатель догадается об исходе этой охоты за женихом. Догадаться, пожалуй, было нетрудно и, сказать правду, превращение Спаркинса в совладельца третьеразрядной мануфактурной лавки не было неожиданным. Выдумывать сюжеты с неожиданными концовками оказалось делом нелегким. Но скетч получился юмористический. Чарльз отнес его мистеру Холленду, и тот не стал придираться к неудавшейся концовке. «Хорэшио Спаркинс» вышел вслед за «Миссис Джозеф Портер» — в феврале.

Разве нельзя это назвать великолепной удачей: ежемесячно, трижды подряд, новый рассказ в органе, который издает соратник Боливара?

К сожалению, капитан Холленд предпочел поместить «Хорэшио Спаркинса» анонимно, как и первые два скетча. Но на этот раз он расщедрился и уплатил по полгинеи за страницу. Это было совсем немного, странные законы управляли миром. Куда легче писать отчеты о парламентской грызне или о судебном крючкотворстве, но за эти отчеты даже такой не очень солидный орган, как «Миррор оф Парламент», платил несравненно лучше, чем капитан Холленд за продукты художественного творчества начинающих авторов.

И рабочий день Чарльза по-прежнему был отдан целиком газете. Но печатание — хотя бы без подписи — скетчей в «Монсли Мэгезин» укрепило уверенность его в своих силах. Почему бы ему не перейти на постоянную работу в более солидную газету, чем «Миррор оф Парламент»? Например, в «Таймс».

Редактор «Миррор оф Парламент» Джон Барроу оказался джентльменом и отнесся доброжелательно к просьбе своего юного родственника помочь ему перейти в солидную газету. Если судить по рассказам, напечатанным у Холленда, этот юноша — способный малый, и, надо сознаться, «Миррор оф Парламент» — слишком узкое поле для успешного развития литературных способностей.

Но в «Таймсе» вакансий не оказалось. Чарльз решил перейти в «Кроникль» — «Хронику», — большую газету вигов. Джон Барроу помог ему, и Чарльз покинул «Миррор оф Парламент». Судебные отчеты порядком ему надоели; при переходе в «Хронику» он условился, что отныне прекращает свою работу судебного репортера. Но он знал, что новые его хозяева не удовольствуются парламентскими отчетами.

Его ждала работа, более беспокойная, чем бдения на галлерее прессы у коммонеров и лордов. И весь стиль работы такой крупной газеты, как «Кроникль», мало походил на стиль скромной «Миррор оф Парламент». В маленькой газете ни редактор, ни сотрудники не помышляли о конкуренции с влиятельными газетами, но «Кроникль» потому именно и стала влиятельным органом, что ее руководители одержимы были желанием «побить» такого Левиафана прессы, как «Таймс». В «Миррор оф Парламент» нравы были патриархальные, а из «Кроникль» любой сотрудник вылетел бы немедленно, если бы проявил легкомысленное отношение к своим обязанностям.

Чарльз это знал. И он знал, что отныне его предназначают главным образом для репортажа бесчисленных политических митингов и собраний. Для такой работы у него было преимущество перед другими, более опытными, газетными работниками — его познания в стенографии.

Пока шли переговоры с редакцией «Кроникль», он задумал рассказ для капитана Холленда. В рассказе надлежало участвовать холостяку мистеру Дампсу, которого племянник уговорил стать крестным отцом его новорожденного сына. Дампса надо было нарисовать мизантропом, который совсем не рад чести стать крестным отцом. После церемонии крещения, в течение которой мистер Дампе держал себя героически, надо описать и вечерний прием у счастливых родителей…

Описание званого вечера у счастливых родителей было необходимо. Потому что «неожиданная» концовка, придуманная Чарльзом, связана была со спичем, который произнесет мистер Дампе.

Опять званый вечер, и снова спич. Правда, в «Обеде на Поплер Уок» — не званый вечер, а званый обед, но, увы,

это почти одно и то же. Званые вечера и в «Миссис Джозеф Портер» и в «Хорэшио Спаркинсе», а спич уже использован в «Обеде на Поплер Уок». Уф! Выдумывать сюжет рассказа — дело нелегкое. Но спич необходим и в новом рассказе, который можно озаглавить «Крестины в Блумсбери».

Спич в честь новорожденного необходим потому, что в устах мизантропического холостяка он прозвучит совсем не так, как полагается спичу. Вместо бодрящих слов, полных надежды на счастливое будущее новорожденного, гости и родственники мистера Киттербелля-отца услышат нечто совсем неподходящее — описание тех напастей, которые ждут в жизни невинного, беспомощного младенца… Самые мрачные мысли о судьбе невинного младенца возникнут у всех присутствующих, родительница его в слезах выбежит из комнаты, увлекая за собой потрясенных особ женского пола, а сам оратор будет крайне доволен своей речью и вернется домой в самом завидном расположении духа.

Чарльз перечитал рассказ прежде, чем отнести в «Монсли Мэгезин». Рассказ ему понравился, нужды нет, что во всех четырех скетчах есть некоторое однообразие, зато юмор в описании участников — например, молодого мистера Дэнтона, «души общества», или самого мистера Дампса — ей-ей не уступает фильдинговскому. Легкий юмор, совсем не грубый, непохожий на юмор старика Смоллета, который любил иногда паясничать, словно писал для балагана. И мистеру Холленду понравился рассказ; он поместил «Крестины в Блумсбери» в апрельском номере «Монсли Мэгезин». Но снова рассказ был без подписи.

Парламентская сессия кончилась. Чарльз мог теперь уйти от доброжелательного Джона Барроу из «Миррор оф Парламент» в «Кроникль». Там, в редакции, он мог похвастаться своими завоеваниями на литературном поприще. Теперь он уже не начинающий писатель, у него есть имя.

Пока это надлежало понимать буквально. В августовском номере «Монсли Мэгезин» под заглавием второго рассказа «Меблированные комнаты» каждый мог прочесть это имя — «Боз». Первый рассказ «Меблированные комнаты» был напечатан в майском номере еще без подписи. В августе мистер Холленд согласился, наконец, окрестить своего сотрудника.

Но в редакции «Кроникль» на литературные успехи Чарльза никто не обратил внимания. В редакции «Кроникль» от репортера требовалась профессиональная сноровка, и сам Шекспир не добился бы благоволения редактора, мистера Блека, ежели бы не проявил способностей репортера.

Чарльз оказался расторопным репортером, выполняя первое ответственное поручение редакции. Но он был побит репортерами «Таймса». В своем поражении он не был повинен, но редакция «Кроникль» не интересовалась, кто виноват. Факт был налицо: отчет о банкете и о речах в честь виновника торжества, лорда Грея, появился в «Кроникль» на сутки позже, чем в «Таймсе». Лорд Грей покинул свой пост премьера и проследовал в Эдинбург, где его чествовали банкетом. Редакция «Кроникль» послала опытного корреспондента и ему в помощь дала Чарльза. Мистер Блек тешил себя надеждой, что двое его людей смогут доставить отчет о банкете раньше репортеров «Таймса». Но «Таймс» послал не двух людей, а четырех, и вручил им неограниченные суммы, помогавшие мчаться, как ветер, загоняя почтовых лошадей.

И Чарльз вместе со своим старшим товарищем был побит. Редакция мистера Блека убедила его, что слава Боза не стоит в редакции «Кроникль» ни фартинга.

Здесь, на новой работе, он понял, что крупная газета требует от репортера весь день, иногда и ночь.

И как можно распределить время между газетой и рассказами Боза, когда приходится по первому приказу бежать

в контору пассажирских карет и мчаться туда, где необходимо присутствие репортера «Кроникль», знающего стенографию?

Но, как бы то ни было, надо выкроить время для рассказов Боза. И Чарльз пишет для сентябрьского и октябрьского номеров «Монсли Мэгезин» два скетча.

Но затем в двух следующих номерах читатель не находит скетчей Боза. Поручения редакции «Кроникль» сыплются одно за другим.

И Чарльз мчится на избирательные митинги, на собрания, на банкеты. Кареты, запряженные четверкой, мчат его из одного городка в другой по дорогам, которые только на планах графств кажутся образцовыми. Чарльз еле успевает выскакивать у придорожных гостиниц, чтобы закусить. Боясь опоздать, он нередко не останавливается на ночлег и спит в карете. Лошади не жалеют сил, когда пассажир не жалеет шиллингов на виски кучерам, и карету швыряет из стороны в сторону, и пассажира подбрасывает так, что голове грозит серьезная авария.

Но теперь он узнает английскую провинцию. Он узнает хозяев придорожных гостиниц и ресторанных слуг всех сортов, в таком изобилии вошедших позже в его книги. Он узнает кучеров, завсегдатаев у буфетной стойки, и кочующих по дорогам Англии сомнительных джентльменов, не поладивших с законом. Он знакомится со всеми средствами передвижения и слушает бесконечные рассказы о дорожных приключениях. В провинциальных городках он видит новые для него персонажи — от мэра, считающего себя ничуть не ниже по положению, чем лондонский, и мирового судьи, младенчески-невинного в области законоведения, до приходского бидля — курьера, — от которого зависит судьба бедняка и часто — его жизнь. Он видит провинциальных сквайров, кирпичнолицых и невежественных во всем, что не связано с травлей лисиц и секретом волшебной варки октябрьского

эля. Он запоминает местных атторни и прочих законников, более элементарных, чем лондонские, но не менее искушенных в обращении с законом, послушным в их руках, как ребенок. Он запоминает провинциальных джентльменов, «делающих» общественное мнение, и поэтов, «делающих» поэзию. И те и другие, будто в кривом зеркале, отражают лондонские оригиналы и остаются навеки закрепленными в его памяти гротесками, едва ли не самыми комическими среди всех остальных персонажей шутовского хоровода. Он видит «светских» львов и львиц, сошедших с самых веселых страниц Смоллета, но одетых по моде тридцатых годов девятнадцатого века.

Каждая его поездка приносит ему целую коллекцию персонажей, еще более забавных, чем герои его рассказов, украсивших страницы «Монсли Мэгезин».

Он здоров, он возбужден успехами у капитана Холленда, он полон решимости «побить» не только своих сотоварищей по репортерству в «Кроникль», но и непобедимых репортеров «Таймса».

Вот мистеру Стенли приходит охота поехать в Глазго и произнести там речь. Мистер Стенли — восходящая звезда, которая станет известна миру под именем лорда Дерби, и за ним тянутся репортеры, а Чарльз среди них. Вот прославленный ирландец О'Коннель или популярный политик мистер Шиль выступают где-нибудь в северных графствах, и Чарльз мчится за ними в любую погоду. И таким же галопом мчится он назад в Лондон; тусклая лампочка мерцает в почтовой карете над окошком, он расшифровывает свои записи, на больших почтовых станциях его ждет верховой курьер из «Кроникль». Всадник выхватывает у него листки и, как ветер, летит в Лондон. А Чарльз, ошалевший от гонки, снова приникает к оконцу и снова строчит, и качается,

как пьяный, из стороны в сторону, и подскакивает и, наконец, — кррак! — летит головой в угол…

Газета оплачивает поломки карет во время этих метаний, увлекательных еще своей новизной.

«Но кто мне оплатит сломанную шею?» — думает он после очередной аварии.

17. Боз видит Лондон

Целыми неделями он не возвращается в свои комнатки на Фарниваль Инн. И все же ему удается написать к январскому номеру «Монсли Мэгезин» скетч. Он называет его «Случай из жизни мистера Уоткинса Тоттля». Рассказ с продолжением, — в следующем номере должно появиться это продолжение.

Когда он вручал «Мистера Тоттля» капитану Холленду и заключал джентльменское соглашение о печатании продолжения скетча, он не подозревал, что в февральском номере подпись Боз в последний раз украсит страницы «Монсли Мэгезин».

Однако случилось именно так.

Мистер Блек, редактор «Кроникль», вызвал его в свой кабинет и поставил в известность, что отныне газета будет иметь два выпуска — утренний и вечерний. И он — Чарльз Диккенс — мог бы оказаться полезным сотрудником не только утреннего, но и вечернего выпуска. Вечерний выпуск — «Ивнинг Кроникль» — будет редактировать мистер Джордж Хогарт, музыкальный и художественный критик газеты. К Хогарту и надлежит Чарльзу обратиться. Для него найдется работа.

Чарльз понял, что его старания «побить» репортеров «Таймса» не прошли незамеченными. Мистер Блек был доволен им. Чарльз был польщен.

Он отправился к мистеру Хогарту. Как и большинство главных сотрудников «Кроникль», Хогарт был шотландец; традиционные бакенбарды обрамляли весьма симпатичное лицо. Чарльзу он понравился с первого взгляда.

Хогарт знал рассказы Боза. Он следил за «Монсли Мэгезин». И он предложил Чарльзу печатать свои рассказы в «Ивнинг Кроникль». Хогарт мог бы предоставить ему столбцы «Ивнинг Кроникль» еженедельно.

Чарльз был возбужден. Печатать регулярно рассказы в «Ивнинг Кроникль»! Но мистер Хогарт обратил его внимание на то, что ежедневная вечерняя газета нуждается в рассказах иного типа, чем, скажем, ежемесячный журнал. Читатели газеты не ищут в опусах, помещенных на ее столбцах, каких-нибудь острых сюжетов, хотя бы даже таких занимательных, как в скетчах Боза, хорошо известных мистеру Хогарту.

Комплимент пришелся Чарльзу по душе. Но он не совсем ясно понимал, какого типа скетчи придутся по душе читателям вечерней газеты.

Мистер Хогарт объяснил. Скетч, написанный для газеты, предназначен не только развлекать читателя, но и расширять его кругозор. Скетч должен служить источником для расширения познаний читателя. В легкой, занимательной форме скетч должен поставлять читателю некоторые конкретные сведения — например, о разных сторонах нашей жизни, или о бытовых явлениях, или, наконец, о том, как живут, работают и развлекаются жители города. Читатель проходит мимо многих явлений, не замечая их, ибо они привычны. Но у писателя взгляд зоркий, и он сразу подметит в том, что происходит вокруг, совсем незнакомые черты в очень знакомых предметах. Прочтя такой скетч, и читатель будет видеть лучше эти предметы или зорче наблюдать эти явления. Писатель как бы снимет пленку с глаз читателя.

Вот почему в газетном скетче фантазия писателя может не утомлять себя измышлением каких-то сюжетов или концовок. Писатель должен только зорко вглядываться в явления действительной жизни и записывать свои наблюдения. Пусть эти записи будут набросками, художники их так и называют — набросок, этюд, скетч. Они могут стать заготовками для какого-нибудь огромного, замечательного полотна, которое писатель потом напишет. Но газете и ее читателю нужны именно такие скетчи.

Эти наброски или скетчи должны быть значительно короче сюжетных скетчей, которые мистер Хогарт читал за подписью «Боз» в «Монсли Мэгезин».

Чарльз хотел было сказать, что его фантазия отнюдь не утомляется, придумывая сюжеты и концовки. Наоборот, это занятие очень увлекательное. Но он этого не сказал. Мистер Хогарт знает, что ему нужно для газеты, иначе он не был бы редактором. К тому же подобные наброски Чарльз читал в газетах, — значит, они нужны читателю. Писать их, нужно думать, не так занимательно, как скетчи для «Монсли Мэгезин». Но разве можно отказываться от такого предложения?

Когда он шел домой, пообещав мистеру Хогарту выбрать тему для скетча, он подумал, что писание этих скетчей потребует от него упражнения наблюдательности изо дня в день. Он любил запоминать мелочи, мало заметные черты — и в человеческом лице и в костюме, и в манере говорить, и в повадке, и в предметах неодушевленных — какой нелепый дом стоит на углу Фарниваль Инн! — но теперь это запоминание, можно сказать, так же будет ему необходимо, как в свое время запоминание крючочков в стенографии.

И лица человеческие, и предметы иногда бывают похожи на эти смешные стенографические каракули. Почему-то лучше всего запоминались именно такие смешные каракули, которые можно найти повсюду, нужно только быть внимательным.

А все-таки очень жаль, что не надо придумывать такие поступки героев, которые приводили бы к неожиданному концу. В описании того, что он видел вокруг себя на улицах Лондона, нет нужды подстегивать воображение.

Для первых скетчей Чарльз избрал именно такие описания будней лондонской уличной жизни. Мистер Хогарт одобрил эту идею.

Но теперь Чарльз уже не был начинающим автором. «Морнинг Кроникль» платила ему за репортаж пять гиней в неделю. Тем не менее он не склонен печатать без гонорара свои скетчи.

Газета согласилась набавить по две гинеи еженедельно за скетчи для вечернего издания.

В последний день января 1835 года на столбцах «Ивнинг Кроникль» появился первый газетный скетч Боза.

Огастес Диккенс был очень польщен, увидев свое прозвище на страницах большой газеты.

Скетч назывался «Стоянка наемных карет». Стоянки наемных карет были хорошо знакомы Чарльзу. Он мог бы поклясться, что никогда не видел ни одной кареты, колеса которой окрашены были в желтый цвет того же оттенка, что и кузов. И во всем Лондоне найти чистой кареты — это тоже бесспорно.

«А почему в сущности наемные кареты должны быть чистыми? Наши предки нашли их грязными — и такими же оставили нам».

Чарльз писал о том, что всегда интересовался наемными каретами, хотя правил лошадьми редко, ибо, когда он брался за это дело, у него была плохая привычка слетать с козел. И он был горячим другом лошадей, хотя никогда не ездил верхом, ни одним седлом не наслаждался так, как седлом барашка, и, следуя своим наклонностям, никогда не следовал за гончей стаей…

Читатель должен был оценить легкий юмор острот, ведь он должен знать, что седло барашка — весьма вкусное блюдо и ничего общего не имеет с седлом.

И весь скетч был в таком юмористическом гоне: описание отъезда почтенной старой леди домой на лоно природы, после месячного пребывания в Лондоне, ее проводов дочерью, внуками и слугами; описание отъезда в церковь невесты с подружками, а вслед за ней жениха с шаферами, небрежно перекидывающего через дверцу красную шаль, чтобы скрыть от пешеходов номер наемной кареты, — пусть прохожие думают, что у джентльмена собственный выезд…

Чарльз написал «Стоянку» в один присест, ночью, — днем он был занят обычной беготней.

Мистер Хогарт прав, для таких скетчей нисколько не надо утомлять фантазию.

Какую тему избрать для второго скетча?

Стоило только внимательно взглянуть вдоль улицы, чтобы темы рождались будто по волшебству: вот театр, там суд Докторс Коммонс, вот афиша о ярмарке в Гринвиче, мимо громыхает арестантский фургон, мальчишка везет тележку с плакатом о танцевальной академии, а вон там — захудалый ломбард…

Чарльз шел вечером по Флит-стрит из редакции. Ломбард, вернее лавка ростовщика, дающего ссуды под залог вещей… Каждый предмет, на который падает взгляд, может дать тему для скетча в газету. И эта лавка ростовщика…

Но о лавке ростовщика юмористического скетча не напишешь. Слишком памятны посещения такой вот лавки в те дни, которые привели к каторге на фабрике ваксы.

А почему не написать скетча, который напомнил бы читателям «Ивнинг Кроникль», респектабельным читателям, о том, что в Лондоне рядом! с довольством и роскошью ютится беспросветная нужда… Каторга на фабриках бесчисленных

Лемертов предназначена не для детей респектабельных читателей «Ивнинг Кроникль», пусть почтенные читатели узнают о том Лондоне, который они стараются не замечать.

В сущности, это очень интересно обратиться к десяткам тысяч читателей с описанием горя людского и призвать всех и каждого к решительной борьбе против несправедливости судьбы.

Надо только зацепиться за удачную тему.

Чарльз в этот момент за что-то в самом деле цепляется.

Человеческая нога. Пьянчужка в обтрепанной куртке сник на тротуаре, облокотившись о стену дома, и собирается прикорнуть.

Полисмен уже спешит к нему. Флит-стрит — неподходящее место для отдыха обтрепанных субъектов. Это не Уайтчепль и не Сохо.

Неподалеку распахивается дверь, над которой щегольская вывеска: «Джин». Волна света заливает лежащего. Сомнительно, правда, чтобы эта несчастная жертва пристрастия к джину, которую не очень любезно трясет за плечи полисмен, сомнительно, чтобы она оставила свои шиллинги в пышном заведении на Флит-стрит. Здесь посетители распивают можжевеловую водку в залах, залитых морем света и напоминающих залы самых дорогих ресторанов. Этот несчастный оборванный пьянчуга, должно быть, шел издалека, из тех кварталов, где у буфетных стоек маленьких грязных комнат теснятся такие же оборванцы.

Вот и тема… Заведения по продаже джина. Пусть читатели подумают о том, какое зло приносит джин. Сколько их, несчастных, погубленных своей неутолимой страстью…

Чарльз написал скетч быстро.

Юный журналист увлекательно описывал горячку, охватившую Лондон и всю страну, — возникновение заведений по продаже джина, от фешенебельных до низкосортных.

Он рисовал сценки у буфетных стоек, он писал о том, что респектабельные леди и джентльмены отвернутся с брезгливостью от изображения обычных их завсегдатаев — пьяницы и падшей женщины.

Это был скетч, непохожий ни на рассказы Боза, ни на «Стоянку наемных карет». Это не был юмористический скетч. Автор не находил ничего комического в пристрастии англичан к возбуждающим напиткам. Автор хотел, чтобы читатели поняли то, что было ему понятно. «Заведения по продаже джина — великий порок в Англии, — писал он, — но грязь и нищета еще страшнее. И пока мы не улучшим жилища для бедняков, и пока мы не убедим нищего, умирающего с голода, не искать временного забвения его нищеты и не окажем ему помощи, достаточной для того, чтобы каждый член его семьи получил кусок хлеба, — до той поры заведения по продаже джина будут расти и процветать».

Мистер Хогарт одобрительно улыбнулся, дойдя до этого пункта. Похоже на то, что у молодого человека есть какая-то тяга к социальным реформам. Это хорошо, «Кроникль» — газета вигов, которым не чужды реформы. И у молодого человека есть искренность, — мистер Хогарт опытный журналист и его не обманешь притворством. Юноша умеет иронизировать, когда пишет: «Если общества трезвости порекомендуют средства против голода, грязи и дурного воздуха, или учредят диспансеры для бесплатного распределения бутылок с водой Леты, заведения по продаже джина отойдут в прошлое…» Такая ирония — не пустое зубоскальство; если молодой человек пойдет по пути реформ, у него есть будущее. Порукой тому несомненное литературное дарование, умение зорко видеть комическое в людях… Ну что ж, поглядим, куда поведет юношу недовольство жестокими законами жизни…

Мистеру Хогарту пришлось ждать только неделю, чтобы узнать это. Чарльз скоро принес следующий скетч. Это было

описание отъезда из Лондона в утренней карете. Кому, как не ему, ведома эта процедура отбытия кареты в ранний утренний час, когда зимой на лондонских улицах еще совсем темно!

Нет, юный журналист еще не решил избрать своей профессией исправление жестоких законов жизни. И это хорошо. Но, должно быть, он узнал о бедности больше, чем позволяет заключить его веселое, всегда возбужденное лицо и постоянная жизнерадостность, такая заразительная. В новом скетче, «Церковный приход», он снова писал о бедности и о несчастьях человеческих. Он так прямо и начинал утверждением, что со словом «церковный приход» связано много рассказов о горе и нищете.

Но он любит и умеет смеяться. И потому его скетчи нравятся читателю, и ему — мистеру Хогарту, и главному редактору мистеру Блеку. Боз так забавно, несколькими штрихами, опишет любого участника своего скетча, что читатель проглатывает заодно с юмором и метким описанием недовольство мистера Боза порядками, установленными на нашей планете. И это недовольство не застревает у читателя в горле, как бывает нередко, когда он читает радикальных социальных реформаторов. Потому что читатель «Кроникль» не очень любит этих радикалов-фанатиков, надо сознаться.

Во всяком случае, юный Боз может выбирать темы для скетчей по своему вкусу. Он умеет писать для газеты. Надо будет только напоминать время от времени, что почтенные читатели «Кроникль» не любят даже намека на резкие суждения. Прежде всего — мера и такт…

Мистеру Хогарту нравится новый сотрудник «Ивнинг Кроникль». Красивый молодой человек, в длинных каштановых кудрях, с ясными темно-голубыми глазами, очень изящный, следит за своим костюмом. Может быть, чуть-чуть хрупок — вероятно, слаб здоровьем — и мало походит

на спортсмена. Почему бы не пригласить его домой? И Кэт и Мэри он должен понравиться.

Чарльз был польщен приглашением и явился в дом Хогартов.

Его встретили очень приветливо. И жена Хогарта и две его дочери читали скетчи Боза в журнале и в газете. Скетчи Боза нравились им. Как непохож этот визит на посещение дома банкира Биднелла!

Он приглядывался к дочерям. Старшая — Кэт. Ей лет двадцать. Прекрасный цвет лица, прямой тонкий нос, открытые голубые глаза, серьезность. И вторая — Мэри, шестнадцати лет; она тоньше, бледнее, лицо ее постоянно меняется — от впечатлительности и нервности. Появилась и третья дочь — семилетняя Джорджина, очень похожая на Мэри.

Когда Чарльз уходил, его пригласили бывать запросто.

Он шел домой и думал о том, что второй такой милой и дружной семьи не сыщешь. Кажется, Кэт немножко своевольна, но все-таки она прелестна…

18. Лондон читает Боза

Скетчи, помещаемые Чарльзом в «Ивнинг Кроникль», можно было бы озаглавить «Лицо Лондона». Недели шли, он записывал каракулями речи на митингах, зарисовывал Лондон для мистера Хогарта. В «Ивнинг Кроникль» читатели прочли и о том, как лондонцы проводят свой воскресный отдых, и об обедах, какие даются общественными учреждениями — от торговых и ремесленных компаний, бывших некогда гильдиями, до ежегодного банкета лорд-мэра в Гильдхолле. Читатели прочли и о трехдневной ярмарке в Гринвиче, под Лондоном, и о лондонских типах, которые он наблюдал у входа в Сен-Джемский парк.

Он писал скетчи, метался по городским митингам и ходил все чаще и чаще к Хогартам. Вскоре после первых визитов

он должен был сознаться, что чувствует себя плохо, когда не видит Кэт. Образ Мерайи Биднелл решительно потускнел. Кажется, я начинаю влюбляться в Кэт, подумал он как-то, возвращаясь от Хогартов.

Но это не мешало ему работать. Даже требовательный Блек, главный редактор, одержимый идеей конкурировать с «Таймсом», был милостив к нему. Поэтому как награду следовало расценивать важное поручение, которое получил Чарльз совместно с тем же самым опытным, старым журналистом, с которым он понес поражение в состязании с четверкой таймсовских репортеров.

Надлежало устремиться на запад, вслед за прославленным лордом Росселем. Один из авторов билля о реформе отправлялся в избирательную поездку. На этот раз «Кроникль» не должен быть побит. Речь лорда Росселя должна примчаться первой к мистеру Блеку.

Бессонные ночи. Лихорадочная спешка. На рытвинах и обочинах дорог шее грозит самая серьезная опасность. Но репортеры «Таймса» посрамлены. Мистер Блек доволен Бозом. Весьма доволен!

Лето идет. Снова поездка в провинцию, на избирательные собрания. И Чарльз работает без устали для двух выпусков «Кроникль». В вечернем выпуске — целая сюита скетчей, посвященных «нашему церковному приходу», зарисовки приречной сумятицы на набережных Темзы, частных театров, лондонских улиц в ранние часы утра, лавки ростовщика…

Читая «Лавку ростовщика», мистер Хогарт щурит глаза и решает, что это учреждение должно быть хорошо знакомо юному Бозу. Настойчивей, чем всегда, Боз возвращается в этом скетче к жестоким законам жизни: «Из многочисленных мест нищеты и горя, которыми, к несчастью, так изобилуют лондонские улицы, нигде не встретишь таких потрясающих сцен, как в лавке ростовщика». Юный Боз почти нигде

не забывает зарисовать бедный люд, но в этом скетче особенно старательно дана и топография ссудных лавок, и портреты несчастных их завсегдатаев. Нет, это не профессиональное безразличие к человеческому горю голодных людей. Никто не дает ему поручений писать о бедняках. Но, когда Боз не склонен посмеяться и подшутить над своими персонажами, его скетчи получаются печальные, и всегда они; о горестях бедняка. Хорошо, что такое расположение духа не часто овладевает молодым человеком. В противном случае пришлось бы указать ему, что читатели без особого удовольствия станут перед обедом искать Боза на столбцах «Ивнинг Кроникль».

Но теперь они ищут. Читатель знает Боза. Узнали его и издатели.

Издатель Тегг предложил ему написать книгу скетчей на те же темы, что и скетчи в «Ивнинг Кроникль». Но их нужно как-нибудь объединить, писатель должен придумать какую-нибудь фигуру. Назвать книгу можно именем этого персонажа, а сценки, которые развернутся перед читателями, — райком. Тегг посулил целых сто двадцать фунтов за книгу. Это было соблазнительно, Чарльз согласился.

Но писать книгу не начинал. И не только потому, что решительно не было времени. Книга — это месяцы труда, а разве не более приятно видеть еженедельно подпись «Боз» под заглавием нового скетча?

Иное дело — предложение газеты «Белль'с Лайф». Там тоже ищут сотрудничества Боза, газете нужны рассказы. Редактор «Кроникль» мистер Блек будет, конечно, возражать против участия Боза в другой газете.

Приходится выдумать для «Белль'с Лайф» другой псевдоним — Тиббс. С сентября того же, 1835, года Тиббс начинает писать в новой газете, начинает со скетча, посвященного описанию небезызвестной лондонской площади Севен Дайльс, что в переводе значит «Семь циферблатов».

На одном из обедов у Хогарта он встречается с молодым джентльменом. Джентльмену лет тридцать, не больше, но он уже известен. Только год назад вышел роман «Руквуд», исторический роман, и читатель с особым интересом читал в романе о знаменитом бандите Дике Терпине, повешенном столетие назад. Страшный Дик, гроза больших дорог, герой баллад, вышел у мистера Энсуорта совсем не таким малопривлекательным, каким казался своим жертвам. Читатели «Руквуда» даже почувствовали к нему симпатию, и это была заслуга мистера Энсуорта, подражавшего, надо сознаться, непревзойденному сэру Вальтеру Скотту.

Несмотря на свое расположение к грозному разбойнику, мистер В. Хэррисон Энсуорт не обладал ни одной чертой, отличающей реального Дика Терпина. Он был приветлив, благожелателен, и с первых же слов Чарльз почувствовал к нему доверие.

Скетчи Боза были хорошо известны Хэррисону Энсуорту. Он полагал, что такие скетчи не должны затеряться на страницах ежедневной газеты, они достойны иной судьбы.

Мистер Мэкрон — энергический издатель, у него верный глаз, и он не пройдет мимо предложения Чарльза издать скетчи отдельной книгой. Автор «Руквуда» в этом почти уверен и охотно познакомит Чарльза с мистером Мэкроном.

Чарльз не очень верил в такую готовность мистера Мэкрона вложить деньги в убыточное предприятие и не торопился с визитом к Мэкрону.

По-прежнему день его был заполнен. Утомительные митинги и собрания, надоедливая расшифровка стенограмм, обдумывание темы для рассказа в «Белль'с Лайф». В октябре он дал четыре рассказа. Каждый из них — сюжетный; фантазия Чарльза отдыхала в газете мистера Блека, и он соскучился по изобретению сюжетов. «Белль'с Лайф» не была согласна с мистером Блеком из «Кроникль», что сюжетные

рассказы подходят больше для журнала. Мистер Блек не был склонен изменить свои взгляды по сему вопросу, но, разумеется, не порвал с Чарльзом отношений. Что ж, если Боз захотел снова вернуться к рассказам, — это его дело, пусть дает для «Кроникль» свои стенограммы. Такого же мнения был и мистер Хогарт.

Мистеру Хогарту продолжал нравиться этот жизнерадостный, способный сотрудник. В нем было много обаяния, он нравился и леди и джентльменам — длиннокудрый, хрупкий на вид молодой человек, нервный, всегда оживленный и энергический. Мистеру Хогарту никогда не надо было дважды повторять свои приглашения и не требовалось от него проницательности, чтобы угадать причину столь частых визитов Боза.

В один прекрасный день Чарльз встретился с автором «Руквуд». Мистер Энсуорт заговорил об историческом романе. Он скоро кончит второй роман, на этот раз из шотландской жизни, сюжет романа — приключения шотландского кавалера. Чарльз тоже должен подумать об историческом романе.

Чарльз промолчал. Об историческом романе он еще не думал. Но почему бы, вправду, не подумать?

Они условились вскоре пойти к Мэкрону. Чарльз не очень торопился нанести этот визит. Мэкрон, возможно, предложит заключить договор на новую книжку скетчей, но разве в сутках не двадцать четыре часа, и разве несколько раз в неделю не тянет неудержимо провести несколько часов у Хогартов? Книга для Тегга еще не начата и едва ли есть смысл заключать новый договор. Что же до издания скетчей Боза отдельной книгой — на это трудно рассчитывать, несмотря на оптимизм Энсуорта.

Но у Мэкрона его ждал сюрприз. Приятная неожиданность, большая удача.

Мистер Мэкрон, как и следовало думать, знал имя Боза. Но когда Энсуорт представил Чарльза Мэкрону, тот решил, что Боз также задумал предложить ему издание исторического романа.

В ответ Чарльз пробормотал что-то неопределенное: он действительно подумывает об историческом романе. Скажем, вот такая тема: мятеж лорда Гордона, вернее не мятежу а волнения в Лондоне в 1780 году, вызванные некоторыми уступками правительства в пользу католиков. Но эта тема требует большой подготовительной работы, а он, к сожалению, очень занят в настоящее время. Нет, он пришел с предложением издать его скетчи отдельной книгой.

Мистер Мэкрон, к его удивлению, немедленно согласился.

Когда Чарльз выходил от него, Хэррисон Энсуорт торжествовал, а он с трудом мог поверить неожиданной удаче. Сто фунтов за переиздание напечатанных скетчей да в придачу небольшой процент с каждого проданного экземпляра книги.

Мэкрон предполагал издать два томика. Они выйдут в феврале следующего, 1836, года. Для издания отдельными томиками следует отобрать лучшие скетчи.

Книги должны быть иллюстрированы. Иллюстратором Мэкрон пригласил Крукшенка.

Сатирическая графика Джорджа Крукшенка была широко известна не только среди любителей книг. Он добился популярности еще пятнадцать лет назад, когда иллюстрировал памфлеты Хона в защиту королевы Каролины. Его карикатуры в «Юмористе», в «Остриях юмора» и в «Смеси Бентли» упрочили эту известность, а знатоки книжной гравюры высоко ценили его иллюстрации к «Немецким народным сказкам» бр. Гриммов и к «Демонологии и ведовству» Скотта. Нужно думать, что Джорджу Крукшенку придутся по вкусу скетчи Боза.

Но Чарльз недолго пребывал в прекрасном расположении духа. Чем сильнее он влюблялся в Кэт, тем больше опасался, что Хогарты могут последовать примеру Биднеллов. Правда, Хогарт не банкир, а художественный критик и редактор, но все же было страшно. Да и Кэт может отказать.

Чарльз решился. Разговор с мистером Хогартом был короткий. Тот не возражал против брака, если, конечно, Кэт ничего не имеет против. И если, добавил мистер Хогарт, у Чарльза есть какие-нибудь планы касательно увеличения заработка. Правда, Мэкрон подносит нечто вроде свадебного подарка, но такие подношения бывают весьма редко.

Чарльз согласился с мистером Хогартом. Но прежде всего надо спросить у Кэт, согласна ли она стать его женой.

Он немедленно пошел к Кэт. Он волновался, он тяжело дышал, — волнистые каштановые волосы вдруг начали ему мешать, пришлось их откинуть.

Кэт смотрела на него и знала, что он ей скажет. Отец пророчит ему большое будущее, да и ей он очень нравится. Никогда она не видела его в унынии. Или, может быть, он умеет собой владеть? Вряд ли, потому что он очень эмоционален. Должно быть, потому она не видела его в унынии, что он всегда возбужден и в его памяти постоянно толпятся люди, люди и люди, которые попадают туда и там застревают. Он всегда о них говорит и ему некогда, как видно, скучать и унывать.

Возбужден он и теперь, и она, поняв, почему он пришел и молчит, и смотрит на нее пристально, тоже заволновалась.

Когда, наконец, он сказал ей, зачем он явился к ней раньше назначенного в этот день часа, она согласилась стать его женой.

Свадебное торжество отложили на несколько месяцев.

За какую приниматься работу, которая могла бы увеличить заработок? Фунты Мэкрона растают быстро, а стенограммы

митингов и еженедельные рассказы в «Белль’с Лайф» приносят все те же семь гиней в неделю. Помощь отцу, оплата более дорогой квартиры, забота о благопристойном внешнем своем виде — все эти расходы не позволяют мечтать о том, что у Кэт будут лишние несколько гиней в месяц на устройство домашнего уюта.

Писать ли рассказы или, может быть, последовать примеру Энсуорта и прославиться историческим романом?

Сердце Чарльза полнилось любовью к невесте, голова — проектами, а день заполнен был до последней минуты. Теперь, когда он бывал у Хогартов ежедневно, рабочее время еще сократилось. А тут близкий выход «Скетчей Боза» — надо отобрать лучшие скетчи и заново их отредактировать, быть может, что-нибудь добавить. И решение о новой работе не рождалось.

Часть вторая
Слава

1. Какой основать клуб?

Надо было работать. Диккенс сел за стол, вытащил из ящика листки со стенографическими иероглифами, проверил, остры ли перья, и приступил к расшифровке записей.

Он работал быстро. Надо было торопиться, чтобы, закончив расшифровку, мчаться в «Морнинг Кроникль». В дверь постучали.

Вошел коридорный и сообщил, что некий джентльмен хочет видеть мистера Диккенса.

Это было некстати.

Невысокий солидный джентльмен вошел в комнату и медленно обвел ее взглядом; в этой комнате Чарльз работал и спал. Результаты осмотра были благоприятные, — меблировка была самая необходимая, но чистота и порядок могли послужить образцом для любой взыскательной хозяйки.

— Мистер Диккенс? Я — Холл, совладелец издательской фирмы Чепмен и Холл.

Чарльз предложил посетителю стул.

— Мистер Чепмен и я учредили, сэр, издательскую фирму и решили обратиться к вам. Нам известны ваши скетчи в «Кроникль» и в других изданиях. Очень хорошие скетчи…

Чарльз поклонился. Такой отзыв он слышал не впервые.

— Я буду точен, мистер Диккенс. Мистер Уайтхед посоветовал нам обратиться к вам.

— Какой мистер Уайтхед?

— Я имею в виду автора «Джека Кетча». Да, да, того самого…

Конечно, Чарльз знал Чарльза Уайтхеда, поэта и писателя, автора юмористической «Автобиографии» Джека Кетча — палача.

— Итак, мистер Диккенс, мы обращаемся к вам с предложением работать совместно с Робертом Сеймуром, которого вы должны знать. Вот, вот, прекрасный карикатурист. Он задумал дать серию карикатур — приключения членов охотничьего клуба. Он хотел бы назвать эту серию «Клуб Немврода»... Заглавие, мы полагаем, не будет загадкой. Каждый знает этого мифического бога охоты. Как вы относитесь к этой идее?

— Идея превосходная, мистер Холл, но что должен делать я?

— От вас мы ждем текста — подписей под рисунками. У вас есть какие-нибудь возражения?

Чарльз молчал и размышлял. Предложение не вызвало у мистера Боза молодого энтузиазма. Мистеру Холлу это было очевидно. Как только писатель становится известным хотя бы в узком кругу, он делается привередливым!

— Имейте в виду, мистер Диккенс, — продолжал деловой мистер Холл, — что наша фирма... скажем так — молода, и мы возлагаем большие надежды на это начинание. Поэтому мы не остановимся перед затратами. Выпуски будут ежемесячными. Ваш гонорар — от двенадцати до четырнадцати фунтов в месяц.

Этот мистер Холл явился весьма кстати, если принять во внимание свадьбу, назначенную на март. Но предложение заманчиво куда меньше, чем четырнадцать фунтов в месяц.

— Видите ли... — замялся Чарльз, — публика видела уйму карикатур на охотников. Признаться, будь я на месте публики, я бы прямо сказал, что эта тема мне надоела. Вы простите, что я говорю так откровенно. И к тому же... быть может, мне будет легче разработать самостоятельно план этих приключений. Я еще не вижу, какого типа должен быть этот клуб. Словом, если вы разрешите мне подумать несколько дней, мы придем к соглашению, я в этом не сомневаюсь...

Мистер Холл, должно быть, деловой человек. Этот молодой Боз способен, иначе Уайтхед его не стал бы рекомендовать. Почему бы не дать ему подумать?

— Ну, что ж... От имени мистера Чепмена и своего я согласен выслушать ваше предложение, мистер Диккенс. На днях я снова зайду. Вот адрес нашей фирмы.

Он протянул фирменный бланк и удалился.

Чем больше думал Чарльз о предложении Холла, тем меньше нравилась ему идея «Клуба Немврода». Идея клуба сама по себе не плоха. Вот, например, старина Аддисон столетие назад изобрел неплохой клуб для своего прославленного листка. Его «Зритель» известен каждому школьнику, хотя очевидно, что следовать за Аддисоном никуда не годится. Члены его клуба в сущности ничего не делают и только разговаривают на разные темы, которые нужно было обсудить Аддисону и его другу Стилю. Теперь читатель куда требовательней, чем в аддисоновские времена, и не станет он читать разглагольствования авторов, приписываемых ими сэру Роджеру де Коверли и его приятелям.

Читатель должен заинтересоваться и текстом и рисунками с первого выпуска. Это очевидно. Заинтересовать читателя могут только приключения. Они, конечно, должны быть забавными. Сеймур умеет смешить своими гравюрами. Это тоже очевидно. Но изобрести надо такой клуб, который позволил бы автору пустить его членов навстречу приключениям. Лучше всего вывезти их из Лондона. Тракты пассажирских карет из Лондона в столичные предместья и такие городки, как Рочестер, Четем, Ипсвич и другие, хорошо ему известны, пожалуй не хуже, чем Лондон. Создание клуба облегчит ему возможность выпроводить под благовидным предлогом участников на поиски приключений.

Завязка должна быть проста, потому что ежемесячный выпуск очередных глав мешает сложной завязке. Завязка

должна быть как можно проще, — возможно, что читателю попадутся на глаза отдельные выпуски, он должен с интересом читать каждый выпуск. Когда читатель соберет потом все выпуски, перед ним должен лежать на столе пухлый роман…

Главный герой приключений может быть какой-нибудь ученый педант. Ученые, погруженные в науку, часто бывают смешны, этот ученый педант может погрузиться в какие-нибудь научные вопросы, которые только ему и членам клуба кажутся крайне важными. Конечно, он будет президентом клуба… И ему надо дать в спутники более молодых клубменов, которые взирали бы на него как на учителя…

Молодые члены клуба должны были стать спутниками ученого педанта потому, что Чарльз, не колеблясь, решил отправить их всех в окрестные городки, которое он знал так хорошо, а потом и в те, более отдаленные, где он побывал. Остановка была лишь за тем, чтобы выдумать причину, почему они должны покинуть Лондон. И, наконец, — их первые приключения.

Он погрузился в размышления о клубе, которого еще не существовало.

Что если назвать этот клуб по фамилии главного героя?

Например, вот так, как зовут владельца наемных карет, фамилия его написана желтыми буквами на дверцах проехавшей кареты. Смешная фамилия: Пиквик.

2. Мистер Пиквик пускается в путь

Бедный Боз! Парламент распущен на рождественские каникулы, и теперь он мог бы оставаться у Хогартов подольше. Теперь можно было бы не думать с тоской о том, что ночью еще предстоит расшифровать стенограмму, рано утром отнести отчет в редакцию, а затем отправляться на какое-нибудь дурацкое собрание и записывать словоизлияния доморощенных политиков и думать при этом, что и Кэт, и ее милая

сестра Мэри ждут его и проклинают вместе с ним тяжелую долю репортера. Теперь работы по газете куда меньше, можно даже не так торопиться с очередным скетчем для «Белль'с Лайф» и получше его отделывать. Но договор с Чепмен и Холл, издательской фирмой, правда, еще совсем неизвестной, но, кажется, солидной, заставляет его не идти к Хогартам, а сидеть дома и писать.

Он пишет план первого выпуска своего сочинения — сочинения, которого пока еще нет. На клочке бумаги он извещает свою любимую Кэт о том, что должен засесть за этот план, который нельзя больше откладывать, потому что фирма Чепмен и Холл поручила ему одному осуществить задуманное начинание и это будущее его произведение намерена иллюстрировать гравюрами на дереве. Он и так оттягивал представление плана, а теперь подошел последний срок. В пятницу утром фирма должна иметь проект сочинения и, волей-неволей, он вынужден пойти на самоотречение — сидеть дома и писать. На письмеце он ставит дату: «Среда, вечер, 1835».

Фирма Чепмен и Холл, пока еще неизвестная, но, кажется, солидная, согласилась отказаться от первоначальной идеи «Клуба Немврода». Доводы Чарльза убедили фирму. И мистеры Чепмен и Холл порешили предоставить Бозу свободу в выборе сюжета будущего сочинения. Но мистер Боз должен помнить: выпуски этого сочинения не должны запаздывать. Проект клуба, члены коего объединились для научных изысканий, не вызвал их возражений. Если Боз пошлет несколько членов клуба — пусть это будет Пиквикский клуб — в поездку навстречу приключениям, фирма желает только одного: чтобы эти приключения были юмористическими, занимательными и понравились бы читателю.

Роберт Сеймур тоже отказался от своего предложения. Прекрасно. Он будет иллюстрировать сочинение Боза. Четыре гравюры на дереве ежемесячно, на каждый выпуск.

И Чарльз начал писать «Посмертные записки Пиквикского клуба».

Конечно, среди читателей не найдется такого, который будет доискиваться, один ли мистер Пиквик, президент и основатель клуба, предается научным изысканиям или среди клубменов находятся и другие столь же пытливые умы. Читатель должен удовлетвориться тем, что мистер Пиквик прославил свое имя научным сочинением. Но каким?

Тема должна быть связана с предместьем Лондона. Это позволит отправить мистера Пиквика из Лондона в другие города, а в дороге приключения сами идут навстречу, их не надо изобретать.

Почему бы в таком случае не подтрунить над рыболовами, которые на долгие часы застывают с удочкой в руках, сидя на бережку многочисленных прудов в лондонских окрестностях? Мистера Пиквика можно сделать самой смешной разновидностью этой комической породы — ученым рыболовом, написавшим знаменитый трактат о какой-нибудь мелкой рыбешке. Члены клуба должны быть потрясены научными достоинствами этого ученого труда и, преклоняясь перед гениальными изысканиями ученого в хемстидских прудах, могут послать его для наблюдений уже не над рыбешкой, а над людьми и нравами. Чем высокопарней изложить цели и мотивы, побудившие членов клуба отправить своего президента, а в придачу к нему трех других джентльменов, вон из Лондона — тем комичней будет завязка.

А затем можно забыть о клубе и пуститься с четырьмя клубменами по дорогам Мидльсекса. Надо только оговорить, что мистер Пиквик и его спутники будут-де сообщать в клуб о своих наблюдениях, во славу и для процветания науки.

Но каким на вид должен быть ученый муж, мистер Пиквик?

Роберт Сеймур полагал, что ученый муж, погруженный в изыскания на благо человечества, не уделяет должного внимания чревоугодию, и потому лучше изобразить его сухопарым, высоким джентльменом. Соображения художника были небезосновательными, и Чарльз не возражал. Сеймур даже сделал эскиз сухопарого мистера Пиквика.

Мистер Чепмен, глава фирмы, посоветовал изменить внешний вид президента клуба. Публика не привыкла к тощим комическим персонажам. В Ричмонде, неподалеку от Лондона, живет его друг, джентльмен пожилой, с весьма упитанной круглой физиономией, украшенной очками, и с солидным брюшком. Джентльмен любит франтить, несмотря на крайне пухлые ляжки, он любит носить штаны в обтяжку, чем вызывает протест леди.

Должно быть, мистеру Чепмену удалось его описать, так как и Чарльз и Сеймур решили заменить тощего Пиквика толстым. Чарльз, подумав, пришел к заключению, что новая внешность быть может, подходит к мистеру Пиквику больше. Он в сущности не собирался превращать Пиквика в сухого ученого, ведь президент клуба был раньше коммерсантом, а когда сколотил себе не очень большое, но вполне независимое состояние, отдал свой мозг делу прогресса и на благо человечества.

Таким образом, живший в Ричмонде любитель мышиного цвета штанов в обтяжку и черных гетр, мистер Джон Фостер, сам того не ведая, вышел из-под гравировальной иглы Сеймура мистером Сэмюэлем Пиквиком.

Этим превращением оказалось недовольно одно лицо, а именно — новый приятель Чарльза, мистер Форстер, литератор. Когда Чарльз сообщил ему о прототипе глубокого исследователя рыбного населения в пригородных прудах, мистер Форстер почти обиделся. Фамилия его произносится точь-в-точь, как фамилия джентльмена из Ричмонда,

да к тому же они тезки. Мистер Форстер готов был усмотреть в этом совпадении глубокий смысл и сначала отказывался признать его случайным.

Посылая мистера Пиквика в поездку для прогресса науки и в просветительных целях, надо было дать спутников президенту клуба.

Чарльз дал ему в спутники трех молодых джентльменов. Первого из них он сделал любителем прекрасного пола, но, несмотря на свое сердце, слабое в борьбе с очарованием леди, молодой мистер Тапмен еще не связал себя супружескими узами. Второго, мистера Уинкля, он наделил спортсменскими наклонностями, а третьего, мистера Снодграса, — поэтическими. Все три спутника видели в мистере Пиквике вождя и почитали его образцом не только учености, но и добродетели.

Итак, четверо пиквикистов были изобретены. Мистер Пиквик усажен в кэб и отправлен к стоянке пассажирских карет. Там должны были его ждать молодые сочлены клуба, и оттуда всем четверым надлежало отправиться на поиски приключений.

Впрочем, фантазия Чарльза не позволила ему дождаться, пока пиквикисты выедут за пределы Лондона. Завязка первого приключения произошла еще в кэбе, в котором мистер Пиквик направлялся к месту свидания со своими молодыми друзьями. Любознательность мистера Пиквика послужила хорошим мотивом для такой завязки, и когда кэбмен заподозрил в своем пассажире шпиона и принялся расправляться кулаками со всеми четырьмя пиквикистами, можно было ввести в действие новое лицо.

В адвокатской конторе мистера Блекмора, где Чарльз работал клерком, подвизался на том же амплуа клерка некий Поттер. Как и Чарльз, Поттер любил театральные представления; как и Чарльз, он был завсегдатаем театра.

Чарльз изучил его хорошо, и, если судить по незнакомцу, возникшему на первых же страницах «Посмертных записок Пиквикского клуба», клерк Поттер прежде всего обладал своеобразной манерой выпаливать отдельные фразы, не связывая их иными знаками препинания, кроме многоточий, причем эти фразы не соединялись между собой обычными логическими скрепами. Можно также думать, что упомянутый Поттер, кроме своеобразной манеры говорить, обладал мюнхгаузеновским даром, не смущаясь, измышлять небылицы…

Так на первых шагах пиквикистов на стезе приключений, которых ждала от них издательская фирма Чепмен и Холл, появился незабываемый мистер Джингль.

Чарльз писал, черкал и вновь писал волнующий диалог пиквикистов с обретенным новым знакомым, описывал их приезд в Рочестер, где решил отправить их на благотворительный бал, на котором им надлежало ввязаться в приключение.

Но приходилось отрываться от «Пиквика» и для скетча, требуемого редактором «Белль'с Лайф», и для репортажа, требуемого редактором «Морнинг Кроникль». Правда, рождественские каникулы были в самом разгаре, приближался новый год, и репортерской работы было необычно мало, но Чарльз уже давно начал писать двухактный водевиль с музыкой «Деревенские кокетки». И как он ни старался, чтобы рукопись водевиля не попадалась ему на глаза, ничего из этого не выходило. Снова и снова он вносил в водевиль поправки, а затем почти без паузы переходил к рукописи «Пиквика». Его самого удивляло, что «Пиквик» не мешал водевилю, а эти два опуса не мешали еженедельным скетчам.

Кэт и Мэри были в курсе всех событий, подстерегающих мистера Пиквика и его молодых друзей. Но нельзя сидеть одновременно за письменным столом на Фарниваль Инн

и в гостиной Хогартов, и, как ни хочется быть у Кэт, приходилось посылать ей записочку: «В данный момент я усадил Пиквика и его друзей в рочестерскую карету, и они едут без помех в обществе субъекта, совсем непохожего на тех, кого я до сей поры описывал, который, льщу себя надеждой, будет, несомненно, иметь успех. Я хочу доставить их с бала в гостиницу, прежде чем лягу спать; полагаю, что это займет у меня времени по крайней мере до часу или двух. Издатели будут здесь утром, так что вам легко понять, что выбора у меня нет, надо сидеть за столом».

Первые страницы «Пиквика» Чарльз отделал окончательно в самом начале нового года. Чепмен и Холл одобрили начало, сдали рукопись в набор. Скоро корректурные гранки вручены были Сеймуру. Он взялся за карандаш и набросал первый рисунок: двенадцать джентльменов вокруг стола заседаний внимают мистеру Пиквику, помахивающему рукой во время своей речи.

Приятель мистера Чепмена, обитавший в Ричмонде, мог быть удовлетворен: президент Пиквикского клуба облечен был точь-в-точь в такие же штаны, какие носил он. Словно лайковая перчатка, штаны облегали весьма округлые формы, какие были и у него. И так же, как он, президент клуба питал пристрастие к черным гетрам. Для того чтобы читающая Англия могла вскоре лицезреть без помех эти детали туалета, Роберт Сеймур заставил дородного мистера Сэмюэля Пиквика влезть на стул.

3. Мистер Пиквик застрял в пути

Близился февраль. Парламент уже отдохнул и снова призван был к своим обязанностям. Но Чарльз не отдохнул нисколько, а теперь работы еще прибавилось с открытием палат. Надо было отказаться хотя бы от еженедельных скетчей в газете.

И он пишет последний скетч Боза в «Белль'с Лайф», — он прощается с читателями этой газеты, описав лицо ночных лондонских улиц. Скоро он должен увидеть свои скетчи на страницах аккуратных томиков, которые вот-вот выпустит Мэкрон.

Впереди еще выпуск «Пиквика». Чепмен и Холл назначают на конец марта. А затем… затем свадьба. Как хороша жизнь!

Но времени решительно не хватает для выполнения всех необходимых дел. Нет возможности поискать более внимательно новую квартиру. Пришлось перед рождеством переехать из своих двух комнаток в новые две комнаты на той же Фарниваль Инн. Но и они неудобны, нужна будет большая квартира, ведь он и Кэт решили после свадьбы взять к себе Мэри.

Мэри возбуждена у порога волнующих событий — издания скетчей, появления «Пиквика», свадьбы — ничуть не меньше, чем Чарльз, и, пожалуй, больше, чем Кэт, во всяком случае, так может показаться. Она более нервна, чем старшая сестра, более хрупка, похожа на тростинку, у нее нет здорового румянца Кэт; когда она слушает Чарльза, она вся напряжена, как струна, она ничего не видит, кроме читающего Чарльза. Даже не слушая его, когда он читает ей и Кэт свои скетчи, можно по выражению ее лица следить за самыми тонкими оттенками юмора в скетче и за переходом к описанию других сцен, совсем не комических. Когда наступает этот переход, ее глаза — у нее, как и у Кэт, голубые глаза, но с более глубоким фиалковым отливом — выражают такую жалость к несчастным беднякам, которых Чарльз описывает, что при взгляде на эти глаза Чарльзу кажется, будто никто, кроме него, не может так трогательно написать. Никто, кроме него… Мэри этого не говорит, но Чарльз знает, что она это думает. И потому он ловит себя на том, что в его памяти

первой всплывает Мэри, а не Кэт, когда он идет к Хогартам с готовым скетчем, который должен будет прочесть у круглого стола в гостиной под газовым рожком. А каким смехом она заливалась, когда слушала мюнхгаузеновскую болтовню незнакомца, ехавшего вместе с пиквикистами в рочестерской карете! Чарльз должен был даже прекратить чтение, потому что хохотал вместе с ней. Кэт и сама смеялась, но в конце концов запротестовала и попеняла Мэри за то, что та мешает слушать.

Рядом с сестрой Кэт казалась очень рассудительной особой, она умела собой владеть, а Мэри еще не могла. Может быть потому, что ей было только семнадцать лет. Или в синенькой жилке на виске у нее билась капелька крови хайлендеров — горных шотландцев, а Кэт получила в наследство более спокойный темперамент жителей долин?

Нередко эти скетчи слушает и миссис Хогарт, очень милая и всегда доброжелательная миссис Хогарт. Должно быть, клан ее отца — Джорджа Томпсона, собирателя народных шотландских мелодий — обитал в долинах, но о предках мистера Хогарта этого нельзя было сказать определительно. Когда мистер Хогарт говорил о музыке, в эти минуты он похож был на сверстника Мэри. Такие минуты были не часты, мистеру Хогарту редко-редко удавалось вырваться из редакции «Ивнинг Кроникль».

Но и без него так уютно в гостиной за столом под газовым рожком… Мистер и миссис Диккенс обижены на старшего сына, который вот уже в течение нескольких месяцев забегает только днем, да и то на полчаса. Мистер Диккенс проявляет большую снисходительность к прегрешениям против сыновнего долга, чем миссис Диккенс, но и он не скрывает недовольства. Утешение он находит в том, что направо и налево трубит о достоинствах газеты «Белль’с Лайф», в которой печатаются скетчи Тиббса. И тут же строго доверительно

сообщает, что Тиббс и небезызвестный Боз — одно лицо, а Боз — полагаю, сэр, для вас это не тайна, — есть не кто иной, как мистер Чарльз Диккенс; вот именно, сэр, мой старший сын…

Когда Чарльз, взволнованный и радостный, принес мистеру и миссис Диккенс два изящных томика, изданных Мэкроном, — это было в середине февраля, — Джон Диккенс долго не выпускал из рук эти книги и в сотый раз перечитывал на титульном листе: «Скетчи Боза». Ему нравилось все — и формат, и бумага, и шрифт, и гравюры Крукшенка. Что же касается содержания…

Встречая знакомых, Джон Диккенс немедленно осведомлялся:

— Читали книги моего старшего сына?

И когда Джон Диккенс получал отрицательный ответ, он смотрел на собеседника с такой жалостью, что тот сразу понимал всю глубину своего несчастья.

Кэт и Мэри взирали на Чарльза с не меньшей гордостью, чем мистер Джон Диккенс. Торжество обоих семейств — Диккенсов и Хогартов — усугубилось еще более, когда обнаружилось отношение читателей к скетчам Боза. Книги имели несомненный успех, скоро появились очень благожелательные газетные отзывы, продажа томиков шла хорошо. Мэкрон вручил Чарльзу сто пятнадцать фунтов и намекнул, что еще в этом году, быть может, потребуется новое издание.

Чарльз писал вторую порцию «Пиквика» и ждал выхода первого выпуска. Наконец, в «Таймсе», в номере от 26 марта, появилось объявление. Оно гласило, что 31 марта в издательстве Чепмен и Холл «выйдет первый выпуск “Посмертных записок Пиквикского клуба” под редакцией Боза».

Давно уже было решено, что свадьба состоится на следующий день после выхода первого выпуска «Пиквика». Но от этого решения надо было отказаться. Разве можно

жениться в такой коварный день, как первое апреля? Пришлось передвинуть свадьбу на один день.

Чарльз успел закончить вторую порцию «Пиквика» до конца месяца. Чепмен и Холл вручили ему четырнадцать фунтов немедленно, — они должны пригодиться к столь торжественному дню.

Точно в назначенный день — 31 марта — лондонцы увидели в витрине книжных магазинов такую книжку в светло-зеленой обложке. Вверху нарисован был молодой джентльмен в клетчатом сюртуке. Внизу — лодка. Джентльмен стреляет в дерево, а в лодке сидит заснувший толстяк. Рядом с толстяком прикреплена удочка.

На обложке напечатано:

«Посмертные записки Пиквикского клуба, содержащие правдивый отчет о странствиях, опасностях, путешествиях, приключениях и охотничьих похождениях членов-корреспондентов, издаваемые под редакцией Боза, с иллюстрациями».

В книжечке четыре гравюры. Кроме знаменательного обращения мистера Пиквика с речью к членам клуба, художник изобразил еще три эпизода, упоминаемых в «Записках». Он запечатлел отважное единоборство кэбмена с четырьмя пиквикистами, изумительную собаку Понто, не решающуюся, при виде запретительного плаката, перепрыгнуть через забор, и вызов на дуэль, бросаемый мистеру Джинглю оскорбленным доктором Слеммером. Но имени Сеймура не значилось на титуле, так было принято в те времена.

Через день Чарльз встретился с Кэт в скромной церкви св. Луки в Челси. Приглашенных было очень мало. Кроме родных, присутствовали только Мэкрон и знакомый Чарльза, Бирд, который, по-видимому, был хорошо осведомлен в деталях церемонии и потому распоряжался ею.

По традиции, надлежало уехать в свадебное путешествие. Но для такой поездки у него не было денег. Чарльз выбрал

для двухнедельного медового месяца небольшую ферму неподалеку от Рочестера, где в это самое время, по сведениям читателей, подвизались пиквикисты, которым, конечно, не терпелось узнать о трудах мистера Пиквика во славу прогресса.

Но читатель нисколько не проявлял нетерпения узнать об этом. Когда Чарльз с Кэт вернулись в Лондон, истина предстала без покровов.

«Посмертные записки Пиквикского клуба», выпуск первый, вышли тиражом в четыреста экземпляров. Но и этот тираж еще не был распродан, на «Пиквика» не поступало никаких требований из книжных магазинов.

«Скетчи Боза» распродавались бойко, Мэкрон был вполне удовлетворен. Мистеры Чепмен и Холл хмурились.

Надо было немедленно приниматься за репортерскую работу по «Кроникль». И продолжать «Пиквика». Он писал третий выпуск.

Перед поездкой на ферму он простился с пиквикистами в гостеприимных стенах Менор Фарм.

Пиквикисты завели знакомство с дородным мистером Уордлем на полевых маневрах. Если бы не ветерок, сдунувший цилиндр мистера Пиквика, знакомство не состоялось бы. Но оно должно было произойти, и почтенный сквайр, пригласив пиквикистов на свою благоденствующую ферму и в круг своей благоденствующей семьи, развлекал гостей старомодным вистом и рассказом сельского священника, постоянного партнера в Дингли Дэлл.

Чарльз встречал такого гостеприимного сквайра, как мистер Уордль. Не очень давно ему пришлось быть неподалеку от Рочестера, в Мэдстоне, и там, в окрестностях городка, почитаемого столицей графства Кент, он встретился около поселка Сендлинг с мистером Спонгом.

Ферма Коб Три с усадьбой времен Елизаветы очень понравилась Чарльзу. Понравился ему и приветливый мистер

Спонг, и древняя старушка — мать гостеприимного сквайра. Теперь сквайр превратился в мистера Уордля, а его преклонных лет мать — в тугоухую, уютную старушку, которой оказывали столь почтительное внимание прочие члены семейства мистера Уордля.

Но священник кончил свой рассказ о возвращении каторжника и находился сейчас в типографии, чтобы выступить во втором выпуске «Пиквика». Надо было продолжить описание тихой и мирной жизни в Дингли Дэлл на Менор Фарм и ввергнуть пиквикистов в пучину приключений. Но сперва надо было познакомиться с теми гравюрами, которые уже, конечно, готовы у Роберта Сеймура для второго выпуска.

Нет, Роберт Сеймур еще не выполнил заказа. Последнее время он работает очень медленно. Пока готовы только две гравюры. Мистер Чепмен боится, что Сеймур заставит отложить выход второго выпуска, а это невозможно. Нельзя начинать какое-нибудь дело и с первых шагов нарушать обязательства перед читателями. И мистеру Чепмену не нравится умонастроение Роберта Сеймура. Художник впал в какую-то меланхолию, совсем не похож на самого себя. Хотя нужно признать, что погоня мистера Пиквика за шляпой на глазах мальчишек и семейства мистера Уордля, расположившегося в карете, мастерское произведение; читатель сразу улыбнется, бросив взгляд на эту сцену.

Дни идут, но Сеймур не обращает внимания на напоминания мистера Холла. Срок появления второго выпуска приближается, но пока есть только три гравюры, а в майском выпуске должно быть не три гравюры, а четыре. У художника жена и девять детей, он мог бы подумать хотя бы о них, зависящих от его карандаша, если ему безразлична судьба «Пиквика» и доброе имя молодой издательской фирмы. Мистер Чепмен озабочен. Мистер Холл тоже озабочен. Чарльз

возмущен; такого легкомысленного отношения к работе не потерпели бы в газете. Неужели талант может служить оправданием?

Но его возмущение внезапно обрывается. Наступает двадцатое апреля. Днем он узнает, что Роберт Сеймур покончил с собой.

Когда жалость к несчастному теряет свою остроту, возникает вопрос о судьбе «Пиквика». Ясно, что за короткий срок нельзя разыскать подходящего художника. Значит, второй выпуск, вместо четырех гравюр, украсится тремя. Печально, но все же это полбеды. Хуже другое — удастся ли найти художника, который смог бы сохранить манеру Сеймура и образы, которые должны повторяться из выпуска в выпуск. Читатель уже узнал пиквикистов и мистера Джингля. Правда, читатель как будто немногочисленный, но все же ни на что не похоже, если в дальнейших выпусках он увидит совсем других героев.

4. Сэм Уэллер идет на помощь

Немало брошюрок в обложках капустного цвета — первый выпуск «Пиквика» — ждали перемены своего местопребывания. Но этот час не наступал, капустные брошюрки оставались лежать на полках в конторе молодого издательства. А ведь брошюр было только четыреста.

Второй выпуск вышел, а четыреста брошюрок все еще не были проданы. Второй выпуск вышел в срок, но только с тремя гравюрами. И к этому выпуску книжные магазины отнеслись с постыдным равнодушием.

Мистер Джон Диккенс был вполне удовлетворен успехом «Скетчей Боза». Он проявлял завидную выдержку в оценке положения. Но Кэт и Мэри возмущались тупостью читателя. В особенности Мэри, она волновалась больше всех.

Чарльз не волновался. Но он понимал, что начало не предвещает ничего хорошего и можно ждать неприятного сюрприза от фирмы Чепмен и Холл. Во всяком случае, пока этот сюрприз не последовал, надо писать. И надо искать художника.

Мистер Холл пустился в поиски. Его находка была неудачной. Книжный иллюстратор Р. У. Басс, может быть, и хотел сохранить манеру Сеймура, но не умел. Пиквикисты подвизались в Дингли Дэлл, Чарльз со вкусом описывал не омрачаемую ничем жизнь на ферме мистера Уордля, готовил мистера Тапмена к влюбленному дуэту с перезрелой девствующей теткой и уже завязал узелок последующих бурных событий. Он призвал на ферму бесстыжего мистера Джингля, а пока что описал волнующее состязание в крикет между Дингли Дэлл и Мэгльтоном. Художник Басс нарисовал это состязание. Он сделал и второй рисунок. В обеих гравюрах он очень старался рассмешить читателя. Но ничего из этого не выходило — и Чарльз, и издатели должны были это признать.

Все же пришлось выпустить третий выпуск «Пиквика» с двумя гравюрами Басса. Мистер Чепмен почесывал свою бакенбарду, и взгляд его задерживался на пачках второго выпуска «Пиквика», который разделял судьбу первого выпуска. Неудачные гравюры Басса не сулили перемены, благоприятной для президента Пиквикского клуба и для мистера Боза.

Будущее ученого мистера Пиквика и его молодых друзей заволокли непроглядные тучи. Пиквикисты безмятежно наслаждались удобствами гостеприимного Дингли Дэлл. Они даже не помышляли об опасности, которая их подстерегает, если читатель по-прежнему будет равнодушен к благу человечества, и брошюрки в светло-зеленых обложках по-прежнему будут пребывать на полках издательской конторы.

Но расположение духа Чарльза мало напоминало состояние безмятежности, в которое он погрузил своих героев. Чарльз хорошо понимал, что мистеры Чепмен и Холл не могут до бесконечности ждать, пока читатель раскается в своем безразличии к судьбе «Пиквикского клуба».

В таком расположении духа трудно писать роман. Чарльз решил, что это его сочинение превратится именно в роман, хотя по-прежнему у него не было никакого плана. И этот роман должен смешить читателя. Но читатель упорно не хотел смеяться. Если бы он захотел и засмеялся, «Пиквик» исчез бы из конторы Чепмен и Холл.

Чарльз все же писал. Он писал поздними вечерами, когда свободен был от поручений «Морнинг Кроникль». Если же приходилось уезжать на день-два, наступал перерыв в «Пиквике».

Он ждал рисунков, которые издательство заказало новому художнику.

На этот раз художника нашел он. Мистер Холл, потерпев неудачу с Бассом, посылал к нему желающих испробовать свои силы.

Один из претендентов был молодой человек, не старше Чарльза, приехавший из Парижа. Он представился: Теккерей, Вильям Макпис Теккерей. Он учился живописи в Париже. Его рисунки носили следы французской школы. Чарльз мало понимал в графике. Взглянув на рисунки, он решил, что молодому джентльмену, приехавшему из Парижа, не удастся развеселить читателя.

Приходили еще художники, но и они не нравились Чарльзу. Он решил остановиться на молодом человеке, которого звали Хеблот Броун.

Хеблот Броун прочел гранки четвертого выпуска и скоро принес рисунок.

Как жаль, что затее с «Пиквикским клубом» угрожает крушение! Трудно было представить, что найдется лучший наследник Сеймура, чем Хеблот Броун.

В открытую дверь вторгается женское население Дингли Дэлл и влюбчивый мистер Тапмен под руку с девственной тетушкой мисс Речел. Все они обеспокоены долгим отсутствием джентльменов и пошли на поиски их. Джентльмены не помышляли исчезнуть. Они только перехватили горячительного и благополучно вернулись в кухню. И обеспокоенным леди открывается занимательное зрелище: пятеро джентльменов во главе с мистером Пиквиком, отуманенные алкогольными испарениями.

Кэт и Мэри были восхищены рисунком. Неужели и этот выпуск, в котором Чарльз уже привел в исполнение свой план нарушить мирное течение жизни в Дингли Дэлл, неужели и этот выпуск не увлечет читателя!

Мистер Холл и его старший компаньон по фирме были довольны Броуном. Чарльз убедил его выбрать псевдоним. Новая фамилия Хеблота Броуна должна быть такой же короткой, как Боз. Скажем, Физ.

Но надо сократить расходы, решил мистер Чепмен. Довольно и двух гравюр на выпуск. Тем более что придется вот-вот покончить с «Пиквиком».

Мистер Холл мялся некоторое время, придя к Чарльзу, но в конце концов сказал, что, по-видимому, придется прекратить издание «Пиквикского клуба». Четвертый выпуск не расшевелил читателей.

Чарльз отправился убеждать мистера Чепмена не прекращать «Пиквика». Он решительно не понимает, кто и как заколдовал «Пиквика», — вот, например, «Скетчи» распродаются очень хорошо, в августе Мэкрон обещает выпустить второе издание и не прочь в дальнейшем издать томик новых скетчей.

Мистер Чепмен тоже не понимал, почему читатель безразличен к судьбе «Пиквика». Даже четвертый выпуск с гравюрами этого талантливого молодого Броуна продан только в количестве полутораста экземпляров. Мистер Чепмен надеялся, что Джингль, появившись на ферме мистера Уордля, приохотит читателя к «Пиквику». Но этого не случилось. К тому же Джингль исчез, автор заставил его похитить девственную тетку и получить отступное за исчезновение с горизонта Дингли Дэлл. Это, быть может, неплохо, во всяком случае оживило сочинение, но с Джинглем пришлось попрощаться, хотя бы на время. Кто-то должен появиться на страницах «Пиквика».

Но кто?

Надо решать, если Чарльз хочет продолжать «Пиквика». Надо решать безотлагательно.

Джингль не увлек читателя. Несмотря на свою наглость, несмотря на способность плести умопомрачительные небылицы, несмотря на свою манеру стрелять короткими фразами, этот бывший актер провалился.

С ним провалился и Боз, — с ним и со всей затеей. Из какой среды должен выйти спаситель «Пиквикского клуба»? И какую роль ему поручить?

«Пиквика» читают лондонцы — вернее, не читают, но должны читать в первую очередь. Может быть, лондонцев развлечет какой-нибудь комический персонаж, хорошо им знакомый? Это здравая идея.

Мысль Чарльза пошла этим руслом: лондонцев должен привлечь субъект, которого они встречают повсюду и ежечасно.

Чарльз знал такого субъекта. Каждый житель Лондона, каждый провинциал, приезжающий в Лондон, знал такого субъекта. В провинции, даже в крупных городах, его не встретишь. Причина проста: Лондон — самый большой

город, самый богатый и населенный город Соединенного Королевства. А значит — самый великий город в мире. И прежде всего этот субъект горд тем, что он исконный житель самого великого города в мире. Он родился в самом великом городе в мире, вырос, живет в нем и знать никого не хочет, кто не родился и не живет в Лондоне. Он презирает каждого, кому выпал другой жребий — родиться и жить где-то в другом месте. Все провинциалы — низшая порода. Хотя бы они и утверждали, что жить где-нибудь в сельской местности, или у моря, или в больших городах вроде Манчестера, ничуть не хуже, чем в Лондоне, они утверждают это только из зависти. Правда, какова жизнь вне Лондона, субъект не знает, но он и не хочет знать. И, если попадает куда-нибудь неподалеку от великой столицы, то не удостаивает жителей ничем, кроме снисходительной жалости. Субъект самоуверен свыше меры. Когда он коверкает английский язык и ему указываешь, что остальная Англия говорит иначе, субъект презрительно ответит, что «остальная» Англия не знает английского языка. Когда он судит обо всем с заносчивой уверенностью и ему указываешь, что он понятия не имеет о предмете суждения, субъект презрительно отвечает, что в Лондоне живут самые великие люди, в Лондоне самый лучший театр, самые лучшие судьи и самый знаменитый парламент в мире, самые лучшие рынки и магазины, самый большой порт, самая лучшая река и самые красивые дома. Субъект живет в Лондоне и, значит, имеет ко всему этому касательство, и кому, как не исконному лондонцу, судить о том, о чем только в Лондоне судят безошибочно?

Сколько раз встречался Чарльз с такого рода субъектом! Он видел этот тип в разных обличьях и на каждом шагу. Он встречал его и на рынках за стойкой ларька, и в портовых конторах, и в гостиницах среди коридорных, и на козлах

кэбов и карет, и среди бездельников, живущих неведомо как и неведомо в каком из тысячи проулков гигантского города.

Этот субъект уже обращал на себя внимание писателей. Чарльз читал «Эвелину», написанную Фанни Берни, которую звали также и мадам д'Арбле. Почему-то этого субъекта, который вдруг мог обнаружиться в каком-нибудь семействе лавочника, называли кокни.

Чарльз не знал точно, почему этот субъект назывался кокни. И лондонцы этого не знали, как не знал и сам субъект. Может быть, это слово происходит от комического жаргонного прозвища кокс-эгг — петушиное яйцо? Петух не несет яиц, это общеизвестно, и потому лондонцы прозвали так неуважительно маленькие испорченные яйца, «болтушки», в которых белок смешан с желтком.

Этот субъект, стало быть — такая же испорченная «болтушка», как и «петушиное яйцо». Так пытается кое-кто объяснить непонятное слово «кокни», но кто его знает — верно ли это.

Верно лишь то, что кокни такая же необходимая принадлежность великого города Лондона, как Вестминстерское Аббатство.

Язык кокни — это еще не жаргон. Правда, они коверкают слова — то растягивают, по своему желанию, гласные, то глотают их, когда захотят. Но непонятных жаргонных слов в этом исковерканном языке мало. Житель Англии часто не поймет кокни, потому что тот произносит слова необычно. А если не поймет некоторых слов и спросит, что они значат, — кокни не пожелает ответить — из презрения к тем, кто не знает чистого английского языка.

Итак, надо выпустить на сцену кокни — пусть он спасет «Пиквика», а заодно и человечество, на благо которого пиквикисты пустились в свои приключения.

И надо сразу заставить читателя улыбаться. Время не ждет, и читатель не станет ждать, пока разыграются какие-нибудь смешные приключения с участием нового персонажа, и издательская фирма не станет ждать. Значит, этот персонаж, выходящий на сцену, должен сразу заговорить так, чтобы читатель развеселился. Бывший актер Джингль не добился успеха своей стрельбой короткими фразами.

И тут Чарльз вспомнил, что когда-то, в детстве, видел актера Вейля. Его звали Сэмюэль, участвовал он в какой-то слабенькой пьесе, — кажется, она называлась «Меблированные комнаты». Сэм Вейль любил острить. Были эти остроты в тексте пьесы или нет — неведомо, но Сэм Вейль добился своего, — зрители покатывались со смеху. И остроты его построены были по одному плану: у него говорил любой неодушевленный предмет и любое животное, и всегда очень смешно, и в их ситуациях было нечто похоже на те, в которых находился Сэм Вейль. Актер то и дело начинал свои фразы словами «как говорит», и зрительно это так нравилось, что он, не дожидаясь, уже смеялся…

«Как говорит…» Пусть и этот кокни, который должен спасти «Пиквика», пересыпает свою речь этими словами. А тот, кто «говорит», пусть веселит читателя, как Сэм Вейль. А кокни прибавляет без конца присловья и поговорки.

Но какую роль поручить кокни?

Чарльз долго думал об этом. Пожалуй, было бы неплохо снабдить мистера Пиквика слугой и оруженосцем, наподобие замечательного Санчо Панса при Дон-Кихоте. Да, это было бы неплохо…

И Чарльз начал писать.

С места в карьер новый персонаж, коридорный, на попечении которого находилась обувь постояльцев гостиницы, заставил палача Джека Кетча заговорить. А затем посыпались не очень лестные характеристики постояльцев,

в том числе бежавшей девственной тетки мисс Речел и ее похитителя Джингля. И после знакомства с похитителем коридорный сообщил ему и читателям историю бракосочетания своего папаши в назидание всем, кто не остережется специального учреждения, ведающего браками и разводами и называемого Докторс Коммонс.

Развязность мистера Джингля потускнела сразу, когда заговорил с ним новый персонаж. Так говорить мог только кокни, каждый лондонец с первых слов узнал своего земляка.

Физ нарисовал субъекта в полосатом жилете, в коротких штанах, завершающихся гетрами, и в старой шляпе, лихо сбитой набок. Субъект стоял во дворе гостиницы, окруженный предметами, о которых ему надлежало печься, и рука его эффектно возлежала на сапожной щетке, находящейся в действии. Одна нога субъекта покоилась на ступеньке лестницы, и с такой элегантностью он выставил бедро другой ноги, и с такой самоуверенностью воззрился на подошедшего мистера Паркера, что достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в нем персонаж, которому уготовано будущее.

Кэт и Мэри были первыми слушателями, которые встретили восторженно Сэма Уэллера.

Чарльз писал пятый выпуск. Новый герой заставил его круто повернуть течение романа. Теперь о клубе можно было забыть, хотя бы временно. Новый герой, поступив в услужение к мистеру Пиквику, примет участие в одном деликатном деле, которое отвлечет пиквикистов от забот о благе человечества. Деликатное дело должно заключаться в охоте коварной миссис Бардль за мистером Пиквиком с матримониальными целями. И в защите невинного мистера Пиквика от ее коварства и от законников, которых Чарльз так хорошо знал. Новый герой будет ему верным Санчо Панса на стезе единоборства с ужасным законом и страшными законниками.

Чарльз закончил пятый выпуск и передал мистеру Холлу. Теперь надо ждать конца июля. Сэм Уэллер — последняя ставка в борьбе пиквикистов за существование. Как подобает кокни, Сэм Уэллер уверенно вошел в эпопею о Пиквикском клубе. И так же уверенно, как подобает кокни, он готовился растолкать локтями персонажей эпопеи, чтобы занять место рядом с мистером Пиквиком.

Но удастся ли ему растолкать сонного читателя, которого до сей поры нисколько не занимала судьба пиквикистов, или «Посмертным запискам Пиквикского клуба» суждено оборваться навсегда?

5. Феерическая метаморфоза

Нет, непонятна феерическая перемена в судьбе «Посмертных записок Пиквикского клуба».

Первые четыре выпуска заключали в себе все данные для того, чтобы привлечь к «Пиквику» внимание читателя и критика. Читатель нашел в них великолепные гротескные фигуры, юмор, который не стал более «диккенсовским» до самого конца романа, комические эпизоды, описание патриархального уюта в Дингли Дэлл, драматический вводный рассказ… Однако все четыре выпуска покрываются пылью на полках издательства.

Но появляется Сэм Уэллер, и происходит некоторая, чисто театральная, метаморфоза.

Так ли удивителен Сэм Уэллер на первых шагах своего поприща, чтобы вызвать такой интерес к своей персоне? Сэм только-только возникает из ниоткуда. Сам автор не знает, кто его новый герой — невежественный коридорный или начитанный малый, помнящий, что палач Джек Кетч однажды принял на себя исполнение приговора над многими десятками осужденных политических противников Иакова II.

Сэм Уэллер только-только ищет твердых контуров своего бытия, и сам автор еще в потемках, он ощупью бредет среди тех кокни, которые уже известны читателю и критике. Сэм Уэллер на этих первых страницах не менее гротеск, чем Джингль, и не более реалистичен, чем мистер Уордль. Он успевает произнести несколько десятков фраз и рассказать комическую историйку… И свершается некое чудо.

Читатель уже ринулся к стойкам книжных магазинов.

Он слышит стереотипный ответ, что книготорговля не запаслась пятым выпуском. Тогда он рвет эту брошюрку из рук счастливцев, которым удалось достать гениальное произведение. С каждым часом требования книжных магазинов на пятый выпуск повышаются. С каждым часом растут требования на четыре обреченных выпуска. Полки в конторе фирмы Чепмен и Холл пустеют мгновенно. Курьеры издательства не успевают передавать заказы в типографию на печатание всех пяти выпусков. Возвратившись к мистерам Чепмену и Холлу, они мчатся в типографию с новыми заказами. Книготорговцы еле могут успокоить покупателей, не нашедших «Пиквика»: приняты все меры к получению этого гениального произведения, на этих днях все покупатели будут удовлетворены.

Успех, неслыханный успех обрушивается, как лавина в горах.

Чарльз ходит, как ошалелый. Он ничего не понимает, кроме того только, что теперь «Пиквик» спасен.

Кэт и Мэри взирают на него восторженно. Энтузиазм мистера Джона Диккенса не поддается описанию. Того, кто не слышал о существовании «Пиквика», он не считает представителем человеческого рода.

В конторе Чепмен и Холл — поток писем. Ежедневно Чарльз убеждается снова и снова в том, что «Пиквик» — произведение гениальное.

Триумфальное появление Сэма Уэллера наталкивает Чарльза на плодотворную идею. Зачем в самом деле возвращаться к Пиквикскому клубу? Теперь мистер Пиквик получил такого слугу, с которым, без боязни за судьбу автора, он может пуститься в приключения, оторвавшись от клуба. Сэм при любых обстоятельствах выручит всех пиквикистов из затруднительного положения. Теперь можно круто повернуть повествование, — клуб сделал свое дело, а коварство миссис Бардль и злокозненность законников открывают весьма радужные перспективы для развития обретенного сюжета. Пока же можно позубоскалить над избирательной борьбой в маленьком провинциальном городке, которому надлежит избрать члена парламента.

Чарльз хорошо помнит такую борьбу в городке Содберт, в графстве Норфольк. Он наблюдал приемы и характер этой борьбы два года назад и запомнил их хорошо.

У Чарльза творческий подъем, он описывает борьбу в Итенсвилле и, читая о ней Кэт и Мэри, хохочет вместе с ними. Он отправляет потом двух пиквикистов в трактир послушать комическую историю торгового агента и предвкушает удовольствие, с которым опишет приключение мистера Пиквика с друзьями на костюмированном, завтраке у провинциальной львицы. Это будет очень смешная глава, читатель будет хохотать ничуть не меньше, чем Кэт и Мэри, — обещает им Чарльз.

А пока Чарльз хохочет по другому поводу. Меланхолический Физ, придя как-то, сообщает, что хитроумные шляпные фабриканты торжественно объявили о появлении в продаже «пиквикских шляп».

Поистине нет границ популярности Боза! Мэри смотрит на Чарльза с обожанием, Кэт предрекает появление новых предметов туалета из гардероба мистера Уэллера. Ее пророчество оправдывается. Скоро в витринах начинают мелькать

плакаты: «уэллеровские гетры», «уэллеровская ткань». Рисунок этой ткани скопирован с полосатого жилета мистера Уэллера, и он совсем не плох, — миссис Элизабет Диккенс немедленно покупает потребное количество ярдов для обмундирования младших членов семейства. Не уступают и поклонники изысканного вкуса мистера Пиквика: фабрикант тростей выпустил «пиквикские набалдашники», появились «пиквикские пальто», «пиквикские сигары» и даже «пиквикский песенник».

Чарльз еле успевает пожать руки всем тем, кто добивается этого удовольствия. Он еле успевает ответить на любезные приглашения, которые сыплются на него от лиц, никогда с ним не встречавшихся.

На сколько выпусков рассчитан его гениальный роман? Каковы его дальнейшие планы? Давно ли он женился? Кто прозвал его Неподражаемым Бозом? Как он относится к английской литературе, и к самому себе? Пишет ли он еще что-нибудь, кроме «Пиквика»?

Газетные репортеры быстро записывают в блокноты его вдохновенные ответы.

«Пиквик» будет закончен, вероятно, к концу следующего года. Его дальнейшие планы — писать романы и скетчи. Кроме «Пиквика», он собирается писать еще одну книгу. Женился он в апреле. Он удивлен, каким образом джентльмены осведомлены о надписи «Неподражаемый Боз», выгравированной на шкатулке с нюхательным табаком, которую подарил ему один родственник. К английской литературе он относится восторженно. К себе — об этом надо подумать…

6. От избытка сил

Он в самом деле решил писать еще одну книгу. Он принял это решение, когда издатели явились к нему с предложениями. Мэкрон напомнил об обещании написать роман

о мятеже, поднятом лордом Гордоном в 1780 году. Некий Бентли, решивший издавать журнал, предложил ему стать редактором нового журнала. В этом журнале — «Смесь Бентли» — «Бентли Миселени» — он может печатать все, что захочет.

Предложение было соблазнительное. Двадцать фунтов в месяц редакторского гонорара освобождают от репортерской работы в «Кроникль». И отчего бы не подумать о новой книге, которую можно печатать из номера в номер? «Пиквику» эта книга не помешает, — он будет писать две книги одновременно.

Две книги одновременно…

Когда он сообщил Кэт и Мэри о том, что решил писать для «Бентли Миселени» роман, тема была уже выбрана. Мэкрон подождет с исполнением обещания об историческом романе.

Репортерские поездки по провинции дали Чарльзу возможность заглянуть за кулисы закона, который почитался высшим достижением гуманности и государственного разума в очень больном для Англии вопросе — в деле призрения бедных.

Этот закон утвержден был совсем недавно — два с четвертью года назад. Сто девять статей закона 14 августа 1834 года прошли немало мытарств. Целых пятнадцать лет заседала комиссия Палаты общин, изучая практику призрения бедных, а сверх этих лет специальная королевская комиссия два с половиной года изыскивала способы реформировать законодательство. В комиссии заседало немало видных общественных деятелей, даже епископ Лондонский принимал в ней участие. Плодом ее работы и явился закон «Об изменении и лучшем исполнении законов по призрению бедных в Англии и Уэльсе».

В основу закона положен был принцип столь же гуманный, сколь и целесообразный с полицейской точки зрения. С одной стороны, государство сулило спасение от голодной смерти тем, кто очутился на ее грани, с другой — пеклось о том, чтобы надежда на государственную помощь не развратила мораль и нравы и не освободила голодных от желания спастись без государственной помощи. Закон словно предупреждал бедняка: ты видишь, что я о тебе забочусь, но не лучше ли будет для тебя самому позаботиться о себе. Закон словно рекомендовал бедняку очень призадуматься, прежде чем уцепиться за протянутую государством руку.

Радикальным орудием помощи беднякам был объявлен работный дом. Это учреждение было широко известно в Англии и раньше, но специальная королевская комиссия нашла, что помощь бедным шла нередко каналами мимо работного дома, и организация такой помощи никуда не годилась. Отыскали даже признание некоего попечителя по делам призрения бедных в приходе. На вопрос, почему он нарушил закон, выдав какую-то сумму, этот попечитель сознался, что клерк грозил его побить, если он не выдаст этих денег.

Отныне помощь голодному бедняку не должна была исходить от государства, если бедняк откажется отдать себя попечению властей в работном доме.

Чарльз видел работные дома. Он видел людей, которым поручено было заботиться о нищем, попавшем в работный дом. Он видел детей и воспитателей приюта для подкидышей и для детей бедняка. Такие приюты тоже входили в систему работных домов.

И Чарльз видел режим работного дома и знал об условиях приема в работный дом.

Бедняк не мог не отдать ребенка в приют, если решался найти спасение от смерти в стенах работного дома. Это было

первое условие — разлука с детьми. Бедняк должен был расстаться и с женой. И, наконец, бедняк должен был расстаться со свободой. Он не мог отныне свободно передвигаться, он должен был жить там, где укажет ему смотритель дома, он должен был носить одежду, какую приготовило ему государство, он должен был питаться так, как государство нашло полезным для его здоровья.

Авторы закона с негодованием отвергали намеки критиков. Вздор! Работный дом — отнюдь не тюрьма.

Чарльз наблюдал в Лондоне и во время своих поездок результаты, к которым привел новый закон. Как легко можно связать с судьбой какого-нибудь подкидыша, воспитываемого в приюте работного дома, наблюдения над жизнью уайтчепльских трущоб и над страшными людьми, которых встречаешь в мрачных проулках Сохо! Роман должен получиться занимательный и совсем не юмористический.

И Чарльз заявил издателю мистеру Бентли, что, начиная с февраля 1837 года, в «Бентли Миселени» он будет печатать свой роман. Заглавие романа — «Приключения Оливера Твиста».

Теперь можно было распрощаться с газетным репортажем. Теперь выбирать города для поездок будет не редактор «Кроникль», а он — Чарльз, и шее его не угрожает опасность от сумасшедших состязаний на скорость в курьерских каретах по ухабам отечественных дорог.

Перспективы преуспеяния весьма радужные. Чепмен и Холл вручают чек в пятьсот фунтов — это только часть его гонорара, весьма возросшего благодаря большому тиражу «Пиквика». Бентли решил издавать журнал с начала года, — значит, сейчас досуг есть. И Чарльз решает написать пьесу. Едва ли писать пьесу трудней, чем роман, почему бы не попытаться. Заработок удачливых драматургов превышает гонорар романиста, а театр он любит не меньше, чем раньше.

Очень быстро он пишет незатейливые двухактные водевили — «Деревенские кокетки», а затем «Странный джентльмен» — на сюжет своего скетча «Дуэль в великом Вингльбери». Второй водевиль идет в течение двух месяцев в театрике Сен Джемс, в сентябре и октябре, а «Деревенские кокетки» — в декабре, с музыкой посредственного композитора.

Обе пьески ничем не выделялись на водевильном фоне английской сцены тридцатых годов. После своего появления они были заслуженно забыты, о них постарался забыть и сам автор. В начале нового, 1837, года его отвлекло важное событие в семейной жизни.

У него родился сын. Англичане любят давать двойные имена. Младенца окрестили Чарльз-Боз.

Младенец Чарльз-Боз вошел в жизнь молодого отца с первых дней своего бытия. Чарльз принимал деятельное участие во всех процедурах, обязательных для младенца, ничуть не меньшее, чем Кэт и Мэри. Своей энергией и активностью он порядком мешал людям, более опытным в таких деликатных вопросах, — миссис Элизабет Диккенс, миссис Хогарт, кормилице и многочисленным родственникам, которые устремились в его квартирку на Фарниваль Инн.

Он читал рукописи для «Бентли Миселени», работал над «Пиквиком» и готовил «Оливера Твиста» для февральского номера журнала. Мистеры Чепмен и Холл непрестанно печатали новые и новые сотни выпусков «Пиквика», а тираж каждого очередного выпуска превышал тираж предыдущего.

Успех «Пиквика», столь основательно упрочившийся, и предложение Мэкрона издать вторую серию «Скетчей Боза» окрылили Чарльза. Он задумал переменить квартиру и заново ее омеблировать. Несмотря на немалые расходы по дому, он может теперь позволить себе этот решительный шаг, который еще полгода назад казался неосуществимым.

О своем решении он сообщил Кэт и Мэри. Нет, он не советовался ни с кем, — такие вопросы должен решать только он один.

Но надо было кончать первые главы «Оливера Твиста».

В февральском номере «Бентли Миселени» появились первые главы «Твиста».

Боз выступил с новым романом. Читатель сразу почувствовал, что новый роман начат Бозом совсем в другом ключе. В первых главах «Твиста» Боз не перестает быть юмористом, но этот юмор не напоминает пиквикский. Боз совсем не забавляется, описывая рождение подкидыша и его первые шаги на жизненной стезе, хотя типы, возникшие на страницах романа, в сущности комические, — и Бамбль, приходский курьер, называемый бидлем, которому законом о работных домах вручена власть над бедняками прихода, и члены приходского совета по призрению бедных, и мировые судьи, решавшие, по закону, судьбу подкидыша. Но у него язвительная и злая усмешка, когда его гусиное перо плывет по бумаге. На лице у него, должно быть, гримаса, а отнюдь не улыбка, которую легко себе представить, читая его «Пиквика». Он очень раздражен, больше того — он возмущен порядками в приюте для подкидышей.

Читатель, конечно, удивлен. Работный дом — замечательное учреждение. Закон позаботился о том, чтобы дурные люди были удалены от руководства призрением бедных, закон создал прекрасные работные дома и превосходные приюты для подкидышей. Если это не так, то как же объяснить, что известные общественные деятели — и мистер Стердж Бурн, и мистер Эдвин Чадвик, и сколько их еще? — признали закон о работных домах благодеянием для рода человеческого? Мистер Боз не согласен с такой оценкой закона, это очевидно. Он не согласен и решил выступить со своим особым мнением. Интересно, как он поведет дальше свое повествование,

какова будет дальнейшая судьба маленького Оливера, и как будет протекать деятельность бидля, который, невзирая на малый свой чин, обладает, по-видимому, большой властью.

Начало было удачным. Журнал «Бентли Миселени» благодаря Бозу — редактору и автору нового романа — обещал стать популярным.

Теперь можно немного отдохнуть и заняться меблировкой новой квартиры. Комнаты на Фарниваль Инн отдавались внаем омеблированными. Квартиру на Доути-стрит можно обставить и украсить по своему вкусу. Квартира была удобней и просторней, чем прежняя, находилась она неподалеку от того приюта для подкидышей, куда он поместил маленького Оливера Твиста.

Чарльз доверял только своему вкусу. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он ничего не понимает ни в стилях мебели, ни в гравюрах, он посмотрел бы на такого судью удивленно. Кэт и Мэри должны были восхищаться вместе с ним каждой его покупкой. Они восхищались, но не всегда искренно, им не хотелось его огорчать. Хлопоты его завершились приобретением выезда. Да, он, работавший некогда на фабрике ваксы, приобрел выезд!

Это был игрушечный выезд — крохотная коляска с парой пони, но свое назначение пони выполняли ничуть не хуже рысаков. Кэт и Мэри вместе с младенцем помещались в коляске, Чарльз во время прогулок обычно шел рядом и давал им ценные указания о способах обращения со своевольными пони.

Он работал очень много. «Пиквик» выходил без перебоев, вторая порция «Твиста» уже сдана была в типографию, когда он сообщил Кэт и Мэри, что Сен Джемский театр ставит его третий водевиль. Водевиль назывался «Жена ли она ему?» Его премьера прошла в начале марта, но большого успеха эта «комическая бурлетта» — как значилось в афише — не имела.

Третий опыт Боза в комедиографии нельзя было признать удачным, как и первые два. Театральный зритель не увидел в водевилях тех качеств, которые найдены были читателем в его скетчах и «Пиквике». Словно для того, чтобы утешить автора водевиля «Жена ли она ему еще?», критические отзывы о «Пиквике», за исключением немногих, мало чем отличались в эту эпоху от такого, например, отзыва в апрельском номере «Эклектик Ревью»: «Мы очень редко встречали писателя, который быстрее схватывает индивидуальные особенности характера или, что не менее трудно схватить, внешние признаки (часто довольно пустячные), отмечающие эти особенности и в которых они воплощаются. Наш автор является таким мастером этого искусства, что несколько легких мазков часто дают нам более яркое представление о действующем лице, которое он намерен нам показать, чем длиннейшее и самое тщательное описание. Его герои воздействуют на нас всею силою реальности. Они не описаны — они показаны. Ему удается также схватить те особенности, которыми отличаются различные общественные классы и которые отмечают разнообразные виды так же ярко, как другие детали отмечают индивида».

7. Первая утрата и друзья

Мэри была моложе Кэт тремя годами. Может быть, поэтому она не видела в Чарльзе недостатков. Она восхищалась, больше чем Кэт, писателем Бозом… Это было полное, самозабвенное, девическое восхищение. Едва ли она созналась бы и себе, что влюблена в Чарльза, а если сознавалась в этом, то ни одна ее мысль об отношениях с ним не была тяжелой и замутненной.

Она вошла в жизнь Чарльза с первых дней его знакомства с Хогартами. Он чувствовал в Кэт проблески самостоятельного мышления, Кэт по временам выражала несогласие с ним,

судила людей и оценивала события, отклоняясь от его оценок. Уверенность в себе Чарльза, убежденность в своей непогрешимости во всем, что касалось его отношений с людьми и правил поведения, иногда ее раздражали. Но она была хорошо воспитана, ее характер не был трудным, и раздражение не приводило к ссорам. Но Чарльз видел и знал, что ее любовь к нему не лишает ее здравого смысла, порой приводящего к выводам ошибочным, по его мнению. Эти выводы всегда были для него ошибочны, если не совпадали с теми, какие делал он. Тут уж ничего нельзя было поделать, его характер отстаивался постепенно, а неожиданный головокружительный успех «Пиквика» завершил, пожалуй, процесс становления характера.

Но для Мэри его суждения были правильна прежде всего потому, что исходили от него. Она отзывалась на юмористические страницы, которые он им читал по вечерам, с большей непосредственностью, чем Кэт. Она страдала глубже, чем сестра, слушая драматические вставные новеллы в «Пиквике» — рукопись сумасшедшего или рассказ о возвращении каторжника. Бедного Оливера или других несчастных, зарисованных Чарльзом в «Скетчах», она жалела, не умея сдержать слезы. И сколько раз Чарльз читал для нее — для самого желанного слушателя, какой попадается на пути писателя.

Удар разразился нежданно. В начале мая Мэри простудилась. Ей нездоровилось, когда Чарльз с Кэт собрались идти в театр и предложили ей пойти вместе с ними. Она не отказалась. Вернувшись, она почувствовала себя плохо. Ночью ее била лихорадка. Чарльз вместе с Кэт дежурил у ее постели. На утро пригласили врача. Ей стало хуже, она уже была в забытьи. И вечером она умерла.

Смерть Мэри, — первая смерть дорогого человека, вошедшая в его жизнь, — обнаружила, быть может, для него

самого размер понесенной им утраты. И, может быть, до этого печального дня он уже отдавал себе отчет в том, как дорога ему Мэри.

Мэри Хогарт прожила слишком недолго, и ее облик очень неясен для современников и потомства. Но для Чарльза он был предельно ясен. Всякий раз, когда Чарльз испытывал потребность написать обаятельный женский портрет, он обращался к этому образу. Эти портреты — а мы знаем их немало — слепки одного и того же лица — лица Мэри Хогарт. Чарльзу Диккенсу не дано было умение рисовать обаятельные женские образы, из-под его пера выступала не женщина, а ангел. Но виноват ли он был в том, что эта девушка, Мэри Хогарт, еще не успела стать человеком, а осталась в его памяти ангелом? В этом смысле копии были верны оригиналу, а Роз Мейли в «Твисте», Нелл в «Лавке древностей», Флоренс в «Домби», Кэт и Медилайн в «Никльби» — реалистические портреты.

И реальным было горе. Спустя полгода он писал о своей потере ее матери, миссис Хогарт: «С тех пор как она умерла, я ни разу не снимал с пальца ее кольца — ни днем, ни ночью, разве только на один момент, когда мыл руки. Меня никогда не покидали мысли о ее очаровании и высоком совершенстве. Могу торжественно поклясться, что наяву и во сне я никогда не утрачивал воспоминания о нашем тяжком испытании и скорби, и я чувствую, что оно всегда будет со мной».

Или еще: «Если бы только она была с нами à l'heure actuelle[3] всегда веселая, счастливая, совершенная спутница, разделяющая все мои чувства и все мои мысли больше, чем кто бы то ни было… мне кажется, я не хотел бы ничего другого, кроме продления этого совершенного счастья».

---

[3] В данный момент *(франц.).*

Странные письма. Так не пишут о потере друга. Так пишут об утрате любимой девушки.

Он прекратил работу. И Чепмен с Холлом и Бентли ждали «Пиквика» и «Твиста». Читатели «Смеси Бентли» ждали продолжения «Твиста», перерыв крайне нежелателен для издательства, а читатели «Пиквика» ждут очередного выпуска еще с большим нетерпением, чем читатели «Смеси Бентли».

Но Англия должна подождать. Сэм, и мистер Пиквик, и прочие участники романа застыли в тех позах, в которых их настигла смерть Мэри. Бедный маленький Оливер и молодые бандиты из берлоги Феджина замерли, как марионетки на сцене кукольного театра. У Диккенса не было сил привести в движение шумную толпу веселых героев «Пиквика» и устрашающие персонажи из логовищ Уайтчепля.

Кэт видела, что он не может работать. Она предложила ему уехать из Лондона, — быть может, перемена обстановки поможет ему справиться с тоской, лишавшей его сил.

Диккенс согласился уехать. Они сняли коттедж неподалеку от Лондона, в Хемстиде, где мистер Пиквик производил свои изыскания о колюшке. Но Чарльз первые недели не мог работать и там.

Его посещала приятели. И там, в Хемстиде, началась его дружба с человеком, который уверенно вошел в его жизнь.

Этого джентльмена он встретил как-то у Энсуорта. Встретились они еще на рождество, и в ту пору встреча не привела к сближению. Но и тогда, у Энсуорта, новый знакомый проявил большое внимание к «Пиквику» и к «Скетчам Боза». Теперь новый знакомый знал напечатанные главы «Твиста» столь же хорошо, как и приключения мистера Пиквика. Он не только знал их, но здраво о них судил, и его суждения обнаруживали литературный вкус.

Звали нового знакомого Джон Форстер.

Тогда, на рождество, Энсуорт, познакомив с ним Диккенса, сообщил, что мистер Форстер приобрел независимое положение в журнале «Экзамайнер» своими статьями на политические и литературные темы. Энсуорт говорил это в присутствии Форстера, и тот не возражал. Он даже кивал головой, сдержанно, с достоинством, почти степенно. Степенность была во всем его облике, в строгом костюме, в котором ни одна мелочь не должна была обращать на себя внимания. Диккенс сразу понял, что джентльмен старательно об этом заботится. Его вкусы были прямо противоположны вкусам Диккенса, который одевался так, чтобы привлечь внимание. Мистер Форстер был иного мнения и о манере держаться в обществе, это тоже было очевидно. Мистер Форстер все время следил за тем, чтобы у окружающих запечатлелось о нем воспоминание как о весьма респектабельном молодом джентльмене, а Диккенс был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь заподозрил его в таких намерениях. Он был также весьма удивлен, узнав, что этот степенный, можно сказать даже напыщенный, джентльмен с небольшими бакенбардами ровесник ему. Чопорность и крайне серьезный вид старили Джона Форстера.

Тогда, у Энсуорта, Диккенс успел установить, что его новый знакомый является верным сторонником прогресса и партии либералов. Но он был джентльменом консервативного склада мысли и крайне ценил бережное отношение к нормам общежития, отстоявшимся в респектабельном обществе в течение многих поколений. Слишком радикальные взгляды в политике и в сложном вопросе об укладе жизни были весьма несимпатичны мистеру Форстеру. И, по-видимому, он был обидчив. Когда Энсуорт спросил за обедом Диккенса, не ошибается ли он, припоминая, что внешним своим видом мистер Пиквик походил на некоего мистера Форстера, которого мистер Чепмен описал Диккенсу, когда Энсуорт

упомянул имя Фостера, мистер Джон Форстер сдвинул брови. Энсуорт немедленно загладил ошибку, он совсем не имел намерения посмеяться над Форстером — быть может, подтрунить, и только. Но реакция молодого критика была весьма недвусмысленна: он не желал понимать шуток, хотя бы и беззлобных, если они могли затронуть его личность.

И все же Джон Форстер расположил к себе Диккенса еще за обеденным столом у Энсуорта. Он был образован, куда более образован, чем Диккенс, — он кончил с отличием недавно основанный Лондонский университет, но об этом даже не упомянул. А главное — он говорил о своей высокой оценке произведений Боза таким тоном, что нельзя было не поверить. В этих оценках не было ни намека на лесть или на простую вежливость; нет, молодой критик в самом деле высоко оценил Боза.

И вот теперь, через пять месяцев после встречи у Энсуорта, оказалось, что высокое мнение мистера Форстера о Бозе укрепилось еще больше. Он сделал ряд тонких критических замечаний о развитии приключений Сэма и мистера Пиквика, о характере Бамбля и описании воспитательного приюта, взрастившего маленького Оливера. Все его замечания были неопровержимы. И Диккенс почувствовал к его суждениям такое доверие, какого не мог вызвать ни один из его знакомых профессиональных литераторов.

На этот раз знакомство с Джоном Форстером не должно прерываться, как прервалось оно пять месяцев назад.

Шли дни, и понемногу начала притупляться невыносимая острота утраты. Посещения знакомых помогали этому благодетельному процессу забвения. Диккенс вернулся к «Пиквику» и «Твисту».

Среди знакомых было два человека, с которыми приятельские отношения установились раньше, легко и свободно, как устанавливались теперь с Джоном Форстером.

Эти двое не были литераторами. В истории английского искусства судьба отвела им почетные места.

Вильяму Чарльзу Макреди было сорок четыре года. Едва ли не все лондонцы, посещавшие театр, видели его в роли Роб Роя. Это был большой актер, но пока не из очень удачливых. В семнадцать лет он уже играл шекспировского Ромео в антрепризе отца, арендовавшего Бирмингемский театр. Многие годы он кочевал по провинции, где был одним из самых известных актеров. Но в Лондоне ему не очень везло. В Лондоне на его путях к шекспировским ролям стояли в обоих основных театрах — и в Ковент Гарден и в Друри Лен — такие актеры, как Кин, Юнг и Чарльз Кембль. Будущее покажет, что он был не ниже в шекспировских ролях, даже для лондонского зрителя, очень капризного в оценке шекспировских исполнителей. Его образы Макбета, Лира, Кассио, Яго и короля Джона останутся в истории английской сцены девятнадцатого века.

Диккенс видел в нем совершенного актера. И ему нетрудно было очаровать Макреди, — это ему удавалось легко, когда человек был интересен. Но и он казался интересным умному и наблюдательному Макреди. Актер знал о впечатлении, произведенном на Диккенса смертью Мэри, он проявил к Диккенсу большое внимание, он посещал его чаще, чем обычно, и в Хемстиде и после возвращения Диккенсов в Лондон, в начале июля.

Другим знакомым, с которым Диккенс встречался не менее охотно, чем с Макреди, был Дэниель Маклайз.

Маклайз был на шесть лет старше Диккенса. Отец его, шотландский младший офицер, не обращал внимания на его пристрастие к живописи и поместил клерком в банк. Дэниель Маклайз подростком приехал в Лондон, и его живописный талант был столь очевиден, что Королевская академия немедленно приняла его в число учеников. В академии

Маклайз получал все медали, на соискание которых выставлял свои картины. Уже два года назад репутация его как художника настолько упрочилась, что академия выбрала его членом-корреспондентом. Маклайз был превосходным живописцем и очень острым рисовальщиком. Своими историческими композициями он уже начал уверенно прокладывать себе путь к той славе, которая сделала его имя широко известным не только в Англии, но и в требовательном Париже.

Диккенс предрекал Маклайзу такую славу. Художник улыбался, но молчал, — он умел работать и не расточал понапрасну своего времени. У него был очень зоркий, глаз портретиста, но его влекло к шекспировским образам не меньше, чем к историческим полотнам. В будущем его гигантские фрески в Палате лордов закрепят за ним славу непревзойденного мастера фрески в английской живописи, а его трактовка шекспировских сюжетов позволит молодым прерафаэлитам считать Маклайза самым близким к новой школе художником, увенчанным всеми академическими лаврами.

В эти трудные для Диккенса недели, следовавшие за его возвращением в Лондон, посещения Макреди и Маклайза и внезапно утвердившаяся дружба с Форстером помогали ему работать.

Но тоска по умершей, острая и безутешная, настигала его вдруг, неожиданно для него самого. Тогда он плакал, как ребенок.

В конце июля он решил поехать на неделю вместе с Кэт на континент. Об этом он сказал Кэт и прибавил, что вместе с ними поедет Физ.

Еще до отъезда во Фландрию он почувствовал необходимость ввести в «Твиста» Роз Мейли.

В этом образе Мэри Хогарт обрела свое первое воплощение.

8. Сквозь два романа

Близилось окончание «Пиквика». Ноябрьский выпуск будет последним. Читатель попрощается с Сэмом, в которого влюбился не меньше, чем автор, — с Сэмом, чье сердце поистине золотое, попрощается с мистером Пиквиком и со всеми прочими персонажами романа. Он будет огорчен, читатель, — за полтора года он так привык ждать бледно-зеленые выпуски.

Как далеко автор увел повествование от своего начального замысла! Придирчивая критика, которая ищет предлога побрюзжать, откроет потом, что в «Пиквике» не автор вел повествование, а повествование нередко выбирало направление без участия автора. Начиная роман, автор, в простоте душевной, полагал, что пишет роман, нанизывая одно приключение за другим. В этом занятии он следовал известным образцам — хотя бы испанцам или Смоллету, который тоже не раз давал себя увлечь повествованию. И лишь написав немало страниц, автор задумался над сюжетом, отсутствие которого угрожало немалыми бедствиями. Только с главы двенадцатой автор придумал завязку, которая в дальнейшем помогла роману не рассыпаться на куски.

Придирчивая критика будет утверждать, что мистер Пиквик начала романа ничуть не похож на мистера Пиквика в конце романа. В сущности в романе два разных мистера Пиквика. Первый — неумный, карикатурный специалист по колюшке, водившейся в прудах Хемстида. Он записывает с глубокомысленным видом в блокнот галиматью, которую несет ему кэбмен о своей лошадке, он обогащает науку расшифровкой надписи на камне, которую нечего было расшифровывать. С тем же глубокомысленным видом он внимает вранью Джингля, которое не могло бы обмануть ребенка.

И есть второй Пиквик, который не получился бы ни по какому закону развития характера, если бы автор, беззаботно пускаясь в плавание, задумался бы над тем, чтó ему нужно от своего героя. Второй Пиквик мудр мудростью сердца, он человечен и добр, и он обладает несокрушимой волей, когда представляется случай восстать против лжи и неправды сего мира. Капкан, уготованный ему законниками, оказывается недостаточно хитроумным и крепким. Первый мистер Пиквик остался бы в нем — второй спокойно и с достоинством ломает его. Но он не мстит никому, как отомстил бы первый мистер Пиквик, а неудачливому Джинглю и лицемеру Троттеру, которые принесли ему немало зла, он оказывает помощь.

Короче говоря, Диккенс бросает на полдороге одного мистера Пиквика и начинает заниматься другим, новым.

Он бросает не одного Пиквика. Он бросает и мистера Уордля и забывает о нем. Он бросает и Джингля. Только в конце романа критика с удивлением находит его вновь. Она вправе недоумевать, почему автор вспомнил о нем, как недоумевала раньше, почему автор забыл о Джингле.

У придирчивой критики много оснований недоумевать, и она недоумевает.

Но читателю нет дела до критики. Джордж Сала, известный журналист, который еще напишет для журнала Диккенса «Семейное чтение» триста статей, — занесет в свой блокнот краткую заметку о приеме «Пиквика» читателем. Он запишет, что больной, которому врач предрек смерть не позже чем через месяц, пробормотал после ухода врача: «Ну что ж! Во всяком случае, следующий номер "Пиквика" выйдет через две недели». Джордж Сала запишет, как пострадал школьник, который вдруг вспомнил во время церковной службы какой-то комический эпизод из «Пиквика». Школьника пришлось вывести из церкви, ибо он хохотал так, что мешал соседям.

И он — Джордж Сала — запишет о бесчисленных собаках и кошках, названных в честь героев «Пиквика», запишет о появлении пиратских подделок романа — о ежемесячных выпусках «Пиквика в пенни» и «Посмертных записок Пиквикского клуба».

И собаки, и сигары «Пиквик», и подделки, в дополнение к другим многочисленным примерам популярности романа, — свидетельство о том, что читатель весьма мало интересовался законами трудного литературного жанра, называемого романом. Он нашел книгу, которая стала достоянием нации. Эта книга молодого писателя Боза обладала волшебным свойством. Жизнь предстала в ней такой безоблачной, а люди и события столь комическими, что не назовешь другой книги, которая могла бы стать таким же источником бодрости и другого героя, столь же обаятельного, как Сэм.

По временам безоблачность затуманивалась. Но ненадолго. Писатель Боз сам не выносил тени, бросаемой облаком, — облако скоро растворялось и можно было снова улыбаться, а не то и хохотать, как тот школьник в церкви. Молодой писатель Боз владел тайной видеть человека с самой комической его стороны, а жизнь — доброжелательной к каждому, кто не родился безнадежным неудачником. Но таково было свойство молодого писателя Боза — почитать жизнь заботливым опекуном, который для нашей же пользы проявляет иногда суровость.

Вот теперь эта книга лежала на прилавках книжных магазинов. Автор закончил ее, а фирма Чепмен и Холл издала, невзирая на то, что совсем недавно появился последний — ноябрьский — выпуск в обложке капустного цвета. Книга исчезала с молниеносной быстротой, пришлось выбросить на прилавки новые тысячи, чтобы насытить ненасытного покупателя.

А рядом с «Пиквиком» лежал очередной номер «Смеси Бентли». Каким надо быть кудесником, чтобы писать в один и тот же день безоблачного «Пиквика» и сумрачного «Твиста». Читатель удивлялся и покупал «Смесь Бентли».

Он уже познакомился с работным домом и воспитательным приютом. Оба эти учреждения рисовались ему раньше совсем иными. Неужели этот работный дом, где владычествуют Бамбль и миссис Корни, — то самое тихое пристанище для бедняков, о котором не раз он читал в газетах? А воспитательный приют при работном доме, где надзирает миссис Мэн? Неужели существуют такие приюты и отдача малышей в рабство первому попавшемуся трубочисту?

Боз утверждает, что существуют.

Познакомившись с двумя гуманными учреждениями, читатель попадал на дно Лондона. Правда, по дороге он узнавал несколько добрых джентльменов и леди, но не к ним собирался Боз привлечь его внимание. Боз вел читателя в трущобы, которые, как оказалось, были ему известны не хуже, чем порядок судопроизводства в суде Докторе Коммонс.

Читатель попадал в общество мистера Феджина, обучавшего сверстников Оливера мастерству уличного воришки. Но Феджин был не только опытным педагогом, в его клоаку стекались социальные отбросы гигантского города.

Читатель уже понял: мир и покой в доме старой леди, куда попал маленький Оливер, не должен вводить его в заблуждение. Идиллические сцены — только трамплин, который помогает привести повествование к описанию социального дна. Читатель уже предчувствовал ту роль, которую займет в романе страшный Сайкс.

Читатель тщетно искал не только безоблачности, но и юмора «Пиквика». В «Твисте» не было юмора. Бамбль, приходский бидль, и воришки не были смешны. Они были страшны, хотя напыщенность и самодовольство Бамбля

и проделки воришек могли показаться комическими. Нет, Боз не позволял читателю обрести приятное расположение духа за чтением «Твиста».

Читатель удивлялся. Он не мог не удивляться. Казалось, будто автор видит жизнь одновременно с двух позиций. С одной — жизнь легка, как бы ни приходилось по временам сражаться против злых людей и злого закона, с другой — она жестока жестокостью судьбы к маленькому Оливеру и к приходским беднякам. С одной — она цепь комических ситуаций, надо только уметь эту цепь разматывать, с другой — слепая судьба, как античный рок, избирает жертвы среди невинных чаще, чем по закону возмездия. С одной позиции Боз видел чудаков, жесты которых столь комичны, что их зарисовки теряют очертания правдоподобия, с другой — мир населен страшными Сайксами и Феджинами, бесконечно жалкими Нэнси и беспомощными, оглушенными жизнью клиентами приходского бидля.

Странный писатель этот Боз. Должно быть, нелегко писать одновременно два романа, таких различных, один из которых только-только завершен.

Едва ли многие из читателей объясняли себе «странность» Боза иначе. Но некоторые из них понимали: реальную жизнь нельзя изобразить с одной позиции. Ибо реальная жизнь — это ситуации и гротески «Пиквика» и жестокая судьба и «страшные» образы «Твиста»; это «Пиквик», в котором резвился автор, и «Твист», который и в дальнейших номерах «Смеси Бентли» не сулит ничего, кроме еще более жестоких сцен.

Но читатели уже поняли: тот писатель, который видит реальную жизнь одновременно сквозь «Пиквика» и сквозь «Твиста», — в самом деле очень большой писатель. Нужно только следить за тем, сохранит ли этот писатель и в дальнейшем способность видеть и изображать жизнь во всей

широте ее. И всегда ли будет он механически расчленять жизнь на комические ситуации и на драматические? Или зрелость научит его увидеть жизнь не рассеченной надвое, а вмещающей то, что кажется юности несовместимым, — судьбу, которая может быть доброй и злой, и человека, который куда более сложен, чем комический гротеск или драматический злодей.

В эти годы — начальные годы своего большого писательского пути он еще не умел изобразить такого человека. Потому-то он и писал два романа одновременно, в двух разных ключах. Помогут ли ему жизненный опыт и крепнущее мастерство найти другое решение?

9. Будни Боза

Теперь Диккенс мог продолжать одного «Твиста». Друзья и поклонники чествовали его банкетом по случаю окончания «Пиквика». Он сидел рядом с сарджентом — известным адвокатом — Тальфуром, избранным председателем, возбужденный, с легким румянцем на щеках; длинные густые темные волосы, завиваясь, прикрывали короткие пушистые бачки и подчеркивали матовый цвет лица с чуть заметным оливковым оттенком. На этом матовом лице красные губы казались ярче. В петлицу фиолетового фрака воткнута была ярко-красная роза. Когда он встал для спича, приглашенные смогли оценить его пристрастие к ярким краскам в костюме. И в самом деле, даже в эту эпоху, когда мода разрешала в мужском туалете смелые сочетания красок, автор «Пиквика» проявил в подборе их оригинальный вкус. Фиолетовый цвет его фрака с ласточкиным хвостом соседствовал с малиновым цветом высокого бархатного жилета, на который спускался огромный белый бант галстука в рамке из топорщившихся оборок манишки. Черные брюки плотно облегали бедра и суживались книзу; в галстук были воткнуты

две бриллиантовые булавки, соединенные цепочкой, а по малиновому жилету протянулась солидная золотая цепь. Он держался прямо, искусный портной умело расширил грудь, которую он даже слегка выпячивал; все же он не производил впечатления спортсмена, хотя юношеская хрупкость исчезла.

Хвалебные речи отзвучали, и теперь, проработав над «Твистом» утренние часы, он обрел непривычный для него за последнее время досуг. Как ни тщательно он правил чужие рукописи, предназначенные для журнала, свободного времени было немало. Если вечером в театре не шла интересная пьеса, он редко покидал дом, он обдумывал утреннюю порцию «Твиста», принимал друзей. Кроме Форстера, Макреди и Маклайза, он встречался с Физом и Крукшенком, который иллюстрировал «Твиста», а из старых его знакомцев по «Кроникль» только один репортер — Томас Бирд — получал приглашения отобедать на Доути-стрит.

Стояла зима. Она была мягкой, можно было не сокращать обычных прогулок за город. Прогулка за город входила в распорядок дня. Уже складывался этот распорядок, который выполнялся все строже и строже. Для стороннего наблюдателя эта строгость могла показаться даже чрезмерной. Педантизм редко связывается с одаренностью. Диккенс смеялся, когда друзья шутили над его пристрастием точно соблюдать выработанное расписание дня. И заодно подтрунивали над его аккуратностью.

Но с каждым месяцем эти два пристрастия — к точности и к аккуратности — укреплялись глубже. Казалось, будто он задумал сковать в повседневной жизни жесткими рамками привычек свою эмоциональность и темпераментность. Оба эти качества так легко выплескиваются за любые рамки, но так уж повелось, что именно они помогают себя обуздать. Диккенс решил, что он должен быть точен и аккуратен,

и бурно, с энтузиазмом осуществлял это решение. Теперь, после «Пиквика», он не смеет растрачивать зря время, теперь он должен производить строгий отбор нужных ему людей от ненужных, теперь он должен опираться в самодисциплине на помощь благодетельной рутины. Если в нее втянуться, мысль человеческая, не отвлекаясь, обратится к разрешению задач более существенных.

Порядок на письменном столе должен быть образцовым, перья — очинены остро, писать карандашом или делать карандашные поправки в рукописи нельзя. Стол должен стоять перед окном, против света. Это также важно для успешности работы, как положение спящего для здорового сна: спящий должен лежать головой к северу, а ногами — к югу. Цвет чернил имеет значение, они должны быть синими; и ни один стул в кабинете нельзя сдвигать на дюйм с привычного места. Такой беспорядок отвлекает внимание не меньше, чем неаккуратно поднятая штора на окне, не меньше, чем плохо подметенный пол.

Теперь еще нет на столе бронзовой группы, которая со временем станет необходима для успешной работы. Нет еще бокала с красной розой или трюмо в углу. Но уже теперь в петлице должен быть красный цветок, никак не белый, — хороша красная герань или та же роза.

И надо вставать так, чтобы начать работать тотчас же после брекфаста — первого завтрака. И работать в полной тишине, шум невыносим. И надо сидеть за письменным столом, хотя бы не работалось, а из-под остро отточенного пера исходили не строки, а какие-нибудь фигурки и профили, не обнаруживающие, кстати сказать, графической его одаренности.

Работать надо до второго завтрака — ленча, примерно до часу дня, и еще можно иногда вновь присаживаться за стол на час-другой после ленча. И если этот час посвящать

корреспонденции, то надо строго держаться правила: ничего в письмах не зачеркивать. Рукописи — иное дело, можно и надлежит их черкать немилосердно и растекаться поправками во всех направлениях на листе бумаги. Но все поправки должны быть четкими, хотя эта четкость, как жалуются издатели, мало помогает. Слишком много поправок — и на такую рукопись надо ставить самых опытных наборщиков. В конце концов целесообразно выделить специального наборщика, который привык бы разбираться в поправках.

Стенография — добрый помощник писателя. Ни одного важного письма, ни одной рукописи нельзя отослать если не снимешь с них копии. Если не снять копии, а письмо или рукопись затеряются, следует винить только себя и свое легкомыслие. Но легкомыслие в работе непростительно.

Легкомыслие в работе всегда приводит к недобросовестности. Надо работать в полную силу. Тот, кто относится к работе с легкомыслием, — обманщик; и неряшливость в работе так же недопустима, как безответственность в поведении. Рукописи обманщиков можно распознать по первым страницам; никакого снисхождения они не заслуживают, как не заслуживают снисхождения те, кто нарушает одну из основных заповедей человеческого общежития: точность.

Можно быть очень требовательным к людям, когда оцениваешь их отношение к этой заповеди. Неточность есть социальный грех, она приносит прямой ущерб всем окружающим, ибо ворует драгоценное время. И неточность — вина перед самим собой, ибо она всегда воспитывает в человеке склонность к растрате сил — то есть к безделью. Только поверхностному человеку кажется, что легче жить и работать в течение дня по вдохновению, но не по регламенту. Воспоминание о зря растраченном времени и о бесплодности дня не способствует укреплению хорошего расположения духа. И день, кажущийся легким, оказывается тяжелым.

День становится легким, когда работаешь за письменным столом в точно намеченные часы, и из-под пера выходит три-четыре страницы рукописи. День становится легким, когда, выходя из дому, возвращаешься в такой-то, точно назначенный срок. Или когда, например, посетители не опаздывают.

Диккенс взглянул на карманные часы. Мэкрон опаздывает уже на три минуты. Три дня назад он просил письмом назначить ему свидание. И он знает, что Диккенс всегда пунктуален. Или, быть может, издатели полагают, что они — люди деловые, а писатели только забавляются, играя в деловых людей?

Издатели!.. Теперь они постараются извлечь немало фунтов из его успеха. Какого он свалял дурака, заключив договор с Бентли! Читатель знает, что «Смесь Бентли» редактирует не кто иной, как автор «Пиквика»; тираж журнала растет и растет, и в новом, тридцать восьмом, году можно ждать нового роста. Да, он работает на Бентли, его гонорар не повышается ни на шиллинг, а правка рукописей занимает немало времени. И ни на шиллинг не повышается его гонорар за «Твиста», который, кажется, имеет большой успех. Надо было издавать его выпусками, как «Пиквика». Но, пожалуй, хуже всего, что в этом дурацком договоре с Бентли он обязался печатать в журнале два следующих романа. Два романа! Форстер незаменим, он умеет вести дела друзей, но и он добился только того, что Бентли согласился не настаивать на своих правах и удовлетвориться только одним романом. Придется писать для Бентли роман о мятеже лорда Гордона в 1780 году. Но этот роман уже давно обещан Мэкрону. Нет не обещан, черт возьми! Он обязался писать его для Мэкрона. Тот приставал не один раз с напоминанием. Без сомнения, его визит имеет отношение к этому проклятому договору на исторический роман.

Чем больше думал Диккенс об издателях, тем он больше злился. Хороши тоже Чепмен и Холл! Правда, они добросовестно выполняют обязательства, не нарушая условий соглашения, но разве это справедливо, что издатель получает львиную долю барыша, когда книга имеет успех? И всегда у них наготове ответ, когда об этом заговариваешь: издатель, мол, терпит убытки чаще, чем извлекает выгоду, потому, изволите видеть, что книгоиздательство — неверное, рискованное предприятие с коммерческой точки зрения. Издатели всегда поют иеремиады, но это не мешает им заманивать в ловушку начинающего автора. Довольно! Этого больше не будет! Теперь он не начинающий автор и докажет, что у него нет охоты набивать карманы издателей фунтами. А этому Мэкрону…

В дверь постучали. Горничная доложила о приходе мистера Мэкрона.

Издатель «Скетчей Боза», мистер Мэкрон, плотный, средних лет джентльмен в синем сюртуке, входя, разглаживал густые бакенбарды и улыбался. Не так давно автор «Руквуда», романист Энсуорт, привел к нему в издательство мало известного автора неплохих скетчей в «Кроникль». Способности автора были очевидны, мистер Мэкрон согласился издать сборник скетчей и, на всякий случай, заключил с молодым автором договор на исторический роман. Скетчи он издал, заплатил мистеру Бозу фунтов сто, если память не изменяет… А затем этот неслыханный успех «Пиквика» — книги, которая, можно сказать, уплыла из его рук в руки начинающей фирмы Чепмен и Холл. Конечно, предугадать этого нельзя было, но извлечь из положения выгоду, посильную выгоду…

Мистер Мэкрон больше года не видел мистера Боза, который теперь уже носит имя, данное ему при крещении,

и свою фамилию. За это время мистер Боз изменился, — вернее, изменилась манера держать себя. Нервическая натура чувствовалась раньше в каждом жесте молодого человека; казалось, будто он куда-то торопится, его можно было назвать стремительным молодым джентльменом. Теперь он смотрит прямо и внимательно в глаза собеседника, и жесты его стали более округлыми. Он сидит за письменным столом в своем кабинете, небольшом, очень чистом и свободном от лишней мебели, спокойно предлагает посетителю сесть в кресло у книжного шкафа, в котором опытный глаз издателя не находит ничего, кроме популярных трехтомных романов и книг о путешествиях. «Должно быть, романы подарены авторами», — думает мистер Мэкрон и опускается в кресло.

— Я к вашим услугам, мистер Мэкрон, — говорит Диккенс, — но, прошу простить, через короткое время нам могут помешать. Я назначил одному посетителю явиться в три часа, рассчитывая, что наша с вами беседа продлится не больше получаса. Теперь, увы, без десяти три.

Мистер Мэкрон прекрасно понимает, что хозяин подчеркивает этим вступлением опоздание гостя.

— Моя вина мистер Диккенс, — говорит Мэкрон, — и я постараюсь быть кратким.

Он думает при этом, что у автора «Пиквика» повышенная амбиция, но тут уж ничего не поделаешь, это всегда так бывает с писателями, которые преуспевают.

Диккенс вытягивает под столом ноги в широких клетчатых брюках, смахивает пылинку с лацкана своего коричневого сюртука, берет из вазочки свежее гусиное перо и начинает его вертеть.

— Я вас слушаю, сэр, — говорит Диккенс и изучает знакомое лицо Мэкрона.

— Итак, мистер Диккенс, излишне, мне кажется, вспоминать то, что мы оба хорошо помним. Я имею в виду ваше

согласие написать для моего издательства исторический роман о мятеже лорда Гордона. Вы предполагали назвать его, если не ошибаюсь, «Гебриэль Вердон». Вот-вот.

«У Мэкрона нос мог быть поменьше, если предъявлять эстетические требования, о которых говорил вчера Форстер. Но интересно, что придумал этот деловой коммерсант? Не для того же он пришел, чтобы напомнить о "Гебриэле Вердоне", — думает Диккенс и играет гусиным пером. Он молчит. Мэкрон делает паузу, его маленькие глаза бутылочного цвета ощупывают лицо Диккенса, который, наконец, произносит:

— Меня увлекла тема, которая имеет, смею думать, общественное значение, — я имею в виду мой роман, печатаемый в журнале. Вы с ним могли познакомиться, мистер Мэкрон…

— Я согласен, мистер Диккенс, что роман о приключениях этого мальчика имеет, как вы выражаетесь, общественное значение, но фирма Мэкрон не имеет к вашему произведению никакого отношения.

— Но я не вижу никакого нарушения своих обязательств перед вами, — пожимает плечами Диккенс, — печатая «Оливера Твиста» у Бентли. Я пишу роман не о мятеже лорда Гордона.

— Вот именно, мистер Диккенс! Вы изволите говорить то же, что хотел сказать я…

И Мэкрон пытается осклабиться, но это ему не совсем удается. Он кончает фразу как будто небрежно, но глаза его по-прежнему шарят по лицу Диккенса.

— А я тем временем понапрасну жду исторического романа «Гебриэль Вердон»…

Диккенс раздражается, но сдерживает себя:

— Согласитесь, мистер Мэкрон, что у нас, писателей, есть право обращаться к тем темам, которые нас увлекают.

В настоящее время меня не увлекает тема «Гебриэля Вердона». Когда-нибудь я напишу о мятеже лорда Гордона, мне так кажется. Но не теперь. Вот и все.

И Диккенс нажимает сухим гусиным пером на лист бумаги. Пером уже нельзя пользоваться. Мэкрон это видит. Еще совсем недавно, каких-нибудь два года назад, вот этот щеголеватый молодой человек не позволил бы себе проявлять раздражение в разговоре с издателем, которому он нанес ущерб своим увлечением другой темой. Тогда этот молодой человек был непомерно рад сотне фунтов, полученной за свои скетчи. Тогда он взирал на издателя как на благодетеля. А теперь… Молодой человек прекрасно понимает, что нанес издателю ущерб, и ломает перо от раздражения. Мэкрон решает сразу перейти в атаку:

— Я вижу, мистер Диккенс, что вы не считаете необходимым наметить срок хотя бы приблизительный, когда моя фирма получит первые главы «Гебриэля Вердона», которого я предполагал бы издавать выпусками. Из этого я заключаю, что вы допускаете возможность увлечься, как вы говорите, другой темой, но не исторической. Не так ли?

Диккенс молча склоняет голову. Мэкрон выдвинулся всем корпусом вперед, теперь он сидит на кончике кресла.

— Вот видите, сэр. Таким образом, ваш отказ писать «Гебриэля Вердона» наносит мне ущерб.

— Я не совсем понимаю вас, — говорит Диккенс. — Повторяю, я не пишу «Гебриэля Вердона» и не заключаю на него договора с другим издателем.

— С коммерческой точки зрения мы, деловые люди, несем убытки, если не получаем выгоду, на которую имеем право.

— Я не коммерсант, мистер Мэкрон, и такой вывод не могу принять, — говорит Диккенс, вытаскивает из жилетного кармана часы и смотрит на них. Этот коммерсант, если

судить по его тону, переходит в решительное наступление, и о деликатности можно забыть.

— Очень жаль, что вы не можете принять такой вывод, мистер Диккенс, — сухо говорит Мэкрон. — Но мы, коммерсанты, его принимаем. И потому я вынужден предупредить вас, что попытаюсь возместить ущерб, нанесенный вами моей фирме.

Диккенс поднимает брови и говорит саркастически:

— Благодарю вас, сэр, за прямоту и не скрою, что мне любопытно знать, какое отношение я имею к вашей решимости возместить ущерб, который я вашей фирме не наносил.

— Я хочу предупредить вас, мистер Диккенс, что я решил выпустить «Скетчи Боза» отдельными выпусками. Ежемесячными выпусками, сэр, — говорит Мэкрон, и лицо его делается каменным.

Диккенс откидывается на спинку кресла.

— Что вы хотите сказать, сэр? Вы издали мои скетчи в двух томах и теперь хотите издавать их выпусками?

— Вот именно, сэр. Так же, как вы издавали «Посмертные записки Пиквикского клуба».

— Но выпуски «Пиквика» были новинкой для читателя! Если же вы издадите скетчи выпусками, все решат, что я прибег к такому способу из жадности. Какого мнения будет обо мне читатель, который не будет даже знать, что на этом издании наживаетесь вы, а не я? Это невозможно.

— Любой юрист разъяснит вам, сэр, что это возможно, пока издательское право на скетчи принадлежит моей фирме, — спокойно говорит Мэкрон.

Пауза. Диккенс знает, что этот коммерсант прав. Какое ему дело до мнения читателя об авторе «Пиквика»? Щеки Диккенса розовеют от волнения. Он повторяет машинально:

— Это невозможно.

И думает: «Надо помешать этому решению Мэкрона. Но как?»

И Мэкрон думает, смотря на взволнованное лицо Диккенса: «Где же ваша самоуверенность, сэр?»

Он выдерживает паузу и затем встает. Он говорит, и теперь его губы складываются в улыбку:

— Впрочем, есть возможность сохранить расположение читателя к столь известному автору, как мистер Чарльз Диккенс. И вместе с этим — возместить мне ущерб. Моя фирма расценивает его в тысячи фунтов. В тысячи фунтов! Подумайте, сэр.

Он откланивается и направляется к двери.

Диккенс был взбешен. Не будь он теперь известен, он мог бы не писать роман для журнала Бентли. А теперь этот шантаж Мэкрона. Именно, шантаж!

Но к юристу не имело смысла обращаться, — вопрос был ясен, это подтвердил и Форстер. Стало быть, надо найти выход. Диккенс твердо решил помешать Мэкрону издавать ежемесячными выпусками изданные им раньше скетчи. Мэкрон прекрасно понимает, что Диккенс не может согласиться на такое издание, в этом все дело.

Форстер решил переговорить с мистером Чепменом: не согласится ли он выкупить у Мэкрона право на издание скетчей?

Когда Диккенс узнал, что Мэкрон потребовал у Чепмена и Холла две тысячи фунтов за уступку скетчей, он исчерпал все ругательства, которые не слишком оскорбили бы деликатный слух Форстера.

Еще не прошло двух лет с той поры, когда Мэкрон сунул ему сотню фунтов за те же скетчи, которые теперь не желает уступить меньше, чем за две тысячи! Оказалось тем не менее, что фирма Чепмен и Холл, обсудив сделку, надеется извлечь

из нее выгоду. Имя Диккенса очень популярно. Но две тысячи фунтов — сумма значительная; едва ли можно извлечь выгоду из этой сделки, если переиздать скетчи в двух томиках. Придется все же издавать ежемесячными выпусками. Диккенсу надо понять, что Мэкрон твердо решил издавать скетчи выпусками. Значит, надо делать выбор между Мэкроном и фирмой Чепмен и Холл; разумеется, некоторым читателям покажется странным издание выпусками хорошо известных скетчей, быть может, у них мелькнет мысль о погоне автора «Пиквика» за крупным гонораром, но тут уж ничего не поделаешь.

Диккенсу пришлось согласиться на издание скетчей Чепменом и Холлом.

10. Еще общеполезная тема

Обретенный им после окончания «Пиквика» досуг начал его тяготить. Если он и устал слегка, кончая «Пиквика», то теперь он отдохнул, а «Твист» шел легко. Почему бы не повторить опыт и не начать второй роман — большой роман, может быть больше, чем «Твист»?

Но какой? Развлекательный, как «Пиквик», или следует выбрать тему, подобную той, какую выбрал для «Твиста», — тему, на которую законодатели обратят внимание, хочется им или не хочется? Тему, которая взволнует читателя и заставит газеты и журналы признать, что автор «Пиквика» может всерьез бороться с порядками, наносящими немалый вред обществу.

Но надо признать все же, что «Твист» как-то сворачивает с дороги, по которой он повел его. О приюте и работном доме чем дальше, тем меньше пишется. Описание учеников и приятелей Феджина и их темных дел в сущности не вызывает у читателя никакого недовольства общественными

порядками. С работным домом и воспитательным приютом куда проще. Вот вам, леди и джентльмены, правдивая картина этих прославленных учреждений, автор не видит никаких достоинств в новой системе призрения, которая почитается прямо-таки чудодейственной. Вы, леди и джентльмены, можете не верить, это ваше дело, но если поверите, то сделаете нужные выводы. Что же касается не весьма респектабельного общества, куда попадает несчастный сирота, маленький Оливер, то какие выводы может сделать читатель?

Признаться, никаких. Но что можно поделать с такими, как Феджин, его ученики или этот разбойник Сайкс и другие разбойники? Какие меры надо принять, чтобы они не существовали, эти опасные люди? Оливер будет связан с ними, — это придаст, конечно, интерес роману, читатель будет ужасаться и читать роман. Это все хорошо, но получается так, что читатель не знает, кого винить в существовании Сайкса. Не винить же в самом деле Палату общин или общество, что существуют преступники. Во-первых, этому никто не поверит, а во-вторых, если даже захочешь показать это в романе, едва ли что-нибудь выйдет. А пока займешься описанием приключений Оливера среди таких субъектов, как Сайкс, та тема, с которой начал, куда-то ускользнет.

И все же правильно, что начал с такой темы. Надо подумать о том, какой еще непорядок существует в жизни, и надо обратить внимание общества на это зло.

Итак, новый роман следует, как и «Твист», посвятить какому-нибудь предмету, заслуживающему внимания общества. Разовьются ли события по пути завязки или придется их перевести на иную дорогу — там видно будет.

И Диккенс начал искать тему. На нее он напал довольно скоро.

Почему-то среди школ, воспитывающих молодое поколение, самой плохой репутацией пользовались школы

Йоркшира. О них складывались легенды. Приходилось даже слышать о невыносимых условиях, в которых живут ученики йоркширских школ, вербующих свои жертвы лживыми проспектами. Легковерных родителей, веривших этим проспектам, было немало, — в школах Йоркшира обучались дети, проживавшие ранее в других графствах.

Заманчивая тема, тема первостепенной важности — школьное обучение детей и подростков. Диккенс хорошо помнил дни своего учения в Коммерческой академии и скудные сведения, которыми он обязан этой школе, столь пышно наименованной владельцем. Если в Йоркшире дело обстоит так, как убеждает молва, описание такой школы может сослужить службу обществу. Героя можно будет сделать школьным учителем в одной из таких школ, описать порядки в ней, ее владельцев и учеников. Может быть, удастся связать судьбу какого-нибудь ученика с судьбой героя, которого затем надо пустить в плаванье по морю житейскому.

Для разработки сюжета еще есть время. Роман, конечно, надо издавать выпусками, — читатель уже привык к этому способу. Первый выпуск мог бы выйти, скажем, в апреле, но, прежде чем приступить к роману, необходимо поехать в Йоркшир. Времени эта поездка займет немного, и перерыва в печатании «Твиста» можно избежать.

Но до отъезда можно еще заняться одной работой, которая вызывала немало воспоминаний детства. Знаменитый клоун Гримальди покинул не только арену цирка, но и сей мир. Его наследники нашли рукопись, Гримальди то ли не успел издать ее, то ли не решился. Может быть, он не был уверен, что издатели охотно согласились бы издать мемуары. Конечно, старый клоун не был писателем, но он умел видеть, запоминал то, что стоило запомнить в течение своей беспокойной жизни циркового актера, и хорошо знал жизнь цирка.

Какой-то литератор уже приложил руку к обработке рукописи, но от этого вмешательства читатель ничего не мог бы выиграть — пожалуй, даже проиграл бы. Мемуары надо было заново отредактировать.

Гримальди! Не меньше, чем провинциальный театрик в Четеме, это имя заставляло маленького Чарльза мечтать о карьере актера. Было время, когда Гримальди окружил профессию циркового актера таким же светлым ореолом, как и театральный король Ричард, не раз погибавший от меча герцога Ричмонда на глазах Чарльза, который тем не менее не переставал каждый раз испытывать глубокое потрясение.

От рукописи старого Гримальди нельзя отказаться. Но когда принимаешь решение о новой книге, нет возможности препятствовать возникновению образов, которые входят в общение друг с другом почти без участия автора, рождаются и вдруг исчезают. Некоторые надо удержать во что бы то ни стало, надо найти им место в той нереальной жизни, которая создается из ничего по образу и подобию реальной. На всю эту подготовительную работу уходит немало времени, хотя еще нет результатов, — роман еще не начат, если не считать началом появление первых слов на чистом листе бумаги… Но сознание уже занято им, нужна большая дисциплина, чтобы отвести этой работе положенный срок; в особенности это важно, если пишешь одновременно «Твиста» и правишь чужие рукописи для журнала. В подобных условиях действительно трудно навести порядок в рукописи старого циркового актера, который, увы, не всегда был в ладу с литературным английским языком. Было бы хорошо поручить сначала кому-нибудь извлечь из рукописи ценные фрагменты, для такой работы достаточно знать, что из мемуаров клоуна может вызвать интерес читателя.

Диккенс вспомнил об отце. Вот кто мог бы помочь в редактировании мемуаров! Мистер Джон Диккенс немало

поработал в газете и знает вкусы читателей. И, разумеется, лишние фунты в дополнение к тем, которые он ежемесячно получал от сына, оказались бы весьма кстати. Он по-прежнему строит воздушные замки, когда речь идет о его заработках, а сам, как всегда, норовит взять взаймы у каждого своего знакомого несколько шиллингов. Теперь эти операции проходят весьма успешно. Как не одолжить небольшую сумму отцу прославленного Чарльза Диккенса! Слухи о неисправимости отца раздражали Диккенса, надо будет что-нибудь предпринять.

Мистер Джон Диккенс охотно согласился извлечь из записей Гримальди все лучшие отрывки. Выполнил свою задачу он неплохо, теперь можно связать фрагменты в повествование, которое привлечет внимание читателей. Мистер Джон Диккенс когда-то, в подражание сыну, изучил стенографию, чем очень гордился. Как только он извлек из рукописей занимательные отрывки, Диккенс начал диктовать ему связные воспоминания покойного клоуна. Он работал напряженно и быстро, написал предисловие. Мемуары Гримальди были скоро готовы, на титуле значилось «под редакцией и с предисловием Боза».

Теперь можно было поехать в Йоркшир. Поездка необходима. Диккенс это решил еще тогда, когда остановился на «йоркширской» завязке романа. Было бы неплохо, если и иллюстратор собственными глазами увидит йоркширские школы. Иллюстратором надо пригласить не Крукшенка, но Физа. Джордж Крукшенк более острый карикатурист, чем Физ, но нередко его гравюры, прекрасные своей выразительностью, не кажутся юмористическими. Слишком он любит гротеск, его комические герои подчас бывают не смешны, но страшноваты, его игла бессильна передать мягкий юмор. В новом романе немало будет мрачных сцен, но атмосфера романа все же должна быть менее мрачной, чем в «Твисте»;

да и юмористических положений будет значительно больше, чем в жизнеописании маленького Оливера. Словом, надо взять с собой в Йоркшир Физа.

Был конец января. До Йорка, главного города самого большого графства Англии, надо проехать в пассажирской карете больше трехсот километров. Чем дальше подвигались на север, тем холоднее становилось, снегопад усилился, дорогу, пролегающую по холмам, заносил снег. Но в благословляемых путниками гостиницах всегда была готова к их услугам комната с камином, где пылал жаркий огонь, а в столовой — богатый выбор блюд и горячительных напитков. Несколько дней длилось путешествие в Йоркшир, славный не только своими школами, худшими во всей Англии, но и руинами древних монастырей и особым выговором жителей. И почему-то — Диккенсу это было непонятно во время путешествия, по ночам, он неотступно видел во сне покойную Мэри Хогарт. Об этом он извещал Кэт с дороги.

Школы графства, с которыми Диккенс хотел познакомиться, были сосредоточены еще по дороге в Йорк, рассеяны среди руин, средневековых аббатств, неподалеку от городка Грета Бридж.

Но нетрудно предугадать, что йоркширские школы захлопнут двери перед джентльменом, который отрекомендуется автором «Пиквика» и «Твиста». Нужно пойти на хитрость.

Диккенс придумал трогательную историю. У некоей бедной вдовы остался на руках маленький сын. Родня Покойного ее мужа не желает принимать никакого участия в судьбе невинного ребенка. Любящей матери не по средствам воспитание мальчика. Если родственники не придут ей на помощь, участь ребенка будет очень горькой. Мать решается отдать его в одну из йоркширских школ, и этот шаг привлечет внимание равнодушных родственников. Но ей неведомы

достоинства и недостатки этих рассадников просвещения. Она обращается к своему знакомому за советом. Тот вспоминает, что мистер Диккенс собирался путешествовать по Йоркширу, дает ему рекомендательное письмо к старожилу, который, конечно, придет на помощь любящей матери и сообщит о сравнительных достоинствах прославленных учебных заведений. А засим мистер Диккенс отправится для переговоров к владельцам лучших заведений.

Старожил, которому надлежало вручить письма, был найден. Но повел он себя странно. Старожил всячески старался отвести разговор о школах. Когда это не удалось ему, он горячо стал убеждать Диккенса всячески отговорить любящую мать от ее намерения отдать мальчика йоркширским педагогам. «Пока еще есть в Лондоне лошадь, которая нуждается в уходе, и канава, где можно лечь и выспаться, — говорил старожил, — любящая мать не должна отдавать сына ни в одну из школ Йоркшира».

Диккенсу удалось побывать в йоркширских школах. И через несколько дней он собрался в обратный путь, домой. Йоркширские школы оправдали свою репутацию. Теперь он мог начать роман.

11. Ангел и негодяи

Добрый ангел маленького Оливера Твиста — Роз Мейли заболела, об этом узнали читатели «Смеси Бентли», Быть может, они с удивлением спрашивали, зачем понадобилась автору тяжкая болезнь Роз, которая предвещала трагический исход? Никакого отношения к сюжету болезнь не имела, никакого влияния на судьбу несчастного мальчика выздоровление ее не могло оказать. Роз Мейли — это воплощение всех достоинств, которыми, по-видимому, обладают ангелы, — заболела совсем неожиданно. И так же неожиданно выздоровела. О том, что Мэри Хогарт заболела неожиданно,

но не выздоровела, а умерла, — об этом читатель не знал. Ему решительно не нужна была болезнь Роз.

Болезнь Роз нужна была Диккенсу. Для того — чтобы на нескольких страницах рассказать об отчаянии, охватившем близких Роз людей. Для того — чтобы описать это отчаяние и страх за жизнь Роз. Мэри Хогарт он не мог спасти, но Роз он спас, — это было в его власти.

Но для чего он спас Роз, если сюжет упрямо выталкивал эту ангелоподобную девушку со страниц романа? Диккенс должен был изощрить в дальнейших номерах «Смеси Бентли» свою изобретательность, чтобы сюжет окончательно не вытолкнул из романа первый — очень неудачный — образ Мэри Хогарт. Он выдумывал — также неудачно — сюжетные ходы, чтобы хоть как-нибудь удержать Роз. Цель его была ясна. Счастливая концовка романа была бы незавершенной, если бы Роз умерла, как Мэри Хогарт. Приключения невинного Оливера, который, по жестокому закону жизни, должен был за чьи-то грехи пройти тяжелые испытания, не разрешились бы идиллически, если бы Роз умерла. Концовка, конечно, должна быть счастливой, и в ней должны принимать участие все положительные герои, никого нельзя терять по пути. И не только потому, что такой концовки требовал читатель. Позже Диккенс нарушит это требование. Но не теперь, когда он сам не убежден, что смерть Мэри Хогарт — закон жизни.

Но Роз Мейли не удалась, он не мог этого не видеть. Первый портрет Мэри Хогарт вышел слишком бледным, совсем бескровным, почти неживым.

Надо рисовать второй. В новом романе надо написать новую Мэри Хогарт. Она сестра героя романа, Николаса. Ее имя Кэт.

И в честь покойной Мэри надо назвать новорожденную дочку. «Разве не удивительно, — писал он Кэт с дороги в Йоркшир, — что те же самые сновидения, которые посещают

меня после смерти Мэри, преследуют меня повсюду?» Эти сновидения посещали его дома, чему он не удивлялся. Два месяца назад, на пути в йоркширские школы, он был бы очень опечален, если бы эти «видения» исчезли.

«Потому что это большое счастье видеть ее. Хотя бы только во сне». Так писал он тогда, с дороги, и здесь, дома, он продолжал видеть бедную Мэри не только в сновидениях, но и в те часы, когда обдумывал «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

Читатель увидел ее в апреле, когда Чепмен и Холл издали первый выпуск «Никльби». На рисунке Физа она помогала матери, леди в глубоком трауре, встать с кресла, чтобы пойти навстречу посетителю. Ее брат Николас принимал из рук джентльмена цилиндр, а она взирала на вошедшего со страхом. И в самом деле, Физ не польстил джентльмену. Перед осиротевшим семейством стояло гориллоподобное существо. Это был дядя Кэт и Николаса.

Перед читателем стоял мистер Ральф Никльби, темный делец и ростовщик.

Познакомился читатель и с пылким, молодым Николасом. Это именно он должен был отправиться в йоркширскую школу учителем, чтобы читатель получил понятие о системе воспитания в этих учебных заведениях. И с первых же слов леди в трауре читатель понял: Кэт и Николасу не повезло. Их мать была простодушна, слишком простодушна, чтобы не сказать больше.

В романе он задумал изобразить леди, безусловно напоминавшую его собственную мать — миссис Элизабет Диккенс…

И, наконец, читатель встретился с мистером Сквирсом. Эта встреча произошла в таверне «Голова Сарацина», где остановился владелец йоркширской школы. Он приехал в Лондон вербовать учеников. Читателю не надо было

следовать за ним в Дотбойс Холл, чтобы установить, какая судьба ждет несчастных, завербованных им питомцев.

Прошло несколько дней после появления первого выпуска. Тираж первого выпуска «Жизни и приключений Николаса Никльби» превысил тираж «Пиквика», продано было пятьдесят тысяч экземпляров.

Диккенс очень нервничал в ожидании известий о спросе на «Никльби». Печатание «Твиста» в «Смеси Бентли» шло, журнал имел солидный тираж. Но тираж журнала никак не отражает отношения читателя к нему — Диккенсу, даже если бы тираж непрерывно возрастал. Читатель хорошо принял «Твиста» — Бентли может быть благодарен ему, — но роман слишком мрачен, чтобы иметь крупный успех. Публика не любит мрачных романов.

Итак, читатель верен Бозу. «Никльби» это доказал.

Неуверенность исчезла. Работа спорилась. И «Твист» шел хорошо, — все мрачней становилось в логовище старого Феджина, все страшней делался Сайкс, но зато распутывалась загадочная история, связанная с тайной рождения Оливера в работном доме.

Летом он повез Кэт и малюток в Твикенхем на Темзе, милях в десяти от Лондона. Он решил пробыть там до августа и затем поехать с семьей к морю.

Когда-то, больше столетия назад, здесь, в Твикенхеме, жил и умер горбатый уродец, гордившийся тем, что английская поэзия не знала совершенного стиха, пока не появился на свет он — Александр Поп. У горбуна была железная воля и особый дар внушения. Оба эти качества немало помогли ему в жизни, и современники склонны были согласиться с его верой в величие Александра Попа. Потомство внесло в такую оценку поправки, но сохранило за автором «Похищения локона» почетное место в английской поэзии. Оно даже простило поэту перевод Гомера, вызывавший восторг

современников, ибо нашло оправдание его оригинальному методу переводить античного классика, и ознаменовало восторги современников тем, что связало Твикенхем с именем Александра Попа. Надгробие в церкви, где поэт был похоронен, украшалось медальоном с его изображением, мало похожим на него; поодаль, вниз по течению Темзы, стояла «Вилла Попа», отмечавшая то место, где некогда в самом деле проживал поэт. Старожилы охотно рассказывали о том, что в усадьбе Попа — они слышали от дедов — был замечательный грот, следов которого не осталось.

Диккенс работал много. Но своих прогулок он не сократил — он шел мимо дома анненской эпохи, называвшегося Орлеанским, мимо Йоркского дома, полтораста лет назад занимаемого Иаковом Вторым в бытность его герцогом Йоркским, и переправлялся в лодке через реку. Минуя дом Лоудердаля, одного из самых ненавистных министров Карла I, жившего в этом доме после поражения своих войск, он шел вниз по течению к Ричмонду. Ричмондский парк в самом деле был великолепен; разбитый на двух тысячах акров, он во времена того же Карла I Стюарта был заповедником, — пожалуй, лучшим из королевских парков. От дворца остались только каменные ворота с гербами Тюдоров, которые напоминали об эпохе, куда более ранней, чем эпоха Карла, — о всесильном кардинале Вольсей, у которого король Генрих отобрал Хемптон Корт, чтобы превратить его в королевский дворец, а в утешение отдал ему дворец в Ричмонде.

Совершив длинную прогулку по просекам парка, Диккенс возвращался домой усталый, но возбужденный. Как-то он гулял дольше, чем обычно, и Кэт начала беспокоиться.

Он вошел, когда уже совсем стемнело. Выходя на прогулку, он всегда переодевался, и костюм его для гулянья был необычен, как и все его костюмы. На нем был коричневый сюртук, свободные широкие брюки в клетку,

которые болтались вокруг икр и спускались до самой ступни. Жилета на нем не было, и галстук перекосился и сполз к уху. Широкополая фетровая шляпа сидела на затылке. Он поставил в угол палку, взглянул на часы и весело сказал:

— Проголодался, Кэт! Но я рассчитал правильно, в следующий раз надо только раньше выходить.

— Пойди переоденься, обед сейчас подают. Я, признаться, беспокоилась. Отчего так долго? — сказала Кэт. — И что ты рассчитал?

Диккенс швырнул шляпу на стул и сел в кресло.

— Что я рассчитал? Сегодняшняя моя прогулка была, моя дорогая, нечто вреде эксперимента. Я уверен, она принесет мне пользу.

Он расхохотался, увидев, что Кэт подняла брови.

— Я говорю загадками? Но имей в виду, каждый эксперимент — загадка, потому что никогда не знаешь, как он закончится. Я узнал совсем недавно: если человек, — ну, скажем, такой, как я, — проводит ежедневно какое-то количество часов за письменным столом, организм его требует для восстановления жизненных сил, чтобы… ну, словом, надо мне гулять ровно столько же часов, ни больше, ни меньше. Почему ты смотришь так удивленно? Это закон природы, он очень прост, было бы глупо его отрицать.

Кэт спокойно посмотрела на него. Было видно, что он вдруг уверовал в новооткрытый закон природы; и в самом деле, будет глупо, если она станет доказывать, что такое арифметическое соответствие часов для работы и для прогулок противоречит здравому смыслу.

Пусть он разубедится в этом сам. Чем больше его убеждать, тем больше он станет упрямиться.

И она сказала:

— Может быть, ты прав. Иди переодеваться, обед готов давно.

Ни она, ни его приятели не узнали, откуда он почерпнул сведения об этом странном законе природы. Но Диккенс еще не раз, когда возвращался с прогулки, с удовлетворением сообщал Кэт, что и сегодня он гулял столько же, сколько работал.

Однако он должен был отказаться от исполнения закона природы. «Твист» шел к концу, он решил, для ускорения, работать и по вечерам. Он давно не писал по вечерам, с тех пор как ушел из «Кроникль». Теперь пришлось сократить прогулки.

Работал он по вечерам и в Бродстэре, куда он перевез семью в августе.

Бродстэр расположен на юго-восточном берегу, в Кенте, у моря. Его называли «Солнечный Бродстэр», он славился своим пляжем, променадом, тянувшейся на две с половиной мили. Сюда съезжались люди, искавшие не развлечений, но отдыха, солнца и моря. Бродстэр не походил на шумные и популярные курорты Маргэт и Рамсгэт, между которыми он был расположен. Полукруглый пляж выдвигал в море небольшой мол, защищавший залив с востока.

С утра до позднего вечера на пляже копошились дети. Здесь им не угрожали кэбы или всадники, как на пляжах модных курортов. Уходила на пляж с детьми и Кэт, пока Диккенс работал.

Надо было кончать «Твиста». И возмездие уже грозило Сайксу, в отмщение за убийство падшей, но доброй Нэнси. Уже осталась позади страшная сцена убийства, которая — придет время — будет потрясать слушателей, когда автор включит ее в свои «чтения». Мрачный роман с людьми мрачной судьбы тем не менее все еще набирал скорость. Даже убийство Нэнси не являлось кульминацией сюжета. Диккенс, неожиданно для тех, кто не признавал в «Пиквике» элементарной композиционной грамотности, обнаружил в «Твисте»

прекрасное композиционное чутье. Действие в романе нарастало к концу, это нарастание шло постепенно и неотвратимо, усиливая с каждой главой эмоциональную реакцию читателя. Теперь сюжет подходил уже к кульминации — к осаде разъяренной толпой чердака, где метался Сайкс. Эта сцена должна потрясти читателя.

А читатель «Никльби» должен был познакомиться с первыми попытками Кэт зарабатывать на хлеб насущный. Бедняжка Кэт, — а сколько их, таких бедняжек, подсказывал автор, — стояла у порога модной мастерской, куда приказал ей поступить негодяй-дядя. Читатель уже встретился с описанием неподражаемого мистера Монталини и его супруги, владелицы мастерской. Но за порогом этого заведения Диккенс готовил сцены, которые должны были внушить каждому ясное понятие о тяжелой участи любой девушки, обреченной добывать себе хлеб насущный. С участью Николаса, честного, открытого и пылкого Николаса, который с такой готовностью поехал в йоркширскую школу обучать питомцев мистера Сквирса, читатель уже познакомился. Вся Англия, узрела йоркширскую школу. Зрелище было неприглядное, почти невероятное. Владельцы частных йоркширских школ калечили питомцев не только духовно, но и физически, морили их голодом, школа походила на застенок, горе тем, кто в нее попадал.

Виновники еще не пришли в себя от удара. Какой поднимется вой, когда они очнутся.

Общественное мнение потребует от правительства расследования. Диккенс был в прекрасном расположении духа. Он писал Форстеру: «Нэнси уже нет… Когда я пошлю Сайкса к дьяволу, я хотел бы знать ваше мнение».

Над сценой возмездия — над осадой Сайкса возмущенной толпой — он работал упорно и тщательно. Он кончил ее. Оставался еще Феджин, который тоже не должен был уйти

от возмездия. Здесь, в Бродстэре, Диккенс пристрастился к верховой езде. Пешие прогулки он стал чередовать с поездками верхом. Увлечение дальними рейдами было горячим, как все его увлечения. Оказалось, что Форстер недурной ездок. Он держался в седле так же чинно, как в гостиной, но был вынослив, — хороший спутник в таких рейдах.

Но судьба Феджина и концовка романа требовали такой напряженной работы, что пришлось даже отказаться от приезда Форстера для очередной прогулки. Диккенс писал ему: «Нет, нам не придется поехать до завтра. Я еще не разделался с Феджином, а он такой отъявленный негодяй, что прямо не знаю, что с ним делать».

Наконец он нашел, что сделать с Феджином, и в сентябре закончил «Твиста», который печатался в «Смеси Бентли» до марта 1839 года.

И в это же примерно время престарелый Сидней Смит, беспокойный, хорошо известный журналист, один из основателей влиятельного журнала «Эдинбургское обозрение» и известный церковный проповедник, давал оценку «Никльби» в письме к своему приятелю. Эта оценка взыскательного и умного старика могла бы польстить тщеславию Диккенса, если бы он ее знал. Сидней Смит писал: «Никльби очень хорош. Я был против Диккенса все время, пока это было в моих силах, но он завоевал меня».

12. Несогласие с мистером Грегсбери

Йоркширские газеты бушевали. В графстве нет и не могло быть таких владельцев школ, как мистер Сквирс. Автор «Никльби» — презренный пасквилянт! — кричали патриоты графства.

Но неожиданно для патриотов оказалось, что мистер Сквирс мог быть их согражданином. На шум вокруг йоркширских школ откликнулся сам мистер Сквирс. Фамилия

его была другая, само собой разумеется. Но сей джентльмен решился возбудить дело о клевете и уже советовался со своим атторни. По-видимому, писатель-клеветник вывел под именем Сквирса именно его, владельца небезызвестной школы, сообщала йоркширская газета, но он совсем не похож на этого мучителя невинных малюток! Было неведомо, какой совет дал обиженному джентльмену его атторни, но вскоре выяснилось, что и другой джентльмен, имеющий отношение к йоркширским школам, категорически утверждает, будто мистер Сквирс отнюдь на него не похож. Он припоминает, что к нему в самом деле как-то явились два посетителя, один из них завел с ним беседу, а другой старался зарисовать его черты. Эти черты нисколько не были схвачены в облике мистера Сквирса, — на этом он настаивает решительно.

— Смотрите, Диккенс, как бы йоркширские Сквирсы не поколотили вас, как поколотил Николас одного из них, — сказал ему как-то Форстер.

— Меня трогает ваша заботливость, Форстер, — весело рассмеялся Диккенс, — для вашего успокоения могу вам сообщить, что на этих днях кто-то мне говорил, будто появился какой-то третий Сквирс. Он появился в Лондоне — заметьте это, Форстер, — и чувствует настоятельную потребность нанести ущерб моему здоровью.

— Вот видите!

— Вижу. Но этот слух не проверен, успокойтесь. На худой конец, откуда вы знаете, что я не превращусь в Николаса и поле битвы не останется за мной? Пустое! Давайте говорить о серьезных предметах. Прежде всего очевидно: и газетный шум, и слухи полезны для того дела, которое я затеял. Теперь, я надеюсь, наше общество обратит внимание на йоркширские школы. Судебные процессы, о которых я вам говорил, не могли его расшевелить. Я не могу понять, почему оно не откликнулось на эти процессы. Должно быть,

оно считало в порядке вещей, что виновник дурного обращения с детьми — волк в овечьем стаде. Не так ли? Короче, будем ждать. Роман не кончен, и мой Сквирс еще будет напоминать о себе. Кстати, я получил занятное письмо от какого-то мальчика… забыл его фамилию.

— Мальчика?

Что вас удивляет? Мне кажется, ему не больше десяти лет. Никак не больше. Но уже теперь можно утверждать, что из него выйдет кто угодно, но не судья и не атторни. Его юная совесть слишком щепетильна, он не допускает мысли, что мистер Сквирс и другие негодяи ускользнут от расплаты, а добродетель не будет вознаграждена по заслугам. Перед вашим приходом я написал ему длинное письмо.

— Длинное… письмо? — на респектабельном лице Форстера выразилось удивление.

— Форстер, милый Форстер! — воскликнул Диккенс и, вскочив, зашагал по кабинету. — Вы понимаете все, но детская психология для вас загадка. Малыш обратился ко мне с письмом, которому он придавал важное значение. Для него вопрос о возмездии — слишком серьезный вопрос, куда более важный, чем для взрослых. Бедняга боится, что я наделаю ошибок, когда придется мне воздавать моим героям по заслугам. Я помню себя в этом возрасте. И мне несправедливость причинила глубокие страдания, а ведь дети умеют страдать, Форстер. И вы хотите, чтобы я не обратил внимания на его письмо! Вы очень высокомерны, милый Форстер; в наказание, я прочту вам мой ответ, хотя рукопись не для типографии, а предназначена… Взгляните, дорогой, как зовут этого малыша, я, кажется, не поинтересовался узнать… его письмо у вашего локтя.

— «Хастингс Хьюгс», — прочитал Форстер старательно выведенную подпись под письмом корреспондента.

— Прекрасно! Хьюгс! Не кривите рот, это вам не идет. Лучше вообразите, Форстер, что это письмо пишет какой-нибудь из моих героев, а я жду от вас замечаний, которые очень ценны, как вы знаете. Слушайте!

Форстер знал, что ему не отделаться. В руках Диккенса очутилось письмо.

— Итак: «Уважаемый сэр! — начал Диккенс и снова зашагал по комнате. — Я дал Сквирсу один удар по шее и два по голове, чем он был, по-видимому, очень удивлен и разревелся. Словом, он струсил, и этого я от него ждал. И вы тоже? Я в точности выполнил ваши пожелания относительно барашка для малышей. Они получили также хорошего эля, портера и вина. Жаль, что вы не сказали, каким вином вы бы их угостили. Я дал им хересу, который очень понравился им всем, кроме одного мальчика, — ему нездоровилось, и он чуть не подавился… Николас получил своего жареного барашка, как вы хотели…»

Диккенс прервал чтение и воскликнул:

— Он особенно настаивал на большой порции барашка, этот малыш! Неужели вы и теперь, Форстер, будете отрицать у детей острое чувство справедливости? Дальше: «…но он не мог все съесть и говорит, что, если вы не возражаете, он хотел бы оставшееся получить завтра, в рубленом виде, с овощами, которые он очень любит, а я также… На Фанни Сквирс будет обращено особое внимание, — можете быть уверены. Ее портрет, который вы нарисовали, очень похож на нее, только, мне кажется, волосы недостаточно кудрявы. Особенно похож нос, а также и ноги…»

Форстер не вытерпел.

— Да перестаньте, Диккенс! Позабавились, и довольно! Посылайте вашему корреспонденту письмо, а меня увольте от дальнейшего чтения.

Диккенс покорился и бросил письмо на стол.

— Пусть будет по-вашему. Но скажу вам прямо — вы для меня загадка. В литературе вы понимаете решительно все, а как только дело коснется живых людей, — дети тоже люди, заметьте это, Форстер, — у вас не хватает терпения выслушать до конца даже письмо. Я уже не говорю о том, чтобы оценить… Ну, ладно. Вы одобряете мое решение отказаться от редактирования «Смеси»?

Форстер захватил в ладонь бритый подбородок и задумался. Диккенс не дождался ответа.

— Я обдумал все, — сказал он, — «Никльби» имеет успех, который не уступает даже старине «Пиквику». Бентли мне больше не нужен. Я не хочу возиться с его журналом. Ваше мнение?

— Пожалуй, вы правы, — сказал, наконец, Форстер.

— Прекрасно. Я не сомневался в том, что вы согласитесь. Я порекомендую Бентли поручить журнал Энсуорту. Не возражаете? Но боюсь, что и на этот раз я вынужден прибегнуть к вашей помощи. Вам придется, мой дорогой, сообщить эту новость Бентли. Если сообщу об этом я, не оберешься жалких слов о безвыходном положении мистера Бентли, которому мой отказ приносит тысячи фунтов убытка, и так далее и так далее. Они умеют прикидываться — эти издатели — жертвами писателей, когда им это выгодно. А я терпеть не могу хныканья. И затем… Он будет требовать этот исторический роман, будь он проклят!

Диккенс жалобно поглядел на собеседника.

— Умоляю вас, Форстер, уладьте и это дело с романом! Скажите ему, что я не могу сейчас писать роман, пока не кончу «Никльби». Кончу, а там видно будет.

— Боюсь, что Бентли будет настаивать на романе. Ваш отказ от журнала не сделает его более сговорчивым.

Диккенс вскочил.

— Это возмутительно, Форстер! Писатель всегда находится в их власти. Чтобы не умереть с голоду, он должен подписывать кабальные договоры и больше себе не принадлежать. Проклятая наша судьба! Боюсь, что придется поссориться с ним, как с Мэкроном.

— Возможно, — после паузы сказал Форстер.

— Нет, вы только подумайте! — горячился Диккенс. — Писатель Диккенс должен писать для коммерсанта Бентли роман. Потому что, изволите видеть, это выгодно Бентли. Ему наплевать, хочу я писать вот сейчас исторический роман, или нет. Все они, коммерсанты, ни во что не ставят наши интересы. Да! Отчего вы не пришли третьего дня вечером?

— Третьего дня вечером? — наморщил лоб Форстер.

— Да. Я вас вызвал, но вы не пришли, хотя сами убеждали меня посмотреть «Никльби» в Адельфи.

— Ах вот что! И вы были в театре?

— Был, вместе с Кэт и Маклайзом.

— И надеюсь, не уселись в углу ложи на полу, как в феврале на «Твисте»? Мне говорили, что эта переделка лучше, чем переделка «Твиста». Посмотреть надо было, но, признаться, я не был уверен, что вы не повторите февральской эскапады.

— Подозреваю, Форстер, что вы знали о моем намерении пойти, и уклонились из боязни повторения. Не отпирайтесь. Вы хитрый, Форстер. Нет, на этот раз я не сидел на полу. Этот каналья Стерлинг, — кажется его так зовут? — знал не больше того прохвоста… февральского. Ну, скажем, треть романа. Но у него есть выдумка, он изобрел по своему вкусу сюжет и развязку.

— И вы не учиняли скандала, как тогда, в феврале?

— Успокойтесь, не учинял! Ваш друг держал себя прилично. Но неужели все-таки нет никакого способа запретить такие переделки?

Форстер развел руками.

— Хорош закон! — воскликнул Диккенс. — И закон и издатели против нас. У себя на родине я не могу запретить спекулянту использовать мое имя на любой сцене и для пиратских изданий вроде «Пикника»! Дьяволы. Пикник!

— Ну, что поделать.

— Уф! Ваша благонамеренность, Форстер, меня всегда поражает. Наши отечественные порядки кажутся вам образцовыми. Вас ничто не возмущает.

— Вы плохо читаете «Экзамайнер», Диккенс. Я привык критиковать мероприятия, тормозящие прогресс и мешающие либеральной партии добиться существенных улучшений нашего социального законодательства.

— Но вы так почтительно критикуете, Форстер, что у меня остается убеждение, будто вы считаете все наши учреждения образцовыми.

— Разрушительная критика мне враждебна.

— Разрушительная…

Диккенс задумался, потом продолжал:

— Я не хочу разрушать, но я бы не мог сказать вместе с моим мистером Грегсбери: «Да, я горжусь этой свободной и счастливой страной!»

— С мистером Грегсбери? Это, если не ошибаюсь, тот член палаты, которого вы совсем недавно высмеяли в «Никльби»?

— Вот-вот. Грегсбери почитает ее счастливой, но пока у нас есть нищета, Форстер, страшная нищета, которую вы предпочитаете не видеть, я не могу повторить за ним этих слов. Впрочем, я ничего не буду повторять за мистером Грегсбери. Я насмотрелся немало мистеров Грегсбери, и у меня нет охоты им подражать. Вы, Форстер, уважаете цитадель нашего счастья и свободы — нашу палату, но вы знаете, как мало уважения я к ней питаю. Вы очень

благонамеренны, Форстер, невзирая на свою критику и передовые статьи в «Экзамайнере»! Вы очень верны так называемому обществу, а я…

— А вы, Диккенс, — перебил Форстер и смахнул пылинку с рукава, — питаете пристрастие к низшим классам. Признаться, меня это удивляет. Ваше положение как писателя укрепляется с каждым днем…

— Вы опять за свое, старина! Пора обедать, Кэт ждет…

13. Но злые силы погибнут

«Я боюсь миссис Никльби. У нее огромный ум».

Эту реплику подал один из главных героев романа, негодяй сэр Мальбери; относилась она к матери Николаса. Реплика, конечно, саркастическая, ее прочли совсем недавно читатели «Никльби», которые забавлялись вместе с автором, все ближе знакомясь с почтенной матроной. Не забавляться было нельзя, входя в соприкосновение с «огромным умом» миссис Никльби. «Это счастье, что из моего сына не вышло Шекспира», — доверительно шептала она собеседнице, после того как поделилась воспоминаниями о поездке в Стратфорд и о том, что ей всю ночь снился черный джентльмен из гипса, прислонившийся к столбу и размышляющий, и этот джентльмен, по утверждению ее супруга, был не кто иной, как Шекспир. Нельзя было не забавляться, когда миссис Никльби в сотый раз начинала вспоминать о легкомысленной трате денег своим покойным супругом и о своих советах ему не тратить так много денег, и о восьми стульях в гостиной, аметистах, двух дюжинах ложек и о другой домашней утвари, пошедшей с молотка.

Но с каждым выпуском читатель все более убеждался, что миссис Никльби была достойной спутницей жизни своего легкомысленного супруга, а ее «огромный» ум сочетался

с целым рядом качеств, благодаря которым ее фигура превратилась в одну из самых комических фигур романа. Поистине автор начинал резвиться, как только на страницах книги появлялась мечтательная не по возрасту, молодившаяся и влюбчивая леди, ронявшая сентенции, которые открывали в ней залежи тщеславия и чванства, гомерической наивности и самовлюбленности. Автор резвился и, казалось, нисколько не опасался, что миссис Элизабет Диккенс, его собственная мать, вдруг прозреет и обнаружит в миссис Никльби свой портрет.

Но миссис Элизабет Диккенс не проявляла симптомов, заставляющих это подозревать. Подозревали родные ее — Кэт и мистер Джон Диккенс. Кэт выразила как-то недовольство, ей казалось, что портрет вышел чересчур карикатурным; миссис Элизабет Диккенс вправе обидеться на непочтительного сына. Но непочтительного сына нельзя было убедить в том, в чем он не хотел убеждаться. Мистер Джон Диккенс молчал и не вмешивался в творческие планы сына, — вероятней всего, что он забавлялся сходством миссис Никльби со своей супругой не меньше, чем сам непочтительный сын. Да и в самом деле, разве его любимая супруга терпит ущерб от сходства с миссис Никльби? И разве всё, что выходит из-под пера его сына, не является неподражаемым?

На этой позиции он стоял непоколебимо. И потому был разъярен, когда в январском номере «Монсли Ревью» — «Ежемесячного обозрения» — прочел отзыв какого-то анонима об «Оливере Твисте». Роман уже вышел отдельным изданием, но продолжал еще печататься в «Смеси Бентли», где должен был в марте закончиться. Конечно, критик признавал, что автор «Твиста» «меньше всего писал этот роман ради барыша, развлечения или как безобидный вымысел». Критик признавал также, что у автора «Твиста» «высокие и чистые цели, и, с точки зрения морали, он не может

не принести добра». Но тут же критик выражал подозрение, что автор «наслаждался, изображая низкую или низведенную на низшую ступень натуру». Критик давал какие-то запутанные объяснения своей точки зрения, и мистер Джон Диккенс не понимал, на каком основании критик отказывается поместить автора «Твиста» среди тех романистов, «которые являются образцами по внедрению нравственных чувств и уроков». Противоречие во взглядах критика было налицо, и добрый Джон Диккенс не находил слов для выражения возмущения.

Он уже давно распоряжался славой своего сына, как распоряжался бы своей собственной. Если кто-нибудь не проявлял восторженных чувств перед произведениями Чарльза, мистер Джон Диккенс воспринимал это как личную обиду. Но годы не изменили его характер, и из этих чистых эмоций он удивительно умел извлекать немалую выгоду, нисколько их не замутняя. Снова и снова Диккенс убеждался, что его отец не может удовольствоваться той ежемесячной пенсией, какую от него получает. В дополнение к пенсии адмиралтейства эти ежемесячные суммы оказались бы вполне достаточными для содержания семьи, но отец никак не мог этого усвоить. А тут и миссис Элизабет Диккенс уверовала в возможность избежать старости при помощи модных обновок, приятных сердцу леди.

И над четой Диккенсов собралась гроза. Она разразилась неожиданно. Сын заявил родителям, что им нечего делать в веселом городе Лондоне. Он снимет для них коттедж где-нибудь в провинции. Там мистер Джон Диккенс и его супруга могут вести рассеянный образ жизни, как им заблагорассудится. Но там не будет соблазнов столицы, и, стало быть, они не будут постоянно брать взаймы направо и налево, в расчете на то, что сын снова за них заплатит. Он готов даже взять у них своего брата Фредерика к себе и его содержать,

а им оставить двух младших детей, — старшие сестры, Фанни и Летиция, были уже замужем и не нуждались в попечении родителей.

Отец и мать бурно протестовали. Они привыкли к Лондону, у них здесь есть немало знакомых, им нужны развлечения, без шума столичной улицы они не могут жить, и так далее, и так далее. Но скоро они убедились в тщетности своих усилий. Известив их о своем решении, сын, не медля отправился в Девоншир, снял там удобный коттедж милях в двух от Экзетера и очень скоро вслед за этим мистер Джон Диккенс, миссис Элизабет Диккенс и два младших их сына, Альфред и Огастес, отправились в «изгнание».

Мистер Джон Диккенс, конечно, почитал себя обиженным своим знаменитым сыном, но он умел находить утешение в любом положении, — таков уж был у него характер. На Плимутской дороге, у которой стоял коттедж, таверны были первоклассные, а до Экзетера — рукой подать. Здесь, в тихой провинции, в усадьбах, быть может, кое-где и можно увидеть на столиках гостиных брошюрки в капустной обложке с задремавшим над удочкой толстяком. Может быть, кое-кто знаком и с приключениями малыша из воспитательного дома или пылкого юноши, учителя йоркширской школы, и имя «Боз» известно кое-кому из завсегдатаев таверн. Как бы то ни было, но нетрудно внушить всем окрестным жителям здравые суждения о роли, которую играет в столице автор бессмертных произведений, вызывающих восторг всего человечества.

И мистер Джон Диккенс, полагаясь на восприимчивость девонширцев к таким внушениям, открывавшим заманчивые перспективы, перестал горевать и отправился в Девоншир примирившимся со своей участью. Миссис Элизабет Диккенс уехала непримиренной.

Диккенс работал над «Никльби» в Питерсхеме. И теперь он вывез семью на лето сюда, неподалеку от Ричмонда, вблизи которого находился и Твикенхем. Осень он решил провести, как и в прошлом году, у моря, в Бродстэре, — еще не раз из окна своего кабинета он будет видеть волны Северного моря у бродстэрского побережья.

«Никльби» шел к развязке. С большим искусством Диккенс сплетал и расплетал сюжетные нити вокруг черных замыслов мистера Ральфа Никльби и сэра Мальбери Хаука. Вот они — злые силы мира, вот они — злые люди: йоркширский мучитель детей, презренный Сквирс; грязный и хитроумный делец, властный и сильный Ральф Никльби; развращенный и циничный прожигатель жизни сэр Мальбери; сластолюбивый старик Грайд. Каждый может встретить их на своем пути, и если не их, то те же злые силы, но в других обличьях! Порок носит много обличий, и он безжалостен, — такова жизнь. Злые, порочные люди губят полублаженного подростка Смайка, приводят на грань нищеты честного Ньюмена Ноггса, угрожают беззащитной девушке Медилайн отдать ее во власть гнусного старика Грайда. Порок расставляет капканы на всех путях невинных и честных людей, — такова жизнь.

Но добродетель, но чистая совесть сильней, чем полагает человек в минуты душевного упадка. В силу людей, чистых духом, надо верить, тогда она непобедима. И Диккенс выстраивает против злых сил добрые. Не колеблясь и не раздумывая, бросается в бой против Сквирса, сэра Мальбери, своего дяди Ральфа и старика Грайда юный Николас, пришедший на помощь полузабитому Смайку. Ему помогает Ньюмен Ноггс и простоватый добряк Джон Броуди, фермер. Силы, конечно, неравные, Николас может погибнуть, а вместе с ним погибнет его сестра Кэт, запутавшись в сетях

сэра Мальбери и Ральфа, и погибнет Медилайн, которой добивается старик Грайд. На помощь Николасу приходят братья Чирибл.

В Манчестере, на бирже, Диккенс встретился с двумя коммерсантами, братьями Дэниелем и Вильямом Грант. Оба выбились в люди из «простого народа», и оба они поразили воображение Диккенса. Когда на помощь Николаса надо было выслать надежных защитников, Диккенс вспомнил о братьях Грант. В романе появились братья Чирибл.

Доброта их неописуема. Ей не страшны никакие козни злых сил. Никакая злая воля Ральфов Никльби не одержит верх над братьями Чирибл. Мистер Броунлоу из «Твиста» привлек расположение читателя, — братьям Чирибл он должен будет отдать свое сердце. Надо внушить веру каждому, кто не верит в конечное торжество добродетели над пороком. Злые силы погибнут — писатель должен об этом позаботиться, — возмездие настигнет всех по очереди.

Роман шел к концу. Николас из гордости отказался от руки любимой им Медилайн, так как узнал, что она богатая невеста. Но братья Чирибл и тут пришли на помощь, предложив ему вступить участником в их фирму. Кэт вышла замуж за любимого юношу. Понес возмездие и владелец йоркширской школы Сквирс, который замучил бедного Смайка, но попал в тенета закона. И погиб сам Ральф Никльби, вдруг обнаруживший, что затравленный с его помощью Смайк — его собственный сын, а созданное темными путями благосостояние его рушится…

Диккенс был в прекрасном расположении духа. Роман нравился читателям, очень нравился, — тираж ежемесячных выпусков не заставлял в этом сомневаться. И основная идея проведена ясно. Читатель извлечет из романа большую пользу, это несомненно, а портретная галлерея комических персонажей действительно ему удалась — театральный

антрепренер Кромльс, и актриса мисс Снивелличи, и чета Мантолини, и миссис Никльби, и Кенуигс — квартирохозяин Ноггса, и Лилливик — сборщик платы за водопровод, — право же, они не уступают комическим персонажам из «Пиквика».

В конце сентября он закончил «Никльби» у окна, за которым вдали шумело море. Надо было возвращаться в Лондон.

14. Читатель требует романа

Дом двухэтажный, с полуподвалом и мансардой, стоял на Девоншир Террас, за высокой кирпичной стеной. К северу от Девоншир Террас за грудами домов простирался гигантский Парк Регента — Риджент Парк. Сюда, в этот дом, Диккенс перевез незадолго до нового года Кэт и детей; их было трое, — два месяца назад родилась маленькая Кэт. За кирпичной стеной — сад, из кабинета дверь вела прямо в сад, надо только спуститься на несколько ступеней; это очень удобно — с этой стороны в кабинет не проникал шум. А дверь в коридор надо обить в несколько слоев байкой. Писать можно только в полной тишине.

Диккенс отдохнул после окончания «Никльби». Друзья поздравляли его, — роман удался. Чепмен и Холл готовы были подписать любой договор на самых выгодных условиях. Читатель уж привык к ежемесячным выпускам. Какой роман может фирма анонсировать? Форстер сообщал о нетерпении издателей и улыбался, вспоминая, как выжидательно взирали на него Чепмен и Холл, когда посещали его по делам Диккенса. Но он, Форстер, разумеется, молчит, он не дает никакого ответа. Хотя, нужно сказать правду, Диккенс давно поделился с ним своими планами. Теперь эти планы приняли реальные очертания.

— Видите, Форстер, — говорил Диккенс, когда Кэт и дети ушли после обеда из столовой и мужчины остались одни

за бутылкой портвейна, — еще летом я писал вам из Питерсхема о том, что после окончания «Никльби» я подумываю затеять некое издание. С той поры мы не раз обсуждали этот вопрос, не так ли?

— Ваши соображения, по которым вы хотите перейти от ежемесячных выпусков романа к другому типу издания, имеют некоторые основания. Может быть, вы правы, и публика действительно устала от романов, которые вы издаете ежемесячными выпусками. И вам, конечно, будет легче. Не всегда можно заставить себя к сроку закончить очередную порцию романа.

— Вот именно! Я бы хотел издавать еженедельно выпуск, ценой пенса в три, чтобы определенное количество этих выпусков составляло томик, который может выходить регулярно.

— И вы по-прежнему хотите воспользоваться идеей Аддисона и Стиля и создать новый клуб по образцу «Болтуна» и «Зрителя»?

— Да, но темы моих выпусков должны быть еще более общедоступны, и написаны они будут более популярно, чем эссе в «Болтуне», «Зрителе» и даже в гольдсмитовской «Пчеле». Мне бы хотелось начать, как в «Зрителе», с какого-нибудь рассказа, имеющего отношение к возникновению моего издания, основать нечто вроде клуба или постоянной организации и через все сочинение провести историю жизни каждого участника…

— Значит, вы предполагаете все же дать приключения этих участников — так, что ли? — спросил Форстер.

— Да нет же! Мы с вами уже говорили, что в издание я включу занимательные эссе на злобу дня, я буду разнообразить записи — это будут скетчи, эссе, рассказы, приключения, письма вымышленных корреспондентов и так далее…

Быть может, я снова введу мистера Пиквика и Сэма Уэллера, а последний может не без успеха снабдить меня разными сообщениями. Отдельные главы я могу, например, посвятить размышлениям о парламенте, я представляю себе также главы с описанием событий, некогда случившихся в Лондоне, с описанием современного Лондона и будущего Лондона. Их можно озаглавить, скажем, «Развлечения Гога и Магога». Как вам это покажется?

— Ну, что ж. Лондонцы знают их, во всяком случае тех, которые стоят в Гильдхолле.

— Вот-вот. Предположим, Гог и Магог в Гильдхолле развлекают друг друга рассказами в течение ночи и на рассвете замолкают. Можно будет разбить их рассказы на части, наподобие «Арабских ночей».

— Вы не отказались от намерения привлечь сотрудников?

— Кроме меня, никто не может воплотить эти идеи, но, конечно, у меня должны быть помощники… А теперь, Форстер, я могу вам рассказать о том, как я начну всю эту затею. Перейдем в кабинет.

Они перешли в кабинет. В камине жарко пылал уголь, — февраль стоял холодный. Диккенс подошел к задернутой портьерой двери, выходящей в сад, отогнул портьеру, — за окном была тьма. Он позвонил в колокольчик и приказал вошедшей горничной передать садовнику, что уже пора зажечь фонарь над входом в сад.

— У нас на Террасе только три дома, при каждом сад, а сады примыкают к кладбищу при церкви Сен Марилебон, — сказал он, задернул портьеру и, отойдя, опустился в кресло у камина. Форстер сидел в другом, вытянув ноги.

— Итак, Форстер, я начну первый выпуск с описания старика, он живет в странном доме и питает особое расположение к старинным, причудливым стоячим часам. Они коротают длинные вечера — мой старик и часы — наедине друг

с другом, он привык к их голосу и ему кажется, что это голос друга. А по ночам их бой напоминает ему, что у двери его спальни бодрствует верный страж. Когда же он сидит у камелька, ему кажется, что в пыльных чертах их лица он может прочесть радушие, а мрачный их вид развлекает его… Затем я расскажу, как из глубокого, безмолвного, древнего футляра, в который они заключены, он достает старые рукописи, — достает, чтобы их прочесть. И я расскажу, как он назовет клуб, когда он организуется, в честь своего бессловесного слуги, а также из уважения к его пунктуальности…

— Вы придумали заглавие? — спросил Форстер. Он слушал, как всегда, внимательно.

— Еще не окончательно… То ли «Часы старого Хамфри», то ли «Повесть мастера Хамфри», а может быть «Часы мастера Хамфри»… Скоро я начну писать, Форстер… Вы можете уже оповестить Чепмена и Холла о моей затее. Если она их увлечет, обдумаем с вами условия договора.

— Я не сомневаюсь, что они готовы подписать с вами любой договор на любую затею, как вы говорите.

— Прекрасно. Иллюстратором я решил пригласить Физа и Каттермоля. Я остановился на Джордже Каттермоле отнюдь не потому, что он женился на моей родственнице, весьма, кстати сказать, дальней. Он талантливый малый… Вы помните, конечно, его акварели на последней выставке Общества акварелистов? Его «Вальтер Ралей» и «Старое английское гостеприимство» нельзя забыть. И рисовальщик он хороший. Итак, сообщите Чепмену и Холлу о том, что вам известно. Можете добавить, что половина чистой прибыли от издания должна принадлежать мне, а о деталях будем разговаривать…

Чепмен и Холл, не задумываясь, подписали договор на издание «Часов мастера Хамфри» — таково было заглавие «затеи», — которое должно было длиться в течение года.

Старый чудак мастер Хамфри собрал вокруг своих часов содружество любезных ему людей и, вытащив из футляра часов первую рукопись, должен был ее прочесть друзьям. Рукопись должна была быть короткой — рассказ о девочке-сироте и ее дедушке, очень трогательный рассказ, который сразу нашел бы путь к сердцу непритязательного читателя.

Когда четвертого апреля 1840 года «Часы мастера Хамфри» предстали перед читателем в образе брошюрки, Диккенс вправе был торжествовать. Даже тираж «Никльби» был ниже тиража «Часов», — семьдесят тысяч брошюрок было распродано в несколько дней. Итак, можно спокойно осуществлять свой план, который так хорошо и тщательно был обдуман. Каждую неделю можно преподносить читателю какую-нибудь новую тему, новый рассказ, скетч, эссе — словом, все, что увлечет в данный момент.

— Все полетело к черту! — сказал Диккенс, входя в столовую, где Кэт кормила ребенка. Она поморщилась, но он не обратил внимания и бросил шляпу на стул. Он вошел в пальто, прямо с улицы. Разговор происходил через несколько дней после выхода «Часов».

— Когда читатель узнал, что я не дам ему романа, он охладел к «Часам». Форстер мне только что сообщил о резком падении требований на второй выпуск.

— Что же делать? — спросила Кэт.

— Что делать? Писать роман.

— Но «Часы» должны выходить еженедельно!

— И роман должен будет выходить еженедельно, — мрачно сказал Диккенс. — Если ничего не придумаю, надо писать роман о девочке-сироте.

Но придумать ничего было нельзя. Второй выпуск продан был в небольшом количестве экземпляров. Все рушилось.

Оставался в самом деле только один выход: превратить задуманный рассказ о девочке-сироте в роман, превратить

без подготовки, без продуманного плана. А затем печатать этот роман, как было объявлено, еженедельными выпусками. Это еще трудней, чем писать роман для ежемесячных выпусков. Это очень трудно.

Или, может быть, выпустить мистера Пиквика и Сэма на страницы «Часов»? Надо попробовать, хотя бы для того, чтобы оттянуть начало романа, к которому не готов.

15. Блаженны чистые сердцем

Но мистер Пиквик и Сэм не помогли. Читатель требовал романа.

Роман для неискушенного читателя о маленькой трогательной сиротке Нелл, которая должна спасти своего дедушку от злого порока — от страсти к азартной игре. Злые люди прилагают все силы, чтобы погубить беззащитного старика, беззащитного перед своей страстью. Но героическая сиротка заслоняет старика своим хрупким телом от их козней. Она заставляет его бежать с ней из города, и вот они странствуют по дорогам Англии, гонимые страхом перед злыми людьми. Соблазны стерегут старика во время этих странствий, а злые люди живут не только в столице. Но ни Нелл, ни читатель не должны впадать в отчаяние: люди добрые не покинут тех, кто чист сердцем и нуждается в помощи. Героической маленькой Нелл придут на помощь и юный Кит, верный друг, и добрая миссис Джерли, и добрые Гарланды, и неведомый покровитель, который окажется братом несчастного старика. Воинство добрых духов не будет безучастно взирать на ухищрения отвратительного карлика Квилпа и на гнусные проделки его союзника Самсона Брасса, продажного законника. И они понесут возмездие, читатель, — можно поверить писателю Чарльзу Диккенсу, который знает законы жизни и не обольщает тебя пустой надеждой на победу маленькой Нелл. Правда, она не вынесет

лишений и трудностей борьбы, она умрет, но разве не ясно, что эта смерть — самая полная ее победа и нужна автору только для того, чтобы исторгнуть у тебя, читатель, слезы умиления.

Тот английский читатель, который не мог почитаться знатоком изящной литературы, проливал эти слезы еще задолго до смерти маленькой Нелл. В Америке такой читатель был еще более многочисленным, — Форстер с торжеством сообщал Диккенсу об огромном успехе «Лавки древностей» за океаном. А когда подошел срок кончины Нелл, стало широко известным, что знаменитый вождь ирландцев Дэниэль О'Коннель, человек феноменального политического темперамента, не устоял против волшебного мастерства автора, исторгавшего слезы у читателей. Приближаясь к страницам, на которых героическая Нелл должна была умереть, он сквозь слезы повторял: «Он ее не должен убивать! Она такая хорошая!» И, в сердцах на автора, он выбросил книгу из окна кареты. Об этом свидетельствовал, как говорили, друг ирландского вождя, сидевший с ним рядом в этой же самой карете.

Но пока Нелл не умерла, пока ее потрясенный дедушка не начал проводить долгие часы у ее могилы в тихой деревенской церкви, чтобы в один прекрасный день не заснуть навеки тут же рядом, — пока этого не случилось, Диккенс каждую неделю должен был сдавать очередную главу романа, в жертву которому пришлось принести старого чудака мастера Хамфри и весь задуманный план «Часов». На этот раз он поехал с семьей летом не на Темзу, а прямо к морю, в тот же Бродстэр.

Он любил коттедж на вершине холма, у дороги на Кингсгет, отделенный от моря полем, но на этот раз коттедж был занят, и он жил в домике у подножья холма и писал, писал. На счету был каждый день, каждый день должен был

принести несколько страниц романа, — читатель должен получить еженедельный выпуск во что бы то ни стало. Между завтраком и обедом он отправлялся в далекие прогулки, — они были необходимы ему не меньше, чем ночной сон. Он надевал легкий свободный сюртук, шляпу с широкими полями, напоминавшую головной убор американских погонщиков скота, вооружался палкой и уходил. Если кто-нибудь приезжал из Лондона, он предлагал гостю совместное путешествие. В первый раз гость обычно соглашался, но немногие из гостей соглашались вторично, — многочасовая прогулка немногим была под силу.

До маяка Норт Форленд, памятного тем, что здесь, примерно двести лет назад, голландский адмирал Ван Тромп был разбит английской эскадрой, — было недалеко; эта прогулка, излюбленная бродстэрцами, его не прельщала. Он шел на запад, к Минстеру с его старинным аббатством и с собором, едва ли не самым древним в Англии; он взбирался на плато, нависающее над городом, и оттуда он любил смотреть на широкие заболоченные просторы, тянувшиеся к далеким холмам у Кентербери и Дувра. А когда какой-нибудь посетитель приезжал в Бродстэр впервые, он водил гостя или к Рамсгет, курорту к югу от бродстэрских утесов, или в деревню Сен Питер, где сохранилась с донорманнских времен готическая церковь с каменными углами и контрфорсами. Там, на церковном дворе, он показывал гостю могилу Ричарда Джоя, прозванного «Кентским Самсоном», который удостоился почетного погребения за свою силу и невзирая на свою не слишком почетную профессию контрабандиста.

Посетителей было много — и в июне, и в начале сентября, когда он вернулся снова сюда, проведя июль и август в Лондоне. Но гости не должны были мешать работе, и не мешали. Все дальше Диккенс отходил от Энсуорта, который принял

в свое время участие в его карьере, все крепче становились приятельские его связи с Бульвером.

Эдуардом Бульвером он восхищался. Пятнадцать лет назад это был двадцатидвухлетний прожигатель жизни, проведший три года в Кембридже, но не кончивший колледжа и якшавшийся с кем попало. Юноша кропал стихи, подражал Вертеру, переживая, как полагается, трагическую любовь, изучал парижские кабаки и не обращал внимания на своих родственников, приходивших в ужас от его образа жизни. Не обратил внимания он и на прямое запрещение матери жениться на одной ирландской мисс, издал вертеровский тусклый роман, попал в цепкие руки кредиторов и вдруг… вдруг в 1825 году выпустил анонимно «Пелама». Этот роман о «высшем свете» и о подонках Уайтчепля, имел такой же успех, какой до той поры выпадал на долю только романов Вальтера Скотта. Денди, превращенный в политического деятеля, — этот образ стал нарицательным. Молодой Бульвер искусно использовал успех. За десять лет он выпустил десять романов — десять романов нравоописательных, исторических и даже расплывчато-романтических, чуть подкрашенных немецким романтизмом. В 1840 году он был уже автором «Пелама», «Юджин Арама», «Риенци» и «Последних дней Помпеи», прошумел на всю Англию своим разводом с женой, чувствовал себя как дома в любом обществе и весьма заботился об укреплении своей популярности. Он был достаточно зорок, чтобы распознать в молодом авторе «Пиквика» более сильного соперника в борьбе за успех у читателя, и достаточно умен, чтобы отвечать на восхищение Диккенса дружеским расположением.

И в Бродстэре, и в Лондоне, куда Диккенс вернулся с семьей в октябре, работа над «Лавкой древностей» шла быстро. Маленькая Нелл тщетно пыталась спасти своего дедушку от его судьбы. В образе бродячих шулеров злая судьба

обрушилась на старика, и он снова поддался своей пагубной страсти. И снова добрые силы пришли им на помощь. Они запрятали трогательную пару в поэтический полуразрушенный старинный домик, где квазимодо Квилп и его агенты никак не могли бы выследить их.

Когда Диккенс чуть-чуть уставал от умиления перед чистой сердцем маленькой Нелл и от отвратительных качеств паука Квилпа с его паладином, бессовестным законником Брассом, он позволял себе отдохнуть вместе с Диком Свивеллером. Отдых был необходим не только ему, но и читателю. Диккенс это чувствовал. Разумеется, читатель должен был безусловно уверовать в конечную победу чистого сердца над кознями злых людей, но право же, не грех развлечься самому и развлечь читателя, рассказывая ему о Дике Свивеллере.

Надо было сделать этого шалопая обаятельным. Этого бездельника нужно было сделать совсем непохожим на других бездельников, уже известных читателю. Но как это сделать, чтобы читатель не сказал: вот еще один немилосердный болтун и шалопай, напоминающий мистера Джингля и мистера Мантолини! Боз любит изображать таких субъектов и умеет отдыхать, забавляясь возней с ними…

Когда Диккенс увидел смутные контуры бездельника-клерка, служившего в конторе бессовестного законника, его осенила счастливая догадка. А что если наделить этого шалопая чистым сердцем, таким же чистым, как те сердца, которые бьются в груди защитников и покровителей маленькой Нелл? Вряд ли кто-нибудь заподозрит мистера Джингля в чистоте сердечной, — бездельник Джингль, не смущаясь, идет на шантаж мистера Уордля в деле с перезрелой мисс Речл. Мистер Мантолини из «Никльби» не только шалопай, но и сутенер и тоже вряд ли может служить украшением рода человеческого. Но сердце бездельника и болтуна Дика Свивеллера должно привлечь все сердца.

И вот этот клерк, в коричневом сюртуке с большим количеством медных пуговиц на фасаде и только с одной пуговицей сзади, начинает завоевывать читательские сердца. Носовой платок у него очень грязен, и только один уголок его, пожалуй, пригоден, чтобы торчать из наружного кармančика фрака; так же грязны его светлые штаны и манжеты; а липкая шляпа надета задом наперед, чтобы скрыть дыру на полях… Словом, вид у Дика не только нечистоплотный, но и претенциозный, но тем не менее…

Диккенс так полюбил Дика, что занимался им, не очень заботясь о связи его с трогательной эпопеей о маленькой Нелл. Он отдыхал с Диком и соблазнял читателя отвлекаться от Нелл и ее дедушки.

Но так уж повелось, тут ничего нельзя было поделать. Как только представлялась ему возможность порезвиться где-нибудь на боковой тропинке, поодаль от основного сюжета, он не мог устоять от соблазна. Резвился он и с Диком, создав образ большого шалопая с большим сердцем.

Сквозь неясные очертания дальнейших глав он уже видел этой осенью 1840 года заключительные сцены «Лавки древностей». После окончания в январе эпопеи о маленькой Нелл — о «лавке древностей», кстати сказать, читатель давно уже забыл — он примется, наконец, за тот «исторический» роман, который так давно обязался написать для издателя мистера Бентли. Теперь этот роман не попадет в руки Бентли; фирма Чепмен и Холл откупили у Бентли право на его издание. Но роман будет посвящен, как и предполагалось раньше, «мятежу лорда Гордона» — волнениям в Лондоне в 1780 году.

16. Два мятежа

И теперь, через шестьдесят лет после «мятежа лорда Гордона», Лондон — да и не только Лондон — был свидетелем событий, которые весьма походили на народные волнения.

Но шестьдесят лет назад к этим волнениям призывал протестантский фанатик Джордж Гордон, увенчанный баронской короной. Его «Протестантская ассоциация» попыталась устрашить правительство, требуя от Георга Третьего и его министров отмены политических прав католиков. Теперь, к 1841 году, десятки рабочих лидеров после пятилетних усилий вправе были сказать, что их призывы с публичных трибун обещают поднять рабочие массы Англии на защиту своих прав.

Эти права — политические права — были перечислены в «хартии» (хартия — charter). О ней впервые и о «чартизме» Англия услышала пять лет назад. Впервые в 1836 году рабочие лидеры вышли на публичную трибуну, и в Лондоне, а затем, и в других промышленных центрах прокатились призывы требовать от премьера Мельбурна и от парламента решительной реформы всей политической системы. Ибо без такой реформы экономическое положение народных масс грозило катастрофой.

Вспомним эти годы. Механизированные станки в текстильной промышленности обрекли на полную безработицу армию ткачей — сотни тысяч человек. На своем ручном станке ткач мог заработать не более двух с половиной пенсов в день — десять копеек. Это была голодная смерть. Те же счастливцы, которых промышленники оставили на своих фабриках, зарабатывали не больше пятнадцати шиллингов в неделю — девяносто копеек в день — при цене на хлеб двенадцать копеек (три пенса) за фунт; этот заработок обрекал рабочего и его семью на голод.

Нищета рабочих-текстильщиков в эти тяжелые годы отражала положение рабочих и во всех других отраслях промышленности. Английский народ уже два десятка лет, истекших после окончания наполеоновских войн, все еще расплачивался за победу. Европа залечивала раны и строила

свою промышленность. Английские товары застревали в английских портах, но в прогрессе технической мысли — в изобретении новых фабричных машин — буржуа находил надежную помощь для преодоления экспортных затруднений. Если не считать локаутов, эти затруднения привели лишь к одному — к резкому падению заработной платы и повышению цен внутри страны. В высоких ценах заинтересован был не только промышленник, но и землевладелец, нещадно борясь против отмены запретительных пошлин на ввозимый хлеб. Ни одна страна не решалась ввозить зерно, облагавшееся такими пошлинами, и монополистами по продаже зерна безраздельно являлись отечественные лендлорды. Безработица и высокие цены на хлеб, а значит и на другие самые необходимые продукты, влекли Англию к катастрофе. На улицах больших городов дети дрались из-за объедков мяса, а в мясных лавках мясо нередко продавалось такими порциями, которые могли бы служить приманкой для крыс в крысоловках, как писал один современник, некий полковник, испуганный народной нищетой. При этом он добавлял: «Порядочная крыса не станет рисковать жизнью из-за такой порции».

Надо было искать выход. В короткой программе, в той самой хартии, которая вошла в историю, несколько энергичных людей, дотоле неизвестных на политической арене, изложили требования, которые рабочему сулили спасение от грядущей катастрофы. Так полагали главари движения. Так считал в это время английский народ. Главари движения требовали в этой хартии всеобщего избирательного права для мужчин, ежегодных выборов в парламент, тайного голосования при выборах, уничтожения избирательного ценза и, наконец, вознаграждения членам Палаты общин, ибо бесплатно заседать в парламенте, естественно, могут лишь те, у кого есть какие-нибудь доходы.

Англия не видела до этой поры таких гигантских митингов, какие собирала чартистская партия в 1838 году. Ночные факельные демонстрации рабочих в защиту хартии являлись грозным сигналом для правительства. Агитация шла, не ослабевая. На трех митингах, созванных чартистским конвентом, присутствовало до миллиона человек. Правительство Мельбурна хотя и называлось вигским — скоро партия вигов стала именоваться «либеральной», — но перед угрозой восстания обнаружило решимость всеми средствами расправляться с чартизмом. Войска получили приказ стрелять в толпы демонстрантов, хотя последние не пытались прибегать к насильственным действиям. В Бирмингеме объявлено было военное положение. Десятитысячная толпа рабочих вблизи Ньюпорта, в Уэльсе, была обстреляна войсками. Вожди движения были схвачены, в тюрьмах с ними обращались, как с уголовными преступниками; некоторые из них после приказа об освобождении вышли из тюрем инвалидами... Но чартизм не умирал. К началу сорок первого года, хотя оба главных руководителя движения, О'Коннор и О'Брайн, пребывали в тюрьме, темпы чартистской агитации в борьбе за хартию все еще нарастали.

«Мятеж лорда Гордона» показался бы лорду Мельбурну невинной забавой лондонской черни, если бы ему пришлось усмирять этот мятеж шестьдесят лет назад. Усмирить чартистский конвент было несравненно трудней.

Диккенс обдумывал сюжет, оправой для которого он решил взять бунт уайтчепльских подонков. Но на рубеже нового года он погружен был в последние главы истории о маленькой Нелл. Он слишком еще хорошо помнил тот страшный для него день, когда Мэри Хогарт лежала мертвой на своей девической постели. Да, конечно, он помнил лицо Мэри, когда давал указания Каттермолю о том, какой рисунок должен сопровождать прощание читателя с героической

маленькой Нелл. Он писал: «Дитя лежит мертвее в маленькой спальне за раздвинутой ширмой. Зима, а потому нет цветов, но у нее на груди, на подушке и постели могут быть ветки остролиста с ягодами — словом, что-нибудь свежее, зеленее. Окно заросло плющом. Маленький мальчик, который вел с ней этот разговор об ангелах, может находиться у ее постели, если вам так нравится, но, мне кажется, покой будет более полным, если она совсем одна. Я хочу, чтобы создавалось впечатление совершенного мира и покоя, и даже счастья, если смерть может даровать счастье».

Три с половиной года назад совершенный мир и покой не сходил в его душу, когда он стоял у кровати, на которой лежало тело Мэри Хогарт. Теперь он добивался, чтобы читатель обрел этот покой, прощаясь с Нелл. Конечно, это было некое освобождение, и отныне только лирическая грусть, которую он не хотел потушить, окрасит все его воспоминания о Мэри.

Надо было думать о сюжете романа, который надвигался. Было решено, что он появится в «Часах мастера Хамфри». Старый чудак должен снова предстать перед читателем, чтобы предложить ему новую рукопись, извлеченную из футляра часов. Первый роман безыменного автора, который оказался Вальтером Скоттом, назывался, как известно, «Веверлей», и в подзаголовке значилось: «или шестьдесят лет назад». Эпоха «Веверлея» отстояла от даты романа на одно поколение. Между «мятежом лорда Гордона» и началом работы Диккенса над «Барнеби Раджем» тоже протекло шестьдесят лет. Но Диккенс не намерен был подражать Вальтеру Скотту. У него не было охоты изучать местный колорит восьмидесятых годов восемнадцатого века, а знаний — еще меньше, и не было вкуса к «историзму».

Свое отношение к «историзму» он обнаружил уже достаточно ясно, когда с полной беззаботностью отнесся

к хронологии событий и исторических фактов, упоминаемых в его романах, которые он успел уже написать. Эту беззаботность установить совсем легко, — исследователи укажут немало ляпсусов, когда заинтересуются этим вопросом. И они заключат с полным правом, что у Диккенса не было «чувства времени». Иначе говоря, он не желал признавать хронологию даже в романах, действие которых развертывалось в современную ему эпоху. Тем менее могла его соблазнить необходимость связать себя требованиями, которые история предъявляет романисту, обратившемуся к прошлым эпохам. Если история мешает фантазии, если «правда» в историческом романе диктует «вымыслу» свои законы, то не проще ли пренебречь требованиями жанра?

Диккенс так и сделал — пренебрег требованиями жанра. Ему, который ухитрился не замечать анахронизмов в своих четырех романах, было нетрудно это сделать. На изучение местного колорита эпохи «мятежа лорда Гордона» он не потратил много времени. Точнее говоря — местный колорит его совсем не интересовал.

Значительно больше, чем та историческая «среда», которая всегда включает не только бытовые детали, но идеи и нормы эпохи, интересовал Диккенса… ворон.

17. Чистый сердцем в гуще тайн

Появление ворона на Девоншир Террас доставило удовольствие только самому Диккенсу. Кэт и дети охотно отделались бы от него. Ворон был злой; невзирая на дрессировку, он гонялся за детьми и пребольно щипал их за икры. Он надоедал не только детям, но и мяснику, и зеленщику, и всем, кто приходил в дом. Но он был любимцем Диккенса, и жертвы должны были терпеливо выносить злой нрав Грипа, который не подозревал, что является участником романа.

Диккенс сделал его спутником полуидиота Барнеби. Не больше чем Грип, Барнеби понимал, что поставлен в центре событий, которые в учебнике истории назовут «мятежом лорда Гордона», да и сам автор не придавал никакого значения исторической точности в передаче этих событий. Не придавал он значения и тему, достоверен ли исторически его лорд Джордж Гордон, которого он решил нарисовать весьма симпатичным. Чувствуя, что с портретом этого фанатика, призвавшего лондонские подонки разбивать католические молитвенные дома, обстоит не все благополучно, он запрятал лорда на второй план. Это ему не помогло. Даже Форстер сказал ему без обиняков, что сцены, в которых появляется лорд Джорджи, самые слабые сцены романа.

Огорчить Диккенса этот отзыв не мог. Он и не собирался стать историческим романистом, и если история оказалась не в ладу с его фантазией, ничего нельзя было поделать. Его интересовал сюжет. И читатель должен был заинтересоваться сюжетом, когда в январском номере «Часов» нашел первые главы «Барнеби Раджа».

Роман открылся загадочной историей. О ней рассказал читателю один из участников, и случилась эта история лет за двадцать до рассказа. Именно тогда Реубен Хердаль, владелец поместья Уоррен, был найден убитым в кровати и ограбленным, а двое его слуг, садовник и лакей, исчезли. Но лакей был тоже найден через несколько месяцев убитым, — его утопили в водоеме на усадебной земле. Звали его Радж. Через день после убийства родился у него сын, которому дали имя Барнеби.

Таинственное убийство, которое бросает свою зловещую тень на события романа… Конечно, завязка должна увлечь читателя.

И Диккенс сам увлечен. Он уже вводил «тайну» в сюжет романа и уже пробовал поразить читателя неожиданностью,

выраставшей из тайны. Тайна облекала рождение Оливера Твиста, а читатель «Николаса Никльби» едва ли, конечно, мог подозревать, что злодей Ральф Никльби бессердечно преследует собственного своего сына, не ведая об этом. Но теперь, в «Барнеби Радже», тайне следует отвести более почетную роль в построении сюжета; читатель падок до всего загадочного, в этом нельзя сомневаться, да и самому небезынтересно запутывать нити романа, чтобы потом искусно распутать. На худой конец, если напутаешь так, что сам не выберешься из лабиринта, можно и разрубить. Всегда найдется читатель, достаточно непритязательный, который может даже не заметить, распутана ли нить, или автор ее обрубил.

Но завязка романа не ограничивается таинственным двойным убийством. Сын Раджа, Барнеби, родится полуидиотом, что понятно, так как его мать слишком потрясена убийством мужа. Этот Барнеби никому не причиняет зла и болезненно не выносит вида крови. На жизненном пути такого героя надо поставить еще одну тайну, это будет неплохо, — пути зла должны скреститься с путями добросердечного Барнеби. И тот самый незнакомец, который выслушивает историю двух убийств в трактире неподалеку от поместья Уоррен, тоже замышляет злое дело. Это не простой разбойник, случайно попавший в поместье, — нет, он имеет какую-то странную власть над матерью Барнеби. Как только та узнает о его появлении, она исчезает с сыном. Исчезает на целых пять лет, неизвестно куда. Вот еще одна тайна.

Сюжет обещает быть интересным и для автора. Диккенс уже снабдил своего Барнеби необычным спутником — вороном Грипом, уже рассказал об ухищрениях некоего негодяя, сэра Джона Честера, ввел еще несколько интриг, перенес действие через пять лет, к 1780 году… И вдруг всамделишный Грип, кусавший икры детей и посетителей Девоншир Террас, опасно заболел.

Правда, Диккенс имел достаточно времени, чтобы изучить повадки злой птицы, и достаточно времени имел иллюстратор Каттермоль, чтобы усвоить существенную роль ворона в романе, изучая спутника Барнеби Раджа. Да и как было ему не усвоить, если Диккенс разъяснял в письме: «Я бы хотел знать, чувствуете ли вы воронов вообще и понравится ли вам ворон Барнеби в частности. Так как Барнеби идиот, мне хочется видеть его постоянно в обществе любимого ворона, который неизмеримо более разумен, чем он сам. С этой целью я изучал мою птицу и думаю, что мог бы сделать из нее весьма оригинального участника». После этого письма прошло месяца полтора, и внезапно изучение птицы должно было прерваться. Реальный Грип еще несколько месяцев назад наелся белил, а потому его нездоровье отнесли за счет последствий такой невоздержанности. Но болезнь оказалась невыясненной, ни врач, ни касторовое масло не помогли, и ворон испустил свой любимый возглас: «Алло, старушка!» и издох.

Дети не скрывали радости, которую еще не мог разделить маленький Уолтер, родившийся месяц назад, но Диккенс долго не мог успокоиться. У него даже мелькали мысли о заговоре мясника против Грипа, погибшего стало быть от яда; труп Грипа отправлен был для исследования в анатомический театр, но подозрения против мясника оказались неосновательными. Тайна смерти Грипа осталась нераскрытой, чучело его в стеклянном футляре украсило кабинет Диккенса, а на предмет дальнейшего «изучения» воронов раздобыт был новый Грип, более крупный и старый, но менее злой.

Тем временем спутник Барнеби, срисованный Диккенсом со злого Грипа, оказался в центре замысловатых интриг исторических событий. К началу появления Барнеби с вороном в Лондоне сэр Джен Честер, весьма аморальный джентльмен, уже пытался принудить своего сына Эдуарда к выгодному

браку, в чем, правда, не преуспел, но зато расстроил другой брак — между Джо Биллетом, сыном лендлорда, и Долли Уорден, мать которой была яростной католичкой. По-видимому, ворон, хотя он и более проницателен, чем слабоумный Барнеби, не мог предотвратить участия Барнеби в буйстве лондонской черни, поднятой лордом Гордоном против католиков. Барнеби был предназначен, таким образом, стать соучастником откровенного разбоя, учиненного лондонскими подонками под флагом защиты протестантской религии.

Исторические события, в которых Грип и Барнеби приняли участие, должны были развернуться по мере развития сюжета. Что же касается развития интриги, то она развивалась строго по плану и не уступала занимательностью популярным уличным романам. Толпа разбила усадьбу Уоррен, принадлежавшую Джеффри Хердалю, брату некогда убитого Реубена Хердаля, захватила Эмму Хердаль, дочь Джеффри, а с нею заодно и Долли Уорден; а когда Джеффри Хердаль примчался из Лондона на выручку дочери, то, вместо нее, на руинах разрушенной усадьбы он нашел некоего субъекта, которого читатель считал безнадежно погибшим. Этот субъект бродил по руинам, как призрак…

Диккенс предвкушал удивление читателя, но такого рода удивление — верный залог успеха трехпенсовых выпусков «Часов», и ради этого можно было воскресить Раджа, лакея Раджа, отца Барнеби и заставить его больше двух десятков лет скрываться где-то поблизости. Читатель должен был также поверить, что в свое время из водоема извлекли труп не Раджа, но садовника. Убийцей садовника и своего хозяина, Хердаля, таким образом, был отец Барнеби.

Тираж «Часов» заставлял думать, что читатель был увлечен занимательностью романа и не судил «Барнеби Раджа» по законам, созданным для жанра исторического романа

Вальтером Скоттом. Читатель, конечно, жалел беднягу Барнеби. Но теперь Барнеби не просто слабоумный, родившийся на свет божий калекой потому, что мать его была потрясена трагической гибелью мужа. Теперь он — жертва, невинная жертва преступления отца! Ибо Диккенс не только вывел на руины разрушенной усадьбы убийцу, но и разоблачил его жену — мать Барнеби. Она-то, несчастная женщина, знала, что убийца — ее муж!

От работы над «Барнеби Раджем» его ничто не отвлекало. Впрочем, небольшой перерыв вызван был смертью Мэкрона.

Диккенс уже давно простил Мэкрону, своему первому издателю, попытку извлечь побольше выгоды из договора, некогда заключенного с никому неведомым Бозом. Отношения с Мэкроном были порваны, но когда Мэкрон умер и выяснилось, что его вдова осталась без средств, Диккенс предложил издать под своей редакцией сборник в ее пользу. Сборник вышел удачным, в нем принял участие кое-кто из беллетристов, а сам Диккенс напечатал в нем новеллу, переделанную им для этой цели из своего водевиля «Фонарщик».

И снова он над рукописью «Барнеби Раджа», еженедельные выпуски «Часов» не дают отдохнуть. Даже в поездку — в Шотландию — надо будет взять с собой работу.

Поездка в Шотландию решена была еще в апреле, и во второй половине июня 1841 года Диккенс и Кэт выехали в Эдинбург.

18. Утехи и чаяния

Здесь, в столице Шотландии Эдинбурге, Диккенс мог убедиться впервые в своей огромной популярности. Шотландцы встретили его как почетного гостя Эдинбурга. Гостиницу, где ему отвели апартаменты, осаждала толпа посетителей, и ему пришлось скрываться в дальние комнаты, чтобы иметь возможность написать Форстеру письмо о приезде.

Во главе именитых шотландцев, встречавших Диккенса, как и следовало ожидать, был Джон Вильсон, известность которого перевалила за границы страны. «Блеквуд Эдинбург Мэгезин» — журнал, не менее влиятельный, чем «Эдинбург Ревью», обязан был своим успехом ему так же, как «Эдинбург Ревью» — лорду Джеффри. Профессор «моральной философии», эссеист, поэт и критик Джон Вильсон возглавлял группу выдающихся эдинбуржцев, организовавшую чествование Диккенса.

На торжественном обеде Диккенс услышал от Джона Вильсона такие слова:

— Мистер Диккенс также и сатирик. Объект его сатиры — человеческая жизнь, но сатиру он создает не для того, чтобы унизить жизнь. Он не снижает высокого и не ставит его рядом с низким... Он сатиризует только себялюбие, жестокосердие и жестокость... Если бы я продолжал, я вынужден был бы дать критический анализ таланта нашего знаменитого гостя. Я не собираюсь этого делать. Я могу только выразить в немногих бледных словах ту великую радость, которую чувствует сердце каждого от благословенного духа, проникающего все создания Чарльза Диккенса... Мистер Диккенс может быть уверен, что в Шотландии питают к нему привязанность, любовь, восхищение...

Свое восхищение выражали в торжественных речах и поэт Ниве, и художник Аллан, и Известный филантроп Алисон, и лучшие парламентарии, и адвокаты Эдинбурга, а лорд-провост — так в Шотландии называется лорд-мэр: — сообщил, что город Эдинбург отныне числит Чарльза Диккенса в списке своих почетных граждан...

Диккенс был взволнован сердечностью эдинбуржцев. Свою взволнованность он завуалировал юмором в отчете об этой торжественной встрече с шотландцами, который он

послал Форстеру: «Мне кажется, я говорил неплохо. Было около двухсот леди. Стол стоял на таком высоком помосте, что головы гостей были где-то гам внизу, и эффект появления (я имею в виду мое появление) был прямо таки потрясающий. Я очень хорошо владел собой и, несмотря на энтузиму-зи (Диккенс умышленно искажает слово. — *Е. Л.*), мною вызванный, я был холоден, как огурец…»

И началась для него страдная пора. Завтраки, обеды, ужины в домах гостеприимных Шотландцев. И приветственные речи, и ответные спичи, и появления, трижды в день, перед новыми группами эдинбуржцев, жаждавших его приветствовать. Даже для него, который не мог пожаловаться на легкую утомляемость, это было нелегко, и в конце концов он загрустил по тишине Девоншир Террас и Бродстэра и по домашнему халату, которым он мог бы заменить парадный фрак.

Надо было прощаться с гостеприимной столицей Шотландии. Надо было ехать в горы — эта поездка входила в его планы, — и вместе с Кэт, в сопровождении лондонского своего слуги, он отправился в горную Шотландию.

Поездка длилась около месяца. В начале августа он уже был в Лондоне и отправился в излюбленный свой Бродстэр.

Интрига «Барнеби Раджа» держала читателя, в сильном напряжении. Диккенс работал и в Шотландии, но мало, теперь он отдохнул от усиленной работы над романом.

Итак, отец Барнеби убил и хозяина, и садовника, труп которого по ошибке приняли за труп Раджа. Убийцу надо заключить в Ньюгет. Теперь он там, в этой страшной тюрьме. Но лондонская чернь, поднятая против католиков лордом Гордоном, разбивает не только капеллы католиков, но и Ньюгетскую тюрьму, Не ведая о том, что творит, бедняга Барнеби принимает участие в разрушении Ньюгета

и в освобождении заключенных. Войска рассеивают буйную толпу, в руки солдат попадает немало «мятежников», среди которых мы находим и Барнеби.

Тем временем трое людей пытаются напасть на след похищенных девушек — Долли и Эммы. Эти трое — Джо Виллет, приехавший из Вест-Индии и потерявший руку в американской революции, Эдуард Честер, сын холодного и бессовестного сэра Честера, и Джеффри Хердаль — дядя Эммы. Джо Виллет по-прежнему любит Долли, а Эдуард Честер — Эмму.

Конец романа уже совсем близок. Отца Барнеби нельзя было помиловать или спасти, — палач отрубил ему голову, но невинный Барнеби, его мать и ворон Грип не должны погибнуть. Бедняга Барнеби был спасен, поселился с матерью и Грипом на ферме. А засим, устроив судьбы других своих участников, как полагалось по закону возмездия, Диккенс кончил роман.

Конец «Барнеби Раджа» знаменовал вместе с тем и завершение «Часов мастера Хамфри». Продолжать это издание, задуманное отнюдь не так, как потребовал от автора читатель, не имело смысла. Мастер Хамфри спрятал рукопись с псевдоисторическим романом о «мятеже лорда Гордона» в футляр часов и больше не извлек никакого манускрипта.

«Барнеби Радж» был закончен в ноябре, но еще раньше — за два месяца до его окончания — на письменном столе Диккенса лежал новый его договор с Чепменом и Холлом.

Верный Форстер был незаменим в дипломатических переговорах. Поистине его можно было бы назвать министром иностранных дел Чарльза Диккенса. Теперь, после «Барнеби Раджа», Диккенс мог обдумывать новую книгу, — ей надлежало выходить в двенадцати ежемесячных выпусках, в течение целого года. Все это время надлежало ему получать

от Чепмена и Холла по сто пятьдесят фунтов в месяц, а с ноября будущего года, когда появится первый выпуск, по двести фунтов.

Итак, у него впереди год передышки. Нет нужды немедленно приступать к новой книге и гнать, гнать и гнать каждую неделю листы романа в типографию, подчас не успевая даже осушить чернил.

Вот теперь пришла пора осуществить давнишний план. Этот план возник до «Часов мастера Хамфри». Но тогда пришлось о нем забыть, временно забыть, — надо было подарить читателю новый тип журнала, который, как оказалось, читателю был не нужен. Теперь момент самый подходящий. Он может ехать в Америку.

И Форстер, и другие приятели, и Чепмен с Холлом и, наконец, американские журналы и газеты свидетельствовали все вместе о том, что за океаном имя его не менее популярно, чем на родине. Холл вздыхал, рассказывая о безобразиях, чинимых американскими издателями. Нимало не смущаясь, что фирма Чепмен и Холл весьма, можно сказать, заинтересована в том, чтобы снабжать американцев книгами «неподражаемого Боза», ставшего Чарльзом Диккенсом, американские дельцы преспокойно перепечатывают эти книги и собирают у себя в Штатах богатую жатву. При этом, конечно, они не платят ни пенни Чарльзу Диккенсу, ибо, увы, нет литературной конвенции между Штатами и Англией. Американские дельцы не желают о ней и думать.

Там, за океаном, у него много читателей, очень много. Можно будет, конечно, поговорить с американцами по душе и о том, что издатели в Штатах поступают не по-джентльменски с Чарльзом Диккенсом, и от их поведения Чарльз Диккенс теряет больше, чем любой из английских писателей. И Форстер и Чепмен с Холлом утверждают

это, ибо у Чарльза Диккенса за океаном больше читателей, чем у любого английского писателя.

Но надо прямо сказать: поездка в Америку необходима, прежде всего, по причинам, не имеющим ничего общего с обогащением заокеанских дельцов.

Американский читатель живет в обетованной стране — в стране, созданной великими демократами, борцами за священные лозунги великой американской революции. Эти лозунги имеют силу социальных законов, они воплощают чаяния тех, кто поднял американский народ против исконных традиций аристократизма, держащих в плену и по сие время народ Англии, Американский народ верен заветам благородных героев великой революции. Во имя свободы, справедливости и демократии они проливали свою кровь за свободную, суверенную и независимую Америку. При Лексингтоне и Бункер Хилле, у Саратоги и Джерментауне, у Кемдена и Йорк Тауна они проливали свою кровь за ту землю, на которой их сыны должны были строить государство, верное их заветам. Они проливали кровь не напрасно. Государство это построено, и внуки горды тем, что впервые в мире великие принципы демократии легли в его основу краеугольным камнем. В великой заатлантической республике нет выживших из ума титулованных старцев, которым закон дает право быть выше простых смертных и, совершив преступление, презреть судей и требовать особого суда — «суда равных». В ней нет гербоносцев-лоботрясов, которым закон дает право пустить по миру доверчивых людей и избегнуть долговой тюрьмы. В ней нет людей, которых в гражданских тяжбах нельзя арестовать только потому, что они служат лорду. В ней, в этой стране, ребенку не внушают с колыбели священный пиетет к коронам баронета и лорда и к маскарадной пышности королевского двора. Короче говоря,

в Америке заслуги предков не поднимают негодяя или куклу над остальными смертными, — там все равны.

И там, в Америке, нет места лицемерам — бичам и язвам Англии, моей Англии... Демократизм молодой страны враждебен социальной лжи, и маскам не удержаться там на лицах гипокритов. Демократизм честен, потому что нечего ему скрывать, — и в этом его сила.

Итак, все ясно. Впрочем, кажется, не все. Не ясно, как и почему молодая демократическая страна оправдывает такой уродливый институт, как рабство негров? Там, на месте, может быть удастся найти разгадку, быть может удастся выяснить, какое оправдание находит рабству общественная мораль.

Вопрос о поездке решен.

И Диккенс уже целиком поглощен подготовкой к отъезду. Кэт волнуется. С детьми ехать невозможно. На кого их оставить? Но верные слуги клянутся, что ни один волос не упадет с головы Чарльза и Мэри, Кэт и Уолтера. Макреди предлагает переселить детей в его дом, а Девоншир Террас сдать на полгода, чтобы окупить арендную плату. Милый друг! Предложение принимается с благодарностью, — Девоншир Террас сдается какому-то баронету-генералу. День отъезда назначается на четвертое января. Диккенс отдыхает от лихорадочных хлопот, связанных с устранением всех препятствий.

Расположение духа у него лирическое. Лиризм вызван грядущей разлукой с детьми и с друзьями — с Форстером прежде всего. Но эта предотъездная грусть, на пороге разлуки, не очень мучительна. Кэт все еще волнуется, на этот раз она неспокойна больше, чем он, хотя всегда бывает наоборот. Разумеется, ее волнуют опасения, не заболеют ли в ее отсутствие дети. Волнует также и переезд через Атлантику, ибо она не выносит качки. Милый Маклайз вручает ей подарок — зарисовки всех четырех малюток. Зарисовки

мастерские, сходство портретов с оригиналами удивительное; она поставит портреты на стол в каюте, и ей будет казаться, что малютки едут с ней за океан. Словом, понемногу все приходит в порядок.

Снова память завуалировала боль, которая вдруг взорвалась в конце октября, когда смерть младшего брата Кэт, а затем ее бабушки привела Диккенса к могиле Мэри. Здесь, около ее могилы, бабушка распорядилась себя похоронить. И тогда-то вновь вскрылась незажившая рана. Возвратившись с кладбища, он не находил себе места, переживая вновь тот день, когда Мэри была опущена в могилу. Вот тогда он сел за стол и писал Форстеру: «Желание быть погребенным около нее так же остро во мне теперь, как и пять лет назад; и я знаю (ибо я не думаю, чтобы когда-нибудь существовала любовь, подобная моей любви к ней), что оно никогда не ослабеет… Мне кажется, я потерял ее во второй раз».

Но предотъездные хлопоты благодетельны. Воспоминания о майском дне тускнеют и в конце концов поглощаются заботами о дне сегодняшнем. В начале января из Ливерпуля отходит «Британия», пакетбот в тысячу двести тонн. Через столетие ту же Атлантику будут пересекать подводные лодки. Их тоннаж будет превосходить грузоподъемность «Британии». Но теперь, в 1842 году, «Британия» — один из крупнейших трансатлантических пароходов.

19. Триумф в Бостоне

Диккенс и Кэт на пакетботе «Британия» отчаливают из Ливерпуля четвертого января. Восемьдесят шесть пассажиров храбрятся, никто не хочет сознаться, что боится качки. Качка начинается, не очень сильная, правда, но вполне достаточная, чтобы пассажиры предпочли побыть на свежем воздухе и покинуть кают-компанию в обеденный час.

Часы идут, качка усиливается. Бедная Кэт! Она решительно не может выносить волнения на океане. Она уже лежит на койке в каюте и страдает молча. Ее горничная беспомощна не менее чем она. Диккенс пока на ногах в этот первый день плавания. Наутро он еще может явиться в кают-компанию к брекфасту. Там он находит только пятнадцать человек. Остальные семьдесят уже не прельщаются утренним завтраком, они страдают в своих каютах не меньше, чем Кэт. Но после брекфаста выходит из строя и Диккенс. Он лежит в каюте такой же беспомощный, как и остальное население «Британии», и на третий день обнаруживает, что дверь каюты исчезла, новая дверь открылась в полу, а подзорная труба, висевшая на стене, очутилась на потолке. Отсюда он заключает, что каюта приняла совсем ненормальное положение — встала на голову.

Ему и Кэт, конечно, не повезло. Это уже не качка, а светопреставление. Январский шторм в Атлантике не шутка, в особенности если он сопровождается грозой. От испуга и страданий Кэт стала совсем безгласной. Даже шотландская леди, возлежавшая на койке в той же каюте, перестала беспокоиться о том, позаботился ли капитан укрепить громоотводы на каждой мачте, — этот вопрос ее интересовал еще совсем недавно. Но теперь и этой беспокойной леди не до громоотводов. Старший механик, плававший на пароходах «Кунард Лайн» со дня основания фирмы, не помнит такого шторма.

Диккенс прикован к каюте в течение восьми дней, об обеде в кают-компании нечего и думать. Надо успокаивать Кэт и горничную, которые ежеминутно прощаются с жизнью. Но как их успокоить? Когда встаешь с койки и, преодолевая головокружение, приближаешься со стаканом бренди к большому дивану, на котором они находятся, обе страдалицы

в один момент перекатываются в другой угол дивана, и нет возможности напоить их целебным напитком…

Через восемь дней шторм медленно начинает выдыхаться. Женщины лежат обессиленные, но мужчины приходят в себя. Качка еще очень сильная, но все же можно поиграть в вист, хотя приходится класть взятки в карман, — на столе им не удержаться ни минуты. Еще идут дни, и на пятнадцатую ночь после отплытия из Ливерпуля происходит событие, которое угрожает пакетботу гибелью. Пакетбот входит в гавань Галифакс — это уже у берегов Америки, в Новой Шотландии — и налетает на отмель. На палубе и в трюме новое светопреставление. Паника. Выясняется, что неумелый лоцман повел «Британию» в Восточный проход, — словом, не туда, куда надлежит. Удается бросить якорь. Корабль спасен, капитану решают преподнести ценный подарок за спасение, пакетбот в конце концов входит в гавань; пассажиры осматривают город Галифакс, и «Британия» снова выходит в океан, держа курс на Бостон. На восемнадцатый день плавания «Британия» бросает якорь в гавани. Перед Диккенсом — Бостон, город-хранитель самых священных традиций американизма.

Америка была предупреждена о его приезде и уже приготовилась его встречать. Он узнал об этом, когда стоял на капитанском мостике рядом с капитаном и жадно всматривался в толпу свободных американцев, сгрудившуюся на пристани. Расталкивая пассажиров, приготовившихся к высадке, ринулся на него десяток джентльменов, у каждого из них подмышкой торчали газеты. Только-только он решил, что эти джентльмены — продавцы газет, как немедленно выяснилась его ошибка. Это были не продавцы газет, но редакторы. Они бросились, как сумасшедшие, пожимать ему руку, выражая восхищение его счастливым прибытием.

Он вступил на землю Америки, потирая правую руку, которую в энтузиазме чуть не оторвали новые знакомцы. А затем его отвезли вместе с Кэт в отель. В первый день гостей не тревожили, им надо было отдохнуть. Бостонцы ограничились только присылкой билетов и приглашений. Содержание их было однообразно. В первую очередь американцы позаботились о спасении души своего гостя и его супруги. В каждом из приглашений мистер Диккенс совместно с супругой находили указание на то, что в такой-то церкви или в молитвенном доме они могут занять наследующий день такие-то места. Следующий день был воскресенье, и этих мест, предназначенных для мистера Диккенса, хватило бы на два десятка семейств. Первый день, таким образом, прошел спокойно.

Гость отдохнул, и бостонцы предались шумной радости, вызванной приездом Чарльза Диккенса. Один за другим, потоком текли в отель одиночки, любители прекрасного, чтобы пожать руку гостю. Общественные организации отряжали делегации, настойчиво стремившиеся залучить его для ознакомления с их деятельностью. Приглашения на балы, обеды, ассамблеи уступали непрерывно. На улицах, бостонцы собирались группами, чтобы выразить сообща свое восхищение появлением Чарльза Диккенса в городе священных традиций американизма. Публичный обед был назначен немедленно.

Проехав две тысячи миль, делегация дальнего Запада предстала перед ним с единственной целью выразить свое удовлетворение фактом его приезда, а местные власти каждого из штатов спешили засвидетельствовать те же самые чувства в письменной форме. Им вторили с разных концов Америки университеты, корпорации и многочисленные почитатели таланта мистера Диккенса. Даже сенат и конгресс не остались в стороне от эмоционального потока, подхватившего американцев и устремившегося к бостонскому Гремонт Отелю.

Это был триумф, иначе не назвать взрыв гостеприимства и восхищения, охвативший американцев. Доктор Чаннинг, известный профессор и общественный деятель, в послании к гостю именно так и назвал это пребывание Диккенса в Бостоне. И доктор Чаннинг присовокупил, что подобного зрелища никому не довелось еще видеть.

В этой сутолоке, в этом шуме, в этом мелькании новых и новых лиц, в каскаде преувеличенных оценок и восторгов трудно было сохранить самообладание. И трудно было не поверить, что эмоции американского народа находят в таком приеме свое точное выражение. Каждый день был разграфлен вплоть до отхода ко сну. Без секретаря не обойтись, кто-то должен был заняться рассортировкой всех приглашений и обещаний. Публичные обеды сменялись выездами в соседние городки, требовавшие Диккенса через свои комитеты, специально для этого организованные. Там повторялась та же картина: торжественный обед с президентом, сидящим справа от почетного гостя, десятки джентльменов и леди, принадлежащие к сливкам общества, и речи и спичи, и тосты, а в промежутках между обедами посещения, и снова речи о его замечательном сатирическом таланте и непревзойденном знании человеческого сердца.

Но не для того же он приехал в Америку, чтобы ежедневно пожимать сотни рук и произносить ответные тосты! Если его дальнейшее пребывание будет заполнено торжественными обедами и приемом почитателей, то едва ли та книга об Америке, которую он обещал Чепмену и Холлу, найдет читателей!

Он выходит на улицы Бостона, он посещает приют для слепых, дом для умалишенных, убежище для престарелых и потерявших трудоспособность, исправительную тюрьму. Он не предполагает пробыть в Бостоне больше недели,

но хочет осмотреть все те учреждения, которые позволят ему судить о том, какое применение нашла демократическая Америка своему социальному законодательству. И, разумеется, он успевает побывать в судах.

Бостон — город небольшой, если сравнить его, скажем, с Нью-Йорком; в нем жителей раза в четыре меньше, чем в Нью-Йорке. Но роль Бостона не измеряется количеством населения. Здесь, в штате Массачусетс, зародилась Америка, сюда к массачусетским берегам, подошел «Майский цветок», на борту которого добрые пуритане бежали со своей родины от короля Иакова и его церковников. Там, на юге, в Виргинии, высадились темные искатели приключений, счастливо избежавшие Ньюгетской тюрьмы и плахи на Тайбурне, но здесь, в 1620 году, у Плимутских скал, через тринадцать лет после авантюристов, бросили якорь духовные отцы великой демократической Америки. Сердце Америки — Массачусетс, а сердце Массачусетса — Бостон. Вот здесь, с этой набережной, в 1773 году полетели в воду ящики с чаем, которые Англия требовала оплатить пошлиной. Бостонцы отвергли это требование; и отсюда, из Бостона, заветы добрых пуритан «Майского цветка» пронеслись по стране, чтобы поднять вольных американцев против жадной метрополии.

Словом, Бостон руководит духовной жизнью Америки. Бостонские буржуа не снисходят даже до того, чтобы оспаривать тех, кто с ними не согласен в этом вопросе. Бостонские буржуа взирают свысока и на нью-йоркцев и на филадельфийцев и на балтиморцев — решительно на всех. У них под боком есть замечательный университет, он назван Кембриджским, и под сенью науки, и под сенью своих славных традиций они учат Америку правильному поведению, не нуждаясь ни в титулах, ни в наследственной знати, чтобы сообщить своим социальным нормам подлинно аристократический оттенок.

На улицах Бостона нет нищих. Если бы нищий появился на этих улицах, бостонцы были бы ошеломлены больше, чем при виде пылающего меча, возникшего над городом. Поистине этот город процветает, каждый житель, насколько возможно судить с первого взгляда, ежедневно вкушает мясной обед. Кстати сказать, бостонцы обедают в два часа дня, отнюдь не тогда, когда полагается англичанам, но файф-о-клоки с обязательной чашкой чая заведены у них в тот же, традиционный и для Англии, час — в пять часов. Бостонские дамы, как правило, очень миловидны, они так любезно угощают гостя за обедом домашней птицей, которую бостонцы, по-видимому, очень любят. И они очень любят за ужином горячие устрицы, — на поле почти всегда красуются две огромных чаши с устрицами, и в каждой из этих чаш легко мог бы поместиться герцог Кларенс, сын короля Ричарда Йорка если бы он раньше не утонул, согласно преданию, в бочке с мальвазией…

Но Бостон — только первая остановка в поездке, которая началась столь триумфально. Надо ехать дальше. Бостонцы готовы потчевать Чарльза Диккенса еще в течение года, но впереди еще вся Америка, и прежде всего Нью-Йорк. По пути придется заехать в Вустер, Хартфорд и Ньюхевен. Повсюду комитеты, торжественные обеды, спектакли, ужины. Наконец он в Нью-Йорке.

20. Гость нации

Вашингтон Ирвинг, «отец американской литературы», чьи скетчи он читал и перечитывал еще в Четеме, Вашингтон Ирвинг, автор «Истории Нью-Йорка, написанной Никербокером», «Книги скетчей», «Рассказов путешественника», автор «Жизни Колумба», «Завоевания Гренады», «Альгамбры», — замечательный писатель Вашингтон Ирвинг подписал первым приглашение на публичный обед, которым город

Нью-Йорк встречает Чарльза Диккенса. Оно начинается так: «Нижеподписавшиеся, от своего имени и от имени многочисленных своих сограждан, имеют честь поздравить вас с благополучным прибытием и от всего сердца говорят вам: «Добро пожаловать!» Это приглашение адресуется Чарльзу Диккенсу, эсквайру. «Нижеподписавшихся» — сорок один человек, именитейшие граждане города Нью-Йорка. Он находит это приглашение в апартаментах, приготовленных для него в Карлтон Отеле. Немало придется заплатить за эти апартаменты, но ничего не поделаешь. Едва только он усаживается за обед, является некий мистер Кольден, который уполномочен другим комитетом именитейших граждан города Нью-Йорка пригласить его на публичный бал, даваемый в его честь.

Вашингтон Ирвинг входит после отбытия мистера Кольдена. «Отцу американской литературы» под шестьдесят, его ироническая «История Нью-Йорка» вышла еще тогда, когда Чарльза Диккенса не было на свете.

Диккенс вскакивает из-за стола. Он узнает в этом посетителе с бледным лицом и с карими глазами человека, который в четемскую его эпоху казался ему не более реальным, чем автор «Дон-Кихота», он восклицает, бросаясь с протянутой рукой:

— Вы единственный человек, ради которого я пересек Атлантику!

Может быть, это преувеличение. Но все же возглас идет от сердца и в тот момент не кажется Диккенсу преувеличением. И Ирвинг не воспринимает этот возглас как дежурную любезность.

Это первое свидание протекает как-то суматошно. Переговорить надо обо многом. О! слишком много тем для беседы — о восторгах, испытанных в Четеме при чтении иронической «Истории Нью-Йорка» и «Сальмагунди» — двухнедельном

листке, напоминавшем аддисоновского «Зрителя»; о том, что произошло в Англии за десять лет после посещения Ирвингом Лондона; о первых американских впечатлениях гостя, о литературе здесь, за океаном, и, наконец, о повадках американских издателей, не желающих платить ни пенни английским писателям.

Они должны встречаться чаще — Чарльз Диккенс и Вашингтон Ирвинг, который, кстати сказать, облечен высоким званием посла Соединенных Штатов в Испании. Но удастся ли им встречаться часто и наедине? Едва ли. Ибо город Нью-Йорк жаждет видеть Чарльза Диккенса.

За Диккенсом и Кэт приезжают делегаты комитета. Мистер Кольден эскортирует Диккенса, а солидный генерал предлагает Кэт опереться на его надежную руку, чтобы проследовать с ним в карету, которая мчит гостей в Парк-театр.

Три тысячи нью-йоркцев обоего пола, облеченных в вечерние костюмы, приветствуют гостя. Парк-театр расцвечен цветами и флагами. Овациям нет конца. Мэр города Нью-Йорка сопутствует ему и Кэт, когда они парадируют мимо разодетых по самой последней моде нью-йоркцев по огромной зале, предназначенной для: бала. Гремит национальный гимн. Сотни рук тянутся к руке гостя. Леди машут шелковыми платочками и пожирают глазами знаменитого англичанина и его супругу. На Кэт белое платье, затканное голубыми цветами. На Диккенсе — темный фрак и светлые брюки, черный жилет; его галстук расшит цветами, в галстуке не одна, а две бриллиантовых булавки. Он очень красив, гость города Нью-Йорка. От возбуждения большие темно-голубые глаза еще больше потемнели, длинные волнистые волосы ниспадают на плечи. Он совсем не похож на именитых нью-йоркцев.

После парада начинаются танцы. И он, и Кэт тоже танцуют, танцуют без конца. Щеки его горят от возбуждения и жары. Наконец они покидают зал под гром рукоплесканий.

Наутро он сидит за брекфастом вместе с Кэт и читает газету. Из отчета о бале он узнает, что был очень бледен, очень бледен во время бала. Странно! Насколько он помнит, щеки его пылали от возбуждения и духоты.

А затем он хохочет так, что роняет газету на пол, и слезы выступают у него на глазах. Кэт осведомляется, что с ним. Репортер утверждает: Чарльз Диккенс был бледен от смущения. Бедняга Диккенс! Он никогда не бывал в таком обществе, какое встретил на балу, и был бледен от потрясения. Изысканный тон общества произвел на него совершенно неизгладимое впечатление. Вот именно поэтому «славный парень» был очень бледен. Все.

Демократическая Америка, по-видимому, полагает, что при виде «изысканного общества» у каждого из граждан Америки, равно как и у иностранцев, не привыкших к «изысканному тону», есть все основания бледнеть от смущения. Чудеса!

Нью-йоркцы встречают его так же, как бостонцы, хартфордцы и ньюхевенцы. Паломничество в Карлтон Отель не иссякает. Он быстро одевается и выходит на Бродвей. Он намерен идти пешком по этой прославленной улице, чтобы понаблюдать ее нравы и запомнить внешний ее вид.

Его узнают немедленно. За ним тащится хвост зевак. Ничего не поделаешь, пусть глазеют, а он будет запоминать. Бродвей шумит, грохочет колесами бесчисленных карет, он словно доверху наполнен уличными криками, стуком лошадиных копыт. Наемные кэбы, кареты, фаэтоны, тильбюри с гигантскими колесами, коляски катятся мимо магазинов и лавок, которым нет конца. А на козлах — негры; их много, не меньше, чем белых. На тротуарах джентльмены, которые, кажется, сговорились носить бакенбарды, обрамляющие не только щеки, но и выбритый подбородок. А леди

сговорились в этот весенний солнечный день сочетать в своих нарядах все цвета, знакомые человечеству.

С Бродвея гость сворачивает в одну из боковых улиц, а затем, идя дальше, попадает на Боуэри. Это тоже улица, но здесь витрины магазинов совсем не нарядны, а пешеходы одеты совсем просто — в рабочих блузах; и вместо тильбюри и колясок громыхают повозки и телеги. Зеваки понемногу отстают, видя, что Чарльз Диккенс собирается войти в некое здание, которое хорошо известно нью-йоркцам.

В этом здании подследственная тюрьма. У нее мрачное название — «Гробницы».

Почетному гостю показывают «Гробницы». В тюрьме четыре галлереи — одна над другой, идущие вокруг здания. Крылья галлерей соединяются между собой мостами. В каждом крыле — железные двери, — за ними — камеры.

Камеры крохотные, низкие; сквозь узкое оконце под потолком еле проникает дневной свет. Тюремный двор напоминает могилу, на нем приводят в исполнение смертные приговоры. Заключенные очень редко гуляют на дворе, — это признает сторож, которого любезный начальник «Гробниц» отрядил сопровождать любознательного мистера Диккенса. Заключенные предпочитают гулять у себя в камере, и начальство нисколько не настаивает на обязательных прогулках. Странно. Ведь этак заключенный может просидеть без воздуха немало месяцев. Это его дело, решает сторож, а на вопрос, почему в одну из камер попал мальчик, дает удивительный ответ. Этот мальчик ни в каком преступлении не заподозрен, о нет, напротив, он должен дать показания, устанавливающие вину его отца, — и только. Закон стало быть разрешает заточить свидетеля в тюрьму, пока на наступит день суда. Посетив несколько камер, познакомившись с некоторыми заключенными, любознательный гость узнает, что своим мрачным названием тюрьма обязана дурной славе:

вскоре после ее открытия несколько заключенных предпочли повеситься и не ждать окончания следствия.

Из тюрьмы гость снова идет в боковую улицу, попадает в какой-то переулок, снова сворачивает и мало-помалу убеждается, что Нью-Йорк в самом деле большой город. Нет, Нью-Йорк не похож на Бостон, вот квартал, очень напоминающий лондонский Уайтчепль. Улицы грязные, ничуть не меньше, чем в этом прославленном лондонском квартале, а дома мало чем отличаются от уайтчепльских трущоб. Они подгнили и словно перекосились. И жители Пяти Углов не отличаются от обитателей лондонской Майль Энд Род. И трактиры здесь и бары так же грязны, а завсегдатаи очень уж похожи на мистера Сайкса и несчастную Нэнси. Словом к Пяти Углам в сумерках лучше не приближаться джентльмену, если его не сопровождают полицейские агенты. Да, Нью-Йорк — большой город, не чета Бостону.

Но почтенные граждане этого большого города не удовлетворяются публичным балом, данным в честь знаменитого гостя. Наступает день публичного обеда, о котором возвещало трогательное приветствие, подписанное комитетом — сорока одним именитым гражданином.

Надо обдумать речь — ответный спич, который придется произнести перед лицом демократической Америки. Он уже произносил спичи и в Бостоне, и в Хартфорде и в Ньюхевене, но нью-йоркский спич отзовется по всей стране куда громче, чем произнесенные. Он, Диккенс, исполнен радости от сознания, что ступает по земле подлинно демократической страны; мало писателей столь же искренние демократы, как он, в этом он убежден, — и каждый, кто знает его книги, может убедиться в этом. Мало писателей оценивают так высоко, как он, молодость и силу республики, призванной воплотить высокие идеалы ее великих основателей. И так далее, в том же духе.

Ясно и просто? К сожалению, не совсем.

Диккенс шагает по комнате — это приемная в апартаментах Карлтон Отеля. По американскому обычаю, в ней очень мало мебели, и нет опасности наткнуться на что-нибудь, когда шагаешь задумавшись. А подумать надо, чтобы как можно деликатней выразить в этом ответном спиче некую здравую идею. Он уже дважды пытался ее выразить, но получилось черт знает что… И надо сознаться, он никак не ожидал того, что последовало за его спичами в Бостоне и в Хартфорде. Об этом как-то не хотелось думать, пока не было необходимости набросать мысленно план спича, который вот-вот надо произнести. Сейчас полезно вспомнить, что, собственно говоря, произошло.

Когда он ехал сюда, он не собирался начинать кампанию за издание здесь, в Америке, закона об авторском праве, который защитил бы писателей от американских издателей. Потому он решил только упомянуть в Бостоне о несправедливости, чинимой американцами по отношению к иностранным писателям. Упомянул он и в Хартфорде, причем говорил и там не о себе, а о Вальтере Скотте.

Сейчас не хочется даже вспоминать о том, как отозвалась Америка на такую смелость чужестранца. Анонимные письма, ругательные до неприличия. Устное возмущение наглостью гостя, который оказался корыстолюбивым негодяем. Возмущением обиженных американцев управляли газеты. Пресса! Она торжественно объявляла, что известный убийца Кольт не столь опасен, как наглый чужестранец. Если свобода печати заключается в праве издателей-дельцов расправляться с неугодными им людьми, — бог с ней, со свободой печати!

Словом, получилось черт знает что. Не хочется омрачать впечатлений от встречи, с Америкой думами о неожиданных последствиях своих спичей, но надо извлечь из происшедшего урок. Чужестранец вздумал указывать Америке, что ее законы

не совершенны, и Америка поставила смелого гостя на место. От такой расправы безоблачные отношения с Америкой, увы, пострадали. Это надо признать. На обеде он не будет говорить об авторском праве.

Снова на столе гигантские чаши с излюбленными Америкой горячими устрицами. На президентском месте Вашингтон Ирвинг.

Он не оратор. Он всегда старается избегать публичных выступлений. Диккенс смотрит на него, когда тот медленно поднимается с кресла. Видно, что Ирвингу не по себе, совсем не по себе. Он кладет на тарелку, листок бумаги — это его речь. Затем он проводит рукой по парику, раскрывает рот, делает глотательное движение, из горла вырывается легкий свист, — наконец он исторгает из себя несколько вступительных слов. Голос очень мягкий, его приятно слушать. Потом наступает пауза, она длится долго. Вашингтон Ирвинг опускает глаза в тарелку, на которой лежит его речь. Но это не помогает. Пауза продолжается. Не помогает и то, что он вторично проводит рукой по парику, а его карие глаза подергиваются дымкой отчаяния.

На этом и кончается его попытка приветствовать гостя. Впрочем, нет. Он поднимает бокал в честь «Чарльза Диккенса, гостя нации». Взрываются аплодисменты, и он садится, отирая пот со лба.

Спичи перемежаются тостами. «Гость нации» решает в заключительном спиче избегать преступного упоминания о справедливом авторском праве. Но перчатка брошена была газетами, и он должен деликатно напомнить об этом хозяевам, уверенным в своей непогрешимости. И он заявляет, что защищает свое право в последний раз коснуться вопроса, имеющего огромное значение для всех, кто зарабатывает пером той хлеб насущный. Пусть догадываются сами, что это за вопрос! Догадаться легко, но придраться трудно. А затем

он выражает уверенность, что великая нация разрешит сей вопрос в духе справедливости…

Газеты воспроизводят его речь. Вашингтон Ирвинг заверяет его, что все останется по-старому, да и он сам в этом уверен. Но хорошо хотя бы то, что его вторично не сравнивают с убийцей Кольтом…

Его начинает утомлять шум, поднятый вокруг его имени газетами. Даже проповедники в молитвенных домах, узнав «гостя нации», обращаются к нему с проповедью.

Вашингтон Ирвинг молча кивает головой, когда Диккенс говорит ему о том, что американцы все, как один, восхищаются ловкостью. Для них ловкость, в любом деле, — самое ценное качество в человеке, а успех — единственная мера ловкости. Не так ли? Они с одинаковым восхищением говорят о ловком банкротстве, обогатившем банкрота, и о ловкой операции хирурга, спасшего жизнь больному. Они готовы простить джентльмену все грехи, если он ловкий джентльмен. По-видимому, любой негодяй может заслужить их уважение, если добьется удачи. Может быть, он ошибается, но таково его впечатление от разговоров с американцами. И в первую очередь от чтения газет. Разумеется, надо будет изучить эту черту поглубже, пока он находится в Америке. Вашингтон Ирвинг чуть заметно улыбается и кивает головой.

Но пора уезжать из Нью-Йорка. Впереди много городов, где надо побывать. Необходимо внимательно присмотреться к жизни в южных штатах. Там рабство негров узаконено. Оно возмущает чувство справедливости, нельзя понять, как может мириться с ним демократическая Америка!

Уф! Его предупреждали, что Карлтон Отель один из самых дорогих отелей Нью-Йорка. Но двухнедельный счет превзошел все опасения. Вот это, в самом деле, ловкие дельцы — владельцы отеля! «Гость нации» и его жена ни разу не обедали

в отеле, но за удовольствие жить в таких изысканных апартаментах пришлось заплатить целое состояние — семьдесят фунтов.

21. Молчите здесь об этом!

Филадельфия. Не так давно этот город был центром умственной жизни Америки. Теперь Филадельфия более провинциальна чем Бостон. Какая страшная тюрьма в этом городе!

Целый день он проводит в тюрьме, ходит из камеры в камеру. В одной из камер узник сидит два дня, во второй восемь лет, в третьей — одиннадцать. Это тюрьма для тех, кто приговорен к одиночному заключению, — единственная тюрьма, в которой нет общих камер. К концу дня Диккенс совершенно подавлен. Одиночное заключение — самый жестокий и бесчеловечный вид наказания. К этому выводу он приходит без колебаний. А когда он вспоминает все те преступления, за которые виновники Филадельфийской тюрьмы несут такую жесточайшую расплату, он приходит к другому выводу: американцы не понимают, сколь жестоки их законы.

Затем Вашингтон — правительственный центр Америки. Здесь — Капитолий, где заседают палаты представителей и сенат. Здесь — Белый Дом, резиденция президента; это город депутатов парламента, чиновников и владельцев гостиниц. «Гостя нации» приглашают посещать Капитолий, когда ему будет угодно. Вот они, государственные мужи Америки! Джон Куинси Адамс — ему семьдесят шесть лет, тринадцать лет назад он покинул Белый Дом после четырехлетнего в нем пребывания на посту президента; на скамьях палаты Генри Клей, лидер партии республиканцев, которую называли также вигской; Джон Колхун, бывший вице-президент, лучший оратор палаты, если не считать, конечно, Дэниеля

Вебстера, государственного секретаря; Престон, еще один лидер вигов... «Гость нации», можно сказать, вырос в Нижней палате, по ту сторону океана, и парламентские дебаты изучил не хуже спикера. Он умеет ценить ораторское искусство и убеждается, что дебатеры Палаты представителей Соединенных Штатов стоят не на очень высоком уровне, ораторы они второсортные. Но он осведомлен о том, что эти второстепенные ораторы поднимались до высот красноречия, когда их интересам угрожала опасность. И тогда их искусству дебатировать могли бы позавидовать лучшие ораторы всех времен, — с такой выразительностью они обнаруживали готовность расправиться с одним из своих собратьев, который осмелился требовать...

Когда Диккенс вспоминает о том, что смелый собрат джентльменов, сидевших тогда вот на этих скамьях, даже не осмелился требовать освобождения негров по всей стране, но требовал лишь точного соблюдения конституции штата, он видит, по его мнению, Палату представителей в ее истинном свете. Смельчак, его зовут Джон Куинси Адамс, призывал тогда этих джентльменов выглянуть из окна палаты. Там, на улице, они могли бы увидеть толпу скованных рабов, которых гнали на продажу мимо дворца Равенства, мимо пышного Капитолия в городе Вашингтоне. Это зрелище никак не вязалось с блистательной конституцией, и во имя ее смелый джентльмен приглашал палату поднять свой голос.

Диккенс наблюдает прения в Капитолии, и знакомится с методами, какие применяют вот эти джентльмены в избирательной борьбе. Кому, как не ему, знать методы, применяемые по ту сторону океана! Но он должен признать, что страна свободы и равенства может многому научить бывшую свою метрополию. Для того чтобы прийти к такому выводу, надо перелистать газетные листки, выходящие во время выборов. Знакомство с ними только укрепляет его скептическую

оценку благодетельности свободы для прессы демократической страны. Пресса принимает самое деятельное участие в выборах: она помогает бойцам изощряться в самых презренных трюках, в самых гнусных нападках на конкурентов, превращает за доллары перья своих писак в кинжалы, подкупает мужей, состоящих на службе общества. Все эти свойства прессы обнаруживаются столь очевидно, что можно только удивляться присутствию на скамьях в Капитолии джентльменов незапятнанных и подлинно честных. Трудно даже найти объяснение этому непонятному факту.

Нет, знакомство с политической печатью не вызывает у «гостя нации» преклонения перед великой Америкой.

Но в том, что Америка великая страна, — в этом сомневаться все же нельзя. Прежде всего потому, что в этом не сомневаются сами американцы. Здесь, в Вашингтоне, каждый американец преисполнен дьявольской гордости своими законодательными органами. И потому даже нельзя сердиться на американца, объясняя ему благотворность принципов свободы и равенства, которыми руководствуются обе палаты Капитолия. Здесь, в Вашингтоне, американец так же горд своей законодательной машиной и Белым Домом, как в Нью-Йорке или в Бостоне — удачливыми согражданами, «сделавшими» сотни тысяч долларов. Гордясь и хвастая ими, американец защищает свою мечту «сделать» такое же количество долларов под сенью законов, растекающихся по всей стране из этого здания.

Но будет ли американец защищать некое позорное явление, которое называется «рабство негров»? Здесь, в Вашингтоне, «гостю нации» объясняют, что в северных штатах этот обычай сочтен несоответствующим конституции и отменен еще шестьдесят лет назад, но там, на юге, он, к сожалению, существует. Здесь, в Вашингтоне, если заходит вопрос о рабстве, осведомляют «гостя нации» о том, что граница между

рабовладельческим Югом и северными штатами пролегает примерно по тридцать шестой параллели. Так было определено еще пятьдесят пять лет назад для всей территории Штатов между рекой Миссисипи и Аллеганскими горами. Недавно, двадцать два года назад, когда рабовладельческая колония Миссури принята была в Союз, пришлось, правда, отступить от этого правила и оставить миссурийцам черных рабов, но зато на остальную территорию, перешедшую от Франции и расположенную к северу от этой параллели, закон распространялся. Стало быть, решает «гость нации», упрямые миссурийцы заставили джентльменов из Капитолия отменить для них благодетельный закон о границе рабства. Да, это так, ничего не поделаешь, — эти рабовладельцы отчаянный народ, и уступку миссурийцам пришлось даже назвать «миссурийским компромиссом». Под таким названием известен закон о новых границах рабовладельческих штатов.

Тогда «гость нации» любопытствует, много ли белолицых населяет эти южные штаты? Ему сообщают, что двенадцать лет назад в южных штатах проживало около четырех миллионов белолицых, а в штатах северных — более шести с половиной. Сколько же негров приходится, скажем, на сотню белых жителей? И на этот вопрос можно ответить — Здесь, на севере, в штате Мен, один негр приходится на триста белых; в Массачусетсе — один на сто, в Нью-Йорке — два на сто, но в южных штатах — о! — там негров очень много, сэр!

Но этот ответ не вполне удовлетворяет Диккенса. Сколько же?

И тогда он узнает, что в Виргинии рядом с сотней белолицых проживает тридцать два негра, а в Южной Каролине еще больше — пятьдесят четыре. А всего, сэр, проживает в южных штатах два миллиона двести тысяч негров-рабов, — так по крайней мере было лет десять назад, но в настоящее

время есть основание полагать, что число рабов приближается к двум с половиной миллионам.

Четыре с половиной миллиона белых и два с половиной миллиона рабов, которые, как видно, дают своим белым господам полную возможность ничего не делать и извлекать из своего досуга многие миллионы долларов! Как выносят черные невольники иго рабства и какие доводы могут привести южане в защиту своих конституций?

Диккенс прощается с Вашингтоном, побывав на приеме президента Штатов, — зовут его Джон Тайлер и, кажется, он не из выдающихся государственных мужей, — и вместе с Кэт устремляется на юг. Проще всего сесть на пароходик, который курсирует по реке Потомак.

Пароходик напоминает своим видом Ноев ковчег — не исторический ковчег, но тот, каким его представляли фабриканты игрушек. Посетителей нет и не предвидится, пассажиры не мешают привести в порядок некоторые наблюдения над народом, населяющим демократическую Америку.

У американцев нельзя отнять очень привлекательных качеств — они гостеприимны, дружелюбны, сердечны и отнюдь не так заражены предрассудками, как может показаться вначале; они вежливы — от именитого гражданина до уличного метельщика. Что же касается государства, оно проявляет заботу о бедных и больных, и если его методы наказывать преступника не бесспорны, то это потому только, что оно ошибается в их выборе… Но тем не менее иностранцу как-то не по себе в этой стране. Вот именно — не по себе. Нет никакого желания переселиться сюда, в эту молодую республику, которую воображение рисовало такой заманчивой. Странный народ, он гордится своей свободой, но свободу эту понимает по-своему. Если ты думаешь так, как думает большинство, пользуйся своим правом. Какое большинство?

То самое большинство американского народа, которое заявляет о своем мнении через газеты, через собрания, через палаты Капитолия. Но если ты не согласен с этим большинством, лучше молчать, во избежание неприятностей. Американец понимает свою свободу только так, это несомненно. Похоже на то, что свобода здесь весьма обманчивая.

«Гость нации» размышляет об этом на борту Ноева ковчега, который доставляет его до Потомак Крик. Отсюда путь на Ричмонд — сперва в карете, затем в вагоне железной дороги.

Теперь он в южном штате. Ричмонд — столица Виргинии. Теперь он имеет возможность увидеть воочию черных рабов, и белых их господ. Он вступает на землю рабовладельцев.

Впрочем, он увидел рабовладельца еще раньше, чем вступил на землю штата Виргиния. На борту Ноева ковчега он увидел виргинца, от которого убежали два его раба. Должно быть, у рабов были основания покинуть своего господина; едва ли без достаточных оснований негр рискнул бы убежать с плантации; закон весьма жесток к пойманным беглецам. С рабовладельцем было два констэбля, и, наблюдая трех джентльменов, Диккенс не мог сомневаться, что беглецов ожидает невеселая участь, если их поймают.

Эта встреча не доставляет удовольствия Диккенсу. Конечно, виной его впечатлительность. Кто из американцев обращает внимание на такие пустяки?

Но Диккенс обращает внимание и на плакат, который попадается на глаза. И снова расположение духа у него портится. Плакат укреплен у моста по дороге в Ричмонд, он извещает, что мост слишком ветхий, и предлагает возницам ехать медленно. Вполне резонное предложение. И вполне резонно, что за нарушение правил езды виновный подвергается наказанию. Но почему же, почему белый, нарушивший правила езды, платит только пять долларов штрафа, а негр

расплачивается своей спиной? Ибо виновника-негра ожидает не штраф, а пятнадцать ударов бича.

Виргинцы не менее гостеприимны, чем северяне. «Гость нации» должен принять и здесь приглашение комитета отужинать с именитыми жителями Ричмонда. Но обильный ужин не может вытеснить из памяти впечатлений, которые сложились по пути в столицу Виргинии. Эти картины виргинской жизни не знаменуют благословенного изобилия и довольства. Амбары пришли в полную ветхость, сараи без крыш, к убогим хижинам глиняные дымоходы пристроены снаружи, около хижин играют, в пыли и грязи, черные малыши, а тут же рядом, расталкивая их, копаются в отбросах свиньи.

Невеселое зрелище, на которое виргинцы обращают столько же внимания, сколько и на плакат у моста. Ни в Массачусетсе, ни в штате Нью-Йорк ни в Пенсильвании не увидишь таких убогих хижин, такой грязи и таких рубищ на чернокожих сельских жителях. Только ребенок не может не поставить в связь это невеселое зрелище с системой рабского труда, который сытно питает почтенных виргинцев.

Казалось бы, это ясно каждому. Но не ричмондцам. Странные эти южане! Когда «гость нации» деликатно обходит молчанием вопрос о рабстве, ричмондцы заговаривают о нем. Они допытываются узнать, что думает гость о благословенном порядке.

Как уйти от разговора, когда ричмондец говорит вызывающе и внимательно следит за выражением лица мистера Чарльза Диккенса?

Лицо у ричмондца не из приятных. Тяжелая челюсть и хищные зубы, не прикрытые выбритой верхней губой.

Он заводит разговор о жизни в Виргинии, — чужестранцу, по его мнению, не понять благодетельности рабства для процветания южных штатов. Диккенс молчит, он решает

отмалчиваться, но джентльмен не собирается отказаться от беседы на интересующую его тему.

— Жестокое обращение с рабами не в интересах человека, — говорит он.

Это самый решающий аргумент против слюнявых защитников негров. Диккенс молчит, тогда собеседник продолжает с раздражением:

— Все то, что вы слышали об этом в Англии, — вздор, будь он проклят!

У «гостя нации» нет выдержки, он не может молчать, когда против него сидит неприятный джентльмен и презрительно изрекает нелепости. Если на земле Юга нельзя выступить публично и поговорить по душе с плантаторами, то пусть хоть этот отвратительный субъект узнает, что думает чужестранец, Диккенс говорит спокойно:

— Напиваться — не в интересах человека, так же как играть в азартные игры или красть, — словом, предаваться любому пороку. Но человек, невзирая на это, предается. Жестокость и злоупотребление неограниченной властью — дурные страсти человеческой натуры, и когда речь идет об их удовлетворении, всякие соображения о пользе или о гибельности их неприменимы.

Собеседник вынимает трубку изо рта и собирается сплюнуть, но потом, вспомнив, что этот англичанин, черт побери, раструбит у себя о плохих манерах южан, воздерживается.

— Каждый честный человек, пожалуй, признает, что даже раб может быть счастлив у доброго хозяина, — говорит Диккенс, — но всем людям известно, что дурные хозяева, жестокие хозяева, и те хозяева, которые позорят человеческий образ, всегда были и будут. Их существование столь же неоспоримо, как и существование рабов. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.

Кажется, ничего лишнего не сказал! Джентльмен пыхтит остервенело трубкой, но не находит возражений. Однако у него есть аргумент, к которому он и прибегает:

— А вы, сэр, верите в библию?

Неужели этот субъект в самом деле уверен, что библия освящает рабство?

— Верю, сэр, — говорит Диккенс по-прежнему спокойно, — но если бы кто-нибудь доказал мне, что библия санкционирует рабство, я потерял бы веру и нее.

— Черт побери, сэр! — не выдерживает виргинец. — Негры должны подчиняться! Белые всегда подчиняли цветных, где бы их не встречали.

— Ах, вот к чему сводится вопрос! — говорит Диккенс, и сарказм доходит до этого человека с волчьими зубами.

— Вот именно, сэр! — восклицает тот.

Душевное состояние «гостя нации» тоже нелегкое. Плантаторы Юга должны быть похожи на его собеседника с тяжелой челюстью и хищными зубами; свои интересы они умеют защищать, — в этом он убедился. Среди них, должно быть, найдутся неплохие люди, но что от этого меняется? Страшен социальный порядок, поощряющий раскрытие низких инстинктов, среди которых упоение властью над беззащитным человеком — один из самых низких.

И особенно его возмущает, что здесь, на Юге, демократические американцы так же уверены в своем праве распоряжаться жизнью человека, — если он родился чернокожим, — как уверены северяне в непогрешимости своих мнения и в совершенстве своих институтов. Это черта у них общая — вера в непогрешимость демократической Америки. Северян не убедишь в продажности их печати и в тысяче других бесспорных истин, а южане не желают признать, что на всем их крае лежит неизгладимая печать убогой, нищенской жизни.

Плантаторский Юг проявляет интерес к «гостю нации» не меньший, чем Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия.

Но Диккенс чувствует, — и это чувство очень стойкое, и Диккенс уже не может справиться с ним, — чувствует, что увлечение его Америкой кончилось. Ему нужно еще привести в порядок свои впечатления и мысли, он должен отойти от Америки и сделает это, когда сядет за книгу.

Надо ехать в Балтимору. Этот город, столица Мериленда, так же как и Ричмонд, — рабовладельческий. Здесь, в номере лучшей гостиницы Штатов, Диккенс пишет Макреди: «Я разочарован. Это не та республика, какую я ожидал увидеть, это не республика моего воображения. Куда больше я предпочитаю либеральную монархию — даже с ее тошнотворным аккомпанементом придворных правил — такому образу правления, как американский. Чем больше я думаю о ее молодости и силе, тем более пустой и ничтожной она представляется в тысяче аспектов моим глазам. Во всем, чем она хвастала, за исключением народного образования и заботы о бедных детях, она опускается бесконечно ниже того уровня, на какой я поднял ее… Вам жить здесь, Макреди, как вы не раз помышляли! Вам! Любя вас всем сердцем и душой и зная, каков ваш нрав, я бы ни за какие деньги не осудил вас на год жизни по сю сторону Атлантического океана…»

Он сидит за письменным столом в номере гостиницы, перед окном, за которым простерлась великолепная бухта Балтимора, и пишет Макреди о том, что здесь, на земле рабства, ему приходилось, правда, слышать осуждение этого зла, но это были лишь намеки на осуждение — слабые, бессильные намеки, а его чувство, чувство англичанина, возмущалось беспредельно, когда очутился он лицом к лицу с этим покорным зрелищем рабства. От такой встречи он ничего, кроме страдания, не испытывает.

Форстер получает отчеты о поездке регулярно, подробные отчеты. Он уже знает о том, что зрелище рабства вызывает в Диккенсе боль, и он знает, что Диккенс не лукавил и не лгал, когда писал ему несколько дней назад: «Легче на сердце, словно с него сняли большую тяжесть, когда я подумаю, что мы скоро оставим позади эту проклятую и позорную систему. Я право не знаю, смогу ли я выносить ее дольше. Это легко сказать: "Молчите здесь об этом". Но они-то не желают молчать!»

«Они» — это южане-плантаторы или их пособники, которых сытно кормят два с половиной миллиона бесправных существ, чьи дети копаются у хижин в грязи рядом со свиньями.

С Югом кончено. Он надеялся найти здесь решение социальной загадки. Теперь он знает, что никакого решения он не нашел бы даже и в том случае, если бы вместо нищенских хижин и оборванных голых ребят негритянских поселков узрел райскую жизнь невольников. Потому что здесь он почувствовал куда острей, чем раньше, что миллионы белых стойко убеждены в своем праве господствовать над миллионами черных. А там, на Севере, новые миллионы белых, убедив себя в том, что они живут в самой демократической стране, терпят «проклятую и позорную систему» на своей земле.

Итак, иллюзия рассеялась, — эта республика не есть республика его воображения. Но он не намерен отказаться от поездки к Аллеганским горам! и в Западные штаты.

22. По заокеанской земле

Конец марта. Весенний дождь монотонно стучит по палубе пароходика. Кают-компания находится внизу, пассажиры вынуждены оставаться в кают-компании и скучать. Вечером их развлекает «гость нации». Он играет на аккордеоне плохо,

но нимало этим не смущается, — вдали от родины и Кэт и ее камеристка вздыхают без конца, слушая классическую мелодию «Милый, родной дом», исполняемую на аккордеоне.

Пароходик высаживает пассажиров у подножья Аллеганских гор. Через перевал их перетаскивает поезд. Ландшафты кажутся с высоты прекрасными, но Диккенс успевает заметить, что хижины, разбросанные в долине, имеют столь же жалкий вид, как и те, которые рассыпаны были по берегам канала. Кое-где, очень редко, в окнах можно увидеть стекло, но почти все окна слепы, хозяева заткнули их, чем попало.

Питтсбург славится своими железными изделиями и ничем больше. По реке Огайо пароход доставит их в столицу западного штата Огайо — в Цинциннати.

Пассажиры на этом пароходике, все как один, не располагают к оживленной беседе; почему так случилось — неведомо, но за табльдотом царит молчание, пассажиры вкушают чинно и чванно; каждый погружен в свои мысли и не обращает внимания на соседа; на одной из остановок лодка увозит с парохода десяток эмигрантов, во главе с почтенней старушкой; весь их багаж состоит из мешка, сундука и старого кресла. На высоком берегу реки видно несколько неприглядных хижин. Здесь они начнут новую жизнь; должно быть, они думают о том, что жизнь их будет нелегкая, когда стоят неподвижно на берегу и, не отрываясь, смотрят на пароход, пока тот не скрывается из виду; только почтенная старушка сидит в старом кресле и тоже не отрывает взора от парохода.

В Цинциннати, чистеньком, оживленном фабричном городке с населением в тридцать тысяч жителей, путешественники впервые наблюдают американцев, воспламененных похвальной ревностью о воздержании от алкогольных напитков. Братства трезвости избрали столицу, штата Огайо для очередного конвента. Конвент не только должен укрепить в членах обществ решимость бороться с губительным

соблазном, но и пропагандировать здоровые идеи населению Цинциннати. Путешественники наблюдают стройные ряды трезвенников, дефилирующих по улицам города под сенью знамен и под командованием бравых руководителей, которые гарцуют на лошадях вдоль колонн трезвенников; на знаменах — различные сцены на темы борьбы стойких членов конвента с врагом рода человеческого, воплотившемся в змия. Этот змий изображен во всех видах и безусловно обречен на гибель, — неумолимый топор ловко и неустанно рубит ему голову, — как только попадает в руки члена братства.

Путешественники слушают оглушительную музыку оркестров, наблюдают отдельную колонну ирландцев, осененных портретом знаменитого пропагандиста трезвости, патера Мэтью, удивляются изобретательности художников, нарисовавших на самом большом плакате два корабля, из которых один взрывается и тонет — этот корабль символизирует алкоголь, а другой — трезвость — весело мчится по волнам. Путешественники внимают распеваемым гимнам. Знакомятся с заботами американцев о чистоте нравов, хотя не могут сделать никаких решающих выводов об успешности этих забот.

Другой пароходик должен доставить их в Луисвилль, на границу штатов Кентукки и Индиана. На этом пароходе Диккенс имеет возможность познакомиться с природным индейцем, вождем племени Чокто. Но этот вождь вполне цивилизован, облачен в привычный костюм белых, говорит по-английски, читал стихи Вальтера Скотта. Он жил в Вашингтоне, но не любит городов и стремится поскорей попасть в родные прерии, где его ожидает двадцать тысяч соплеменников.

Вождь племени Чокто печален. Он говорит о том, что племя его тает с каждым годом, и его братья, вожди племени, так же как и он, видят только один путь спасения индейцев

от гибели: ассимиляция с теми, кто их завоевал. Диккенс ничего не может возразить против этого мудрого решения, основанного, по-видимому, на опыте.

Луисвилль мелькает быстро, не оставив запоминающихся впечатлений, и путешественники снова по реке Огайо двигаются дальше и на третий день достигают скрещения двух рек — впадения Огайо в величайшую реку Штатов Миссисипи. До сих пор они шли от самого Питтсбурга на юго-запад, теперь они повертывают на север и устремляются по Миссисипи, разделяющей здесь штаты Иллинойс и Миссури, к городу Сен-Луи.

На пологих берегах величайшей реки Штатов Диккенс видит болота и низкорослые деревца, разбросанные там и сям бедные хижины; навстречу идет сплавляемый по течению строевой лес, и эти ландшафты не доставляют ему никаких эстетических переживаний. Жара и москиты, мутная вода из реки, которую приходится пить, тоже не доставляет удовольствия, и на четвертый день пароходик добирается до Сен-Луи — столицы штата Миссури.

Жители Дальнего Запада выражают желание пожать руку Диккенсу, — его имя известно в Сен-Луи, и английский писатель им нравится. Об этом можно заключить, читая местную газету.

Редактора не удовлетворяют, правда, костюм гостя и его волосы, которые слишком мало вьются; что же касается Кэт, то она поражает местных леди своим произношением, а одна из леди отказывается верить, будто Кэт англичанка, ибо выговор у нее безукоризненный, чисто американский. Но суждения мистера Диккенса нравятся сен-луисцам меньше, чем выговор его жены. Миссури — штат рабовладельческий, и Диккенс старается всеми силами избежать обсуждения вопроса о достоинствах и недостатках проклятого института рабства. Это ему не удается. Когда сен-луиский

судья жалеет англичан, не ведающих рабства и не знающих, насколько оно благословенно, Диккенс взрывается.

Какая ложь, и какое лицемерие! И судья, и его союзники убеждают гостя в том, что негры обожают своих хозяев. Сколько раз он слышал подобные доводы! Но достаточно развернуть местную газету, чтобы увидеть многочисленные объявления о розыске рабов, убежавших от своих любимых хозяев. Честные люди здесь же, на Дальнем Западе, знают цену этой любви. Вот, например, один из этих честных людей, некий доктор, которого он встретил на пароходе по пути на Запад, говорил ему: «Заверяю вас, мистер Диккенс, что я кое-что знаю о любви негров к их хозяевам. Я живу в Кентукки и утверждаю, что когда там ловят сбежавшего негра, он выхватывает нож и всаживает в живот своему хозяину. Там это дело обычное, как у вас, в Лондоне, ночная драка. Вот как негры любят своих хозяев!»

Но разве факты могут убедить сен-луиского судью и его союзников, которые в том же Сен-Луи спокойно взирали на сожжение негра озверевшей толпой сен-луисцев.

Диккенсу не нравится ни Сен-Луи, ни прославленные прерии, ради которых он поехал на Дальний Запад. Надо возвращаться тем же путем в Цинциннати. Это возвращение занимает не мало дней. А когда достигнешь города Буффало в штате Нью-Йорк, поезд доставит путешественника к знаменитому водопаду. Не мешкая в Буффало, Диккенс и его спутники отправляются, подгоняемые нетерпением, к Ниагаре.

Уже начало мая, но день холодный, ветреный, туманный. Когда поезд останавливается, Диккенс видит из окна реку. Он знает, что она мчится к пропасти, в которую и должна низвергнуться. Но грохота он не слышит, видит только два гигантских белых облака, словно вздымающиеся из недр земли. Он выходит из вагона. И тогда его оглушает грохот, а земля под ногами колышется.

Но для того чтобы получить представление о водопаде, надо спуститься вниз к его подножию. Берег крутой, скользкий от дождя и льдинок. Два английских офицера помогают ему спуститься с берега и взобраться на небольшой утес. Там он сидит, полуоглохший от грохота, промокший до нитки от водяных брызг, которые немилосердно слепят глаза.

Перед ним с большой высоты падает отвесной стеной поток воды. Эта грозная падающая водяная стена ослепляет; чтобы ощутить истинные пропорции водопада, недостаточно даже пересечь реку в специальной лодке неподалеку от водопада. Только тогда, когда он поднимается на Тэйбл Рок — на Столовую Скалу, — он начинает ощущать величественность зрелища и его масштабы. Это ощущение, по каким-то неведомым психологическим законам, разрешается глубоким чувством умиротворенности. Диккенс наблюдает со Столовой Скалы гигантский водопад — второго такого нет в мире, — на его душу нисходит мир, и он предается размышлениям о вечном покое. Он очень доволен своей поездкой на Ниагару, куда более чем ландшафтами Среднего и Дальнего Запада, которые, по его мнению, не представляют интереса.

Но надо ехать в Канаду — в страну, подчиненную английской короне. До Торонто, крупнейшего города Южной Канады, рукой подать.

Торонтцы заботятся в канадском стиле о госте: в распоряжении путешественников несколько колясок, запряженных великолепными лошадьми; коляски дежурят у отеля, где гость остановился.

В Монреале генерал-губернатор дает в его честь обед. Чиновные леди и джентльмены упрашивают его режиссировать в их любительском спектакле. Диккенс соглашается. Около шестисот зрителей наполняют освещенный газом театр, лучший военный оркестр предоставлен в распоряжение режиссера.

«Великосветские» любители Канады, вероятно, не привыкли к слепому подчинению воле режиссера. Но Диккенс очень скоро приучил их к этому, и спектакль проходит так удачно, что сам режиссер остается вполне удовлетворен. Еще более довольны участники и зрители: прославленный Чарльз Диккенс оказался не только опытным режиссером, но и прекрасным актером. Зрители долго не могли поверить, что мистер Диккенс участвовал в интермедии…

Еще один рейс — в Квебек — и можно проститься с Новым Светом. По реке св. Лаврентия он едет целую ночь до Квебека, осматривает этот город и крепость, которую французскому генералу Монкальму не удалось удержать в памятном 1759 году. Здесь, под стенами крепости, погиб генерал Вольф, победе которого Англия обязана владычеством над Канадой. Эти исторические реминисценции посещают Диккенса, когда он объезжает окрестности Квебека, он предается им и на обратном пути в Монреаль. На пароход погружаются эмигранты, только что прибывшие в Канаду. Все они, эти люди с жалким скарбом, приехавшие из-за океана, — выходцы из Глостершира, англичане. Их не было бы здесь, на пароходе, они не забили бы все коридоры, все свободные уголки пароходика, если бы солдаты генерала Вольфа не одержали победу над французами генерала Монкальма. А теперь они у себя дома, ибо Канада — та же Англия…

Но пора прощаться с Канадой и со Штатами. Его путь лежит через Монреаль, Сен-Джон и Уайтхолл на Нью-Йорк.

Седьмого июня он покидает Америку.

Дорогой можно будет навести некоторый порядок в размышлениях о республике, которую только что покинул. Дома, за письменным столом, прояснится то, что еще не совсем ясно. А когда мистеры Чепмен и Холл получат обещанную книгу и издадут ее, читателю станут известны окончательные выводы Чарльза Диккенса об Америке…

Часть третья
Зрелость

1. «Республика моего воображения»

За стеклянной дверью, выходящей из кабинета и сад, октябрьский ветер шевелил полуголые ветви. Темнело. Надо было зажигать газ. Диккенс зажег настольную лампу с двумя рожками. Комната осветилась. Он увидел бритое лицо Дугласа Джеррольда, потонувшего в глубоком кресле. Джеррольд потирал лоб, Форстер тоже был очень серьезен, видно было, что он озабочен, а Маклайз в задумчивости щипал свои бакенбарды. Диккенс отложил в сторону прочитанную рукопись. Паузу прервал Форстер:

— После этой главы о рабстве, которую вы нам прочитали, сколько будет еще глав?

— Сколько глав? Еще одна глава, а затем — предисловие.

Маклайз поднялся с софы, оправил коричневый сюртук, снова погладил бакенбарды и сказал:

— Двадцать пять долларов награды за поимку «моего Джона». Кончика носа у него нет. Что это может значит, Диккенс?

— Черт его знает, что это значит! Но все объявления я перепечатал слово в слово из местных газет. Там их сотни.

— Ужасно! — скривился Джеррольд и переменил позу. — Едва ли можно думать, что эти несчастные покинули своих хозяев в благодарность за хорошее обращение. Они все искалечены, эти беглецы. Как вам это понравится, — помните: «Убежала моя девка, мулатка Мэри. У нее рана на левой руке, шрам на левом плече и нет двух передних зубов». Ужасно!

— О! Это явление обычное — выбивать зубы «моему Джону» или «моей девке Мэри»… Или нацепить на них ошейник, который они не смеют снимать даже ночью…

Принято также охотиться за ними с собаками. Я слышал из верного источника, что видный аболиционист получил по почте письмо, в котором находилось отрубленное ухо и записка некоего джентльмена. Этот джентльмен сообщал, что ухо, разумеется негритянское, отрублено по его приказанию, и любезно предлагал аболиционисту присоединить этот орган; к своей коллекции.

Маклайз вздохнул и нервно потеребил пушистые бакенбарды, благодаря которым его щеки казались еще более пухлыми. Он посмотрел на Джерролъда и сказал:

— Боюсь, Джерролъд, что для вашего «Панча» вы сегодня не найдете сюжета.

Дуглас Джерролъд казался моложе своих сорока лет. Он был чисто выбрит, щеголеват в своем лиловом сюртуке и шелковом жилете. У него была странная манера дергать левой бровью, которая взлетала, когда он говорил. Он привык говорить с иронией, столь же легкой, с какой написаны были его бесчисленные журнальные эссе. Так же ироничны и сдержанны были его скетчи и стихи в «Лондонском Панче» и в «Панче», который основан был два года назад. Он был популярен также как драматург, его пьесы шли в Лондоне и в провинции; он мог считать себя удачливым писателем, хотя его отец, актер, собирался сделать из него моряка, но не преуспел. Молодой Джерролъд участвовал, правда, в чине мичмана в наполеоновских войнах, но вдруг ушел с морской службы, поступил учеником в типографию и стал поглощать в неимоверном количестве книги и с какой-то одержимостью изучать иностранные языки. И очень скоро вслед за этим начал писать в журналах — на любые темы, писал быстро, с легким юмором.

И говорил он быстро и худыми длинными пальцами проводил по прямым каштановым волосам, зачесанным вверх.

— Ошибаетесь, Маклайз, — подбросил он левую бровь, — «Панч» повсюду находит сюжеты. К примеру: какой-то шутник, — вы помните? — убеждал Диккенса, что его рабы преданы ему… Вот вам и сюжет для «Панча». Мое мнение, милый Диккенс, — повернулся он к хозяину, — я бы выразил так: вам удалось написать эту главу о рабстве в спокойном тоне, вы не дали воли своему темпераменту, и это хорошо. Они, эти южане, не могут сказать, что вы их оскорбили.

— Вы так думаете? — вскинулся Диккенс. — А вы, Форстер?

Форстер отвел взгляд от ножки софы, которую, казалось, изучал, не поворачивая корпуса, медленно повернул голову к Диккенсу:

— Я не так уверен в этом, как Джеррольд. Ваше спокойствие не поможет, если они захотят обидеться. Оснований для этого они найдут достаточно — не только в перепечатке газетных объявлений о сбежавших неграх, но и в критике их общественного мнения…

— Да какое же это общественное мнение? — перебил Диккенс. — Если субъект из Южной Каролины кричит во весь голос: «Пусть-ка появится у нас аболиционист, мы его схватим и повесим, невзирая на все правительства», — они называют его угрозы выражением общественного мнения… И такие субъекты посылают в федеральный конгресс сотню крикунов из своих двенадцати штатов, всего на сорок человек меньше, чем северные штаты, где жителей вдвое больше! И перед кем пресмыкаются кандидаты в президенты, как не перед этими крикунами, рабовладельцами? Я ручаюсь, что это так.

Когда Диккенс волновался, его голубые глаза темнели. Он был красив, ноздри чуть вздрагивали, кожа его не розовела от румянца, но темнела. Маклайз непроизвольно

скользнул взглядом по столу — нет ли клочка бумаги. Но на столе не было чистых листов, и он не захотел перебивать Диккенса.

— Вот именно, — спокойно продолжал Форстер, — потому что это так и общественное мнение диктуется рабовладельцами, наши заокеанские друзья найдут основания для недовольства вашей книгой, несмотря, повторяю, на ваш спокойный тон.

— Вы советуете мне что-нибудь изменить, Форстер?

Диккенс остановился перед ним. Форстер снова уставился в пол. Затем поднял голову.

— Не могу припомнить ничего, что вызывает возражения… особые возражения… Когда получу гранки, скажу вам. Мне бы хотелось, Диккенс, чтобы вы нам рассказали, как вы собираетесь писать последнюю главу.

Диккенс засунул руки в карманы штанов и начал медленно прогуливаться по комнате. Джеррольд не успел убрать вытянутые ноги — он почти лежал в глубоком кресле, — Диккенс зацепился за ногу, чертыхнулся и сел рядом с Маклайзом на софу.

— Я голоден, друзья, как и все вы, а потому я буду краток.

Он уже успокоился, помолчал минуту.

— По натуре американец искренен, сердечен, гостеприимен и смел — не боится выражать свое мнение. Американец может быть верным другом, очень верным. Но знаете, друзья, какая черта общественной жизни меня поразила? Как бы это сказать… Я назвал бы эту национальную черту — всеобщим недоверием. В общественной жизни иностранец может ее наблюдать ежедневно, ежечасно. Она приносит много зла народу, она удивляет сначала, но вскоре отталкивает.

— Всеобщее недоверие? — протянул Маклайз. — Вы не писали о нем в своих письмах.

Диккенс повернулся к нему:

— Я не писал о нем и Форстеру. Только здесь, размышляя об их свободе и независимости, я понял, что недоверие — источник многих зол и бед в американской жизни. Оно универсально. Как только американец изберет какого-нибудь идола для поклонения, он уже готов разбить его на тысячу кусков. Малейшего повода достаточно для американца, чтобы он разочаровался в своем кумире. Любое лживое сообщение в газетке, любая сплетня о частной жизни гражданина Штатов, привлекающего внимание общества, пробуждают недоверие к этому гражданину. Они называют своей независимостью — эту готовность верить любому продажному писаке. Они даже гордятся этим. Удивительно, но это так.

— Вы хотите об этом писать? — спросил Джеррольд.

Диккенс уловил едва заметное движение Форстера и поспешил ответить:

— Да, я буду писать. Я должен об этом сказать. И я буду писать о гибельном влиянии прессы на каждого американца и на общественную их жизнь в целом. Надо пожить там, чтобы в этом убедиться. Вы не имеете понятия, друзья о том, какой вред приносит печать этому народу! Газета заглядывает в каждый дом, она простирает свою грязную руку повсюду, ни одно назначение не обходится без ее участия — от назначения почтальона до выдвижения президента. Каждый может клеветать на вас, сколько ему вздумается, и это они называют свободой и независимостью!

— Неужели в Америке нет других газет? — спросил Маклайз.

— Я ждал этого вопроса. И у них есть солидные газеты… Но их мало, а самое главное заключается в том, что американский народ читает не их, а клеветнические, подкупные газеты, которые знают, как развлечь читателя и удовлетворить

самым низким его страстям. Имя им — легион… Я буду писать об этом, потому что такая свобода выражать свое мнение, какую я нашел в Америке, — не есть свобода! Для меня это бесспорно, и я напишу об этом.

Он опять вскочил, возбужденный. Отговаривать его не имело смысла, Маклайз это понял.

— И я напишу, — продолжал он, обращаясь к задумавшемуся Форстеру, который слушал, не поднимая головы, — о преклонении их перед ловкостью. Пусть вас не удивляет это слово. Они избрали себе кумиром ловкость. Их приводит в восхищение, если они обнаруживают, что какой-нибудь темный делец ловко обделал свое дело. Банкротство заслуживает в их глазах оправдание, если виновник его проявил завидную ловкость. Ловкость — это позолота на всех грязных мошенничествах, увенчавшихся успехом. Она дает право прохвостам высоко держать голову, достойную веревки. Сколько раз я спрашивал то об одном таком ловкаче, то о другом. Знаете ли вы, что такой-то приобрел свое богатство позорными средствами, что он лжец, обманщик, распутник? Что его били за его обман и подлые дела? Можете ли вы поверить, когда я вам скажу, что в ответ я слышал: «Да, мы все это знаем, но он — ловкач».

Лица друзей мрачнели. Друзья молчали. Диккенс продолжал:

— Иностранец с удивлением наблюдает в Америке слабый интерес к отечественной литературе. Да, литература не пользуется поддержкой общественного мнения. Знаете ли почему? Американцы на это отвечают: «Мы деловой народ и потому не заботимся о поэзии». Не могу же я об этом не упомянуть, Форстер! Да, американцы — деловой народ; в провинциальных городах супруги нередко живут в гостиницах и заботятся о семейном уютном уголке не больше,

чем о поэзии. Но зачем американцу семейный уют, когда он так занят своими деловыми операциями, что встречается с женой разве только на публичных обедах и ужинах…

Пауза наступила неожиданно. Диккенс отбросил волосы, нависавшие на глаза.

— Вот почему, — продолжал он, — меня угнетала эта всеобщая, я бы сказал, серьезность американцев и унылая деловая атмосфера. Они лишены чувства юмора, американцы, эта серьезность — общее их свойство; я переезжал из города в город, и мне казалось, что передо мной те самые люди, которых я только что покинул. Этим объясняется, мне кажемся, грубость их манер. Они пренебрегают радостями жизни, как не заслуживающими внимания. Было бы куда лучше, если бы они научились ценить прекрасное, а не только полезное. Но на это у них один ответ: «Мы — молодая страна!» По их мнению, это оправдывает все их недостатки. Вот и все. Вы недовольны?

Форстер не успел ответить. Джеррольд, усмехнувшись ответил за него:

— Я не думаю, что они будут довольны. Не так ли, Форстер?

— И я тоже не думаю, — сказал Форстер и даже засопел от возбуждения. — Но я хочу надеяться, что Диккенс найдет подходящую форму для изложения своих выводов. Тут уж ничего с ним не поделаешь, я это вижу… Пусть будет так. Но вот что, Диккенс, вы дали мне прочесть ваше предисловие к книге, — он вытащил из внутреннего кармана сюртука сложенный листок бумаги, — я решительно возражаю против него.

— Возражаете? — воскликнул Диккенс.

— Решительно. Я хочу, чтобы Джеррольд и Маклайз ознакомились с предисловием.

Он быстро расправил листок и подался корпусом в сторону так, чтобы свет настольной газовой лампы падал на бумагу.

— Вы пишете, Диккенс: «Я хорошо знаю, что там, — то есть в Америке, Джеррольд, — есть немало людей, склонных быть недовольными всеми отчетами о республике, гражданами которой они являются, если эти отчеты не изложены в выражениях, непомерно восхваляющих». Вам не кажется, Диккенс, что можно было бы не касаться этой черты наших заокеанских друзей, которую я бы назвал самомнением?

— Но я-то ведь ее не называю так! — улыбнулся Диккенс.

— Это не меняет дела. Слушайте дальше, — Форстер обращался к Джеррольду и Маклайзу: — «Я прекрасно знаю, что в Америке есть значительное число людей столь нежной и хрупкой конституции, что они не могут вынести правду в любой форме». И это тоже, по вашему мнению, уместно в предисловии?

— Нежная и хрупкая конституция! Это здорово! — засмеялся Джеррольд, а Маклайз улыбнулся и промолчал.

— Ну-с, пойдем дальше, — продолжал Форстер, — вы заявляете, что не в ваших привычках возвышать то, что считаете злом в Англии, и не намерены поэтому смягчать и оправдывать виденное за границей. Прекрасно. Но дальше вы опять прозрачно намекаете на их самомнение. Вот что я у вас читаю: «Если эта книга попадет в руки какого-нибудь чувствительного американца…»

— Нежной конституции! — вставил Джеррольд. — Прошу прощения.

— «…который не может вынести, что, несмотря на преимущества, какие его страна имеет над другими странами, благодаря свежести и силе своей юности, эта страна

все же не является образцом для земного шара…» Вы предлагаете этому американцу отложить в сторону книгу. Итак — опять о самомнении!

— Позвольте, Форстер! — вскочил Диккенс, — и протянул было руку, чтобы выхватить листок, но быстро отвел ее, вспомнив, что Форстер усмотрит в этом акте отсутствие респектабельности. — Я пишу, насколько помнится, что я не боюсь американцев образованных и умеющих размышлять и что их мнения не расходятся с моим…

— Эта оговорка только пуще раздражит читателей, мне так кажется, — сказал, наконец, Маклайз, доселе молчавший, а Форстер покачал головой.

— Что мне с вами делать, Диккенс! — сказал он. — Вы только послушайте, джентльмены: он черным по белому пишет: «Меня могут спросить, — пишет мистер Чарльз Диккенс, — если вы в каком-то отношении разочарованы в Америке и убеждены, что выражение того разочарования нанесет кое-кому оскорбление, то зачем вы писали книгу?»

— Вопрос правильный, — улыбнулся Диккенс.

— Знаете, что отвечает мистер Чарльз Диккенс? — продолжал Форстер. — «Мой ответ, — говорит он, — да, я отправился в Америку, ожидая найти нечто более великое, чем то, что я там нашел». Довольно. Не буду нас утруждать, джентльмены. Предисловие короткое, там, конечно, есть всяческие оговорки, но едва ли кому-нибудь удалось бы написать более ясно, что американская нация больна самомнением, а автор весьма разочарован в стране, которую он посетил. В предисловии этого писать нельзя.

— Но я не хочу скрывать свое мнение, Форстер. Все равно они узнают его из книги, которую я не стану переделывать.

Форстер развел руками.

— Я знаю, что вы не переделаете книги. И не сомневаюсь, что вы сообщите о своих выводах. Но я взываю к вашему благоразумию, Диккенс. Во всяком случае — не печатайте этого предисловия.

2. Буря за океаном

Диккенс не напечатал предисловия к «Американским заметкам». Книга вышла в октябре.

Было начало ноября. Как всегда, за круглым столом в столовой Кэт и старшие дети ждали выхода Диккенса к ленчу. Между пятилетним Чарли и четырехлетней Мэри сидела Джорджина, сестра Кэт. Ей было семнадцать лет. Иногда Диккенсу казалось, что она похожа на покойную Мэри. Это было не так. Но когда она приходила на Девоншир Террас, он ловил в ее сине-голубых глазах то же самоотречение, которое угасло в глазах Мэри только тогда, когда они закрылись. И она казалась ему такой же чуткой, как покойная, такой же доброй; должно быть, ей скучно в доме отца, — здесь, на Девоншир Террас, она увидит немало занятных людей, да, кстати, облегчит Кэт хлопоты с четырьмя детьми.

Джорджина очень легко согласилась переехать от мистера и миссис Хогарт. Она сразу вошла в жизнь на Девоншир Террас, она сразу стала необходима всем — и ему, и Кэт, и детям. Вот и теперь, он едва опустился на стул и придвинул к себе яйцо в рюмочке, Джорджина легко вскочила, метнулась в холл, принесла почту и без слов начала вскрывать разрезным ножиком письма, — это уже стало традицией.

Диккенс увидел свежие номера журналов — «Монсли Ревью» и «Фрезер Мэгезин». Когда-то он сотрудничал и «Монсли Ревью». Пока Джорджина вскрывала концерты, он пробежал оглавление журналов. Послышался легкий треск.

Маленькая Мэми стукнула ложкой по яйцу, стоявшему в рюмочке перед его прибором, — это тоже была традиция, свою привилегию Мэми ревниво оберегала.

— Вы послушайте, мои дорогие! — воскликнул он. Вот отзыв о моих «Американских заметках»: «В любой книге нельзя себе представить более живого описания, более жизненных сцен, более тонкой окраски, более удачного отбора слов, более пригодного для целей писателя употребления образов. В результате — самые знакомые предметы и темы, к которым сотни раз возвращаются путешественники, предстают на этих страницах заново и наводят на такие размышления, которые раньше никогда не мелькали в уме…» — Он выскреб из скорлупы остатки яйца и быстро взял второе. — «Монсли» помнит Боза и верен ему! Слушайте теперь старину «Фрезера»… Ну, я не буду перечислять имена тех, кто писал об Америке. Старина хвастает своей ученостью… Словом, он приходит к выводу, что я отличаюсь от всех моих предшественников, и рекомендует книжку многочисленным моим почитателям. Старина пишет: «Хотя книжка не содержит ничего существенно нового, но написана она в такой манере, что все предстает в новом облике — все подкрашено, подвито, припудрено, как перед появлением на сцене… На всем печать личности Боза и его своеобразных вкусов…» А затем журнал разглагольствует в том же духе и заключает, что все сказанное — безусловная похвала книге.

Он сделал вид, будто налегает всем телом на нож, которым резал ростбиф.

— Сегодня мясо слегка жестковато, дорогая Кэт. Менее, впрочем, думается мне, чем мнение американцев о моей книге, которое скоро мы все узнаем. Вот интересное письмо. Лорд Джеффри благодарит меня, мои дорогие, за книгу и полагает, что я очень бережно обращался с нашими

чувствительными друзьями за океаном. И, он полагает, что я ровно ничего не сказал для них обидного. Поживем, увидим.

Ждать пришлось недолго. Заокеанские газеты захлебывались от возмущения. Это было в порядке вещей, раз Чарльз Диккенс столь непочтительно о них отозвался.

Но почтенные журналы не отстали от них. «Размышляющие и образованные» джентльмены, наличие которых Диккенс признавал, что-то не подавали голоса.

Кэт и Джорджина узнали также и об отзывах американцев. Но на этот раз Диккенс раньше ознакомился сам с возмущением заокеанских журналов, а затем познакомил их. Как-то в конце января он зашел в предобеденный час в гостиную. Если ничто не мешало, этот час семья проводила вместе и затем перекочевывала в столовую, к обеденному столу.

На этот раз Диккенс вошел в комнату, когда Джорджина утешала трехлетнюю Кэти, которая безутешно плакала, растянувшись на полу. Увидев отца, Кэти замолчала, поднялась, подошла к нему и доверительно сообщила, что ей уже не больно. Затем попыталась завладеть книгами, зажатыми в его руке. Чарли немедленно примчался от своих кубиков и ухватился за те же книги. Когда отец сел в любимое свое кресло, они вскарабкались на его колени. Мэми, как всегда, опоздала, ей ничего не оставалось делать, как уцепиться за свободную руку отца. Двухлетний Уольтер — Джорджина показывала ему книгу с картинками — сделал движение, обнаруживая желание слезть с колен девушки. Предвидя ссору, если бы малыш добрался до кресла отца, Кэт отложила вязанье и вмешалась:

— Иди ко мне, Уольтер, быстро иди ко мне.

Малыш отвлекся от первоначальной затеи, соскользнул с колен Джорджины, дрыгнув, словно пловец, ножками, и, переваливаясь, пошел к матери.

— Джорджина, — сказал Диккенс, — протягивая ей журналы, — я решительно не могу читать, пока эти разбойники меня не отпустят. Прочтите, дорогая, там, где я вложил закладку. Почтенные граждане свободной республики не склонны признавать за мной право на независимые суждения. Милый лорд Джеффри ошибся, он плохо знает наших друзей за океаном.

Кэт хорошо знала его интонации. Нет, ему не было безразлично мнение почтенных граждан за океаном.

— Читайте раньше «Жителя Новой Англии». Этот журнал издается в северных штатах, в Бостоне. Запомните это Кэт, прошу тебя, послушай.

Дети почувствовали, что отец раздражен, и примолкли, хотя он не мешал им возиться с его часовой цепочкой, застегивать и расстегивать пуговицы на коричневом обеденном сюртуке.

Джорджина послушно раскрыла первый журнал на странице, отмеченной закладкой.

— «Мы очень разочарованы, познакомившись с “Американскими заметками”, — начала она чистым, грудным голосом. — Мы хорошо знаем, что в нашей социальной организации есть некоторые дефекты, по которым можно было бы не без пользы ударить рукой мастера. Мы надеялись, что острое восприятие мистером Диккенсом смешного и нелепого в конечном счете послужит нам на пользу… Эти два томика привели к тому, что понизили наше мнение о мистере Диккенсе и исполнили нас возмущения такой смесью самомнения, бахвальства и кокнеизма…»

Джорджина запнулась. Диккенс рассмеялся громко и весело. Раздражение потухло внезапно, такие переходы всегда были внезапными. Чарли тоже засмеялся заливисто, за ним Мэми, не желая от него отстать.

— Читайте, дорогая, читайте! Вы должны привыкать к языку критики. Я отчеркнул там еще одну фразу.

— «Мы сожалеем, что автор опубликовал эти томики, — продолжала Джорджина, — которые не прибавят ничего к его репутации как писателя и выставляют его моральный облик в нежелательном свете».

— Это значит, дорогая Кэт, что «Житель Новой Англии» считает меня негодяем. Не возмущайся, это ни к чему. Читайте, Джорджина, «Южный литературный вестник». Вот этот самый. Он издается на юге, Джорджина, в Ричмонде, на земле, где людей травят собаками только за то, что они негры и рабы.

Джорджина покорилась. Но теперь она читала тише. Девушка еще не привыкла к языку критики.

— «Американские заметки», — читала она, — одно из самых самоубийственных произведений, написанных автором, имеющим репутацию… Это произведение слабое, легкомысленное и неубедительное от начала до конца. Как мастер комического, Боз не имеет соперников, но когда после четырехмесячного пробега по такой стране, как наша, он мнит себя вправе вынести приговор национальному характеру и учреждениям, — изумление перед его дерзостью сливается с сожалением о его безумии.

— Продолжайте, Джорджина! — воскликнул Диккенс, когда голос ее, замирая, пресекся от возмущения. Перед ним возникло лицо, потное, восторженное лицо одного из журналистов, который первым вцепился в его руку, когда он стоял на палубе пакетбота и только-только собирался вступать на землю демократической республики. Да, конечно, автор статьи вот этот — тощий, потный верзила. Его острая бородка нацеливалась прямо в лицо знатного иностранца, она угрожала приколоть знаменитого Боза, словно редкостного жука, к свободной земле американской демократии…

Расположение духа у Диккенса переломилось. Бросив на него косой, взгляд, Джорджина, к своему удивлению, убедилась, что он улыбается. Неужели ему нравится, когда его так ругают? И она продолжала:

— «Большая часть книги Диккенса должна вызвать только улыбку сожаления о тщеславии и сумасшествии автора, а грубые его нападки и гнусная клевета на наш порядок, который он не потрудился понять, заслуживают презрения оскорбленного и оклеветанного народа…»

— Ну, Джорджина, довольно! Я вас пощажу.

Он в самом деле смеется. Ничего понять нельзя!

Да, понять трудно.

Маленькая книжка, может, например, вызвать большие разногласия в отечественной прессе.

Солидное «Трехмесячное обозрение» — «Куотерли Ревью» — сожалеет о недостаточной осведомленности автора и его попытках заменить ее шутками. Журнал утверждает, что автор уделил свиньям, гуляющим по улицам Нью-Йорка, в шесть раз больше места на страницах книжки, чем писателям, ораторам и художникам, населяющим столицу Америки. Столь же солидный журнал, «Эдинбург Ревью», более расположен к автору и не видит никаких оснований для американцев почитать себя оскорбленными автором. «Фрезер Мэгезин» усматривает в книжке свойственные автору «краски» и рекомендует всем почитателям мистера Диккенса прочесть книжку. Что же касается «Монсли Ревью», менее солидного, чем «Куотерли» и «Эдинбург», то этот журнал безусловно восхищен «Американскими заметками»…

В самом деле, понять нелегко. Ибо о той же маленькой книжке Маколей, уже прославившийся своими литературными эссе, пишет редактору «Эдинбург Ревью» письмо. В этом письме будущий знаменитый историк называет

«Американские заметки» легкомысленными и скучными. А граф де Токвиль, признанный на континенте знаток Америки, автор «Демократии в Америке», разъясняет в это время какому-то члену французской палаты депутатов, что только профаны могут почесть авторитетным мнение автора «Американских заметок» об Америке.

Диккенс не знает ни письма Маколея, ни отзыва Токвиля. Разноголосица тем не менее очевидна. И так же очевидно, что она не колеблет уверенности Диккенса в своей правоте. Он писал искренно, — он разочаровался в демократии, построенной на американский лад. Он почувствовал, что одна из его социальных иллюзий погасла.

И он заключает, что спор его с великой демократической страной, обителью его иллюзии, еще не кончен. Его искренние суждения об этой обители встречены за океаном неласково. Он не склонен с этим примириться. Он не погрешил против истины, он в этом убежден. Разочарование — немалая цена, это, — цена истины. Таково его мнение, мнение Чарльза Диккенса. Расплачиваться еще за обидчивость американцев и за их самомнение? Ну, что ж! Он не склонен отречься от своих суждений.

И он оставляет за собой свободу действий.

3. Золотая вода

Новый роман… В начале января нового, 1843, года выходит первый выпуск. Мистеры Чепмен и Холл — как повезло этим счастливцам! — анонсируют ежемесячные выпуски «Жизни и приключений Мартина Чеззлуита».

Проходит неделя, другая, и в кабинете Диккенса появляется немногословный мистер Холл.

— Как идет продажа нашего романа? — встречает его вопросом Диккенс.

Мистер Холл бережно опускает свой костяк в знакомое кресло. Странно. Несмотря на преуспеяние фирмы, этот костяк не облекся в жировые покровы. Мистер Холл говорит:

— Начало романа превосходное, сэр.

Это не ответ. Но Диккенс уже научился не торопиться, беседуя на деловые темы. Он выжидает, и мистер Холл говорит:

— И нас удивляет, мистер Диккенс, что тираж еще не достиг двадцати тысяч экземпляров.

Ах, вот в чем дело!

— Может быть, еще рано подводить итоги, мистер Холл?

— Мы не думаем. В первые две недели «Никльби» разошелся в пятидесяти тысячах, «Лавка древностей» — в шестидесяти, а «Барнеби Радж» — почти в семидесяти…

— Чем же вы объясняете, мистер Холл, эти двадцать тысяч?

Мистер Холл пожимает плечами.

— По совести говоря, — продолжает Диккенс, — я тоже считаю, что начало романа мне удалось. Не потому ли пал тираж, что в минувшем году я не писал романа?

Мистер Холл издает звук, весьма неопределенный.

— Поживем, увидим, мистер Диккенс. Но, надо признать, старт неудачен.

Младший компаньон фирмы — большой знаток конских состязаний, и иногда в его речь проскальзывают спортивные термины.

Еще несколько слов о том, о сем, и мистер Холл удаляется.

— Нам не нравится эта цифра — двадцать тысяч, — говорит он на прощанье.

«Натурально, не нравится, — думает Диккенс, когда дверь за мистером Холлом закрывается. — Фирма уже привыкла к дождю гиней, который изливается на нее шестой год благодаря мистеру Диккенсу».

Но в самом деле, почему тираж первых ежемесячных выпусков «Мартина Чеззлуита» не поднимается выше двадцати тысяч?

Он пишет роман. Роман отличается от «Лавки древностей» и «Барнеби Раджа». Конечно, главные герои этих романов — трогательная малютка Нэлл и безгрешный Барнеби помогают читателю легко разобраться в том, что хорошо и что дурно. Но они — этого нельзя отрицать — редкие гости в нашей жизни. К тому же приключения их — в этом надо сознаться — не часто удастся наблюдать в жизни, да и других героев редко встретишь на улицах Лондона — например, горбуна Квилпа или папашу Барнеби. Очень занимательно изображать их черты, словно сам их видишь сквозь увеличительное стекло. Но читатель может вообразить, будто автор рисует не ту жизнь, какая его окружает, а любуется полетом своей фантазии, измышляет невероятные приключения, описывает поступки, которые столь же неправдоподобны, сколь необычны облики его героев…

Но читатель лишь тогда извлечет из книги всю пользу, в ней заключенную, когда решит, что только сегодня видел героев автора на улицах Лондона. Нет, они не должны походить на редких гостей в реальной жизни… И в «Лавке древностей», и в «Барнеби Радже» автор все же увлекся описанием приключений и поступков, не часто встречающихся в жизни. Быть может, не совсем не правы те, кто полагает, будто некоторые его герои в этих двух последних романах более фантастичны, чем хотелось бы автору… Ни «Пиквик» ни «Твист», ни «Никльби» не вызывали таких предположений.

Но сюжет романа должен быть увлекателен. Читателю надо посулить борьбу жестоких людей между собой.

Должно быть, в первом выпуске нового романа автор не преуспел, не внушил читателю, что борьба вокруг старого

Мартина Чеззлуита приведет к кровавой развязке, которая всегда заманчива для читателя, как показывает опыт. Следует это внушить, решает Диккенс.

Он тщательно заплетает нити интриги. Борьба завязывается вокруг золота, старый Мартин Чеззлуит — богат.

Одним из участников этой борьбы надо сделать джентльмена, который бесспорно заслуживает эту честь. Странно: такие внимательные наблюдатели, как старики Фильдинг и Смоллет или лукавый Стерн, прошли мимо легиона соотечественников, наделенных в избытке свойствами мистера Пексниффа, Сета Пексниффа, архитектора. Писатели более молодые — например, миссис Эджуорт и миссис Остин — тоже не заметили мистера Пексниффа. Но этого джентльмена встретишь повсюду и везде. Во всяком случае, Чарльз Диккенс узнает его и тогда, когда он пытается скрыть свое лицо.

Хмурые буквоеды, начетчики библии за двести лет до рождения мистера Пексниффа внедрили в сердца соотечественников отвращение к греху. Джентльмены, которым библия застила солнце, внушили соотечественникам необоримый ужас перед кознями дьявола, самообуздание и восхищение перед безгрешными менторами. Эти джентльмены могли быть довольны, — ужас перед кознями дьявола с течением лет проникал во все области общественной жизни соотечественника и во все закоулки его личной жизни. Но самонадеянные! учители жизни недооценили прельстительность искушения. Они открыли путь спасения и успокоились. Лакомые соблазны загромождали его, это очень скоро обнаружилось для соотечественников. А потому выход из такого затруднительного положения был один — для многочисленных джентльменов и леди. Этот выход — маска лицемера.

Мартин Чеззлуит, тяжелого нрава старик и самодур, поссорился уже со своим внуком, молодым Мартином,

осмелившимся полюбить против его воли сироту Мэри Грэм, жившую у старика. Молодой Мартин поступил на службу к мистеру Пекснифу. Этот джентльмен успел познакомить читателя со своими свойствами и со своим планом женить старика Чеззлуита на одной из своих дочерей. Читатель уже успел, казалось бы, в жадном и мрачном Джонасе Чеззлуите, племяннике старика, заподозрить джентльмена, готового на все ради проклятого золота.

Диккенс решает отправить молодого Мартина в Америку. В апреле, в четвертом выпуске, он оповещает об этом читателя. Молодой Мартин вынужден покинуть службу у мистера Пексниффа, — этого требует дед, еще не простивший внуку его самовольства. Пусть молодой Мартин вместе со своим знакомым, Марком Тэпли, конюхом из харчевни, поедет в Америку.

Прекрасная идея. Теперь он обретает свободу действий. Он не обязан давать отчет о несравненных, по мнению американцев, достижениях самой демократической республики в мире. Он не станет описывать, изучать, рассуждать, делать выводы. Он покажет Америку такой, какой она возникает в его художественной памяти.

Если американцам не понравится эта Америка, ничего не поделаешь.

Но американцы никакого удовольствия не выразили, когда очередные выпуски достигли их страны. Чарльз Диккенс, как видно, не удовлетворился, оклеветав республику в своих «Американских заметках». Он убеждает своих соотечественников, что процветание великой демократии — мираж. И американский бизнес — мираж плюс мошенничество.

Так, например, молодого Мартина и его спутника, Тэпли, бизнесмены соблазняют купить землю в некоем городке

на Западе. Этот городок зовут Эдем — то есть рай. Мартин и Тэпли отправляются туда. Вместо города они находят… болото и таких же одураченных легковеров, как они сами.

Но этого мало. Диккенс, устанавливают американцы, изощрил все свое умение юмориста, чтобы вывести в романе одного карикатурного американца за другим. Это не люди, это злостные гротески — начиная с полковника Дайвера, редактора «Рауди Джорнэл» — «Хулиганской газеты», кончая членом конгресса, достопочтенным Элией Погрэмом, джентльменом весьма нечистоплотным в прямом и переносном смысле. Среди политиков Диккенс увидел, кроме них, майора Паукинса, джентльмена с уголовным будущим, а среди граждан, далеких от политики, таких монстров, как хвастун и забияка майор Чоллоп или миссис Хомини, литературная львица.

Расположение американцев он уже потерял. Чего ему еще спасаться?

И Диккенс получал немалое удовольствие, вызывая в памяти вереницу заокеанских своих знакомых. Он сопровождал Мартина и Тэпли в Эдем, он встречался с друзьями, изредка посещал театр. От приглашений на публичные обеды нельзя было иной раз отказаться. После одного такого обеда в госпитале он вернулся домой, раздраженный больше, чем обычно. У себя он застал Дугласа Джеррольда. Тот сидел в столовой с Кэт и Джорджиной.

— У вас, дорогой Диккенс, такой вид, словно вам не удается скетч для «Панча», — сказал Джеррольд, когда они поздоровались, — берите пример с меня. Сегодня у меня ни черта не выходит со скетчем, а я весел, как скворец, и развлекаю Кэт и Джорджину уже целый час.

— Мистер Джеррольд рассказывал такие смешные истории, — сказала Джорджина.

— К сожалению, ни одна из них не годится для «Панча», — вздохнул Джеррольд. — Но почему вы такой злой сегодня?

— Почему я злой? — Диккенс вытянул ноги в узких клетчатых брюках и откинулся на спинку кресла. — Кэт, будь добра, налей мне чаю покрепче. Если бы вы, Джеррольд, слышали эти речи, которые мне пришлось слушать! Любой мусорщик, не слишком умный, — и тот покраснел бы на этом обеде, несмотря на землистый цвет лица. Попытайтесь вообразить: елейное, перекормленное, апоплектическое животное, а слушатели подпрыгивают от восторга! С той поры как у меня есть глаза и уши, я никогда не видел такой иллюстрации власти кошелька. Я никогда еще не чувствовал такого унижения, как сегодня, созерцая эту картину.

— Но это чертовски смешно! Я представляю себе этих ораторов…

— Все они с брюшком, слюнявятся и пыхтят, — перебил Диккенс с гримасой. — Но это не смешно, Джеррольд. Это слишком нелепо, чтобы смеяться. Это… это ошеломляет!

Джеррольд задрал вверх голову, словно на потолке наблюдал всех этих ораторов.

— Тем не менее это забавно. И значит, надо смеяться. Не вижу оснований, почему нельзя смеяться.

— Не знаю. Будь вы со мной, может быть, я усмотрел бы в этой классической маске — что за чертовское выражение! — нечто забавное. А теперь, Джеррольд, вообразите, что пятьдесят семейств решают эмигрировать в дебри Северной Америки. Среди них наши семейства — ваше, мое и сорок восемь других…

— В дебри Америки? А что я там буду делать, Диккенс? — спросил Джеррольд. — Я пропаду со скуки без «Панча».

— Не перебивайте, Джеррольд. Вообразите, что это так: пятьдесят семейств объединились общностью взглядов на все важнейшие вопросы и порешили основать колонию здравого смысла в дебрях Северной Америки. Как вы полагаете, когда среди них появится этот дьявол — ханжество? В тот же день, когда они высадятся? Или на следующий?

— Я бы спросил об этом у автора «Арабских сказок», — рассмеялся Джеррольд.

Рассмеялись и обе леди. Но Диккенс все еще не склонен был смеяться. Он глотнул чаю и сказал:

— Если вы отсылаете меня к автору «Арабских сказок», то должен вам сказать, что в них я нахожу одну ошибку. Мне кажется, это единственная ошибка. Если вы помните, принцесса возвращает людям прежнюю их красоту, побрызгав их золотой водой. Но такое крещение превратит их в чудовищ…

4. Человеческое сердце

Мартин Чеззлуит и его приятель Марк Тэпли, найдя вместо Эдема болото, познакомились, таким образом, с методами заокеанских дельцов. Остались они без денег и без надежды их вернуть — рядовые жертвы любви американцев к коммерции. Меж тем мистер Пекснифф, обольщая своими добродетелями старого богача Мартина Чеззлуита, вкрался в его доверие. Дочери его, носительницы душеспасительных имен — Милосердие и Жалость, переехали в Лондон, чтобы делать матримониальную карьеру по указанию отца. Мистер Пекснифф уже наметил одной из них жениха — Джонаса Чеззлуита, жадного корыстолюбца, столь жадного, что он не переставал мечтать о смерти своего отца Энтони, брата старого Мартина. Наконец Энтони умер, Джонас уже стал директором акционерного общества

по страхованию жизни, основанного неким мистером Тиггом, читатель уже вдосталь насладился поучениями и проповедями мистера Пексниффа…

Наступил момент, когда надо вводить «тайну». Мистер Тигг, основатель акционерной компании, субъект, такой же неразборчивый в средствах, как Джонас Чеззлуит и мистер Пексниф, заподозривает Джонаса в убийстве своего отца — Энтони. В ответ на это Джонас убивает Тигга. Пекснифф тем временем опутает сетями старого богача Мартина Чеззлуита и даже убеждает его переселиться к нему в дом. Богач вместе со своей воспитанницей Мэри Грэм соглашается, и Пекснифф преследует Мэри искательствами любви. Он заливает девушку потоками добродетельных сентенций, но нисколько не преуспевает, — Мэри Грэм помнит молодого Мартина Чеззлуита и верна ему.

Новых читателей роман не приобретает.

Диккенс недоумевает. Он нервничает. Он не считает роман более слабым, чем прежние. Он заявляет Форстеру, что именно теперь он пишет в полную силу и верит в себя, как никогда раньше. Кто может объяснить, почему тираж замерз на двадцати трех тысячах? Он раздражителен в это лето. А тут еще нелепая история с Холлом, младшим компаньоном фирмы Чепмен и Холл!

Поведение Холла не свидетельствует об избытке такта у этого джентльмена; и о широте его кругозора как коммерсанта. В договоре с Чарльзом Диккенсом фирма выплачивает ему по двести фунтов ежемесячно за выпуски «Мартина Чеззлуита». Но в договоре есть пункт: если доход от издания не будет соответствовать этим выплатам, фирма может удерживать по пятьдесят фунтов из гонорара. Когда Форстер в своих дипломатических переговорах с фирмой соглашался на этот пункт, разве могло ему прийти в голову, что фирма когда-нибудь выразит желание воспользоваться своим правом?

Но Холл выразил именно это желание. Тираж «Мартина Чеззлуита» не удовлетворял фирму. И Чепмен, старший компаньон, не помешал Холлу намекнуть Форстеру на этот пункт договора.

Вот почему Холл являлся к Чарльзу Диккенсу после выхода первого выпуска с сообщением о тираже! Теперь все ясно. Эти зазнавшиеся дельцы уже привыкли, что без всяких усилий с их стороны гинеи льются потоком в контору фирмы благодаря Чарльзу Диккенсу. Они забыли, чем обязаны Чарльзу Диккенсу.

Диккенс взбешен. Он требует от Форстера немедленно разорвать договор с фирмой. Форстер, выражает мистеру Чепмену свое крайнее удивление, тот старается замять неприятный эпизод. Диккенс соглашается продолжать деловые отношения с фирмой. Но он не забудет этой бестактности мистера Холла. В общем, надо признать — не все гладко, как было бы желательно.

В особенности не все гладко с Америкой. Джентльмены Севера и Юга разбушевались не на шутку, ознакомившись с пребыванием Мартина и Марка в американском Эдеме. Теперь даже небезопасно для великого актера Макреди напоминать американцам о своей дружбе с Чарльзом Диккенсом.

Макреди собирается в турне по Америке. Натурально, Чарльз Диккенс хотел бы проводить его на пристань и напутственно помахать рукой, когда пароход отчалит. Но от этого следует воздержаться. Репортеры не преминут описать проводы великого актера, описания достигнут великой демократической республики — и джентльмены Севера и Юга выместят на ни в чем неповинном Макреди свою злобу против Чарльза Диккенса.

После отъезда Макреди надо в конце лета ехать с семьей в Бродстэр — в Бродстэр, к которому привыкли дети и Кэт и где так хорошо работается.

Молодой Мартин и Марк Тэпли, в довершение всех бед, заболевают в Эдеме болотной лихорадкой. Выздоровев после тяжкой болезни, они решают вернуться на родину, — знакомство с Америкой обошлось им дорого. Но на обратный путь у них нет денег, на помощь им приходит добрый американец. Обогащенные жизненным опытом, они возвращаются. Жизненный опыт учит Мартина поразмыслить над поводом к ссоре с дедом, Мартином-старшим. Он решает принести повинную. Сердце, ожесточившееся против деда самодура, должно смириться.

Сердце. Диккенс знает, что ему не уйти от одной и той же темы — от темы человеческого сердца. Как уйти, если сердце — оно одно — находит верный путь к добру? Если сердце — источник силы в борьбе человека за счастье. Писатель должен быть твердой опорой каждому в его блужданиях на путях добра и зла. Писатель может, он должен воспитать человеческое сердце, только тогда он станет подлинной опорой человеку.

Сердце можно воспитать. Его воспитывают проповедники. Писатель обладает средствами, более могущественными, чем проповедник. Если он покажет мертвое сердце, и это сердце под его пером обретет жизнь и жалость к людям, — разве не воскреснут к новой жизни другие мертвые сердца?

Надо верить в это самому и внушать эту веру другим.

И как было бы хорошо, если бы удалось связать тему человеческого сердца с самым любимым праздником — с рождеством, которое уже не за горами.

Читателю нужны рождественские повести и рассказы. Он ищет их в журналах, они традиционны, но до сей поры он не находил нигде рождественской повести Диккенса. Надо испытать свои силы — написать святочную повесть; надо изобрести сюжет, который не походил бы на сюжеты обычных святочных рассказов, к которым привык читатель.

И Диккенс откладывает в сторону «Мартина Чеззлуита». Первую часть повести он пишет в десять дней.

Мы в мрачной, неприятной комнате, вместе с мрачным, мало привлекательным стариком. У старика цепкие руки с железными пальцами, холод наполняет его душу и леденит черты его лисьего лица. Голос у него брюзгливый и гнусавый, а цепкие его руки словно созданы для того, чтобы терзать беззащитные жертвы. И он их терзает — можно в этом не сомневаться, — он их терзает, ростовщик и скряга Скрадж. Он терзает и своего несчастного клерка, многосемейного трогательного Боба Кречита, которому отказывает даже в разрешении провести завтрашний рождественский день не в нетопленой конторе мистера Скраджа, а у домашнего очага.

Но и ростовщики должны спать ночью и хотя бы на время давать своим жертвам отдых. Засыпает и Скрадж. Он засыпает в рождественскую ночь, когда сонмы призраков летают вокруг нашей грешной земли. Некоторые из этих призраков знакомы мистеру Скраджу, как, например, его компаньон Марли, умерший семь лет назад и сейчас оглашающий воздух звоном цепей. Другие, а их большинство, — незнакомы; и вдруг один из этих незнакомцев предстает перед Скраджем. Этот незнакомец — дух прошедшего рождества, он предлагает старому грешнику совершить совместно небольшое путешествие в прошлое.

И вот перед читателем развертывается путешествие мистера Скраджа, Не одно путешествие, но три — в прошлое рождество, в настоящее и в будущее, — открывающихся старому грешнику по воле трех духов, которые, как всем известно, обладают волшебными свойствами, и им ровно ничего не стоит совершать такие путешествия. И им ничего не стоит обнажить ледяное сердце завзятого грешника и показать чудесное превращение, уготованное каждому жестокому сердцу, когда оно обращено к идиллическим событиям детства

или к сценам людского горя. Вот перед читателем эти события из той поры, когда ростовщик Скрадж был ребенком… И падают с сердца, закованного в лед, первые капли… Вот события его юности, тени его прошлой жизни. И новые падают капли. А вот, наконец, — одна за другой — идиллические сцены из жизни его конторщика Боба Кречита и трогательная фигурка крошечного калеки — крошки Тима, его ребенка, — и снова идиллические сцены веселого рождества, которые могут умилить каждого… И трагические сцены смерти, смерти холодной и суровой, и смерти крошки Тима, смерти связанной с любовью, на которую захотел взглянуть сам Скрадж, чтобы позабыть о том, что он сам будет умирать так же одиноко, как себялюбивый, преступный старик в одном из гнусных притонов…

И чем дальше читатель следит за путешествиями гнусного скряги, которого зовут Скрадж, тем яснее видит он, как утончается ледяной панцирь на обнаженном сердце Скраджа. А когда этим путешествиям приходит конец, растроганный читатель непоколебимо верит, что никто из современных писателей не сможет показать ему перерождение человека и победу добра над злом более убедительно, чем показал Чарльз Диккенс.

За несколько дней до рождества Чепмен и Холл издают «Рождественский гимн». В первый же день продано шесть тысяч экземпляров.

Диккенс возбужден. Ему пишут читатели — простые души, благослови их бог! — о том, как его «Гимн» читается в семейном кругу у камелька, и как эта книжечка заставляет их сожалеть о недобрых поступках (кто в них не повинен!), и как их души алчут добра, и прочее, и прочее.

Диккенс растроган. Его «Гимн» о сердце дошел до сердца этих простых людей. О, нет, не только простых! Диккенс энергически шагает по своему кабинету, — он еще не привык

носить халат, и полы халата бьются, как незакрепленные на ветру паруса, — Диккенс шагает и в третий раз перечитывает письмо старого знакомца, лорда Джеффри.

Старик — не только известный литератор, он опытнейший судья, и ему ведомы закоулки человеческого сердца. Он — шотландец, прямодушен и не собирается извлекать выгоду из комплиментов своему молодому другу. Вот оно, это письмо:

«Вы должны быть счастливы, ибо можете быть уверены, что этой маленькой книжкой сотворили больше блага, пробудили больше добрых чувств и внушили сотворить больше благодеяний, чем все церковные кафедры и исповедальни за весь год с прошлого рождества».

Дрова постреливают в камине, салютуя его успеху. Он действительно счастлив — его проповедь не упала в вату; он повторяет про себя фразу, которую передали ему сегодня. По словам приятеля, Уильям Макпис Теккерей выразил свое суждение о «Рождественском гимне» в патетическом восклицании: «Кому охота слушать неодобрительные отзывы о такой книге? Да ведь эта книга — национальное благодеяние и щедрый дар каждому, кто ее прочтет». Неплохо сказано. Теккерей вырос в популярного юмориста и эссеиста, недавно напечатал «Барри Линдона» и «Мужние жены»… У него есть будущее, у этого парня большое будущее, не век ему украшать своими историйками и рисунками «Панч». «Национальное благодеяние» — неплохо сказано!

Можно ждать, стало быть, изрядной суммы от продажи «Гимна». «Мартин Чеззлуит» по-прежнему не сулит ничего утешительного, а в конце года скопились счета, по которым надо платить.

Но вести из конторы Чепмен и Холл неожиданно опять неутешительны. Продано тысяч пятнадцать экземпляров

«Рождественского гимна», не больше, и мистеру Диккенсу следует получить фунтов семьсот с чем-то.

Расположение духа Диккенса меняется резко и решительно. На столе груда счетов, — в конце года они всегда портят расположение духа. Немедленно сократить расходы, — отдается приказ по дому. Но приказать легче, чем найти статьи расходов, по которым надлежит экономить. Конечно, виновата лондонская дороговизна. И прежде всего виноваты Чепмен и Холл. Они не умеют, черт возьми, издавать! Расходы по изданию «Песни» велики, продажная цена книги высока, — словом, покупатель колеблется, приобрести ли ему «Рождественский гимн» или воздержаться?

После окончания «Мартина Чеззлуита» он пошлет Чепмена и Холла ко всем чертям. Это решено.

Но как решить другой вопрос — сократить расходы вдвое?

Об этом нельзя и помышлять, оставаясь с семьей в Лондоне. Уже появился новый член семьи — сын Френсис Джеффри — пятый ребенок. Отчего бы не уехать со всей семьей на время в какую-нибудь благословенную страну, где можно будет тратить презренных фунтов куда меньше, чем в Англии? Жизнь в Англии требует таких статей бюджета, которых не знает, скажем, итальянец, живущий вполне комфортабельно у себя на родине. Дом на Девоншир Террас можно снова сдать в аренду, как это было во время поездки в Америку. В Италии работать легче, чем дома, — ничто не будет мешать; там можно и отдохнуть после окончания «Мартина Чеззлуита» взглянуть на все эти знаменитые палаццо, баптистерии, лоджии и на прочие достопримечательности, о которых так много пишут. В Италии климат целительный, море чудесное, даже лучше чем в Бродстэре; пребывание там принесет детям пользу. И, наконец, можно будет написать книгу о поездке в эту страну,

нечто вроде путевого дневника. Читатель любит такой жанр, а пишутся такие книги совсем легко.

О принятом решении Диккенс уведомляет Кэт.

Кэт, как и можно ждать, в смятении. Как они поедут в Италию с пятью детьми, с Джорджиной, с прислугой?

Женщины всегда пугаются, когда им сообщают о грядущем событии, выходящем за рамки повседневной жизни. Во всяком случае, Кэт не может найти существенных возражений против итальянского проекта. Он уже все обдумал, они поедут через Францию в карете, которую можно приобрести, — это будет удобно и избавит их от лишних хлопот. В июне он намерен кончить роман, а затем они едут в Италию. Все.

Работа над романом продолжается. Но теперь не так-то легко отказываться от почетных общественных повинностей. Надо занимать председательское кресло на торжественных актах в учреждениях просветительных, надо говорить речи, внедрять в умы слушателей уважение к образованию, рисовать заманчивую картину благоденствия, открывающегося перед каждым, кто приобщился к знаниям.

Об этом можно говорить с пафосом, и этот пафос будет искренним — от взволнованности и веры в благодеяния просвещения и наук. Он не может похвастать глубокими знаниями в какой-нибудь области, но, не колеблясь, он утверждает, что только просвещение помогло ему найти пути познания добра и зла. Общество подверглось бы величайшей опасности, если бы эти пути были закрыты людям. Как могло бы оно карать людей за предпочтение порока добродетели, если бы у людей не было средств установить различие между добром и злом? Только просвещение, широкое, чуждое сектантской узости, помогает решить эту задачу, а те, кто пользуются его благодеяниями, разве они не испытывают понуждения передать полученные знания всем и каждому?..

Подобные речи говоришь с подъемом, в особенности если вокруг тебя не апоплектические рожи национальных Пекснифов, а молодые питомцы просветительных учреждений. На столе трогательные просьбы институтов Ливерпуля, Бирмингема, Лидса, Манчестера — произнести такую речь. Ливерпульский механический институт даже присылает на путевые расходы двадцать фунтов, которые возвращаются обратно. Разумеется, нет возможности ответить на все просьбы. Но все же он едет в Ливерпуль и Бирмингем, говорит речи.

Работа над романом не прерывается. Пексниф старается обольстить бедную Мэри Грэм. Бедняжка обращается за помощью к помощнику гнусного лицемера, милейшему Тому Пинчу. Том не прозорлив — до сей поры он не мог распознать в своем патроне негодяя; лицемерие Пекснифа — слишком опасное оружие против простодушных Пинчей. Но наступает момент, когда и Пинчи прозревают, как прозрел и Том Пинч, после чего Пексниф немедленно его выгоняет.

Расправившись с Томом, Пексниф принимает меры против вернувшегося из американского Эдема молодого Мартина. Примирение Мартина с дедом надо предотвратить, и Пексниф его предотвращает. Мартин едет в Лондон, там у Тома Пинча и его приятеля, Джона Вестлока, он узнает кое-что о темном прошлом своего дяди, Джонасе Чеззлуите. Узнает об этом и старый Мартин Чеззлуит, и против Джонаса возбуждается обвинение в убийстве отца.

Скоро роман закончится. Если не наградить достойных и не наказать негодных, какой урок извлечет читатель из романа? Закон возмездия должен остаться неколебимым, он воспитывает отвращение к пороку и уважение к добродетели, читатель не должен терять вару в него. Впрочем, писатель может иногда позволить себе невинный

камуфляж — показать добродетель под маской порока. Если это совершить умело — выбрать для такого героя не слишком отвратительную маску, — эффект получится значительный, и моральное чувство не потерпит никакого ущерба. Вот, например, старый Мартин Чеззлуит. Он скупец, себялюбив, деспот и упрямец. Но оказывается, что именно он помогает Тому Пинчу не погибнуть с голоду, когда тот уходит от Пексниффа. Разумеется, он прощает Мартину его непокорность и благословляет его союз с Мэри. Судьба вознаграждает и другие добрые души и милостива к тем душам, которые, как миссис Гэмп, погибли не безнадежно.

Миссис Гэмп! Когда эта умная пожилая леди с хриплым голосом и короткой шеей впервые закатила глаза и распространила вокруг себя спиртуозный аромат, — друзья поздравили Диккенса с великолепной находкой. Чем непринужденней эта профессиональная сиделка щеголяла в своих обтрепанных нарядах и всем своим видом вымогала дары у безутешных родственников своих усопших пациентов, тем сильнее укреплялась уверенность друзей в грядущей популярности самой миссис Гэмп. Они предрекали ей то же бессмертие, какое завоевали уже Сэм Уэллер и Дик Свивеллер, — популярность, которая ждет и мистера Пексниффа.

Диккенс знал, что они правы. Это фигуры должны соскользнуть со страниц романа и смешаться с уличной толпой. Но ведь это и есть бессмертие, которое предрекали им его друзья.

Нет нелегко было дать отечественного лицемера и ханжу. Он должен был отличаться от француза Тартюфа. И он отличается. Этот лицемер не твердит назойливо о своем смирении и об аскезе. Он исполнен благоговения к мировому порядку, основанному на нерушимых физических законах. Он исполнен веры в человеческое сердце и в благотворность лучших порывов человеческого сердца. Он исполнен доверия

к общественным институтам, в основе которых лежат принципы высокой человеческой морали. Он умеет проповедовать социальную солидарность и милосердие. Он умеет возвыситься до патетики, воспевая нормы морального поведения. Он — учитель правой жизни, и потому-то он умеет обольстить столь несхожих между собой людей, как старый Мартин Чеззлуит и Том Пинч.

Но раньше чем разоблачить этого лицемера, надо удовлетворить моральное чувство читателя и покарать Джонаса Чеззлуита. На его совести убийство Тигга. Улики неопровержимы. На пути в тюрьму Джонас Чеззлуит кончает жизнь самоубийством. Разоблаченный Пексниф слетает с социальной лестницы, превращается в социальный прах…

Можно поставить точку на рукописи, над которой работал полтора года. Надо готовиться к поездке в Италию.

5. Генуя и колокола

Громоздкая карета вмещает супругов, Джорджину, кормилицу, няню, кухарку и пятерых детей. В Булони ее выгружают с парохода; она пересечет Францию до Марселя, затем ее снова погрузят на пароход, и он доставит семейство в Геную. В Италии — дешево, можно снять на лето и осень виллу в генуэзском предместье. Можно отдохнуть после «Чеззлуита». А там видно будет.

В Булони можно испробовать свои знания французского языка. Знакомство с ним весьма поверхностное — по путеводителю с его дежурными фразами и по самоучителю, который нет охоты изучать усидчиво. Случай представляется немедленно: надо обменять в банке фунты на франки. Потренировавшись предварительно, Диккенс произносит витиеватую фразу на маловразумительном французском диалекте. Французский клерк спокойно слушает и задает вопрос на чистом английском языке.

В карету впрягают французских лошадей, увенчанных бубенчиками. Она движется через Париж на Шалон, Лион и дальше — на Авиньон. Отсюда — пыльная дорога на Марсель. Грязный город Марсель. Но с холмов, куда уже не достигают ароматы порта, открывается синее-синее море. Карета грузится на баржу, которая выходит в открытое море. Июльская ночь. Мимо проплывает Ницца, побережье Ривьеры; на рассвете видна Генуя, поднимающаяся уступами, вся в садах.

Вилла уже арендована в Альбаро, в двух милях от Генуи. Очень хотелось бы арендовать виллу, в которой жил Байрон. Но, по-видимому, итальянцы не заражены предрассудками: в вилле Байрона обосновалась дешевая пивная.

Вилла Баньярелло в Альбаро, окрашенная в розовый цвет и довольно безобразная, лежит у самого Генуэзского залива, синего до умопомрачения. Вокруг разбросаны другие разноцветные виллы. Они мало привлекательны на вид, если говорить правду. Но слева от виллы Баньярелло — высокие холмы; вершины их растворяются в облаках, а по склонам — воинственные форты. Перед виллой — сбегающие к морю виноградники невиданно зеленого цвета. А какие краски — лиловые и пурпурные — трепещут между виллой и дальними холмами! Пейзаж, короче говоря, такой, что забываешь уродливость рассеянных в окрестностях вилл и домов. Вилла Баньярелло меблирована по вкусу итальянцев. В пятиоконной зале не сдвинешь кресла с места, а диван весит не меньше почтовой кареты. Как полагается, в этом престарелом строении имеются гостиные, спальни, столовые и даже две кухни — одна из них в подвале, а терраса выходит в садик, рядом с которым коровник. У детей будет свежее молоко, это хорошо.

Плохо лишь то, что с заходом солнца надо запирать окна и двери, потому что москиты могут довести до отчаяния.

Крысы, лягушки, ящерицы резвятся, конечно, день и ночь, так же не знают отдыха и гигантские мухи, которым несть числа. Но с этим надо мириться. Здесь, в вилле Баньярелло, можно отдохнуть. И можно наслаждаться без конца невиданной морской синевой, невиданной зеленью виноградников, пестротой цветочного ковра, можно заплывать далеко от берега, плескаться в теплых водах Средиземного моря, как дельфин, а затем обсыхать на полуденном солнце, а затем совершать многомильные прогулки по окрестностям.

В одном из монастырей можно встретить, например, молодого монаха, свободно изъясняющегося по-английски, и полюбопытствовать: был ли он в Англии, и чем объяснить очень странное его произношение? В ответ можно услышать, что молодому монаху не довелось быть в Англии, но ему посчастливилось найти лучшие образцы правильного английского произношения в такой знаменитой книге, как «Посмертные записки Пиквикского клуба», у такого знаменитого знатока английского языка, как мистер Уэллер, Сэм Уэллер…

Итальянцы — народ очень привлекательный по внешности, но странный по своим национальным свойствам. Если вы увидите на улице двух собеседников, пытающихся друг друга ударить, — не волнуйтесь. Они отнюдь не собираются драться, они мирно беседуют. У итальянцев хороший характер, и они непритязательны. Если вы дадите лакею в кафе на чай монету, какую вы постеснялись бы дать английскому нищему, он будет вам благодарен.

Наблюдая за итальянцами, Диккенс приходит к выводу, что они очень ленивы и всегда норовят отлынивать от работы, даже надежда получить щедрые чаевые не спасает их от лени.

Диккенс умеет отдыхать, и он отдыхает на вилле Баньярелло до осени. Он переезжает осенью в Геную; за двадцать

фунтов в месяц он снимает верхний этаж в одном из поместительнейших палаццо — в палаццо Пешьере. В саду палаццо несколько фонтанов, на террасах — античные скульптуры, гигантская зала расписана фресками трехсотлетней давности. Пешьере в самом деле палаццо, дворец; отныне дети, когда подрастут, могут хвастать перед своими школьными товарищами, что жили во дворце. Надо, однако, удивляться сколько таких дворцов в Генуе! Страда Нуова и Страда Бальби обрамлены палаццо с тяжелыми каменными балконами, с низкими окнами, мраморными внутренними лестницами и массивными колоннами… В таких вот дворцах обитают отнюдь не короли и не принцы. Их может арендовать каждый желающий — например, банкир для своей банкирской конторы. И потому нередко великолепные вестибюли, расписанные фресками, походят на лондонский полицейский участок — столь они грязны. Не менее грязны и дома в торговой части города. Итальянцы не любят чистого воздуха и к вентиляции питают отвращение, от домов исходят ароматы, заставляющие вспомнить о дешевом сыре, хранимом в теплой оранжерее.

Но генуэзские церкви обращают на себя внимание. В городе, где на пятерых прохожих приходится один церковнослужитель или монах, горожане умеют заботиться о храмах. Диккенс посещает некоторые из них; церковная живопись его мало интересует, куда более интересен театр марионеток…

Он бродит по городу изо дня в день, по косым улочкам Генуи. Крошечные лавчонки облепляют большие дома, присасываются, как паразиты к мясной туше: в кривых улочках дома выпирают вперед неведомо почему, иногда они карабкаются на соседа и вот-вот грозят рухнуть.

Диккенс любит город, он не устает посещать гавань, — там дома выше, из каждого окна свешивается какая-нибудь

деталь костюма, которая полощется на ветру, как флаг; перед домами нередко аркады, темные, грузные, они вынесены прямо на мостовую и почернели от времени и грязи. Вблизи гавани — рынки, кишащие людьми, которых стоит понаблюдать. Прежде всего стоит присмотреться к бесчисленным итальянским джентльменам в сутанах и с тонзурами. Чем внимательней он вглядывается в их лица, тем более поражает его бездушное и апатичное их выражение. О капуцинах, впрочем, он узнает немало хорошего. Эти нищенствующие монахи, кажется, в самом деле оказывают помощь беднякам, а молчаливые иезуиты почему-то всегда ходят парами и напоминают черных котов.

Конечно, все это небезынтересно наблюдать. Стоит побродить по Генуе в праздничный день: у католиков много святых, и итальянцы любят посвящать им праздники, а заодно и по нескольку церквей, — кафедральный генуэзский собор, например, посвящен святому Лоренцо, и потому в день этого святого иллюминация в городе особенно пышная, а собор декорирован внутри бесчисленными алыми тканями. Генуэзцы любят помпезность и яркие краски, — ну что ж, это неплохо — значит, вкусы у них совпадают, у него и у генуэзцев, он тоже любит яркие краски.

Но все же он очень скучает по Лондону. Он скучает по лондонским улицам — именно по лондонским, не по каким-нибудь другим. Он пишет рождественский рассказ, и он привык бродить по ночному Лондону, когда возникают еще неясные образы участников грядущих событий.

Палаццо Пешьере со всеми своими фонтанами, террасами и статуями расположен внутри городских стен, но чуть поодаль от города, палаццо возносится над Генуей, фасадом к морю. Из гигантского зала, расписанного фресками, можно окинуть взором всю панораму города и окрестностей от высокого холма Монте Фаччио, вздымающегося слева, до крепости,

поставленной стражем справа над городом. Когда на залив, на берег, по которому к западу вьется дорога на Ниццу, спускается тьма, Генуя загорается сотнями огоньков. Вспыхивает огонь маяка, рассекающий мрак, внезапно нахлынувший над морем, и над городом возникает мерный звон вечерних колоколов. Церковь и монастыри зовут верных католиков к вечерней мессе.

Генуэзские колокола. Их серебряный звон он слышит ежедневно, они неотрывны от Генуи. Уже написана четверть рассказа, но заглавия все еще нет. Но вот как-то вечером он сидит в глубоком кресле перед открытым окном кабинета, октябрьский бриз гонит над лукоморьем легкие облака, маяк уже простер серебряный меч над морем, в порту возникают светящиеся точки; тишина объяла город, раскинувшийся там, внизу, тишина бодрствует и над палаццо Пешьере. И вдруг внезапно она разрывается ударом. То ли в этот момент Диккенс бродил в желтом лондонском тумане по какой-нибудь улочке, где-нибудь у притемзинских доков, то ли он вздремнул, как задремал у камина Тоби Векк, но он вздрагивает от удара.

Нет, это не удар. Это ворвались в тишину генуэзские колокола.

Кажется, будто они ждали своего часа очень долго и теперь вырвались из плена на волю. Они сталкиваются, разбиваются, наращивают звук, надвигаются все ближе сплошной стеной гула; это не серебряное пение, к которому он привык, это бушует яростная медь. Вот так неистово обрушивался когда-то океан на палубу «Британии». И так же, как тогда на «Британии», от этого гула, скрипят и стонут все предметы вокруг в безмолвном палаццо Пешьере. Они скрипят, лязгают и стонут, и Диккенсу кажется, будто у него заныли все зубы… Поистине это не медь, а черт знает что…

«Колокола»... Вот заглавие, которое все время ускользало. В день рождества надо пробудить в читателе добрые, добрые чувства. Надо направить эти чувства на обездоленных и бедняков, надо оказать им помощь и поддержку, ибо никто больше, чем они, не нуждается в милосердии. Надо вынести приговор — нет, этого мало! — надо вызвать у читателя отвращение к тупому ханжеству сытых людей, не знающих жалости к голодному... Пусть честный труженик Виль Ферн — жертва, намеченная Кьютом для расправы, — столкнется на пороге голодной смерти с жестокостью лицемеров. Читателя надо потрясти и трагической сценой смерти несчастной девушки, — это необходимо для того, чтобы и он, как и старик Тоби Векк, почувствовал смятение в своей душе, которой открылась жестокая правда жизни.

Но долг писателя заключается не в том, чтобы оставить душу человека беззащитной. Человек не должен впасть в отчаяние, — долг писателя внушить каждому, кто умеет чувствовать и думать, что в сумятице жизни он найдет верное направление, путь надежды, который уведет от отчаяния и приведет к счастью.

Этот путь откроют ему колокола — духи рождественских колоколов... Они воспринимают все образы и формы, они совершают все поступки, свойственные человеку, задуманные им или те, которые он вспоминает. Они покажут читателю и людские горести, и жестокие сердца, и голод, и смерть, но они же введут в скромную комнатку маленького человечка, старичка Тоби Векка, согретую теплом собственного его сердца и любовью его дочери Мэг. Они — эти милые, добрые волшебники — успокоят смятенную душу Тоби Векка, они спасут от гибели Виля Ферна, они устроят счастье Мэг и ее жениха... А читателю они откроют единственный путь к счастью, который пролегает только через любящее сердце. Через любящее сердце! Ибо только сердце может научить нас

верить и надеяться и не сомневаться ни в себе, ни в других, только оно может вдохнуть в нас силы, чтобы жить… Духи рождественских колоколов проведут старичка Тоби через ряд тяжелых сцен и разбудят его веселым новогодним перезвоном среди тех, кого согрело его доброе, доброе сердце.

Повесть, кажется, удается… Драматические сцены должны растрогать читателя, патетические призывы пишутся с большим волнением, участие колоколов в сновидениях Тоби Векка, как будто не вызывает недоумения. О, нет! Чем дальше пишешь, тем очевидней становится роль колоколов — не генуэзских, а родных, лондонских. Звон генуэзских колоколов, кажется, натолкнул на плодотворную идею…

Диккенс кончает повесть через полтора, месяца. Теперь Форстер, которому он посылает «Колокола» порциями, может вручить манускрипт для печати мистерам Брэдбери и Эвансу.

Вот теперь мистеры Чепмен и Холл пожалеют о злополучном параграфе договора, который позволил им намекнуть на свое право удержать и гонорара пятьдесят фунтов. Пожалеют они и о высокой цене, назначенной за экземпляр «Рождественского гимна», тормозившей продажу книжки. Они лишились Чарльза Диккенса, которому мистеры Брэдбери и Эванс еще в июне выдали по договору аванс в две тысячи восемьсот фунтов. Сумма немалая. Чарльз Диккенс только обязался уступать фирме для издания свои произведения в течение ближайших восьми лет. Но никаких других обязательств он на себя не взял, если не считать упоминания о передаче фирме ближайшей рождественской повести.

Эта повесть — «Колокола». Мистеры Чепмен и Холл могут пенять на себя. Имя Чарльза Диккенса весит много гиней. Брэдбери и Эванс согласились, например, довольствоваться четвертой частью издательской прибыли и едва ли опасаются прогореть.

Но Чепмен и Холл прогадают. Форстер в этом уверен. Когда он прочел «Колокола», весь рассказ целиком, он в этом не сомневается. К рождеству читатель получит драгоценный подарок.

Было бы неплохо, если бы Диккенс недели через две приехал в Лондон держать корректуру, нужны небольшие поправки…

Приехать на несколько дней в Лондон? Превосходно. А почему бы до этой поездки не взглянуть на некоторые итальянские города?

Маршрут выработан немедленно. Он осмотрит Пьяченцу, Парму, Болонью, Феррару, Модену, Венецию, Верону и Мантую.

Заедет в Милан, А затем, через Симплонский перевал — Лондон.

6. Задремавшие города

От Генуи до Милана восемьдесят миль. Кэт и Джорджина приезжают в Милан. Он ждет их в гостинице на Корсо. Он уже отдохнул после пробега по восьми городам, эту ночь он спал хорошо. Утром они спускаются в ресторан, метрдотель низко склоняется перед джентльменом и двумя молодыми леди; джентльмен проявляет львиную храбрость, разговаривая с метрдотелем на языке, который подобострастный итальянец готов считать родным. Заказ дан, метрдотель удаляется, Джорджина просительно говорит:

— Нам вчера помешали, милый Чарльз. Вы обещали подробно рассказать о поездке.

Это верно. Вчера вечером, когда они встретились, несколько соотечественников-туристов, прослышав о приезде в гостиницу signore Диккенса, один за другими являлись выражать ему свои лучшие чувства.

— Рассказать подробно? Потерпите, милая Джорджина, пока я не напишу книжки об этой симпатичной стране. Я еще мало видел. Вот вернусь из Лондона и мы поедем во Флоренцию, в Рим. Я решил что, дорогая Кэт.

Джорджина огорчена перспективой ждать книжки. Он говорит:

— Впрочем, кое-что могу рассказать, но засиживаться за брекфастом не будем. Нам нужно осмотреть собор. После вчерашнего вечернего тумана я начинаю думать, что собор ничем не примечателен.

— Что вы, Чарльз! — ахает Джорджина.

— Но и вы с Кэт не видели ничего, кроме бесформенной глыбы камней. Разве не так? Миланцы боялись, что я разочаруюсь в первый же день, и позаботились о тумане, — так мне кажется.

— Вы всегда шутите, Чарльз. Я читала о соборе и видела столько рисунков. Он должен быть прекрасен.

— Никогда не доверяйте, Джорджина, чужим свидетельствам. Надо быть самостоятельной в суждениях и полагаться на свои органы чувств. Итальянцы любят преувеличивать, в этом я убедился.

— Но эти изображения…

— Чарльз, не дразни Джорджину, — вмешивается Кэт, — она мечтает посмотреть собор и «Тайную вечерю». Ты бы в самом деле лучше рассказал о поездке. Времени у нас достаточно.

— Не у нас, дорогая, а у миланцев. В этом отеле не торопятся, как и повсюду в Италии. Метрдотель, должно быть, забыл о брекфасте. Signore!

Снова метрдотель склоняется перед ним. Он заверяет нетерпеливого англичанина, что все распоряжения отданы. Диккенс вздыхает.

— Ты права, Кэт, у нас времени слишком достаточно. Ну что ж. Расскажу вкратце о поездке. О переездах в дьявольских каретах, о кучерах и о лошадях, которые тоже полагают, что времени у них достаточно, говорить не буду. Вы только что приехали и имеете об этом понятие. Начну с Пьяченцы. Ехать было холодно, шел дождь. Это сонный городок, забытый богом, на улицах растет трава, древний городской вал разрушен, тощие коровы пасутся тут же, у самого городка. Дома мрачные, грязные ребятишки играют с такими же грязными поросятами. Когда я сидел на холмике, там, где были бастионы римской крепости, я понял, что такое лень. Кажется, будто весь городок объят неистребимой ленью, когда смотришь на замерших гигантов — близнецов-гениев Пьяченцы, стоящих у заброшенного дворца. Унылый городок. Парма не похожа на Пьяченцу, — улицы ее оживлены, если их сравнить, разумеется, с улицами других итальянских городов. Но пьяццу, где стоят собор, баптистерий и кампанилья — это значит колокольня, — тоже объемлет величественный покой. Надо вам сказать, что купол собора славится фресками Корреджо, знатоки и теперь приходят в восхищение. Бог его знает, каковы эти фрески были раньше, но уверяю вас, ни один хирург в припадке сумасшествия не мог бы вообразить такой груды перекрученных членов и такого лабиринта рук и ног… Есть там памятник Петрарки, дворец Фарнезе. Вообразите также огромное деревянное полуразрушенное мрачное здание — это театр; партер сделан по римскому образцу, а над ним большие комнаты — не ложи, а именно комнаты, в них восседала знать. Сто десять лет назад в театре ставились спектакли, теперь небо взирает сквозь дырявую крышу, и в этих ложах обитают крысы; сцена тоже прогнила и развалилась. Если призраки где-нибудь ставят спектакли, то, конечно, на такой призрачной сцене в герцогстве экс-императрицы Марии-Луизы.

— Кажется, так звали жену Наполеона Бонапарта? — спрашивает Джорджина.

— Совершенно верно, моя дорогая. Парма отдана в тысяча восемьсот четырнадцатом году экс-императрице, жене Бонапарта. Итак, после Пармы я попал в Модену. Совсем недавно, тридцать лет назад, герцог д'Эсте, которого народ изгнал за тиранию, снова завладел Моденой. Когда я туда въехал, погода была превосходная.

Я посетил там собор во время мессы и очень огорчил мрачного горбатого старика, когда отказался взглянуть на ведро, которое моденцы хранят в старинной башне.

— Ведро в старинной башне! — восклицает Джорджина, не отрывавшая взгляда от Диккенса.

— Это не простое ведро, моя дорогая. В четырнадцатом веке Модена похитила его у Болоньи, что послужило поводом к войне. Но этого ведра я не видел, в чем должен признаться. Из Модены я двинулся в Болонью… Снова древний мрачный город под ослепительным небом. Тяжелые аркады над тротуаром старинных улиц и более легкие арки в новых кварталах. Снова множество церквей, полусонные ряды молящихся, клубящийся ладан, колокола, патеры в великолепном облачении, картины, восковые свечи, кружевные алтарные покровы, иконы, искусственные цветы. Болонья на Венском конгрессе отдана римскому папе, мои дорогие. В Академии изящных искусств немало интересных картин, в особенности Гвидо, Доменичино и Лодовико Карраччи. Я получил комнату в Верхнем этаже отеля, где-то в стороне от главного коридора, в которую никогда не мог попасть. У главного лакея была мания, имевшая отношение к нам, англичанам. Мания безобидная — лорд Байрон.

— Странная мания, — говорит Кэт.

— Согласен. Я открыл ее случайно. За брекфастом я заметил ему, что циновки, которыми был покрыт пол, очень

удобны в это время года. Он немедленно сообщил мне, что милорду Бирону — он так и сказал: Бирону — очень нравились эти циновки. А когда он увидел, что я не питаю пристрастия к молоку, он воскликнул с энтузиазмом, что и милорд Бирон не мог его выносить. Этот лакей знал о милорде Бироне решительно все. А когда я уезжал, он ухитрился мне шепнуть с последним поклоном, что по этой самой дороге любил кататься милорд Бирон. Signore!

Этот возглас относится к метрдотелю, которого нигде не видно. Диккенс распаляется, и повторный призыв звучит угрожающе. Наконец метрдотель появляется во главе двух лакеев. У всех участников процессии в каждой руке по тарелке со снедью, которые прекрасно уместились бы на двух подносах. Жирное лицо метрдотеля сияет. Он закатывает глаза и шепчет со священным трепетом, опуская тарелки на стол:

— Maccheroni! Лучшие в Милане…

Диккенсы уже привыкли к макаронам, но оценить это блюдо не могут. Грудинка, залитая яйцами, — это другое дело, Диккенс не желает менять своих привычек. Он проголодался, ест и, не выпуская ножа из руки, подчеркивает им некоторые фразы.

— Надо вам сказать, что как только мы вступили на папскую территорию, мой кучер начал дрожать. Это было вечером, в Болонью мы приехали в полночь. Он до смерти боялся разбойников, перед которыми власти бессильны. И он, и мой храбрый агент — вы ведь знаете, я ехал с ним на Генуи — все время останавливались и проверяли, не исчез ли мой чемодан, привязанный сзади к карете. Мне это так надоело, что я от души желал, чтобы он исчез, этот проклятый чемодан. Из Болоньи мы двинулись в Феррару, — она тоже под властью папы. Пожалуй, древняя Феррара малолюдна больше, чем другие города. Безмолвные улицы сплошь заросли густой травой. Конечно, и в Ферраре есть палаццо,

но такие они заброшенные… По лестницам вползают сорняки, весь город пребывает в каком-то сне — и дом Ариосто, и тюрьма Тассо, и древний готический собор.

Он делает паузу, ловко подхватывает макароны и с грацией итальянца отправляет в рот.

— О Венеции я не буду сейчас говорить…

— Почему, Чарльз? — спрашивает Джорджина, которая безуспешно пыталась с такой же ловкостью обращаться с макаронами.

— О Венеции надо говорить подробно, Джорджина, а у нас нет времени. Скажу одно: я многого ждал от Венеции, но чудесная действительность превзошла все мои ожидания. Я был там недолго, и это время пролетело, как во сне… Тысяча и одна ночь вряд ли могла бы пленить меня больше, чем Венеция. Перейду к Вероне, которая вместе с Венецией, по тому же Парижскому миру, после наполеоновских войн отдана австрийцам. Надо сказать, что дом Капулетти совсем недалеко от Рыночной площади. Как ты думаешь, Кэт, что теперь помещается в доме Капулетти? Не догадаешься, дорогая! Дешевый постоялый двор, грязная харчевня с назойливыми веттурино, с гусями и с отвратительным псом, который, конечно, должен был хватать Ромео за ляжку, когда тот перелезал через стену. Очень кстати, что в Вероне решительно забыли, где находится могила Джульетты. Когда я об этом узнал, я почувствовал не разочарование, а радость. Куда лучше для Джульетты лежать где-нибудь подальше от туристов и избавиться от посетителей!.. Верона очаровательна со своими высокими башенками и большим замком, с церквами, отделанными мрамором, со своими кипарисами и тихими древними улочками, где некогда раздавались возгласы Монтекки и Капулетти… В одном театрике, совсем современном, и сейчас идет опера о Ромео и Джульетте. Есть там и картинная галлерея, но картины так ужасны,

что испытываешь истинное удовольствие, видя, как они… разрушаются. Что же вам рассказать о Мантуе?

Он снова наливает вина и пьет.

— И Мантуя тоже отдана австрийцам? — спрашивает Кэт.

— Да. Они давно ее захватили, около полутора веков назад. Бонапарт отнял ее, но потом они вернулись, тридцать лет назад. Скучный город. Зато мало туристов. Мне советовали поглядеть палаццо Тэ, говорили, что вид у него странный, что он не похож на другие палаццо. Вздор! Палаццо ничем не отличается от сотен других, разве что стоит на болоте и стены его зал украшены неописуемыми кошмарами Джулио Романо. Вообразите десятки гигантов, таких страшных, таких уродливых на вид, что непонятно, почему художник решил изобразить таких чудовищ. Это, видите ли, битва Титанов с Юпитером. Распухшие лица, треснувшие щеки, все члены вывернуты… На них обрушиваются какие-то скалы, а они тщетно стараются их удержать… Кажется, будто на твою голову изливается целый поток крови… Уф! Видел я в Мантуе и статую Виргилия, которого мантуанцы называют «наш поэт», и еще видел пьяццу, которую дьявол соорудил в одну ночь, неведомо для чего. Она так и называется — пьяцца дель Дьяволо… Полюбовавшись на нее, я решил, что могу ехать в Милан. Вот и все. Нам надо идти. Signore! Il conto!

На этот раз метрдотель не мешкает. Счёт вручается немедленно. Низкие поклоны, и туристы идут обозревать Милан.

Но надо спешить в Лондон, — через месяц святочный рассказ «Колокола» должен попасть к читателю. Кэт и Джорджина возвращаются к «милым малюткам» в Геную, Диккенс переваливает через Альпы. Там наверху, на гребне Симплона, на память ему приходят кимвалы. Эти неодушевленные мерные предметы, когда в них яростно бьют, должны

испытывать нечто подобное тому, что испытывают его глаза. Нет, не от восторга перед удивительным ландшафтом, а от прозаического холода. Зима ранняя и суровая, и сезон, не подходящий для любования Швейцарией с высоты перевала. Через Фрейбург он мчится дальше — на Париж.

Он любит мчаться в этих дьявольских каретах, в этом он сознается. Когда-то он проклинал свою судьбу репортера, подарившую ему полную возможность ежеминутно сломать шею. Но, должно быть, в подобных ощущениях есть неистребимое очарование. Он не отучился торопить кучеров, и не отучится никогда.

Он распахивает дверь на Линкольн'с Инн Фильдс. Форстер теряет свою респектабельность, обнимая его. Радость Форстера искренняя. И Диккенс соскучился по нем.

Он переходит в объятия другого верного друга — Маклайза. Тот показывает очаровательную фронтиспис к «Колоколам». Долгая, хорошая беседа с двумя верными друзьями, беседа далеко заполночь.

«Колокола» уже набраны, гранки его ждут.

Друзья хотят послушать его чтение эпопеи о Тоби Векке — они настаивают.

Макреди занят в тот вечер, когда соберутся друзья послушать «Колокола». Он упрашивает Диккенса прочесть ему повесть раньше — ему одному. Отказать нельзя.

Как впечатлительны актеры! Может быть, чем крупней актер, тем он более впечатлителен и тем менее властен скрыть свои эмоции. Макреди так хохочет, когда можно смеяться, слушая «Колокола», и так горестно плачет в чувствительных местах, что автору можно возгордиться.

Но чувствительные эпизоды «Колоколов» заставляют плакать не только актеров, которые, как известно, носят сердце на рукаве. Харнесс и Дайс — не актеры. Первый — священнослужитель и проповедник, не чуждый литературе,

ибо он издал несколько лет назад драматическое произведение, а второй — также священник и ученый литературовед.

Однако и они плачут на следующий день, второго декабря, когда на Линкольн'с Инн Фильдс собираются друзья послушать чтение о колоколах, которые пришли на помощь беззащитным и униженным и заклеймили таких ханжей, как олдермен Кьют.

Собираются на Линкольн'с Инн Фильдс у Форстера друзья — Маклайз, и Карлейль, и Джеррольд, и художник Стэнфильд и упомянутые ученые священники, приходит и брат Диккенса, Фредерик, и еще кое-кто. Все взволнованы, очень взволнованы; они слушают, боясь проронить слово. Никому не кажется странным, что два клерджмена плачут. Все восхищены не только повестью, но и мастерством чтения. Придет время, и они будут вспоминать этот день — второе декабря, когда они убедились, что автор «Колоколов» не уступает в мастерстве чтения самому Макреди. И они единодушно соглашаются с автором, как согласился вчера Макреди, — нет сомнения, автор обрушил свой кулак прямо в глаз чудовищу, именуемому Ханжеством…

Вот они — ханжи, подвизающиеся на арене общественной деятельности, — олдермен Кьют и сэр Боули, член парламента! У жирного багроволицего судьи Кьюта — олдермена, одного из помощников лорд-мэра — есть собственная программа, помогающая ему неплохо преуспевать. Мистер Кьют решительно отказывается верить в существование таких социальных фактов, как бедность и нищета, и такой породы людей, которые называют себя голодными. Пустое! нет никаких социальных зол; так называемые бедняки прекрасно питаются, — разве он сам не видел у старого курьера Тоби Векка на обеденном столе блюда с требухой? Так называемые бедняки морочат голову олдермену, они выдумали все эти несчастья, о которых приходится теперь столько слышать.

А потому олдермен Кьют решает покончить со всей этой болтовней — покончить и с маленькими оборванцами, и с нищими женщинами, и с голодной смертью. Он твердо решает покончить и с самоубийствами, перед которыми якобы не останавливаются так называемые голодные люди, — именно *покончить,* бесповоротно и навсегда! И он приведет в исполнение свое решение, можете быть уверены, и тогда никому не придет в голову измышлять сказки о социальных бедах и морочить этими сказками честных людей…

А рядом с этим опасным, страшным ханжой слушатели видят другую разновидность ханжества — сэра Боули, члена парламента. Судья Кьют уверен, что все обстоит превосходно, и надо только покончить с болтовней о нищете, а сэр Джозеф Боули внушает бедняку Тоби здравые идеи о благородстве труда. Сэр Джозеф готов оказать поддержку славному Тоби, — конечно, моральную, — если тот усвоит его проповедь и станет избегать обжорства, безделья, пьянства и прочих соблазнов. И сэр Джозеф обещает ему свое покровительство «любящего отца», если полуголодный Тоби осуществит в своей жизни правила поведения, приличествующие каждому труженику. Правила эти легко запомнить — труженик должен вести суровую жизнь, быть бескорыстным и почтительным, воспитывать детей, невзирая на отсутствие средств, и, конечно, быть пунктуальным во всех платежах… И тогда, учит сэр Джозеф, бесчисленные Тоби могут шествовать с высоко поднятой головой и воистину наслаждаться утренней свежестью, которая столь приятна…

Общее восхищение выражает Карлейль. Ему под пятьдесят. Он философ, историк, литературовед, эссеист, лектор; он автор «Истории французской революции», философической книги «Sartor Resartus», множества литературных и исторических эссеев, читал избранной аудитории лекции на темы моральной философии, озаглавив цикл «Герои и героическое

в истории», а совсем недавно выпустил также и сборник эссеев на социальные темы «Прошлое и настоящее». Он прямодушен, презирает дипломатические ухищрения, как истый пресвитерианин. Ему можно верить не только тогда, когда он обрушивается на порочные идеи всей силой своего сектантского энтузиазма. Ему можно верить и тогда, когда он возносит хвалу.

Диккенс растроган. Значит, он был прав, полагая, что в этом святочном рассказе есть неплохие куски. И, значит, идея «Колоколов», так же как идея «Рождественского гимна», нашла правильный отклик в сердцах слушателей. Такой же отклик она найдет и в сердцах читателей, теперь можно не сомневаться.

Он едет назад в Геную. Святки он проведет у домашнего очага в палаццо Пешьере. А во второй половине января возьмет с собой Кэт и снова отправится путешествовать по Италии. Новых тем и новых литературных планов пока нет. Но в этом году он может не приступать к роману. Можно позволить себе отдых.

7. Снова сердце

Он стоит в палаццо Барберини перед портретом Беатриче Ченчи и не может отвести взгляда. Кто не знает о короткой жизни Беатриче Ченчи и о гибели ее на эшафоте — как расплате за участие в убийстве своего гнусного, сладострастного отца Франческо?

Из всех художественных сокровищ Рима этот портрет он запомнит навсегда, он в этом уверен. Шестнадцатилетняя Беатриче — ей было только шестнадцать лет, когда она умерла, — смотрит на него с такой тоской, с такой обреченностью, что нет возможности покинуть ее, беззащитную. Но в этой неземной печали проглядывает надежда на милость неба после смерти, которую уже ей не отвратить. Право, хочется

плакать, если вглядишься в лицо этой девушки. Говорят, что Гвидо Рени запомнил ее лицо, когда тележка везла несчастную к месту казни, и потом написал портрет по памяти. Может быть, это так, но во всяком случае рукой художника водила сама Природа. Он никогда не забудет этого взгляда несчастной Беатриче. С каким мастерством волшебный Гвидо Рени пробуждает в зрителе глубокие чувства! Эта картина не чета прославленной «Тайной вечере» Леонардо, которую они вместе с Кэт видели в Милане в трапезной церкви Санта Мария делле Грацие. Знатоки приходят в экстаз перед «Тайной вечерей». Слов нет, композиция величественная, но надо сознаться: картина сильно пострадала от разрушения и от попыток неведомых реставраторов освежить краски, и потому лица участников «Тайной вечери» весьма искажены, и картина решительно не оставляет того впечатления, которого ждешь.

Он стоит перед Беатриче Ченчи и не может отойти от картины этого сентиментального, слащавого болонца. В Риме он недавно; десять дней назад он выехал из Генуи через Пизу. Еще дня два назад он был разочарован Римом. Прежде всего оказалось, что этот город, который называют «вечным», мало чем отличается от любой столицы, — такая же деловая сутолока на главных улицах, такие же магазины и экипажи. Такой город не может пробудить никаких исторических воспоминаний. В прославленном Соборе св. Петра, пожалуй, любопытно побывать во время торжественной мессы, но опять-таки, если быть искренним, надо сознаться: от посещения собора англиканской церкви получаешь большее удовлетворение, когда заиграет орган, чем от лицезрения пышного богослужения католиков… Даже тогда, когда служит сам папа, месса не вызывает никаких религиозных переживаний, а собор походит скорее на какой-нибудь пантеон, или сенат, или на что-либо подобное.

Но вчера привелось побывать на развалинах Колизея. Вот это подлинный Рим, тот Рим, который ожидал увидеть! Полуразрушенные тысячелетние стены, повитые плющом, высокая трава под портиками, гигантские коридоры, отверстые солнцу, арена, на которой наслоилась земля в течение многих веков, арки Константина, Септимия Севера, Тита... Такое зрелище нельзя забыть. А если у посетителя есть воображение, — как легко увидеть перед собой необъятную толпу, взирающую на арену, откуда несутся крики умирающих и где кровь льется потоком...

Колизей заслоняет все, что он видит в Риме. Надо побывать еще раз и в Соборе св. Петра, и в других римских церквах, посмотреть фрески и статуи, о которых критики пишут, захлебываясь от восторга. И прежде всего — Ватикан. Столько в нем знаменитых картин и статуй, что не приходится долго стоять перед каждой. Вот, наконец, прославленный плафон Сикстинской капеллы — «Страшный суд» Микель-Анджело.

Он обозревает плафон, пока не начинает кружиться голова. Рядом стоит в такой же позе Кэт. Когда она задирает вот так голову, кажется, будто у нее с подбородком все в порядке, а на самом деле подбородка-то у нее почти нет, можно сказать, что он прямо переходит в шею. Кэт неотрывно смотрит на плафон, и большие ее глаза стали еще больше. Неужели от восхищения плафоном?

Диккенс спрашивает ее об этом, когда они выходят из Ватикана. Да, плафон производит ошеломляющее впечатление, «Страшный суд» — величайшее произведение искусства, так ей кажется.

И Кэт медленно переводит на него глаза, которые почему-то всегда кажутся сонными.

— А вот я не могу понять, — раздраженно говорит Диккенс, — как может человек, чувствительный к красоте,

утверждать, что в «Страшном суде» есть некая общая идея, которая была бы в гармонии с темой такой исключительной важности. Ты находишься в плену у знатоков искусства, слишком часто приходящих в восхищение. Но мне кажется, что это восхищение несовместимо с правильной оценкой истинно великих произведений. В Венеции, например, я видел «Успение» Тициана, и я не понимаю, как можно одновременно восхищаться непревзойденной красотой этой картины и защищать картины, ничего не стоящие. Но знатоки искусств сплошь и рядом так поступают.

— Какие же картины, ничего не стоящие, защищают знатоки искусств? — спрашивает Кэт. Она столько видела сегодня замечательных картин и статуй, что не может вспомнить ни одной, ничего не стоящей.

— О! Да, например, эту невероятную карикатуру Рафаэля, мы ее только что видели, — папа Лев Четвертый чудодейственно прекращает большой пожар. Разве мало людей восхищаются этой картиной! А потом они идут в соседнюю залу и так же восхищаются гениальной картиной того же Рафаэля — «Преображением». Как это может быть?

Карикатура Рафаэля. Кэт пожимает плечами. Ни за что она не могла бы назвать картину Рафаэля карикатурой. Она молчит, но Диккенс чувствует ее противодействие и говорит:

— Пусть это будет ересью, но я тебе прямо скажу, что в Ватикане, по моему мнению, рядом с замечательными статуями и картинами приютились никуда негодные… Я никак не могу забыть о таких общеизвестных истинах, как нормальные пропорции рук, ног и головы. И когда мне попадаются произведения, которые мешают этим воспоминаниям, я никак не могу ими восхищаться. И предпочитаю об этом говорить прямо, моя дорогая.

Он что-то вспоминает, затем продолжает:

— Когда я вижу, скажем, мальчишку-лодочника, который изображен херувимом, ломового извозчика, который изображен евангелистом, — я не вижу оснований, почему я должен восхищаться картиной, как бы ни была высока репутация художника. И скажу откровенно: я не люблю этих святых Францисков и святых Себастианов… Когда я вижу, что их лица совсем не соответствуют теме, я, конечно, не могу упрекать художника. Дело в том, моя дорогая, что эти великие художники целиком были в руках монахов и духовных особ, и приходилось им рисовать без конца монахов и прочих церковнослужителей, которые во что бы то ни стало, из тщеславия и невежества, хотели быть на картине святыми апостолами.

— Но в Риме такая масса великих произведений искусства…

Диккенс словно ждет этой фразы.

— Например, все эти обломки статуй, которые выкопали из земли и на этом основании поместили в Ватикан, хотя бы у них не было других достоинств, кроме их древности! Надо только нацепить на себя очки лицемерия, а затем приходить от них в восторг, провозгласив себя человеком с художественным вкусом, только потому, что потрудился нацепить эти очки. Масса великих произведений искусства! Согласен. Например, статуи Кановы. Но разве мы не видели в соборе и в других церквах статуи Бернини и его учеников? Ничего более отталкивающего я в жизни своей не видел. Артерии и вены толщиной в большой палец, волосы — гнездо змей, а позы такие, что превосходят все сумасбродства. Ни в одном месте на земном шаре нет такого количества неудачных скульптур, как в Риме!

Конечно, его нельзя разубедить, раз он укрепился в этом мнении. Вместе с Кэт он покидает Рим. Февраль — холодный.

Неаполитанский залив производит на него меньшее впечатление чем Генуэзский. Не выдерживает сравнения с Генуей и город. Впрочем, это неудивительно. Генуя, по его мнению, может уступить только Венеции.

Неаполь страшен своими лаццарони. Такой нищеты и грязи, как в Неаполе, он не встречал нигде, он почти уверен, что на земном шаре нет других, столь же грязных и несчастных нищих. Он решает подняться на Везувий. Джорджина здесь, в Неаполе, — он выписал ее из Генуи, ей, бедняжке, скучно в Генуе. Подъем на Везувий несколько примиряет его с Неаполем, — панорама, открывшаяся в лунную ночь перед туристами, незабываема.

Он возвращается через Рим. На пути — Флоренция. Она открывается путешественнику, когда он взбирается в карете на холм. Там, внизу, в долине, пересекаемой Арно, простирается замечательный город, позолоченный лучами восходящего солнца.

Этот город так же нельзя забыть, как нельзя забыть Венецию. Всегда будешь помнить улицы, проложенные среди тяжелых, мрачных каменных глыб-дворцов, некогда предназначенных защищать жизнь своих владельцев. В этих дворцах-крепостях с небольшими окнами, тщательно закрытыми, творились мрачные дела, а одна из самых тяжелых каменных глыб — палаццо Веккио со сторожевой башней, командующей над всем городом, — право же, заставляет вспоминать о страшном Замке Отранто, о котором поведал изобретательный Хорэс Уольполь… Стены главной залы этого дворца увешаны, конечно, картинами, прославляющими Медичи и воинственный народ Флоренции. Если турист не устал от изобилия картин и статуй, виденных им в Италии, он получит полное представление о художественных богатствах Флоренции, обозревая бесчисленные залы флорентийских дворцов. Тогда он убедится, что Флоренция и по сей день

бережет мировые коллекции произведений искусства, как это было в далекие, далекие времена.

Но Диккенс уже устал от произведений искусства. Надо возвращаться в Геную и там отдыхать от Италии и не спеша наводить порядок в своих воспоминаниях об итальянских городах.

Снова палаццо Пешьере. Никакой срочной работы нет, можно полениться, подражая симпатичным итальянцам.

Наконец Диккенс прощается с палаццо Пешьере. Через Сен-Готард и Швейцарию путешественники возвращаются в конце июня домой…

И скоро немногочисленные служащие небольшого театрика «Роялти» на Дин-стрит, арендованного мисс Келли, наблюдают необычную картину. Два джентльмена, предводительствуемые третьим, появляются как-то поутру на сцене. Как не узнать в предводителе мистера Чарльза Диккенса! Но и другие двое известны. Это мистер Марк Ли́мон, редактор «Панча», и мистер Дуглас Джеррольд.

Мистер Чарльз Диккенс сбрасывает сюртук и остается в красноватом бархатном жилете, мистер Марк Ли́мон следует его примеру. У них в руках молоток, сверло и гвозди, они устремляются в зал и начинают там орудовать, наводить порядок в ложах и в партере, где тщательно подсчитывают места. Тем временем мистер Дуглас Джеррольд пытается соорудить на сцене камин, который мог бы ввести зрителей в приятное заблуждение. Он хочет добиться полного правдоподобия, для этого у него есть красные блестки и гашеная известь. Преуспев в своих трудах, джентльмены удаляются. Зрители, к приему которых готовятся эти джентльмены, увидят на сцене «Роялти» любительский спектакль. Будет поставлена небезызвестная пьеса Бена Джонсона «Всяк в своем нраве», Режиссер — мистер Чарльз Диккенс; он же главный герой, капитан Бобэдил.

Мистер Чарльз Диккенс — заправский режиссер, он ничуть не уступает любому джентльмену, избравшему эту нелегкую работу своей профессией. Персонал театрика «Роялти» в этом скоро убеждается. Когда. Диккенс усаживается за столик в углу сцены, взоры актеров устремляются на него. Актеры готовы ему повиноваться, как матросы своему капитану во время шторма. Тон его властный, но когда у актера что-нибудь не ладится, Диккенс терпелив. Вежливо, но настойчиво он заставляет актера повторять мизансцену, пока тот не добивается желаемого результата.

Это не так легко. У актеров нет опыта. Они одушевлены страстным желанием изобразить героев Бена Джонсона, но легко это им не дается. Маклайз, например, выбывает из строя. И другой художник, Стенфильд, признает себя неспособным воплощать Дуанрайта и отступает. Он ссылается на невозможность совмещать хлопотные обязанности декоратора с исполнением небольшой роли Дуанрайта. Пусть будет так. Можно быть талантливым художником, но плохим актером.

Но режиссер доволен. Мистер Форстер, по его мнению, великолепен в роли Китли. И хорош Дуглас Джеррольд, изображающий мастера Стивенса, и хорош редактор «Панча» Марк Ли́мон в роли Брэнворма, а известный карикатурист «Панча» Лич справляется с ролью мастера Мэтью.

Когда наступает пора появиться главному герою, капитану Бобэдилу, режиссер покидает капитанский мостик. Превращение происходит на глазах партнеров.

Диккенс опускается на жесткий диван в каморке водовоза, где обитает капитан, и кричит хозяйке: «Кружку пива!» Это не Диккенс, это хвастун и враль, напыщенный и жалкий, это бенджонсоновский вариант Фальстафа. В эпоху ученого Бена и королевы Бесс немало таких капитанов прозябало в отставке, где-нибудь на задворках в веселом городе Лондоне.

Один из них возник вот здесь, на маленькой сцене театрика мисс Келли, возник с такой убедительной реальностью, что партнеры его ошеломлены. Вот этой ночью золотая молодежь пировала где-нибудь в притоне, с ней пировал, на даровщинку, конечно, и бравый капитан; теперь он чувствует себя неважно, ему нужно опохмелиться.

Репетиция идет, Диккенс переходит от своего столика на сцену, и, когда он на сцене, служащие мисс Келли, взирающие на репетицию, не склонны верить, что мистер Диккенс не играл раньше в Друри Лейн. Вот он издевается в конце первой сцены второго акта над Даунрайтом, орет во весь голос: «Мусорщик!» и исчезает со сцены. Вот он самоуверенно бросает по адресу шпаги: «Это толедская! Вздор!» и презрительно сгибает шпагу. Вот он немилосердно хвастает, производя подсчеты армии врагов, с которой он легко бы справился. Если ему дадут еще двадцати таких же, как он, храбрецов, он обучит их тайнам фехтования и — горе врагам… Тут он обрушивает на собеседника водопад цифр; эти сотни — враги, которым он уготовит печальную участь. Но в арифметике он не силен, он рисует в воздухе цифру за цифрой, он подсчитывает общий итог и делает великолепный жест. Жирная черта в воздухе подчеркивает всю сумму — горе врагам!

Диккенс захвачен подготовкой спектакля. Пьеса ученого Бена не легка для режиссера; это первая классическая пьеса, которую ему приходится ставить, она не чета пустячкам, которые он показывал американцам. Работы целый воз. Он занят с утра до вечера: режиссирует, репетирует роль, торопит Стенфильда с декорациями, надзирает за работой бутафора и сценариуса, обучает суфлера. Но и этого ему мало, ему кажется, что плотники работают медленно, — он яростно хватает рубанок и начинает им помогать.

Дома, за дверью его кабинета, слышится немолчный гул. Он учит роль, он без конца повторяет одну и ту же фразу, один и тот же жест, пока не убеждается, что лучшего не добьется.

— Ха-ха-ха! — заливается восьмилетний Чарльз, входя в столовую, где сидят мать и тетя Джорджина в ожидании Диккенса, который должен скоро появиться.

— Что с тобой, Чарли? — спрашивает Джорджина, а Кэт удивленно поднимает брови.

— Па забыл сегодня запереть дверь, я проходил мимо его кабинета и увидел… Ох, я не могу! Па сидел на стуле, потом встал, потом опять сел, потом встал, потом опять…

— Чарли, перестань! — обрывает Кэт — Долго ты будешь повторять одно и то же?

— Опять сел, потом, встал, потом…

— Довольно! — слышится приказ. — Что же тут смешного? Папа учит роль.

— Мне бы надоело так учить роль, — решительно заявляет Чарли.

— Ты еще ничего не понимаешь. Лучше скажи мне, почему ты подсматривал в замочную скважину? Папа никогда не забывает закрыть дверь.

Чарли не предусмотрел коварного вопроса. Он отрицает обвинение, но сам чувствует, что это звучит неубедительно. Слышатся шаги. Входит Диккенс; должно быть, он добился успеха и решил свою задачу — садиться на стул и вставать, как капитан Бобэдил.

Он добивается большого успеха в сентябрьский вечер, назначенный для спектакля. И он, и его актеры. Теперь можно обратиться к рождественской повести.

Снова он должен рассказать читателю то, что знает о его — читателя — сердце. Это его долг как писателя, ибо какая другая тема взволнует человека больше, чем тема

человеческого сердца? Но на этот раз надо найти новый ключ, чтобы отомкнуть это сердце и выпустить на волю, как птицу, лучшие чувства, самые добрые чувства, самые человеческие. Разве мирная, счастливая любовь супругов не может стать таким ключом! Счастливая любовь, семейный уют у камелька… Над огоньком камелька весело распевает чайник, дрова потрескивают, у камелька любящая жена ждет мужа. Это идиллия, но кто отказался бы от такой идиллии, если он человек, а не чудовище с мертвым сердцем?

Его мысль устремляется по всем путям, которые — так всегда бывает — словно лучи, исходят из темы. И вдруг, — не понять никогда законов фантазии — он вспоминает о дворце Пешьере. Нет, не о дворце, а о сверчках. Каждый вечер запевали они свою песенку и пели ее, пели без конца, всю ночь: чирруп, чирруп… Вот он, ключ! Это пение пусть сплетется с пением чайника, и тогда ни один человек не найдет в себе силы противостоять очарованию идиллии. А потом, в нужный момент, милый, трогательный сверчок выступит вперед, как эмблема семейного счастья, и его «чирруп» отомкнет человеческое сердце и выпустит на волю, как птиц, лучшие чувства, самые человеческие…

Он пишет «Сверчок у камелька». Трогательная идиллия о тихом семейном счастье четы Пирибинглей в нужный момент грозит превратиться в семейную драму. На идиллию у камелька, на счастье немолодого Джона Пирибингля падает мрачная тень некоего юноши. О, разумеется, кроткая Крошка, молоденькая жена Джона Пирибингля, осталась верна своей первой любви — этому юноше. Человек с каменным сердцем, фабрикант игрушек Текльтон, злорадствует, предвидя крушение семейной идиллии. И человек с добрым сердцем, бедняга Джон Пирибингл уже тянется к смертоносному оружию, которое поразит изменницу. Его нехитрая

голова одурманена жаждой мести, а сердце уже во власти духов зла, человеческим чувствам уже нет выхода…

Но распахнуть сердце можно. В это читатель должен верить, если он — читатель книг Чарльза Диккенса. В «Колоколах» фантазия вывела на сцену духа колоколов, — здесь она выводит фею уютного сверчка. Чирруп! — верещит сверчок, и сердце бедняги Пирибингля захлестывает сладкая волна воспоминаний о былом счастье. Чирруп! — И в сердце бедняги пробуждается вера в невинность Крошки…

Вокруг основного сюжета Диккенс обвивает еще одну чувствительную эпопею — о слепой девушке с чистым сердцем и об ее отце Калебе, трогательном до слез. К рождеству читатель получит повесть, быть может, не менее необходимую ему, чем две предыдущие. Если Брэдбери и Эванс люди деловые, книга должна иметь успех, он в этом не сомневается. Тогда он может быть спокойным за исход начинания, которое волнует его в последние месяцы.

Только слепец не видит, что в Англии неблагополучно. Урожай плохой, Ирландия накануне голода, картофельный голод ждет и Англию. Бедствие надвигается все ближе с каждой неделей. И приближаются сроки, когда буржуа заставит лендлорда пойти на капитуляцию — уступить натиску Лиги в ее борьбе за отмену «хлебных законов».

Уже не первый год энергия двух политических организаторов, Кобдена и Брайта, не утихает. Яснее, чем более близорукие их единомышленники, они видят, что будущее не сулит буржуа ничего хорошего. Положение рабочего класса ничуть не улучшилось после билля об избирательной реформе, тринадцать лет назад. Какие радужные перспективы сулили буржуа, ратуя за этот билль! Эти перспективы не оправдались. Рабочий класс ответил на их крах чартизмом, и буржуа начал энергически изыскивать способ отвести от себя чартистскую угрозу. Такой способ был найден:

переложить на землевладельца ответственность за экономическое положение страны. И спасением для Англии была провозглашена отмена пошлины на хлеб — отмена «хлебных законов».

Боевым лозунгом дня либеральных буржуазных политиков стала борьба против пошлин на ввозной хлеб.

Этот день длился уже шестой год. Ассоциация — Лига — организовалась еще в начале 1839 года. И все эти годы землевладельцы вели непреклонную борьбу через печать и парламент против своих союзников по борьбе с чартизмом. Чартисты и Лига боролись за свои цели параллельно. И Лига отвоевывала у чартизма все новые отряды сторонников, — она внушала всему английскому народу, что дешевый хлеб спасет Англию. Все социальные болезни страны должен был излечить дешевый хлеб, — не политические требования чартизма, но отказ от хлебных пошлин.

Одной из главных причин угасания чартизма явились, конечно, разногласия среди чартистских вождей. У чартистов было две аграрных программы. Среди чартистов было немало слишком осторожных политиков, которые отстаивали чисто экономические цели борьбы. Среди чартистов было немало, наконец, рядовых членов, которые разуверились в успехе движения после неудавшейся всеобщей стачки осенью 1842 года. Были еще и другие причины, и все они способствовали лишь тому, что вербовщики Лиги могли похвастать большими успехами. Перспектива дешевого хлеба и падения цен внутри страны в самом деле сулила рабочему некоторое, смягчение острой нужды. Немало рабочих боролись на стороне Лиги и отошли от чартизма. Они не отдавали себе отчета в том, что промышленники и купцы своей борьбой против заградительных пошлин на хлеб прежде всего защищали себя от рабочего класса. Но чем больше землевладелец повышал цены на хлеб, тем настойчивей рабочий требовал

повысить заработную плату, тем больше было забастовок в стране, и тем опаснее было это для буржуа.

Но та же опасность взрыва угрожала и лендлордам. Это было очевидно для дальновидных политиков торийской партии. Пока эта угроза не казалась им близкой, торийская партия отвергала требования буржуа. Чем больше росла нищета народных масс, тем ближе придвигался час капитуляции для торийской партии. Это начинал понимать вождь тори, Роберт Пиль, а Кобден в своей речи, летом 1845 года, предрек капитуляцию землевладельцев в тот час, когда выяснятся размеры неурожая.

Как и раньше, политическая сторона вопроса о пошлинах на хлеб не интересовала Диккенса. Политическая борьба все еще рисовалась ему примерно в том виде, в каком он изобразил в «Пиквике» выборы в парламент, а политические деятели — в образах Грегсбери, лорда Гордона и Погрэма.

Но разве не является большая политическая газета сильнейшим средством влияния на народные массы?

И почти в то же время, когда Роберт Пиль, собрав членов своего торийского кабинета, тщетно пытался убедить их пойти на капитуляцию перед либеральной буржуазией, Диккенс решил организовать большую ежедневную газету. Он убедит Брэдбери и Эванса издавать газету. Редактором будет он сам.

Успех «Сверчка у камелька» укрепил это решение. Читатель любит Чарльза Диккенса, в этом сомневаться нельзя. Тираж книги вдвое превысил тираж «Гимна» и «Колоколов».

Ежедневная газета. Теперь он сможет непрерывно направлять общественное внимание на важнейшие вопросы социальной жизни — на народное образование, на разумную систему наказаний, на общественное призрение, на судоустройство. Теперь он сможет непрерывно бороться с ханжеством; и лицемерием, религиозным фанатизмом, ростовщичеством, волокитой в правительственных учреждениях.

Разумеется, газета должна стать органом либеральной мысли, объявить войну протекционизму, защищать отмену хлебных пошлин, а во внешней политике не зависеть от лорда Абердина, торийского министра.

Газета будет называться «Дейли Ньюс» — «Ежедневные известия».

8. Побежденная гордыня

Еще никогда день не казался таким коротким. Даже нет времени заглянуть в детскую и полюбоваться новорожденным. Он родился только два месяца назад, мальчик, зовут его Альфред Теннисон. Хорошо, что у Кэт есть помощница Джорджина, на нянек нельзя полагаться.

Но нельзя полагаться и на Брэдбери и Эванса. Издатели они опытные, но неспокойно, если сам не проверишь, все ли подготовлено в издательстве к выпуску первого номера газеты. Намечен уже день выпуска — 21 января. Кабинет для главного редактора уже отделан. Брэдбери и Эванс отвели газете помещение там же, где контора издательства.

Каждое утро он идет пешком — для моциона — на Флит-стрит. Оттуда под аркой проходит в переулок, параллельный Бувери-стрит. В переулке невзрачные, дома. Брэдбери и Эванс не заботятся о внешнем виде домов; их вполне удовлетворяет, что большинство домов в этом квартале принадлежит фирме Брэдбери и Эванс. Надо войти в издательство, подняться по лестнице во второй этаж. Его кабинет во втором этаже, рядом комната помощника. Заведующие отделами, приемная и производственная часть — выше; типография, конечно, в полуподвальном этаже. На четвертом этаже комнаты корреспондентов, репортеров и стенографистов, а еще выше живут наборщики.

Сколько хлопот! Надо набрать штат. Старина Форстер согласился писать передовые статьи, но у него нет возможности

проводить в редакции несколько часов. Он будет писать дома и считаться заместителем редактора. Пост помощника редактора надо предложить опытному автору передовиц в «Морнинг Кроникль», Эйру Кроу, его передовицы будут чередоваться с форстеровскими. Надо выбрать опытных секретарей редакции. Репортерами пусть командует мистер Джон Диккенс, он еще очень бодр для своих шестидесяти лет. Музыкальный отдел надо поручить тестю, мистеру Хогарту. Сын Дугласа Джеррольда, Бленчард, — способный юноша, ему можно будет поручать театральные рецензии…

Для первого номера надо написать первый путевой очерк об Италии. Итальянские очерки будут печататься в газете регулярно, под заглавием «Письма с дороги».

Необходимо проверить, как идут поступления в газетный фонд. «Дейли Ньюс» — не однодневна. Фонд газеты солидный. Но сколько пришлось поработать, чтобы исторгнуть у денежных мешков необходимые для издания газеты фунты! Имя Чарльза Диккенса открывало все двери. Но требовалось немалое красноречие для популярного изложения причин и оснований создания нового органа либеральной мысли. Имя Диккенса и красноречие привели к успеху; один богач-оригинал даже уплатил свой пай соверенами — не чеком на банк, а полноценной золотой монетой. Пай крупный — семь тысяч соверенов. Надо было подробно растолковать пайщикам задачи либерального, но независимого органа.

Не только либерального, но и независимого. Грамотная Англия прочла в некоторых газетах объявление, что новая утренняя газета, «Ежедневные известия», ценою в пять пенсов, есть либеральный орган, но тем не менее независимый, и обещает читателю уделять особое внимание городским новостям, коммерческой деловой информации и, в частности, всем вопросам, связанным с постройкой железных дорог. Во всех частях света у нее есть иностранные корреспонденты,

парламентские и судебные отчеты поручены весьма опытным джентльменам, среди сотрудников насчитывается немало самых известных писателей, а руководит литературным отделом Чарльз Диккенс.

Главный редактор не покидает своего кабинета в ночь на 21 января 1846 года пока мистер Пауэлл, секретарь, торжественно не кладет на стол перед шефом свежий номер газеты.

И у редактора, и у секретаря воспаленные глаза от усталости и возбуждения. В кабинет входят главные сотрудники газеты. Диккенс поздравляет их, пожимает руки и выходит один в молочный туман ночного Лондона.

Дом на Девоншир Террас спит. Спит и Кэт, — она ждала его, но заснула, не дождавшись. Сбросив теплое пальто в холле, Диккенс прямо проходит в спальню. Кэт просыпается. Газета перед ней. Диккенс взволнован.

— Вот, погляди, моя дорогая, — говорит он, не обращая внимания на то, что Кэт еще не совсем проснулась. — Погляди! Мое обращение к читателям. Слушай: «Защищаемые "Дейли Ньюс" принципы — прогресс, просвещение, гражданская и религиозная свободы, равенство перед законом — те принципы, которых, по мнению руководителей газеты, требует передовая мысль нашего времени, а санкционируют их справедливость, разум и опыт». Как тебе нравится? Неплохо? К сожалению, экспресс из Парижа не прибыл, и свежих заграничных новостей мы не могли дать. Должно быть, пароход задержался из-за шторма, пришлось об этом упомянуть; это жаль, но ничего не поделаешь. Вот целых пять столбцов «Железнодорожных новостей». Ты ведь знаешь, как читатель интересуется железными дорогами… А вот большой отчет о митинге в Норвиче, — все о том же, о хлебных законах. Кобден дал там бой и наголову разбил Вудхауза.

— Что это за подписи, мой дорогой? — спрашивает Кэт, окончательно пробудившаяся.

— Петиция об отмене проклятых пошлин на митинге в Вестминстере. Вот это…

— Где же твои «Письма с дороги»?

— На шестой странице, — он шуршит страницами. — А это — большая статья о музыке. Вот негодяи!

Кэт привыкла к неожиданным его переходам.

— Взгляни на театральный отдел, моя дорогая!

Она пробегает глазами заголовки:

— «Сверчок у камелька», «Сверчок у камелька», «Сверчок у камелька»…

— Вот именно! В четырех театрах! Пираты бесят меня. И ничего с ними не поделаешь!

Он не продолжает. Сегодня «пираты», невозбранно переделавшие из его повести пьесу, бессильны охладить его радостное возбуждение.

Но радостное возбуждение очень скоро погасает. И не по вине «пиратов», и не по вине Брэдбери и Эванса, и не по вине сотрудников. Виновник — он сам, Чарльз Диккенс.

Форстер это предвидел. Но если его друг, Диккенс, что-нибудь задумал, разве можно его разубедить?

— Руководство газетой требует крепких нервов, дорогой Диккенс. Вы не знакомы с этой работой.

— Я был репортером, вы это хорошо знаете.

— Главный редактор — не репортер. К тому же, ночная работа отразится на вашем здоровье.

— Пустяки! Я здоров.

— Я не могу понять, как вы будете писать днем, после бессонной ночи.

— Время для сна я найду. И скоро привыкну к ночной работе.

Форстер развел руками. Он не договаривал. Он хорошо знал характер своего друга, Чарльза Диккенса. Нервическая впечатлительность и переходы от одного расположения духа

к другому не являются достоинствами главного редактора. Если прибавить к этим качествам самовластие… Ничего хорошего не может получиться.

Первый номер газеты вышел. Проходит несколько дней. Главный редактор, как капитан корабля, всегда должен давать ясные и четкие распоряжения. Но Диккенсу это не удается. Опытный делец Брэдбери заменяет неясные приказы весьма точными. Главный редактор иногда выносит слишком поспешные решения. Брэдбери спокойно исправляет ошибку. Главный редактор полагает, что его вмешательство в работу каждого сотрудника необходимо для пользы дела. Сотрудники редакции скованы, они не согласны считать мистера Диккенса единственным ответственным лицом в газете. Но главный редактор непреклонен. И он уверен в своей проницательности. Все приглашенные им сотрудники безупречны. Брэдбери вежливо позволяет себе не согласиться. Какого черта вмешивается издатель в дела газеты!

И старина Форстер прав. Бессонные ночи утомляют и изматывают. Работать над книгой путевых заметок об Италии очень трудно. В сложной машине большой газеты столько винтиков, что забываешь о некоторых из них. Но не делиться же с кем-нибудь ответственностью!

Дни идут, утомление растет, Брэдбери снова вынужден что-то исправлять.

Basta! Он не раз слышал в Италии это восклицание. Он устал, раздражен, не может писать.

Девятого февраля — через семнадцать дней после выхода первого номера «Дейли Ньюс» — Диккенс покидает свой кабинет на Флит-стрит, чтобы больше туда не возвращаться.

Вот у него уже нет «своей» газеты. К дьяволу! Он должен писать книгу. Большой роман. «Письма с дороги» он оставляет газете. А сам поедет куда-нибудь.

Почему бы не поехать, например, в Швейцарию? Как и в Италию, он мог бы поехать со всей семьей. Когда он переваливал через Сен-Готард, можно было залюбоваться пейзажем. Решено, он отправляется в Швейцарию.

Но до отъезда он может написать несколько статей в «Дейли Ньюс» на темы, которые вошли в программу газеты, — в программу, написанную его рукой. Работа над ними не помешает образам романа все яснее выступать из небытия. Он пишет статью «Преступление и просвещение», он пишет три статьи о смертной казни. Он находит самые нужные слова, чтобы изобразить тягостные впечатления зрителей, наблюдавших вместе с ним публичную смертную казнь. Он чувствует себя обязанным дать исход терзавшим его чувствам. Он со всей силой протестует против публичного приведения в исполнение смертных приговоров…

И в начале июня он в Лозанне.

Его кабинет в небольшой вилле выходит на балкон. Вилла на холме, перед окнами, вдали, Женевское озеро и Альпы. Роз очень много, вилла по праву зовется «Розмон» — «Розовая гора». Он бродит с детьми по саду, где в уголке приютился крохотный chalet — хижина в две комнатки. Ему нравится чистенькая, аккуратная Лозанна; изобилие цветов, лужайки, напоминающие английские; на уютных улочках не встретишь монахов, наводняющих Италию, и народ, по-видимому, отличается от итальянского своим трудолюбием.

Прогулки в горы доставляют истиннее наслаждение. Кэт и Джорджина восседают на мулах, как и другие леди, и мужественно переносят многочасовые экскурсии. Во время таких экскурсий, как говорят, случаются неприятные эпизоды, но если турист осторожен, то ничего дурного с ним не произойдет…

Идут дни, Диккенс входит в круг забот своих новых, лозаннских приятелей. Его знакомые, друзья прогресса, враги

политической реакции, озабочены активностью католиков-реакционеров. Католические ретрограды сильны в некоторых кантонах, они организовали даже католический союз — «Зондербунд», у них есть даже армия. И они намерены заставить другие кантоны вновь открыть очаги фанатизма и реакции — католические монастыри, вновь призвать верных слуг реакции — иезуитов… Разве это может не волновать друзей прогресса!

И нельзя оставаться безучастным к тому, что происходит на родине, в Англии. Сэр Роберт Пиль все еще борется за отмену пошлин на хлеб, борется с такой же настойчивостью, с какой раньше сопротивлялся фритредерам — сторонникам свободной торговли. Он ведет за собой только тех тори, которые поняли невозможность дальнейшей борьбы. Но в рядах его партии немало непонятливых. Хорошо, что в Палате лордов его поддерживает лорд Веллингтон. И в конце концов Пилю и Веллингтону удается провести долгожданный билль об отмене пошлин на хлеб.

Как же не следить за исходом многолетней борьбы против «хлебных законов»? И разве можно быть безучастным к политике вигов, которые провели билль об отмене пошлин только благодаря Пилю, но тут же сбросили его, провалив другой его билль. Вот они, политики!

Но он приехал в Лозанну, чтобы писать роман.

Он уже видит многих героев. Он их привез из Лондона. И все же трудно начать. Он видит в центре высокого, сухого, холодного негоцианта. Этот джентльмен воплощает надменность и гордыню наследственного английского буржуа. Немногие аристократы с трехсотлетней генеалогией могут состязаться с мистером Домби в его презрительном чванстве. И рядом с этим не очень привлекательным негоциантом он видит маленького его сына. В этом сыне — воплощение для мистера Домби идеи непрерывности великой фирмы, Домби

и Сын, и потому мистер Домби должен любить Поля какой-то сверхъестественной любовью. И так же должен не замечать свою дочь.

Эта дочь очень, очень страдает. Еще раз нужно нарисовать покойную Мэри, а назвать ее — Флоренс. Он помнит своего племянника Гарри Барнетта. Мальчик — калека и какой-то странный, чудаковатый. Почему-то Поль Домби напоминает ему Гарри. Он привлечет сердце даже такой несимпатичной особы, как его гувернантка миссис Пипчин. С кем-то у этой миссис Пипчин есть сходство… Диккенс вспоминает. Конечно, это та самая хозяйка, у которой он жил в каморке, пока мистер Джон Диккенс с семьей обитал в Маршельси.

Детство Поля, странного, чудаковатого мальчика, лишившегося матери при рождении, его школьные годы, любовь к нему его сестры Флоренс, страдания, вызванные равнодушием отца…

Но как трудно писать! Только ли потому, что не писал романа в течение двух лет? Нет.

Как никогда раньше, он чувствует, сколь необходимо ему видеть уличную толпу, бродить, бродить без конца по вечерним улицам, запруженным людьми… Он не раз писал вне Лондона, где-нибудь в тихом местечке, таком же тихом, как Лозанна. Например, в Бродстэре. Но тогда он мог в любую минуту помчаться в Лондон. После такого рейда можно было недели на две вернуться в Бродстэр, и работа шла хорошо. В Генуе были все же две-три улицы, достаточно людные, но здесь, в Лозанне…

По временам писать так трудно, что опускаются руки. Странно.

Но он все же пишет, мучительно, с трудом. К середине сентября уже готовы два первых выпуска «Домби». Уже видны новые участники романа. А рядом с ними — новые образы.

Что же делать, если эти новые образы вторгаются в «Домби»? Ведь было такое время, когда он писал одновременно «Пиквика» и «Оливера Твиста», а затем «Твиста» и «Николаса Никльби».

Словом, он не может не писать рождественской повести.

Он откладывает в сторону «Домби», мчится в Женеву. Две-три женевских улицы напоминают ричмондские, — во всяком случае, он слышит хотя бы уличный шум. Он возвращается назад. К середине октября рождественская повесть кончена. Она называется «Битва жизни».

Он еще не рассказывал читателю об одном из самых возвышенных свойств человеческой души — о готовности человека к самопожертвованию. Человеческому сердцу нелегко отрешиться от стремления к счастью, человеку нелегко принести в жертву свое счастье ради счастья другого. Но читатель должен знать, что сердце — поле битвы, битвы, не менее жестокой, чем те, которые разыгрываются во времена войн, регистрируемых историей. И в таких битвах сердце одерживает великие победы, не менее славные, чем победы на полях войны. Об этих победах в битве жизни мало кто знает, но если пробуждается в сердце благородная готовность к самопожертвованию, то пробуждение ее есть результат именно такой победы. Пусть читатель умилится, узнав, что ради счастья сестры великодушная Мерьон отказалась от любимого Элфреда, когда узнала, что Грейс его любит. Читатель долго не будет этого знать, сюжет занимательно запутан и уводит на боковые тропинки. Читатель с интересом будет следить за участием в битве жизни двух законников, Снитчи и Крэгга, он почувствует сердечное расположение к чудаку-дворецкому Бритену и к его супруге Клеманси, преданной служанке Мерьон и Грейс…

Диккенс посылает повесть в Лондон. Оттуда, от Форстера, приходит радостная весть: первый выпуск «Домби и сына»

имеет успех. Тираж превысил на двенадцать тысяч экземпляров тираж первого выпуска «Мартина Чеззлуита».

В женевском отеле он стоит перед разбитым зеркалом, украшающим его номер. Вот это здорово! Не выходя из комнаты, он может наблюдать сувениры, оставленные славной швейцарской революцией.

Зеркало разбито пушечным ядром. Друзья прогресса, враги обскурантизма заговорили, наконец, правильным языком с гасителями свободы — с католическими клерикалами. «Зондербунд», руководимый «черными воронами» — иезуитами, творил недобрые дела в соседних кантонах. Он сформировал даже армию, пытаясь устрашить прогрессивные кантоны, захватить в свои руки сейм, открыть монастыри.

Женевцы сказали свое слово. Католические ретрограды Женевы были разбиты, Женева вытряхнула их вон. Ружья стреляли, Гремели пушки, — «Зондербунд» получил здесь хороший урок. Можно не сомневаться: кантоны, еще не прозревшие, последуют примеру Женевы и сбросят тиранов.

И можно не сомневаться, что и в других кантонах революция должна произойти по женевскому образцу. Даже в упоении победой женевцы не позволили себе посягнуть на священную собственность, хотя бы она принадлежала врагам. Пожалуй, только в Швейцарии возможна революция в таком галантном стиле.

Он размышляет над духом швейцарской революции, возвращается в Лозанну, где быстро кончает третий выпуск «Домби и сына». Теперь можно забрать с собой свое многочисленное семейство и ехать в Париж.

Нет, парижане совсем не похожи на швейцарцев. Надо отыскать подходящий дом для многочисленного семейства, но парижанин, хотя изысканно вежлив, тем не менее корыстолюбив до неприличия. Вежливость парижан простирается до того, что один из них, предлагая сдать в аренду дом,

сообщил английскому джентльмену, что любит герцога Веллингтона, как брата. Корыстолюбие простирается еще дальше. Тот же парижанин, обнимая за плечи английского джентльмена, пытался одновременно залезть к нему в карман.

И дома в Париже не похожи на швейцарские. В Женеве в отеле он лицезрел зеркало, разбитое пушечным ядром революционеров. В доме, который он снял, наконец, в аренду, куски зеркала блистали на потолке. Они оживляли лесной пейзаж, изображенный на плафоне столовой.

Пораженный блеском зеркал на плафоне, Диккенс установил, что столовая в сущности изображает рощу, — она вся расписана фантастическими деревьями. А спальни похожи на театральные ложи.

Странные вкусы в Париже! Ему не приходилось еще с ними знакомиться, раньше он только проезжал через Париж, теперь он постарается их изучить.

Прежде всего он знакомится с парижскими улицами. После рабочих часов над «Домби» он бродит, бродит и бродит по парижским бульварам. Простой люд Парижа напоминает ему американцев. Он так же беззаботен и так же гордится своей независимостью, у парижан не хватает только американской энергии и упорства. А что касается аккуратности и точности — едва ли даже неаполитанцы могут похвастать большим забвением этих качеств. Работают парижане хуже, чем его соотечественники, более ленивы, не выполняют распоряжений и не так ловки. На бульварах ворам раздолье, а однажды на его глазах, еще совсем засветло, парижский джентльмен с большой дороги храбро грабил какого-то прохожего…

Приезжает Форстер. Вместе с ним Диккенс посещает Лувр, больницы и тюрьмы, едет в Версаль. Вечерами — театры. Парижане крайне интересуются своими соседями за Каналом. В театре Жимназ можно видеть переделку

ричардсоновской «Клариссы Харлоу». Эта чувствительная мелодрама имеет шумный успех, в другом театре можно наслаждаться изысканностью вкуса лондонского лакея, которого театр нарядил в жилет с золотой бахромой, свисающей до щиколоток; а в третьем театре лондонский лорд-мэр щеголяет в жилете театрального кучера и в широкополой шляпе мусорщика, а на шее у него орден Подвязки. Из французских актеров нельзя забыть прекрасного комического актера Ренье; в цирке надо посмотреть сцены эпохи великой революции и наполеоновские битвы; в новом театре Пале Рояль — последнюю историческую пьесу Александра Дюма. Этот театр организован знаменитым автором исторических романов, который приглашает знаменитого английского писателя Чарльза Диккенса и мистера Форстера к себе на ужин.

И другие парижские знаменитости выражают желание встретиться с Чарльзом Диккенсом — Эжен Сю, Теофиль Готье, Ламартин, Скриб. Шатобриан болен, надо его навестить и посетить также Виктора Гюго, который обворожителен свыше всякой меры.

Работа над «Домби» идет хорошо. Роман ему удается, он это чувствует. По-прежнему мистер Домби не обращает никакого внимания на свою дочь Флоренс, все его помыслы сосредоточены на странном, чудаковатом Поле. Вокруг маленького Поля много людей. Они совсем живые — старый Соль Джилс, мастер корабельных инструментов, и его веселый, энергичный племянник Уолтер Гей, и отставной майор с рачьими глазами Бегсток, и однорукий, добрейший капитан Каттль, и школьные друзья Поля во главе с Тутсом, и еще немало других. Уолтер Гей помогает заблудившейся в Лондоне Флоренс найти дорогу домой; мистер Домби разрешает мистеру Каркеру, своему управляющему, принять Уолтера на службу в фирму Домби и Сын. Мистеру

Каркеру — это негодяй! — не нравится Уолтер, он решает отправить его в далекую Вест-Индию, а тем временем маленький Поль, которого все так полюбили в школе доктора Блимбера, слабеет с каждым днем. Странные дети — не жильцы на этом свете, читатель это видит. И вот наступает день, когда Флоренс должна лишиться своего маленького брата.

Когда выходит пятый выпуск «Домби и сына» — в январе 1847 года — и читатель присутствует у смертного ложа маленького Поля, он горько плачет, читатель. Плачет даже лорд Джеффри, опытный судья, старый поклонник таланта Чарльза Диккенса, когда перечитывает шестнадцатую главу романа.

Но надо возвращаться домой в Лондон. В середине апреля еще один маленький Диккенс появляется на свет. Зовут его Сидней Смит Хэльдименд. Теперь у Диккенса семеро детей. Но Кэт и Джорджина умеют внушить молодому поколению здравые идеи о том, что их *па* не выносит шума, когда пишет свои книги.

Молодое поколение твердо это помнит. Оно резвится на пляже в Бродстэре, пока их *па* работает над романом.

Итак, ненавидящий молодого Уолтера мистер Каркер отправляет его в отделение фирмы Домби и Сын на Барбадосе. Милая Флоренс по-прежнему не находит в сердце своего отца, мистера Домби, никакого ответного чувства. После смерти сына сердце это совсем оледенело, и этот лед не тает даже тогда, когда мистер Домби вступает в свой дом с новой своей супругой. Его супруга, гордая Эдит, соглашается на этот брак, уступая требованию матери, бедной, но аристократической леди. Читатель может не сомневаться, что такой брак не приведет к добру. Но это обнаружится спустя некоторое время, теперь же читатель должен разделить волнение

всех друзей Уолтера. Ибо пароход, отвозивший его в Вест-Индию, не прибыл на Барбадос.

Гравюрами Физа Диккенс доволен. Прежде всего мистер Домби не должен походить на карикатуру, он настаивал на этом, и Физ преодолел соблазн.

Вот теперь он прислал новые гравюры к очередному выпуску. Хорошо! Даже мистер Каркер, хотя он и растягивает рот до ушей, совсем не карикатурен. Даже майор Бегсток с лицом, раздувшиеся, как у жабы, и со своими выпученными глазами не кажется гротеском. И миссис Скьютон, аристократическая мать новой супруги мистера Домби, которая одевается, как девушка, хотя ей стукнуло семьдесят лет, — даже она не заставит читателя вспомнить о «Панче». Хорошо!

Диккенс прерывает работу над «Домби», когда рождается идея помочь Ли Ханту, журналисту поэту и критику, беззаботному Ли Ханту, вечно неутомимому и вечно бедствующему. Это он тридцать с лишком лет назад обозвал в своем радикальном «Экзамайнере» принца-регента «корпулентным пятидесятилетним Адонисом» и с высоко поднятой головой отправился на два года в тюрьму. Теперь ему больше шестидесяти, и у него ничтожная пенсия, ему надо помочь. Не поставить ли в его пользу комедию Бена Джонсона?

В самом конце июля манчестерцы, а затем ливерпульцы узнают на сцене своих театров в капитане Бобэдиле Чарльза Диккенса и в других ролях — его друзей.

И снова работа над «Домби». А в конце года, нельзя отказать Техническому обществу города Лидса и шотландским писателям и художникам, открывающим свой «Атенеум».

И Лидс и Глазго хотят видеть Чарльза Диккенса в председательском кресле на торжественных актах в своих рассадниках просвещения. Хороший повод для того, чтобы говорить о силе просвещения и об упорстве и жестокости силы невежества.

А в мрачном доме мистера Домби, где он живет со своей молодой женой, уже давно развернулись события, которые не поведут к добру. Гордая Эдит бессильна перед ледяной гордыней мистера Домби. Гордая красивая Эдит — только игрушка его тщеславия, но сломить ее до конца, увы, ему не удается. Но ему без труда удается не замечать кроткую Флоренс, которой жаль гордой Эдит. И ему удается нанести удар гордости Эдит. Он не подозревает, что мистер Каркер, его управляющий, плетет сеть, в которой погибнет репутация торгового дома Домби и Сын. Для нанесения решительного удара прекрасной Эдит он избирает орудием именно мистера Каркера «Я не привык просить, миссис Домби, — говорит он гордой Эдит. — Я приказываю». И он приказывает ей через мистера Каркера, он унижает ее, и Эдит от него уходит.

Но она не уходит, а бежит, бежит во Францию с Каркером, которого презирает. И Флоренс бежит из дома отца, — в бессильной ярости против Эдит мистер Домби выгоняет из дому и свою дочь.

В марте 1848 года Диккенс должен закончить роман «Домби и сын». Он уверенно ведет основную линию романа, но нисколько не забывает других участников. Друзья правы, они удались ему — в особенности благородный, добрейший однорукий капитан Каттль, робкий и трогательный Тутс, безнадежно вздыхающий по Флоренс, сестре его покойного маленького друга, и майор Бегсток. И удались леди, он это знает, — читатель немало будет смеяться, вспоминая мисс Токс и Сьюзен Ниппер, мисс Чик и мисс Блимбер. Весь роман удался, в этом нет сомнения. И надо приближаться к концу.

Уже вернулся Уолтер, спасшийся после кораблекрушения, и Флоренс почувствовала, что не может без него жить.

Погиб многозубый предатель мистер Каркер, попав под поезд. Конечно, гордая Эдит не нарушила супружеского обета, данного мистеру Домби, и Каркер не стал ее возлюбленным.

Отпразднована свадьба Флоренс и Уолтера. Уже рухнула прославленная фирма Домби и Сын. И поверженный в прах, сломленный мистер Домби остается один, наедине со своим позором.

Но читатель должен знать, что Чарльз Диккенс никогда не разуверится в человеческом сердце. Поверженный в прах мистер Домби должен вспомнить, что он изгнал из своего дома любящую дочь. И это воспоминание вызовет в жизни такую скорбь в его ледяном сердце, которая навсегда растопит вековечный лед. И когда Флоренс к нему возвращается, она впервые обретает своего отца и убеждается, что Чарльз Диккенс прав: в сущности на свете немного людей, чьи сердца нельзя пробудить к жизни.

9. В память о прошлом

Занавес только что поднялся. Зал театра Хаймаркет полон сверх меры. У дома провинциального джентльмена в Виндзоре появляются трое — клирик, сельский джентльмен и провинциальный мировой судья.

— Да будь он двадцать раз сэр Джон Фальстаф, он не может оскорблять Роберта Шелло, эсквайра!

Это говорит мировой судья, Роберт Шелло, эсквайр.

У него нет зубов, он пришепетывает и как будто заикается. Голова его чуть-чуть трясется, она немножко свисает к плечу. Изо всех сил старик старается нести свое дряхлое тело с достоинством, отвечающим сану судьи, но все же это ему не удается, — ноги его слегка подрагивают, и нет твердости в его поступи.

Зал аплодирует внезапно, будто он неожиданно узнал нечто, заслуживающее рукоплесканий.

Это именно так. Зал не сразу узнал в судье Шелло, эсквайре, Чарльза Диккенса. Зал восхищен. Зрителю предстоит еще увидеть редактора «Панча» Марка Ли́мона, он играет сэра Фальстафа, и мистера Форстера, и художника мистера Лича и других джентльменов, а также и леди. И джентльмены и леди не имеют ничего общего с профессиональными актерами, кроме искреннего увлечения театральным искусством: в театре Хаймаркет любительская труппа Чарльза Диккенса ставит «Виндзорские кумушки».

После спектакля Диккенс возвращается в карете с Кэт и Джорджиной на Девоншир Террас. Давно он не был так возбужден.

— Милая Джорджина, налейте мне рюмку портвейна, — говорит он, когда они входят из холла в столовую.

— Но ты не заснешь сегодня, Чарльз, — протестует Кэт. — Прошлую ночь ты почти не спал.

Кэт рассудительна до умопомрачения. Раньше она сама выпила бы рюмку портвейна по такому случаю. Сейчас она отказывается.

— Сегодня вы играли, Чарльз, как Макреди! — говорит Джорджина, сияя.

— Вы пристрастны, Джорджина. Макреди! Куда мне до него.

— Публика была в восторге, Чарльз. Я сама слышала, вас сравнивали с Макреди, о мистере Ли́моне так никто не говорил, все удивлялись вашему таланту, — говорит Джорджина и ставит бутылку на стол.

— Удивлялись? Вы знаете, я жалею, что я не актер, — вдруг говорит он и наливает в бокал вина.

— Чарльз! — ахает Джорджина. — Но вы великий романист!

— Уф! Это очень хорошо, но я предпочел бы быть великим актером и видеть публику у своих ног. — И он осушает бокал.

Джорджина еще очень молода и никогда не знает, шутит он или нет. Но на этот раз не знает и Кэт.

— Итак, — продолжает Диккенс, — мы едем в турне. Сегодня это решено. Может быть, на днях, когда мы повторим спектакль, в зале мы увидим королеву и принца Альберта. Я надеюсь, мои дорогие, что в фонд для покупки дома в Стратфорде отчислится изрядная сумма, и Шекспировский комитет будет нам благодарен. А теперь — спать.

Уже две недели назад, в начале апреля, вышел последний выпуск «Домби и сына». В этом году можно отдохнуть от романа. И труппа любителей под руководством Чарльза Диккенса едет в турне — в Манчестер, в Ливерпуль, в Бирмингем, а затем в Шотландию. Кроме шекспировского спектакля и «Всяк в своем нраве» Бена Джонсона, любители везут несколько водевилей. В одном из водевилей, — назывался водевиль «Два часа утра», в нем участвовало двое — Диккенс и Ли́мон, — публика покатывается со смеху при виде героя водевиля, мистера Сноббингтона, в комнату которого ночью ворвался незнакомец — Марк Ли́мон.

Мистер Сноббингтон возмущен — два часа утра! — он должен был покинуть постель и, прикрывшись одеялом, сидит на стуле, упершись ногами в перекладину… Одеяло грозит сползти с него, и он судорожно, с опаской, неустанно его подтягивает, при этом он боится потерять равновесие и упасть — боится так реально, как может бояться только реальный мистер Диккенс.

Публика веселится. Диккенс резвится в водевилях так легко, что кажется, будто он импровизирует.

Но это не импровизация. Диккенс знает наизусть не только текст, но и все ремарки, в водевилях они очень длинные.

Он не ведает усталости, отделывая каждый жест и каждую интонацию пустячной водевильной роли…

Турне кончается. Дети — у моря, в Бродстэре. Он порядком устал. Но дома его ждут тревожные известия. Его сестра Фанни — милая Фанни, с которой в далекие времена он был так близок, — безнадежно больна. Он любил Фанни, он не завидовал ей — о нет! — когда она получила возможность развивать в Музыкальной академии свои способности, а он должен был выносить унижения на фабрике ваксы и готовиться к «коммерческой карьере». Много лет прошло с той поры, Фанни стала певицей, вышла замуж за симпатичного юношу из диссентерской семьи, мистера Борнетта, у нее дети… Но злая болезнь — туберкулез — уже давно вела ее к печальному концу. И вот теперь этот конец близок. Она должна жить ради маленьких детей, говорит она брату, когда он посещает ее изо дня в день, но она знает о том, что конец близок, и ждет его мужественно. Скоро конец наступает.

Бедная Фанни. С ее смертью уходит в прошлое так много воспоминаний детства, — воспоминаний не о страшных днях в Лондоне с фабрикой ваксы, Маршельси и каморкой старухи Роуленс, а о Четеме. Так бывает всегда, когда умирает брат или сестра, товарищи детских игр. Кажется, будто с ними умирает самое светлое в далеких детских воспоминаниях.

В Бродстэре он приходит в себя от этой утраты и отдыхает от утомительного театрального турне. Он задумал написать святочную повесть, а пока он пишет две статьи для форстеровского «Экзамайнера» — о китайской джонке и о гравюрах Крукшенка. Китайскую джонку он увидел на выставке и в статье он размышляет о веках, пронесшихся над китайской культурой, а серия гравюр «Сын пьяницы» позволяет ему сравнить приемы большого художника Крукшенка

с его великим предшественником Хогартом, в свое время устрашившим всех пристрастных к алкоголю серией своих известных гравюр.

Воспоминания о неомраченном Четеме, освеженные смертью Фанни, погасли. Но он благодарен этой волшебной способности, которую люди называют памятью. Не всегда она — память — пробуждает умиление и тихую печаль, часто она заставляет кровоточить старые раны. И все же он благодарен ей. И разве не нужно напомнить людям о благодетельности памяти?

Участие какого-нибудь «духа» в святочном рассказе вполне законно. Может быть, даже читатели заскучают, если не встретят его в новом святочном рассказе. На этот раз это должен быть злой дух, который лишит ученого химика Редлоу памяти. Правда, злой дух не желает в сущности повредить ученому химику, он лишает его памяти из гуманных соображений, потому что в прошлом у Редлоу, как у каждого человека, было немало невзгод и огорчений. Но вред получается основательный. В тьму беспамятства канули не только невзгоды, но и радости. А память о них смягчает сердце, это ведомо каждому. И ученый химик опасен всем, кого судьба сталкивает с ним. Из него источается зло, которое, к счастью, не властно над Милли Суинджер. Ей нетрудно спасти химика и вернуть ему память, а читателю нетрудно извлечь из рассказа правильную идею.

К рождеству читатель получает повесть о химике. Называется она «Тот, кого преследуют». А вскоре Диккенс снова обращается к той же теме — к воспоминаниям и к памяти о прошлом.

Уже не раз верный Форстер, преданный друг, который станет его биографом, деликатно расспрашивал его об этом прошлом. Да и самому хотелось кое о чем поведать старине Форстеру. Разумеется, не о «коммерческой карьере»

и не о Маршельси. Но в ящике письменного стола, тщательно запертом на ключ, все же хранились записи и о фабрике Лемертов и о долговой тюрьме. Зачем он копил эти записи? Может быть, для того, чтобы когда-нибудь рассказать читателю о своей жизни? В какой форме? В точной ли автобиографии, в которую вымысел не должен вторгаться, или в какомнибудь ином виде, в котором вымысел предстает еще более правдоподобным, чем сама правда? Он не знал этого, но записи копил и запирал их на ключ.

Теперь он решил вспомнить обо всем. Он решил вспомнить свою жизнь.

Но, конечно, факты и даты не должны его связывать. О своем прошлом можно рассказать так, что читатель поверит вымыслу больше, чем точному факту. И он будет прав, читатель. Ибо кому, как не художнику, знать, что нередко точный факт есть ложь.

Итак, он начинает роман. Пусть биографы найдут соответствие некоторых эпизодов точным биографическим данным. Пусть они откроют соответствие между героями романа и реальными участниками его жизненной эпопеи. Это их дело. Он начинает роман от первого лица. И поведет его так, как ему вздумается. Благодарение небесам, у него еще есть дар одушевления и дар изобретательства. И важнее для него восстановить не факты, а вспомнить о своих переживаниях, — факты можно сочинить, чтобы было занятней. Писатель, который не сочиняет, увы — не художник.

Заглавие долго не дается ему. И, наконец, в мае 1849 года нетерпеливый читатель видит в книжных магазинах первый выпуск романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, описанная им самим».

Дэвид не знает отца. Он умер до рождения мальчика. Дэвид знает мать, который только двадцать лет. Она совсем беспомощна. Ей могла бы помочь энергичная мисс Бетси

Тротвуд, двоюродная бабка Дэвида, но мисс Тротвуд, узнав, что у миссис Копперфильд родился мальчик, а не девочка, решительно удаляется из дома Копперфильдов. Дэвид знает мать и Пеготти, Клару Пеготти.

Диккенс помнил свою няню Мэри Веллер. Может быть, она была такой же обаятельной, как Пеготти. Когда он рисовал образ няни, привязанной к питомцу, как к собственному ребенку, он еще не знал, что имя Пеготти станет одним из нарицательных имен, подаренных им английскому языку.

Читатель начинает любить Пеготти с первых же строк. Он знает, что она не даст в обиду Дэвида, когда он будет нуждаться в ее защите.

Скоро такая нужда приходит. Молоденькая мать Дэвида выходит вторично замуж, ее новый супруг приказывает ей отправить Дэвида к родным Пеготти. Дэвид попадает в Ярмут — к брату Пеготти, рыбаку, и к племяннице Пеготти, крошке Эм'ли. Он не знает о браке своей матери. Он узнает об этом, когда возвращается домой. Красивый мужчина с холеными бакенбардами, мистер Мордстон, — его отчим, и мать Дэвида — игрушка в его руках.

Дэвиду уже девять лет. Мистер Мордстон отправляет его в школу мистера Крикля, ничем не отличного от йоркширских педагогов.

Работа над романом идет легко. Не так шла работа над первыми выпусками «Домби». На этот раз он изменяет Бродстэру, — вместе с чадами и домочадцами он выезжает на лето на остров Уайт, в деревушку Бончерч. До двух часов дня ни один посетитель не может надеяться на свидание с Чарльзом Диккенсом. Он работает.

Но проходит несколько недель. Диккенс теряет сон, слабеет, нервическая возбудимость перемежается тяжелым, угнетенным состоянием. Он готов в любую минуту заплакать.

Он работает, напрягая все свои силы. Неужели климат острова Уайт влияет на него так разрушительно?

По-видимому, это так. Например, знакомый американец, приехавший сюда, утверждает, что он всегда любил море, но, прожив здесь, на Уайте, месяц, не может без ненависти смотреть на него. Странно!

Он переезжает с Кэт и младшими детьми в привычный Бродстэр.

За это время Дэвид теряет свою мать. Вскоре после поступления его в школу она умирает. Здесь, в школе, учится пятнадцатилетний Джемс Стирфорт; это диктатор школы, и он очень легко подчиняет себе Дэвида. Но Дэвиду не суждено долго пробыть у мистера Крикля. Мистер Мордстон полагает, что ему надлежит прекратить учение. Он не сулит Дэвиду выгоды «коммерческой карьеры», как делал это в свое время мистер Джон Диккенс. Он посылает Дэвида на винный склад мыть бутылки.

Вот теперь современники и потомки — весь грамотный мир — могут не ловить скупых фраз, которые Чарльз Диккенс ронял, когда заходила речь о фабрике ваксы Уоррена. Они читают о позоре — о, да! именно о позоре — Дэвида, моющего бутылки на винном складе Мордстона и Гренби. Надо думать, еще никто не чувствовал так глубоко, как Дэвид, унижение от работы, в которой нет ничего унизительного. Впрочем — кроме Чарли Диккенса в свое время.

Но Чарли Диккенс, став взрослым, приходит на помощь Дэвиду. У Дэвида есть поддержка, у Чарли ее не было. На сцену выступает мистер Микобер и его жена.

Конечно, в мистере Микобере, есть черты мистера Джона Диккенса. Но если бы мистер Микобер был точной копией мистера Джона Диккенса, обаяние последнего было бы неотразимо. Факты опровергают эту догадку. Мистер Микобер обязан своим бытием только Чарльзу Диккенсу.

Плотный джентльмен в потертом коричневом сюртуке, поблескивая голым черепом, сжимает одной рукой кокетливую трость с кисточками и взирает на собеседника сквозь монокль. Изысканные и цветистые фразы начинают изливаться с уст джентльмена, читатель вот-вот готов счесть эту фигуру за балаганного шута на Варфоломеевской ярмарке. И вдруг… Проходит совсем немного времени, и с этим персонажем происходит волшебная трансформация. Растворяются и погасают карикатурные линии, словесные узоры его речей теряют свою водевильную гротескность. Он начинает излучать такой непобедимый оптимизм, такую силу сопротивления трудной судьбе, что нелегко понять, благодаря какому чуду комический персонаж может воплощать самые высокие свойства человеческого духа? Что-нибудь должно же случиться в трудной жизни, и это что-нибудь обязательно должно быть хорошим, — неустанно повторяет эта комическая фигура. И, право, нельзя бороться с умилением. Это умиление нарастает, читатель забывает о легкомыслии, авантюризме, безответственности мистера Микобера. Из туч, каждый день набегающих над головой этого комического персонажа, в любую минуту может грянуть беда. Опасения оправдываются, беда обрушивается на него. Но этот лысый джентльмен в самом безнадежном положении не теряет ни атома бодрости. По-прежнему он продолжает верить, что нечто всенепременно хорошее должно произойти, и по-прежнему исходит от него эманация какого-то буйного оптимизма.

У Чарли Диккенса не было такого приятеля. Если бы он был, Чарльз Диккенс не плакал бы, когда много лет спустя шел по Стрэнду и видел перед собой хенгерфордскую лестницу, которую уже сломал городской магистрат. Дэвиду должно быть легче, чем Чарли, выносить подготовку к «коммерческой карьере»… Живя бок о бок с Микобером,

он должен был бы впитать благодетельные эманации своего приятеля и покровителя, как впитала их достойная миссис Микобер. Дэвид — ребенок, а от такого стойкого, микоберовского оптимизма у детей еще меньше есть способов защищаться, чем у взрослых. Но между Дэвидом и Микобером — Чарльз Диккенс.

И Дэвид не выносит «унижения» на винном складе Мордстона и Гренби. Он бежит в Дувр, под защиту своей двоюродной бабки, мисс Бетси Тротвуд. Он поступает в школу мистера Стронга и поселяется у атторни мистера Викфильда. Там он встречает его дочь Агнес.

Снова — в который раз! — читатель встречается с покойной Мэри Хогарт. Снова он встречается с «добрым ангелом». И снова убеждается, что Диккенс слепнет, как только начинает писать образ Мэри. Диккенс этого не замечает. Агнес обладает, по его убеждению, таким очарованием, что даже Урия Хип ему поддается.

Рыжий клерк мистера Викфильда потирает свои вечно потные руки и вызывает в памяти образ мистера Пексниффа. В этом можно убедиться немедленно, когда Урия начинает демонстрировать свое смирение, которому обучала его мать. Но читатель убеждается также, что лицемерная маска Урии более незатейлива, чем маска Пексниффа, а ханжество его более рудиментарно. Он тянет одну и ту же ноту — смирение!

Можно скоро убедиться также, что Урия больший негодяй, чем Пекснифф. Он задумывает привести к гибели своего патрона, мистера Викфильда, он разрабатывает свой план с неменьшим тщанием, чем достойная чета Маннинг.

Весь Лондон взволнован преступлением четы Маннинг. Уголовный мир Лондона велик, ежедневно газеты развлекают читателя репортажем уголовных событий и процессов. Но на этот раз можно говорить не о рядовом преступлении.

В самом деле, некий Маннинг совместно со своей женой, француженкой, убил некоего О'Коннора не совсем рядовым способом. Жена Маннинга пустила в ход все свои чары, чтобы увлечь намеченную супругами жертву, потом эта жертва была приглашена к Маннингам на жареного гуся. Не приступая к трапезе, достойная чета убила О'Коннора, ограбила, запихала труп в подполье, находившееся в кухне, а после всего этого уселась за трапезу. Газеты не могли установить, был ли съеден жареный гусь целиком, либо нет, но занимались исправно этой деталью злодеяния. Достойной паре суд вынес смертный приговор, казнь была назначена на тринадцатое ноября. Неожиданно Диккенс предложил Форстеру отправиться за Темзу в Саусворк, чтобы взглянуть на исполнение приговора.

Форстер не сразу ответил на предложение. Он обдумывал, он всегда любил подумать прежде, чем ответить.

— Казнь состоится завтра утром в тюрьме графства Сарри на Хорсмонгер Лен, — добавил Диккенс.

— Я знаю эту тюрьму, в ней два года сидел Ли Хант за оскорбление принца-регента.

— Мне нужно поглядеть на казнь и на публику, — сказал Диккенс и посмотрел куда-то сквозь Форстера.

Форстер знал этот взгляд. Он согласился.

Диккенс не работал на следующее утро. Молча он сел с Форстером в карету и велел ехать в Саусворк. Он молчал также и всю дорогу, пока карета медленно пробиралась сквозь толпы народа, покидающие Хорсмонгер Лен, когда все было кончено. Приехав на Девоншир Террас, он не зашел к Кэт, а прошел в кабинет. Форстер тоже молчал. Он еще слышал нарастающий рев толпы, по мере того как приближался момент появления преступников на помосте. Помост с виселицей был воздвигнут у ворот перед тюремной стеной.

Лондон мог любоваться корчами преступников под перекладиной виселицы. И он любовался.

Он, Форстер, еще слышит как захлебнулся рев, снова взорвался, еще раз осекся и, прокатившись длинной волной, медленно начал ослабевать, — правосудие свершилось.

Диккенс ходит по кабинету, заложив руки за спину. «С годами он худеет, — думает Форстер, — хороню, что он подстригает волосы, они и теперь у него длинные, но все же так лучше, чем кудри на манер художников с Монмартра. Какой он сегодня бледный…»

— Завтра я напишу письмо в «Таймс», — вдруг говорит Диккенс. — Тот, кто не видел этого зрелища, не имеет понятия о том, что такое повешение. Я против смертной казни, Форстер.

Он вдруг сплетает пальцы и трещит ими. Форстер пожимает плечом.

— Бывают такие…

Диккенс быстро перебивает:

— Знаю, знаю! Вы хотите сказать — в некоторых, исключительных случаях она необходима. Так. Тем не менее повторяю: я против смертной казни. Послушайте, Форстер, — он волнуется и отбрасывает назад прядь волос, — мы видели с вами толпу. Это было так страшно, так страшно…

Снова он смотрит куда-то сквозь Форстера.

— Да-а-а… — протягивает тот.

— Мне казалось, Форстер, что я в городе дьяволов… Я чувствую, что никогда не смогу приблизиться к тому месту. Я буду писать в «Таймс».

— О чем?

— О публичных казнях. Если нельзя отменить смертную казнь, потому что… потому что всегда найдутся люди серьезные и искренние, как вы, например, которые будут защищать

ее как меру, необходимую в крайних случаях, то надо нам объединиться в умеренном усилии уничтожить зло публичных казней. Это позорно и ужасно! Мы с вами видели толпу, вот последствия публичной казни!

— Защитники нашей пенитенциарной системы приведут немало доводов в пользу публичной казни…

— Мне нет дела до их доводов! — лицо Диккенса искажается. — Они приводили немало доводов, защищая позорные процессии осужденных к Тайбурну. Они вопили, когда казни на Тайбурне были отменены и эта церемония перенесена была к воротам тюрьмы! Они всегда найдут доводы, в этом я не сомневаюсь! Но я торжественно заявляю вам, Форстер, и доведу до сведения каждого, что ничто — слышите, ничто! — не может в этом городе и в такой же краткий срок принести такой вред, как публичная казнь. Я был ошеломлен, я был потрясен, наблюдая толпу, и я хочу сказать об этом всем и каждому…

Форстер хмурит брови и размышляет. Диккенс снова начинает нервически ходить по комнате.

— Публичные казни должны совершаться за стенами тюрьмы. Я буду настаивать на этом! — вдруг восклицает он, и в голосе его бьется какая-то странная нота. — В Новом Южном Уэльсе, который подчинен тому же правительству, что и Англия, этот порядок уже ввели. Об этом факте я хотел бы сообщить всем, облеченным у нас властью. Я брошу им этот факт в лицо!

Англия прочла о публичной казни, — на следующий день, в «Таймсе», взволнованные и очень гневные его строки, — прочла и вспомнила о том, что в назначенные дни и часы ее города превращаются в «города дьяволов».

Камень нужно толкнуть с горы, он набирает скорость, летя вниз по склону. Прошло немного времени, и стало очевидно: публичные казни скоро отойдут в прошлое.

Но в прошлое уходят не только анахронизмы. Бывает так, что передовые социально-политические идеи, сталкиваясь с действительностью, становятся достоянием истории.

Этой судьбе обречен был и чартизм. Вспыхнув и бросив длинные лучи в будущее, он начал погасать. Эти лучи помогли найти направление передовым людям Англии в последующие десятилетия. Но чартизм, и той форме, в какой он вырос в начале тридцатых годов на политической почве Англии, — теперь, в самом конце сороковых, исчерпал свои жизненные силы. Французская революция 1848 года отозвалась на континенте народными волнениями по всей Германии, в Австрии, во многих итальянских городах. Революция в Париже вдохнула в ирландских патриотов решимость усилить свою борьбу за отделение от Англии, а в Шотландии, в Глазго, городская беднота вышла на улицы с лозунгами: «Хлеба или революция!» Эхо залпов, которыми войска встретили бедноту Глазго, — ее терпение, наконец, истощилось от постоянного недоедания — прокатилось по всей Англии. Казалось, настал для чартизма момент обрести прежнее единство и прежнюю силу.

Некоторое время можно было думать, что надежды чартистов оправдаются. Митинги, созываемые ими, были очень многочисленными. Собрался конвент. Около шести миллионов подписей стояло под петицией с чартистскими требованиями, которую вожаки конвента торжественно повезли на повозке в парламент. Но аресты чартистов и приговоры их вождей к длительному заключению не вызвали восстания народных масс Англии. Реакция в Европе уже начала наступление на радикалов сорок восьмого года и на их политические завоевания. А отечественный буржуа уже предвидел конец экономического кризиса, его силы в самом деле возрастали. Открытие золота в Калифорнии и в Австралии сулило массовую эмиграцию безработных и приятные

перспективы торговой экспансии. Англия выходила из экономического кризиса и переступала рубежи, за которыми расстилалась эра «викторианского процветания».

И так же, как два лондонских ломовика, Баркли и Перкинс, не могли уже помочь венгерским повстанцам, швырнув в мусорный ящик одного из усмирителей венгерского восстания, австрийского генерала Гейнау, когда он приехал в сентябре 1850 года в Лондон, — нельзя было уже помочь и чартизму. В 1850 году чартизм исчерпал свои силы. Еще два-три года и грозная чартистская опасность, нависавшая над отечественным буржуа, развеялась окончательно.

10. Дни и утраты

— Джеррольд, я приглашаю вас принять участие в моем новом еженедельнике.

— Но вы еще не закончили «Копперфильда»…

— «Копперфильд» будет закончен не скоро, я не хочу ждать окончания. Форстер рекомендовал мне помощника, мистера Уиллса, говорит, что на него можно положиться, только раз в неделю я должен буду писать какой-нибудь эссе или рассказ, или что придет в голову, это пустяки… Я уже все обдумал. В журнале я буду помещать эссе, и обзоры, и письма; темы, конечно, должны быть занимательные, а вместе с тем, как бы это сказать… я бы хотел, чтобы они выявляли дух нашего народа и нашего времени. Вы понимаете, Джеррольд?

— Предположим… И вы уже его окрестили?

— У меня была раньше идея назвать журнал — «Тень».

— Странное название.

— Видите ли, я хотел, чтобы некая *тень* проникла всюду, во все дома, во все уголки и закоулки, чтобы она была так сказать чем-то вроде Силы, о которой никто раньше не думал, воображаемого существа, которое маячит над Лондоном.

А эта *тень* обнаруживает в нашей жизни то одно явление, то другое, иногда предупреждает, что появится в том или другом месте… Очень трудно, черт возьми, объяснить…

— Трудновато, — соглашается Джеррольд. Ему явно не нравится идея Диккенса.

— Форстер возражает против этой идеи, — говорит Диккенс.

— Я не сомневался, милый Диккенс.

Джеррольд по тону угадывает, что Диккенс уже отказался от какой-то вездесущей *тени,* и продолжает:

— Короче говоря, как вы окрестили журнал?

— У меня была сотня проектов. Я думал назвать: «Чарльз Диккенс». А дальше что-нибудь в таком роде: «Еженедельник, предназначенный для просвещения и развлечения читателей всех видов. Редактирует он сам».

— Гм…

— Словом, я остановился на заглавии «Домашнее чтение». Редактирую журнал я. И я хочу, чтобы вы, Джеррольд, приняли участие. Но предупреждаю заранее, мой друг, почитатели вашего таланта не увидят вашего имени, — журнал будет анонимный.

— Конечно, анонимный, раз на каждой странице наверху будет стоять имя «Чарльз Диккенс»! — смеется Джеррольд.

— А ну вас! — Диккенс улыбается. — Я хочу, Джеррольд, всенепременно написать мисисс Гаскелл самое ласковое письмо и пригласить ее участвовать в журнале. Должен вам сказать, ее «Мэри Бартон» глубоко меня затронула.

Два года назад миссис Гаскелл выпустила «Мэри Бартон» анонимно, как это нередко бывало с дебютантками. Теперь она была не дебютантка, о ее романе, не походившем на обычное женское щебетанье, но рисовавшем условия жизни фабричных рабочих, немало писали. Но миссис Гаскелл, конечно, не могла отказаться от участия в «анонимном»

журнале после самого ласкового письма Чарльза Диккенса. Она стала постоянной сотрудницей Диккенса.

Фирма Брэдбери и Эванс была вполне удовлетворена подпиской на «Домашнее чтение», когда вышел первый номер в марте 1850 года. Не имел оснований быть недовольным и Диккенс. Мистер Уиллс оказался прекрасным помощником, успех журнала помогал работе над «Дэвидом Копперфильдом».

Урия Хип уже опутал паутиной своего патрона мистера Викфильда, но все его искательства у Агнес не приводят к желанному результату. Сердце Агнес покоряет Дэвид, сам того не ведая. Он уже кончил школу мистера Стронга, покидает Викфильдов и поступает клерком к атторни Спенлоу. Наивная, полуребенок, Дора, дочь атторни, привлекает молодого клерка больше, чем самоотверженная Агнес, он влюбляется в нее.

Как ясно помнит Диккенс свою конторку у законников Блекмора и Эллиса! И как легко ему писать о Дэвиде, подвизающемся на юридической стезе. Но мистер Спенлоу — это ни мистер Эллис, ни мистер Блекмор. Мистер Спенлоу — это банкир Биднелл, не расположенный в свое время дать согласие на брак дочери с неведомым юношей Чарльзом Диккенсом. Время идет, клерк Дэвид все больше влюбляется в Дору, а тем временем в семье доброй Пеготти неблагополучно. Джемс Стирфорт, бывший школьный товарищ Дэвида, соблазняет крошку Эм'ли и исчезает с ней за океан, оставляя в дураках честного Хэма, влюбленного в Эм'ли. Это ужасно, но Дэвид бессилен что-нибудь сделать. Печальные события происходят и у мисс Бетси Тротвуд. Урия Хип целой серией мошенничеств уже затянул на своем патроне петлю, и бедняга мистер Викфильд должен объявить себя банкротом, после чего умирает. Вместе с его состоянием

куда-то исчезают и деньги мисс Бетси, которые она вверила мистеру Викфильду. Теперь Дэвид предоставлен самому себе. Он избирает профессию репортера; изучив стенографию, он становится парламентским репортером, как некогда Чарльз Диккенс. И он женится на наивной до беспамятства Доре, жене-ребенке, которая тоже, как и Агнес, теряет своего отца. Он работает, как работал Чарльз Диккенс, он пишет книгу, как писал ее Чарльз Диккенс, а тем временем дядя крошки Эм'ли, опозоренной Стирфортом, рыщет по континенту в поисках своей любимицы. Все его старания напрасны. Но не напрасны старания гнусного Урии Хипа, его черное дело свершено, теперь он богат и в безопасности.

Поездка с Маклайзом в Париж не может быть продолжительной. «Копперфильд» идет к развязке. А кроме того, Диккенс скоро снова будет отцом. В июле он уже в Лондоне.

Урия Хип не может победить. Его торжество оскорбляет чувство справедливости, — менее симпатичного негодяя еще не приходилось Диккенсу изобретать. Едва ли приходилось ему изображать и более симпатичный персонаж, чем мистер Микобер.

Развязка сюжетной линии Урий Хип — Микобер обнаруживает композиционную зрелость Диккенса. Возмездие, которое падает на голову такого негодяя, как Урия, должно свершиться над ним через такого джентльмена, как Микобер. Этого требует наше эстетическое чувство, раз уж необходимо, чтобы возмездие свершилось. И мистер Микобер выступает в главе пятьдесят второй как мститель за пострадавших от козней Урии. Он разоблачает махинации Урии не хуже, чем разоблачил бы великий юрист лорд Джеффри, друг и поклонник Диккенса, умерший год назад. Урия сражен, ему место на каторге, после которой он, разумеется, снова будет преуспевать, но все же ядовитые зубы у него вырваны.

Развязка должна наступить и в конце другой сюжетной линии: Пеготти — Стирфорт. Но на этот раз бессовестного соблазнителя карает не человек, но природа, которой в сущности безразлично, как повел себя Джемс Стирфорт по отношению к крошке Эм'ли. Благодетельная буря топит корабль, на котором возвращался в Англию соблазнитель, а заодно и соблазнителя вместе с самоотверженным Хэмом, пытавшимся спасти своего врага. Мастерское изображение бури примиряет нас с этой развязкой. И примиряемся мы со смертью жены-ребенка Дэвида, наивной Доры, примиряемся и с женитьбой Дэвида на «добром ангеле» Агнес, напоминающей Диккенсу покойную Мэри, примиряемся, наконец, и с наградой, которая ждет мистера Микобера.

Исполнив роль греческих мойр, мистер Микобер отправляется со своей верной миссис Микобер и с чадами в Австралию, где и преуспевает как удачливый чиновник городского магистрата. В самом деле, разве можно вынести, чтобы мистер Микобер обречен был на вечную нужду в деньгах и деловые неудачи? Если бы Диккенс не изобрел для Микобера Австралии и должности «отца города», роману «Дэвид Копперфильд» грозила опасность никогда не закончиться.

Но он закончился. В ноябре вышел последний выпуск, а в декабре Джорджина, торжествуя, читает Диккенсу свежий номер «Фрэзер мэгезин». Джорджина читает: «По нашему мнению, "Дэвид Копперфильд" — лучший роман Диккенса. У нас есть основания подозревать, что жизнеописание Дэвида Копперфильда заключает немало эпизодов из жизни самого Чарльза Диккенса, его приключения и переживания».

Кэт сидит тут же, в столовой, с трехмесячной Дорой на коленях. Двухлетний Генри Фильдинг не пожелал сесть на свой высокий стул и пытался выразить нежелание криком.

Кэт отдает приказание увести Генри Фильдинга. Диккенс протестует, Кэт устало говорит:

— Иногда я не могу слышать детского крика, Чарльз. Ты видишь детей в те часы, когда ты свободен, а я вечно с ними. Сегодня у меня голова болит.

Да, Кэт могла устать. Вот эта малютка Дора — девятый ее ребенок. Диккенс молчит. Генри Фильдинг, установив, что на этот раз *па* не придет ему на помощь, окончательно забывает о дисциплине и торжественно выдворяется Джорджиной из столовой.

— Утром был твой отец, — говорит Кэт, проводя рукой по лбу, — я хотела послать за тобой, но он не хотел тебя беспокоить.

Генри Фильдинг вновь появляется в комнате. Теперь он безгласен, он усвоил выгоды послушания. Сопровождаемый Джорджиной, он направляется прямо к *па* и пытается взобраться ему на колени.

Дора просыпается, начинает плакать. Кэт морщится, у нее мигрень. Ей нелегко. Только за последние семь лет она родила пятерых малюток; маленькая Дора — болезненный ребенок. Сегодня Кэт нездоровится. Она говорит:

— Ты требуешь, чтобы я вместе с Джорджиной учила детей дисциплине, а сам балуешь, когда свободен, и забываешь о том, что дисциплине не научишь, если им все прощать. Ты поешь им песенки, развлекаешь кукольным театром, они, конечно, обожают милого *па*… Ты думаешь, мне легко с ними воевать, когда им хочется играть в саду, прямо под твоими окнами, или бегать по коридору под твоей дверью? Вот и теперь. Джорджина унесла Гарри, а посмотри на него, он вполне убежден, что добрый *па* за него заступится, когда *ма* прикажет ему выйти из комнаты…

Генри Фильдинг слышит свое имя, он на коленях у отца и считает себя в безопасности. Диккенс привык к разговорам

на тему о трудностях воспитания детей в послушании и о том, что его готовность исполнять все желания детей может принести только вред. В разговор вступает Джорджина. Она улыбается:

— Недавно Альфред спрашивает меня: «Почему это *па* выучился танцевать польку и танцует с Кэти и Мэми, а *ма* не танцует со мной, или Фрэнком, или с Уолли?»

Диккенс хохочет. Генри Фильдинг тоже начинает смеяться, — если *па* хохочет, значит все в порядке.

Да, *па* в самом деле выучился танцевать польку. Диккенс хохочет еще громче, вспоминая недавний пассаж. Он обещал Мэми и Кэти выучить этот проклятый танец и вдруг ночью ему показалось, что он забыл его. Пришлось проделывать экзерциции в зале, когда весь дом спал. И надо же было Джорджине услышать внизу шум, — должно быть, он увлекся и слишком стучал по паркету… Ну и физиономия была у Джорджины, когда она просунула голову в дверь!

Диккенс хохочет, но Кэт, должно быть, нездоровится, у нее нет охоты смеяться.

— Я беседовала с твоим отцом, Чарльз, мне не понравился его вид, лицо ненатурально красное, потом сразу стало бледным. Я сказала ему об этом, а он смеется и говорит, что он — как пробка: если швырнуть, говорит, пробку в воду, она вынырнет в другом месте и от такого купанья никакого вреда не почувствует. Не понимаю, какое отношение имеет пробка к его внешнему виду, но ты ведь знаешь его словоохотливость… Он не жаловался, но мне все же кажется, что он чувствует себя плохо.

По-прежнему «Домашнее чтение» не отнимало у Диккенса много времени. Но надо было диктовать «Историю Англии для детей», которую он печатал в «Домашнем чтении», и писать для журнала, — за год он написал тридцать

шесть скетчей и эссеев. В один из приездов в Лондон из Мэлверна — где была семья — ему сообщили, что мистеру Джону Диккенсу плохо.

Мистер Джон Диккенс знал, что болезнь его опасна, когда сын в течение нескольких дней посещал квартирку на Кеппель-стрит, где он жил вместе с миссис Диккенс. Ему было шестьдесят пять лет. Но и теперь он умел так же беззаботно и от души веселиться, как в далекие времена. И теперь он мог временами терять бодрость и сетовать, как бывало, на злую судьбу, но проходило несколько часов, и неведомо откуда появлялась бодрость, и снова он пускался в рассуждения о том, что недовольство человека своей судьбой безусловно проистекает из несбыточных мечтаний, тогда как достижение покоя и гармонии души безусловно в человеческой власти.

Но настал момент, когда власть мистера Джона Диккенса была бессильна продлить гармонию души. Диккенсу через несколько дней сообщили, что отцу совсем плохо, он помчался на Кеппель-стрит, но мистер Джон Диккенс уже не узнал его и умер, не приходя в сознание.

Вот теперь, вслед за Фанни, ушел из жизни отец. Теперь нет живой связи с детством, ни с радостями его, ни с горем. Кто их может заменить? Нет, не мать. С сестрой Летицией он не был близок и много был старше братьев. Итак, никто из родных уже не пробудит в нем терпкое чувство, так хорошо знакомое каждому, — воспоминания о прошлом.

Говорят, что он выглядит старше своих лет. Он это знает. Он любит зеркала и не раз в течение дня всматривается в свое лицо. Лицо уже в морщинах; их, правда, не так много, но глубокие складки у рта еще похуже морщин.

Вскоре ему пришлось снова быть на хайгетском кладбище, где лежал мистер Джон Диккенс.

Он говорил речь на собрании членов Театрального фонда, призванного оказывать помощь больным и нуждающимся

актерам. И в это время умерла его маленькая, годовалая дочь Дора. Впервые умирал у него ребенок.

Но в битве жизни мы должны скрывать от чужих взоров наши сердца, если хотим мужественно нести наши обязанности и наш долг. Эти слова услышал от него Форстер, когда сообщил ему на собрании Театрального фонда весть о внезапной смерти ребенка. Когда он провожал малютку Дору на хайгетское кладбище, он скрыл от чужих взоров глубину потери.

Для него битва жизни продолжается.

Он погружается в хлопоты по переезду с Девоншир Террас. Дети растут; правда, Чарли учится в Итоне, но и ему нужна комната, когда он приезжает на вакации. Короче говоря, надо искать дом, более поместительный. На Тэвисток Сквер он покупает дом, в котором долго жил мистер Перри, редактор «Морнинг Кроникл». Когда-то репортер Чарльз Диккенс почитал большой удачей работать под командованием мистера Джемса Перри, а владелец Тэвисток Хауза, в котором было восемнадцать комнат, имел тогда весьма смутное понятие о репортере Диккенсе.

Но теперь Чарльзу Диккенсу нужны и эти восемнадцать комнат и зал, весьма пригодный для домашних спектаклей, и кабинет, который отделяется от этого зала раздвижной стеной. Чарльз Диккенс любит после тяжелого рабочего дня гулять. Теперь он может раздвинуть стену и прогуливаться не только по своему кабинету, но и по залу, способному вместить триста приглашенных.

Надо подумать и о некоторых перестройках в Тэвисток Хаузе. Этот вопрос можно обдумать в Бродстэре, где снова дети дышат морским воздухом и где привычно работать. Там можно пробыть до ноября, писать очередные эссе для «Домашнего чтения» и составлять список необходимых улучшений в новом доме. Надо позаботиться и о расширении

библиотеки. Вместе с указаниями архитектору надлежит послать и распоряжение о книгах, которые украсят полки книжного шкафа. На корешках переплетов Чарльз Диккенс хотел бы видеть такие, например, заглавия: «Каталог статуй герцога Веллингтона», «Иона. Отчет о ките», «Искусство рвать зубы»; на трех томиках он не прочь бы прочесть заглавие золотом: «Пять минут в Китае», на двух томиках: «Сорок подмигиваний на пирамиды». По три тома можно уделить таким волнующим произведениям, как «Хевисайд. Беседы с никем» и «Дроси. Воспоминания ни о чем», на четырех корешках должно красоваться: «Мюнхгаузен. Современные чудеса», и десять корешков надлежит заготовить для такого капитального сочинения, как «Кант. Чепуха в древности». Дополнительный список может быть прислан в любое время… Шкаф надо будет изобразить на стене, но так, чтобы посетитель не сомневался в его реальности.

Итак, все идет своим чередом. Но волосы редеют, складки на лице резче и глубже, тут уж ничего не поделаешь.

11. В самом сердце тумана

Он видит тяжелый желтый туман, — таким туманом может гордиться самый большой город в мире. Туман должен подняться на первых страницах романа, а потом туман пойдет клубами из выпуска в выпуск. Это он видит, но комические сцены и персонажи — нет, не может разглядеть. Но зато он может разглядеть некоторые последствия привычного для соотечественников атмосферного явления, которым он твердо решил открыть новый роман. Туман не может скрыть от него этих последствий. Как это ни странно, но туман поможет ему предвидеть их.

Когда думаешь о новом романе, к одному неоспоримому выводу присоединяется другой. Не оправдаются ожидания

не только почитателей его юмористического гения. Кое-кто из других его поклонников также воздает умеренную хвалу роману. До сей поры он убедительно внушал читателю, что в самой благоустроенной и благополучной стране мира далеко не все благополучно и благоустроенно, как полагали многие соотечественники.

Существуют в ней и работные дома с воспитательными приютами, похожие больше на тюрьмы, чем на богоугодные заведения, и тюрьмы, превращенные в питомники для разведения граждан, бесполезных обществу. Существуют странные законы, которые карают не злой умысел, а ошибку; не только виновника, но и невинного. Существуют рассадники просвещения, навеки калечащие юные души. Подвизаются в стране, преклоняющейся перед законом, паладины закона, которому в первую очередь надлежало бы обрушиться на своих паладинов. В народе, рожденном под сенью хартии вольностей, неведомо почему угнездилось неистребимое почитание аристократов. А среди ноблъменов многие могли бы с успехом украсить своим присутствием корабли, отвозящие преступников на каторгу в Ботани Бай или на выставку монстров, которую пришла бы охота организовать симпатичному Марку Ли́мону… Существуют…

Словом, за все эти напоминания он заслужил у многих соотечественников кличку «радикал». На их языке — это бранная кличка. Но они мирились с Чарльзом Диккенсом. Кое в чем он был прав, этот радикал, говорили они. Да к тому же он главным образом обращал внимание великой своей родины на преступных или уморительных субъектов, которые в самом деле не на высоте своего положения или профессии. Читая его книги, нельзя подчас с ним не согласиться, с этим радикалом.

Но теперь туман растечется по всему роману, и патриоты воздадут новому произведению умеренную хвалу. Может быть, даже совсем не воздадут. Ибо теперь темой романа он избрал дорогой сердцу патриота институт — верховный Суд *Справедливости.*

Патриоты гордятся здоровым чутьем англичанина. Какому другому народу пришло в голову создать две системы правосудия — правосудие по закону и правосудие по справедливости? Закон может ошибаться, как может ошибаться и человек. К тому же закон коснен и неповоротлив, для его замены требуется немало времени. Вот потому-то англичанин и обратился к другому средству творить правосудие, когда закон упирался. Рядом с судом, где закон — господин, англичанин вырастил другой суд, где на помощь судье приходит самый верный помощник — непогрешимая справедливость. И самый верховный Суд Справедливости Англия назвала — Канцлерским судом.

Когда-то он, Чарльз Диккенс, рассказал об одной жертве справедливости. Еще в «Пиквике» читатели могли познакомиться с этой жертвой справедливости Канцлерского суда. Но теперь он докажет врагам прогресса, что эта жертва — не случайная. Что непогрешимая, нетленная справедливость верховного Суда Справедливости — трагическое недоразумение.

Неудивительно, если мрачные тяжелые клубы тумана поползут по всему роману и роман получится тоже мрачный. Но ничего нельзя поделать, он должен его написать. Соотечественник возлагает большие надежды на грядущее процветание торговли и промыслов. Соотечественник рад, что беднота как будто поняла неисполнимость зажигательных требований этих бунтовщиков чартистов. Поняла и успокоилась. Правда, не совсем, потому что заявляет о своем разочаровании стачками и прочими не вполне

легальными средствами. Но дальше стачек беднота не пойдет, теперь это очевидно. И теперь расположение духа у патриота — почему-то состоятельные соотечественники называют патриотами только себя — значительно улучшилось за последние годы. Улучшилось, мол, положение горячо любимой Англии, — так они объясняют. Если быть внимательным наблюдателем, то следует признать, что улучшилось их собственное положение, но никак не Англии. Нищета и бедность в горячо любимой Англии нисколько за эти годы не уменьшились. Увы, это так. А потому нет оснований опасаться, что доброе расположение духа помешает работе над мрачным романом.

Если верить друзьям, в «Дэвиде Копперфильде» ему удалось не слишком отвлекаться в сторону от главного сюжета. Это не так легко, и в новом романе надо также приложить усилия и расположить всех участников поближе к основной теме, к мрачной теме — к Канцлерскому суду. Некоторые участники уже ясно видны. Они уже не исчезнут, и можно отвлечься — позаботиться о спектаклях в пользу Гильдии литературы и искусства.

Гильдии еще нет двух лет. Диккенс вместе с Бульвер Литтоном были главными ее восприемниками, когда благая идея получила осуществление. Идея Гильдии — материальная поддержка литераторов и людей искусства на началах товарищеской взаимопомощи — сулила успех начинанию. Нуждающиеся и больные литераторы и люди искусства отныне могли получать помощь, не поступаясь самолюбием. Прекрасная идея! И сценический талант Чарльза Диккенса сослужит немалую пользу для ее осуществления. Диккенс помог Гильдии раньше, а теперь его труппа снова покажет пьесу «Не так плохо, как кажется». Ее написал для труппы Бульвер Литтон, для Диккенса там есть неплохая роль

светского модного хлыща. На десерт принято ставить что-нибудь очень водевильное. Марк Ли́мон — большой мастер водевиля. Не заботясь о сюжете, он состряпал «Дневник мистера Найтингеля».

И город Клифтон впервые увидел на сцене своего театра Чарльза Диккенса. Достаточно ему было появиться перед рампой в пьесе Бульвер Литтона, чтобы любители сценического искусства убедились в весьма оригинальном толковании образа светского хлыща времен Фильдинга и Смоллета. Лорд Уильмот, король моды, превратился в подобие бравого голландского корсара… Но вот кончилась пятиактная пьеса. Снова поднялся занавес.

Публика ахнула. Перед ней был Сэм Уэллер. Публика ахнула еще громче, когда старый знакомец Сэм превратился в красноречивого адвоката, затем в ипохондрика, затем в подобие миссис Гэмп, знаменитой сиделки из «Мартина Чеззлуита»…

А когда Чарльз Диккенс преобразился в дуэлянта и, орудуя палашом, напомнил зрителям о поединках, с таким успехом поставленных мистером Кроммльсом из «Николаса Никльби», — восторг клифтонцев оказал бы честь самому Макреди…

В марте 1852 года первый ежемесячный выпуск нового романа появился в руках тридцати тысяч читателей. Снова роман иллюстрирует Физ, замечательный Физ, или иначе — Хеблот Браун, которого так хорошо знают читатели «Пиквика», «Никльби», «Чеззлуита», «Домби» и «Копперфильда». Его гравюры так легко было узнать в «Часах мастера Хамфри» рядом с гравюрами Каттермоля. И теперь снова он, старый знакомый…

И сразу читателя окутывает туман, и «в самом сердце тумана» заседает лорд-канцлер в своем Канцлерском суде.

Суд Справедливости — в который раз! — решает по справедливости дело о наследстве Джорндайсов. Суд Справедливости — который год! — втягивает в это дело десятки новых людей, рождается неисчислимое количество детей, они вырастают, превращаются в стариков, успевают умереть, а Суд Справедливости все еще не вынес своего решения. Покончил самоубийством один из истцов, другой истец, Джон Джорндайс, в отчаянии отказался от участия в этом проклятом процессе. Но, кроме него, есть еще истцы и наследники истцов. Двух из них благодетельный закон поручил попечению суда. И Джон Джорндайс берет к себе в Холодный дом этих наследников — Ричарда Кэрстона и Эду Клер, юношу и девушку. И в тот же Холодный дом берет сироту, незаконнорожденную Эстер Соммерсон, — она должна стать компаньонкой одинокой Эды.

Дэвид Копперфильд рассказал о своей жизни. Рассказывает о своей жизни и Эстер Соммерсон.

Черная тень процесса, страшного в своей безысходности, падает и на Холодный дом и на всех, кто в нем обитает. Черная тень падает и на тех несчастных, кто ютится в бесчисленных домах вокруг Суда Справедливости, — на помешанную старушку, которая ждет счастливого завершения своего мифического судебного дела, на странного голодного переписчика судебных бумаг, который кончает с собой. Но в Холодном доме и в среде людей, связанных с ним, еще произойдут трагические события. Пока все обстоит благополучно: Эда и Ричард влюбляются друг в друга; появляется на сцене красивая леди Дэдлок, супруга семидесятилетнего сэра Дэдлока, беззаботный Гарольд Скимпол, многодетная миссис Джеллиби — филантропка, маниакально погруженная в дело колонизации Африки, мальчишка-метельщик Джо, молодой хирург Вудкурт. Читатель уже начинает различать

нити, которыми Диккенс связывает мрачный Холодный дом с поместьем сэра Дэдлока и с его обитателями.

Диккенс не хочет увести повествование на боковые тропы. Может быть, раньше, до «Копперфильда», он этого тоже не хотел, но как часто его персонажи занимались своими делами, не обращая внимания на главный сюжет! Теперь Диккенс заставляет их интересоваться главным сюжетом.

Эта задача трудна для каждого, для него она особенно трудна. Его воображение живет в слишком стремительном ритме, он постоянно должен бороться с искушением вводить новых людей и изобретать новые ситуации. Но сколько хлопот с теми, кого он уже увидел, совсем живыми! В романе готовы принять участие восемьдесят человек, не меньше. Нелегко разместить их вокруг Холодного дома и Суда Справедливости, они готовы в любую минуту разбежаться.

Он работает регулярно и напряженно. Потом он перевозит семью в Дувр, работает там. Но Гильдия литературы нуждается в деньгах. Труппа Диккенса отправляется в турне с той же пьесой Бульвер Литтона и с тем же водевилем Ли́мона.

В труппе есть новый актер — Уилки Коллинз. Диккенс сразу чувствует к нему душевное расположение, ему нравится его роман «Антонина или падение Рима», он привлечет этого двадцативосьмилетнего писателя к близкому участию в «Домашнем чтении».

Тем временем читатель уже хорошо узнал мягкого, деликатного мистера Джорндайса и мистера Гарольда Скимпола…

Чем ближе он знакомится с Гарольдом Скимполом, тем больше крепнут у него подозрения: не задумал ли автор показать ему весьма популярного журналиста и эссеиста Ли Ханта? Разумеется, эти подозрения возникают не у всех читателей, но только у литераторов, которым хорошо известна

легендарная способность Ли Ханта жить на средства своих ближних. Их, этих подозрительных литераторов, не введет в заблуждение талантливый Физ, — на его гравюрах Гарольд Скимпол ничуть не похож на Ли Ханта. Автор, конечно, предусмотрел такую подозрительность и дал точные указания художнику, но, по-видимому, цели не достиг. Сходство Скимпола с бесстрашным публицистом, некогда пострадавшим за непочтительный отзыв о принце-регенте, несомненно. Гарольд Скимпол так же не склонен из принципа усматривать различие между своими фунтами и чужими, как и мистер Ли Хант, в его эгоизме можно также открыть черты ребячливости, которая подкупает, даже элегантности, которая очаровывает.

Но мистер Скимпол не имеет прямого отношения к событиям, на которые в свое время упадут мрачные тени Канцлерского суда и Холодного дома. Эти события уже предощущаются читателем. Молодой Ричард Кэрстон, испробовав ряд профессий, уезжает в армию субалтерн-офицером, но налицо уже грозные симптомы: ему не избежать опасности, проклятое дело о наследстве Джорндайсов засосет его. И предощущаются трагические события, связанные с судьбой леди Дэдлок. Она проявляет странный интерес к смерти голодного пожилого переписчика судебных бумаг, она щедро одаряет мальчишку-метельщика Джо, который доставляет ей сведения об этом ничтожном переписчике, и она вызывает своим поведением неясные подозрения у мистера Токингхорна, юрисконсульта сэра Дэдлока. Словом, туман, поднявшийся с первых страниц романа, собирается в тучи над всеми, кто связан с Холодным домом.

Время идет в работе над романом. Близится лето 1853 года, надо вывозить чад и домочадцев из Лондона. У Кэт на руках новый малютка — сын Эдвард Бульвер Литтон,

названный так в честь своего крестного. Теперь у Кэт снова девять детей. Диккенс решает провести лето во Франции — в Булони.

В большом саду у моря, неподалеку от дороги на Кале, есть и оранжерея и водопад; детей развлекает водопад, которого не было в Бродстэре, и Диккенса развлекают ежедневные народные гулянья неподалеку от дачи. Французы — веселый народ; воскресные танцы на вольном воздухе — веселое зрелище, а приятели — Джон Лич и Уилки Коллинз, поселившиеся неподалеку, могут быть веселыми собеседниками в часы отдыха и спутниками в далеких прогулках. Жаль, что их нельзя убедить в том, что Чарльзу Диккенсу совершенно необходимо завести усы и бороду…

Приятели немало говорят об ущербе, который нанесет борода красоте мистера Чарльза Диккенса, но противники бороды очень скоро терпят поражение. Баста! Ему перевалило за сорок, он — солидный глава семейства, весьма внушительного по размерам, а усы и борода именно предназначены свидетельствовать о солидности. А самое главное — он так решил. Кроме того, он решил после окончания романа поехать месяца на три в Швейцарию и Италию отдохнуть и предлагает приятелям поехать вместе с ним. Милый Джон Лич может быть спокоен, ему не придется пересекать море и мучиться от морской болезни, которой он так боится, а «Панч» некоторое время как-нибудь обойдется без него… Что же касается Уилки Коллинза, то ему крайне необходимо снова побывать в Италии и установить, что изменилось с той поры, когда он жил там, совсем юнцом, со своими почтенными родителями. Уилки — писатель, подающий надежды, — о, да! — и должен наблюдать нравы и прочее…

«Панч», пожалуй, может обойтись без Джона Лича, скромно соглашается художник, но, к сожалению, Лич

не может обойтись без «Панча». Уилки Коллинза убеждает неопровержимый довод старшего друга, и он готов ехать куда угодно.

Превосходно. Надо кончить роман к сентябрю. Тираж Холодного дома растет — доносят ему Брэдбери и Эванс, — приходится выпускать уже не тридцать, а сорок тысяч экземпляров.

Читатель вслед за юрисконсультом мистером Токингхорном медленно проникает в тайну гордой и прекрасной леди Дэдлок. Юрист выслеживает мальчишку Джо, с которым леди Дэдлок поддерживает какие-то деловые отношения; он устанавливает, что владелец тира мистер Джордж был некогда ординарцем у капитана Хаудона и что этот капитан имел возлюбленную, от которой у него была дочь. Какое отношение это может иметь к леди Дэдлок? — недоумевает читатель. Но скоро его недоумение исчезает. На свете происходят странные вещи, — голодный, загадочный переписчик судебных бумаг, умерший где-то в лачуге, есть не кто иной, как капитан Хаудон…

Теперь мистеру Токингхорну, а также и читателю, — все становится ясным. Леди Дэдлок недаром так интересовалась судьбой голодного переписчика. Гордая леди скрывала свое прошлое. У нее где-то была незаконнорожденная дочь. Прозорливый законник Токингхорн устанавливает, что эта дочь — Эстер Соммерсон, обитательница Холодного дома.

Тень мрачного процесса Джорндайсов уже упала на этот мрачный дом. Ричард Кэрстон превращается в маниака. Отныне его цель — добиться окончания нескончаемого процесса. Любовь Эды, ставшей его женой, бессильна его излечить.

Уже различаются смутные очертания второй драмы. Леди Дэдлок нашла свою дочь, которая ее простила, но мистер Токингхорн не дремлет. Тайна леди Дэдлок в его руках, а он беспощаден, играя своей жертвой. Должна пролиться кровь,

по крайней мере фигурально. Но кровь льется не фигурально, — Токингхорна находят убитым. Нет, его убила не леди Дэдлок, сэр Дэдлок вериг в ее невиновность, он прощает ей прошлое. Но она уже не нуждается в прощении, — ее находят мертвой у могилы бывшего возлюбленного. А вслед за этим выясняется, что убийца Токингхорна — Гортензия, француженка, горничная гордой леди, сломленной своей судьбой.

Сломлена судьба и молодого Ричарда. Ее сломил процесс Джорндайсов. Найдено завещание, которое нельзя оспорить: Ричард и Эда — бесспорные наследники. Но Канцлерский суд, Суд Справедливости, не сказал еще своего последнего слова. Когда он произносит его, уже ничем помочь нельзя, — расходы по процессу поглотили все наследство. От потрясения Ричард умирает это судьба одержимых. Процесс Джорндайсов убил его.

Не слишком ли мрачен такой конец? Читателю он не придется по душе. Диккенс поспешно устраивает судьбу и Эстер Соммерсон, и Эды, вдовы Ричарда, которая остается с ребенком на руках на попечении доброго мистера Джорндайса. Теперь можно поставить точку. Закончена и «История Англии для детей», которую время от времени он диктовал стенографистке. Можно ехать отдохнуть.

Уилки Коллинз и художник Огастес Эгг сопровождают его. Путешественники не намерены задерживаться в Швейцарии. Уже ноябрь, холодно, — так же холодно, как девять лет назад, когда он ехал из Генуи по итальянским городам. В Генуе его хорошо помнят. И он помнит Геную, где почти ничего не изменилось за девять лет; древняя Генуя — самый живописный город в Италии, если не считать Венеции, в этом он убежден — и теперь, как раньше. И так же, как девять лет назад, оборванный, грязный Неаполь, о котором он постарался когда-то не вспоминать, наслаждаясь

ранним утром панорамой Неаполитанского залива, кажется ему крайне непривлекательным.

Они в Риме. Чудаки эти художники! Огастес Эгг от восторга не может вымолвить ни слова, когда вперяет взор в какую-нибудь знаменитую картину.

Путешественники в Милане. Город тот же, те же оживленные улицы, так же, как раньше, приветливы миланцы, но здесь много австрийских войск! Идешь по Милану, и на каждой улице из окон палаццо выглядывают грязные австрийские солдаты. Владельцев этих палаццо нет в Милане. И нет в Милане и в других городах Италии многих простых смертных, исконных жителей. Все они — патриоты, им всем пришлось покинуть родину.

Диккенс отдохнул. Он в Лондоне. Нужно готовиться к публичному чтению в Бирмингеме. Уже давно он обещал бирмингемским почитателям прочесть святочную повесть в пользу Механического института, который недавно создан. Чтение назначено на конец декабря.

Бирмингем — город металлистов, механиков — кудесников меди и железа.

Зима в этом году холодная. В апартаментах «Отеля Королевы» камины жарко растоплены; у Диккенса — гость, председатель попечительного совета нового института. Упитанный джентльмен с выхоленными бакенбардами и холодными стальными глазами сидит у жаркого камина, попивает херес и медленно, солидно говорит, не позволяя себе ни одного жеста. Диккенс забрал в ладонь бороду, покусывает ее и слушает гостя. Джентльмен — патриот своего города, фабрикант, — да, конечно, он фабрикант.

— Мой город мог бы покрыть всю поверхность земли листовым железом, которое он производит на своих мануфактурах, — говорит джентльмен, — он выбрасывает

на рынок миллионы миль медной проволоки и столько гвоздей и иголок, что счетчики Королевского монетного двора не смогли бы их подсчитать…

Джентльмен любит гиперболу, но эта любовь — от веры в мощь бирмингемских мануфактур.

— Кто не знает нашей электрометаллургии, мистер Диккенс, наших ружей и сабель, наших ламп, наших железнодорожных вагонов и запонок? Железнодорожные вагоны и запонки. О наших возможностях можно судить по такому сопоставлению, мистер Диккенс, у вас оно вызовет поистине величественные картины, которые, кстати сказать, не всегда возникают перед взором моих сограждан, когда они решают вопрос о мерах, способствующих процветанию Бирмингема. К сожалению, сухие цифры нередко заслоняют для нас наше будущее.

В его тоне слышится пренебрежение к согражданам, лишенным способности наслаждаться величественными картинами будущего.

— А наши знаменитые пуговицы, мистер Диккенс!

Он даже позволяет себе плавный жест. Диккенс кусает бороду и смотрит на большие белые пальцы джентльмена. Они слегка скрючились. О! эта рука может плотно зажать в кулак будущее Бирмингема.

— Их называют, кажется, брамаджемскими, сэр, эти ваши знаменитые пуговицы? Мистер Джингль из моего «Пиквика» называл их именно так, если я не ошибаюсь.

— Ха-ха-ха! — солидно смеется джентльмен. — Вы великий юморист нашего времени, мистер Диккенс. Правильно! Когда-то переделали наш Бирмингем в Брамаджем и назвали фальшивые монеты брамаджемскими пуговицами…

— Не потому ли, что ваши запонки и табакерки и прочие изделия ваших мануфактур походили на серебряные только внешним своим видом?

Теперь, когда он отрастил густые усы и бороду, ему легче скрыть улыбку.

— Но это не важно, — обрывает он себя, — скажите лучше, сэр, чартистские идеи по-прежнему владеют умами рабочих Бирмингема? У вас должны быть сведения так сказать неофициального порядка.

— Чартистские идеи, мистер Диккенс? Чартизм никогда не был страшен бирмингемцам.

— Так ли это, сэр? Я привык следить за общественной жизнью нашей страны и вспоминаю, что Бирмингемский политический союз пятнадцать лет назад составил петицию в Палату общин, одобренную всей партией чартистов. Насколько я помню, через год после этого чартистский конвент переехал в Бирмингем. И вспоминаю беспорядки в вашем городе… Я имею в виду избиение полицией ваших сограждан, собравшихся на митинг, на этом… если не ошибаюсь, — на Буль Ринге. Если память мне не изменяет, это было год спустя после переезда конвента в Бирмингем. Вот-вот. Вы видите, я в курсе ваших дел, сэр.

— Это делает честь нашему городу, мистер Диккенс. Но, право же, вы ошибаетесь, полагая, что агитация чартистских бунтовщиков добилась у нас какого-нибудь успеха.

— Я спрашиваю об успехе чартистских идей среди рабочих бирмингемских мануфактур.

— О! Я прекрасно понимаю, что вас интересует, мистер Диккенс. Я всегда восхищался машинистом Туддльсом, которого вы изобразили в вашем романе «Домби и сын». Совершенно живой машинист и, к счастью, ничуть не зараженный чартистскими идеями. Вам угодно употребить слово «идея», хотя я не совсем уверен, можно ли назвать «идеей» стремление нескольких демагогических ораторов вселить в умы рабочих возмущение их мнимым бесправием. Но, не вдаваясь в спор, я могу вас заверить, что Томас Аттвуд, член парламента,

руководивший так называемым Бирмингемским политическим союзом, не сумел повести за собой наших рабочих. И никто из политиканов тоже ничего не добился…

Диккенс не прерывает джентльмена. Он приехал сюда, чтобы читать рождественскую повесть в пользу просветительного учреждения, но не для спора с этим бирмингемцем. Он слышит уверенный, сочный голос джентльмена, смотрит в его голубые глаза, запрятанные глубоко в черепе, под крутыми надбровными дугами. Он смотрит на его белые руки, очень большие, с тяжелыми, будто разбухшими, пальцами и думает, что эти руки должны быть так же беспощадны, как беспощадны его голубые глаза. Он думает о том, что именно этот джентльмен тринадцать лет назад призвал войска для разгона свободных английских граждан, их жен и детей, собравшихся на митинг на Буль Ринге. И еще он думает о том, что у этого джентльмена никакой врач не сможет обнаружить человеческое сердце там, где ему полагается быть.

— О'Коннор сидит в доме умалишенных, а другие бунтовщики дерутся между собой, дорогой мистер Диккенс. Можно сказать, что чартизм больше не существует, и у рабочих наших мануфактур нет больше поводов проявлять недовольство своим положением…

Бирмингемец не ждал, что почтенный гость заведет речь на весьма скучные темы. Теперь он считает, что пора заговорить о другом. Внезапно, неожиданно Диккенс вспоминает одну встречу. Это было в Америке. Вот так же, как сейчас, сидел перед ним джентльмен и уверенно говорил об отсутствии у негров повода проявлять недовольство белым господином… И вдруг он оставляет в покое бороду и говорит, глядя в упор на бирмингемца:

— У некоторого сорта фабрикантов, сэр, я наблюдаю чудовищные притязания на господство, и меня занимает

вопрос, каковы границы, до которых облегчается рабочим путь, по какому они соскальзывают к недовольству.

Джентльмен совсем не глуп. Ему достаточно нескольких секунд, чтобы уразуметь истинный смысл этой фразы. Писатели, когда этого хотят, могут выражаться не совсем ясно.

— Мы облегчаем рабочим путь к недовольству? Не согласен, дорогой мистер Диккенс. Вы изволите говорить о границах… Так. Могу ли я истолковать ваши слова в том смысле, что такими границами, до которых мы якобы вынуждаем рабочих дойти, являются, скажем… стачки?

Теперь джентльмен ждет ответа. В самом деле, пора кончать эту беседу.

— Я не собираюсь бастовать, сэр, — устало говорит Диккенс, — так что не бойтесь меня.

— Что вы, мистер Диккенс! Вы изволите, как всегда, шутить.

Диккенс встает и перебивает довольно бесцеремонно.

— Я обещал Механическому институту повторить чтение, если, конечно, бирмингемцы выразят желание меня снова слушать. Будьте добры распорядиться, чтобы билеты на мое следующее чтение были предложены по самой низкой расценке рабочим ваших мануфактур. А теперь прошу извинить, сэр, меня уже давно ждут…

Да, Бирмингем — город мануфактур. Он задымлен, снег, лежащий на улицах и на крышах домов, как будто присыпан черным порохом. Мануфактуры не только на окраинах, но и в центре. Вокруг них возведены высокие кирпичные заборы. Рано утром, в декабрьской тьме, толпы рабочих вливаются в фабричные ворота; после десятичасового рабочего дня они растекаются через те же ворота в *ту* же декабрьскую тьму. Диккенс бродит по Бирмингему, достопримечательностей в городе нет, и у него нет прошлого. Но когда в графстве разведали залежи железных и медных руд и задымились

доменные трубы, город обрел будущее. Его создало чудесное искусство людей, которых не увидишь в зимний день при свете солнца на улицах Бирмингема. Создало и укрепило. В настоящее время, говорил Диккенсу какой-то старожил, в Бирмингеме строится ежегодно столько домов, сколько не насчитывалось сто лет назад во всем городе…

Здесь у него много читателей, он это знает. Можно думать, что второе чтение состоится, и рабочие мануфактур услышат Чарльза Диккенса. В первый раз он читает перед большой аудиторией.

Таун Холл вместит около двух тысяч слушателей. Бирмингемцы горды Таун Холлом, у городского магистрата античные вкусы, и Таун Холл — копия храма Юпитера Статора в Риме.

Но успех первого публичного чтения превосходит все чаяния. Читатель видел Чарльза Диккенса на сцене. Он знает, что Диккенс превосходный актер, но впервые он слышит чтение Диккенса с эстрады. Нет, он не слыхал раньше такого чтения.

Диккенс читает «Рождественский гимн». Механический институт почтительно просит повторить чтение. А как же быть с расценкой мест? Рабочие не могут дорого платить, даже если сбор идет в пользу института. Если мистер Диккенс не возражает, то для рабочих будет устроено третье чтение.

Он соглашается и читает «Сверчок у камелька». Для третьего чтения он снова выбирает «Рождественский гимн».

Перед ним рабочие Бирмингема. Он — на эстраде. Когда смолкают рукоплескания, он говорит рабочим:

— Если раньше бывали времена, в чем сомневаюсь, когда какой-нибудь один класс мог многое совершить для своего собственного блага и для блага общества, то, несомненно, эти времена миновали безвозвратно. Один из главных принципов,

на которых должен быть построен Механический институт, состоит в том, что различные классы должны быть сплавлены друг с другом, хозяева и служащий связаны между собой, создано взаимопонимание тех, кто друг от друга зависит, кто нуждается друг в друге и кто никогда не может пребывать в противоестественной взаимной вражде без того, чтобы не воспоследовали печальные результаты…

Он видит в первом ряду своего знакомца, бирмингемского патриота. Тот одобрительно кивает головой в такт словам оратора. И Диккенс, как тогда, у себя в отеле, чувствует неприятную усталость, хотя он еще не начинал чтения.

Когда он кончает чтение, овациям нет конца. Неужели он так хорошо читает?

12. Тень тяжелых времен

Бирмингемец вспомнил кроткого машиниста Туддльса, взиравшего на мистера Домби, словно на некое божество. Конечно, не все рабочие бирмингемских мануфактур знакомы с книгами Чарльза Диккенса. Но все же среди них есть читатели его книг. Да, мистер Диккенс внушает правильное понятие о тех отношениях, какие весьма желательны между мистером Домби и машинистом Туддльсом.

Нет, мистер Диккенс не имел такого намерения, уважаемый сэр. Теперь вы очень самоуверенны, но интересно было бы на вас взглянуть, когда в вашем городе снова собралась толпа и начала разбивать оптовые склады и магазины. Это было через год после избиения безоружной толпы на том же самок Буль Ринге. Веселый огонь пожирал груды товаров, но вам было не очень весело. Кроме огня, никто не завладел прославленными изделиями славных ваших мануфактур, никто из бунтовщиков не соблазнился легкой добычей. Пожалуй, это было тяжелое для вас разочарование. И тогда, должно быть, вы снова позвали войска и заставили

их стрелять по живым людям. И внушали здравые идеи о том, какие должны быть отношения между вами и рабочими ваших мануфактур. Но мистер Диккенс не считал эти идеи здравыми, когда описывал кроткого машиниста Тудльса. Вы ошибаетесь, сэр, если полагаете, будто он разделял ваши взгляды на сей деликатный вопрос. И не разделяет их сейчас.

Он утверждает, что ваше притязание на господство *чудовищно*. Он вам сказал это, когда его привела в ярость ваша уверенность в своих силах и в провиденциальном назначении владельцев бирмингемских мануфактур. А для того, чтобы вам это было ясно, он обратился к рабочим с краткой речью. Он попытался объяснить и рабочим, и вам, что он думает по сему деликатному вопросу.

Должно быть, ему не удалось ясно объяснить. Он понял это, когда вы, улыбаясь, одобрительно покачали головой. Вы, конечно, вспомнили, что Чарльз Диккенс не призывает к стачкам и не будет призывать к разгрому оптовых складов. Проклятие! Но ведь Чарльз Диккенс отверг, публично отверг ваши притязания на господство. Ведь он заявил, что, по его понятиям, оба класса — хозяева и рабочие — в одинаковой мере нуждаются друг в друге. Стало быть, существование одних зависит от существования других, а в таком случае, о каком господстве может помышлять тот, кто нуждается в помощи другого и без этой помощи погибнет? Чарльз Диккенс взывал к миру, к взаимному пониманию, к объединению всех сил на пользу общества, к совместной и самоотверженной работе с забвением своих эгоистических интересов. Разве не ясно, что он говорил о той великой цели, к которой он сам стремится всеми своими помыслами? Достижение этой цели, по его понятиям, возможно, он в это верит. В противном случае он не писал бы своих книг, не боролся бы против социального зла, не внушал бы без отдыха простую истину о том, что человеческое сердце всегда найдет верный путь к счастью каждого и к благу всех.

Но бирмингемский знакомец все же улыбался и одобрительно кивал головой. Проклятие! Чем дальше он живет, тем чаще убеждается, что у многих людей ни один врач не найдет сердце в том месте, где ему полагается быть. Вы, уважаемый сэр из Бирмингема, поняли лишь одно: Чарльз Диккенс — против стачек. Остальное вас не интересовало. На остальное вы просто не обратили внимания. Вы — один из тех, кого все чаще встречаешь на своем пути, по мере того как идут годы.

Но, — благодарение небесам! — на белом свете много людей, которые ищут правильный путь. Им нужно помочь. Трудные теперь времена. Пусть бирмингемский фабрикант радужно смотрит в будущее. Он успокоился, оптовым складам не угрожает разгром, чартизм в самом деле почти угас. Но разве угасла вражда между владельцем бирмингемских мануфактур и рабочим? И разве снизошел на души людей благостный мир? Если за него не бороться, что принесет завтрашний день?

Надо писать роман. И назвать его — «Тяжелые времена». Эти два слова слышишь повсюду, только у друзей бирмингемца, быть может, крепнет уверенность в счастливом повороте событий.

Роман не должен быть пространным. Хорошо бы его печатать в «Домашнем чтении»; нельзя сомневаться, что тираж журнала сразу вырастет. Те, кто интересуется социальными вопросами, не должны пройти мимо журнала. Нелегко будет снова перейти от месячных выпусков к изданию в еженедельном журнале, но надо выдержать.

План романа созрел, в апреле можно начать печатание; остается месяца три — срок достаточный... и надо выполнить обещание, данное детям. Почему *па* играет на сцене, а они не играют? Шарады — занимательная игра, *па* выдумывает всегда очень забавные шарады, и гости

их веселятся напропалую, это правда. Шарады даже похожи на театр, но все же — это не то…

Когда жили на Девоншир Террас, *па* говорил, что для настоящего театра зал невелик, но теперь в Тэвисток Хаузе зал огромный, и значит, можно устроить театр. Актеры найдутся, прежде всего они сами, даже Генри Фильдинг может играть, он уже почти взрослый, ему пять лет, затем дети «дяди Марка», сам *па* и «дядя Марк» и мало ли кто еще… Пришлось дать обещание основать «Театр Тэвисток Хауз». И теперь надо выполнить это обещание.

Театр Тэвисток Хауз должен открыться под крещение 1854 года — в Двенадцатую ночь, о которой немало знает каждый школьник. Разумеется, «дядя Марк» — Марк Ли́мон — принимает самое деятельное участие, без него не обойтись, ему достаточно появиться, чтобы вокруг все пошло вверх дном, а дурачиться и веселиться он умеет не хуже, чем *па. В* труппу вливаются его дети, старые друзья, и к постановке «Мальчика-с-пальчика» приступают без проволочек. Роль «Мальчика-с пальчика» единогласно поручается пятилетнему Генри Фильдингу. Замечательное совпадение! Главный актер носит имя в честь знаменитого классика, который, как известно, и написал комический бурлеск «Мальчик-с-пальчик».

Пятилетний дебютант выступает под загадочным псевдонимом: «мистер Г.» Другие псевдонимы легче разгадать: гигантшу Глумдалку играет «Феноменальный ребенок», то есть мистер Марк Ли́мон, а Диккенсу присваивается псевдоним «Современный Гаррик» и поручается роль духа дедушки мальчика-с-пальчика. Девочки воплощают трудные роли Хункамунки, Доллалоллы и прочих особ женского пола.

Мистер Г. открывает спектакль вдохновенным исполнением комической песенки, которую поет, восседая на руках Хункамунки. Затем он появляется уже на своих ногах, поет

новые комические песенки, расправляется своим чудодейственным мечом со всеми жертвами, затмевает, пожалуй, мастерством игры всех своих партнеров. Словом, спектакль имеет неслыханный успех, и театр Тэвисток Хауз можно считать основанным. Дети готовы немедленно приступить к подготовке новой пьесы, еле удается их уговорить, что это никак невозможно: *па* начинает писать роман.

Первый апрельский номер «Домашнего чтения» открывается романом «Тяжелые времена», и с каждой неделей читателю становится яснее замысел автора. Прежде всего он поставил своей целью вытеснить из воспоминаний читателя образ кроткого и благоговейного машиниста Туддльса. Один из его главных героев, рабочий-ткач Стивен Блекпул, не живет идиллической жизнью довольного своей судьбой машиниста. Этот сутулый человек, с нахмуренным лбом, с вдумчивым взглядом и с большой головой, покрытой длинными, тонкими седоватыми волосами, обречен на трудную жизнь. Но этого мало. Стивен Блекпул обречен на полную беспомощность, он — рабочий, а те люди, которые дают ему работу, не только притязают на господство, но и обладают им. Читатель должен будет в этом убедиться, как убедится он и в том, что судьба Стивена — трагическая.

Рядом со Стивеном читатель видит двух владельцев мануфактур: один из них — Томас Гредграйнд — на покое, другой — Джозайа Баундерби — не собирается уходить на покой. Это не купцы, как Домби, — это фабриканты, а город Коктаун, на который тяжелые времена наложили свою печать, — это город рабочих, типический фабричный город, один из тех городов, какие создали славу Англии, первой промышленной стране мира.

Их обоих — Гредграйнда и Баундерби — автор хочет окарикатурить. Одни из них должны смириться, поняв, что такова воля автора; другие могут протестовать, называя обоих

персонажей «куклами». Но и те и другие все же должны принимать их такими, какими их создал Диккенс. Томас Гредграйнд — маниак «фактов», основатель «образцовой» школы, вбивающий в головы юношества только одни «факты», ничего больше. Джозайа Баундерби наделен самыми отталкивающими свойствами. Он вульгарен, груб, жесток, лжив, Нет ни одной черты, которая позволяла бы думать, что Диккенс простит читателю снисхождение к такому деятелю отечественной промышленности.

Свойства двух фабрикантов обнаруживаются весьма скоро. Сын мистера Гредграйнда, Том, воспитанник образцовой школы, становится игроком, участвует в ограблении банка; дочь Гредграйнда, Луиза, выходит замуж за Баундерби и, конечно, очень несчастна, — она чувствует влечение к светскому молодому человеку и изгоняется своим мужем за мнимую измену. Судьба Стивена Блекпула, рабочего на фабрике Баундерби, связана со всеми этими персонажами. Его личная драма — невозможность разойтись с недостойной женой и жениться на любимой девушке — вырастает из его социального положения. В Англии, разъясняет ему Баундерби, развод возможен, но не для бедняков. И в Англии, добавляет Диккенс, насилие возможно не только со стороны владельцев мануфактур, но и со стороны рабочих. Стивен Блекпул не желает подчиняться агитатору трэд-юниона и должен уйти с работы.

Чарльз Диккенс поступил бы так же, как и Стивен Блекпул. Читатель не совершил бы ошибки, если бы предположил это. Но Стивен Блекпул не подчинился бы насилию и со стороны Баундерби. Он, конечно, восстал бы против Баундерби, но потом решительно не знал бы, что делать дальше, — разве что уйти с работы. Не подчиняться же ему дисциплине трэд-юниона, которую он только что отверг, как насильственную.

Неделя шла за неделей, и читатель «Домашнего чтения» все больше убеждался, что в тяжелые времена таким врагам организованной солидарности, как Стивен Блекпул, уготована только катастрофа. И в самом деле, поначалу негодный Том, сын мистера Гредграйнда, пользуется уходом Стивена из города, чтобы обвинить его в ограблении банка. Любящая его девушка доказывает полную его непричастность к этому делу, но уже поздно. Автор смыкает вокруг него цепь обреченности. Бродя по округе в поисках работы, Стивен Блекпул падает в ствол брошенной угольной шахты. Когда его извлекают оттуда, он умирает.

Концовки других ролей тоже найдены. И читатель может поразмыслить не только о судьбе участников романа, но и о том, не легла ли тень тяжелых времен на Чарльза Диккенса.

Уже давно эта тень подкрадывалась к нему. В «Холодном доме» Чарльз Диккенс как будто позабыл напомнить читателю о том, о чем помнит он сам, — о вере в человеческое сердце. Помнит ли, или память его потускнела?

Она потускнела, потому что другая тень, тень Суда Справедливости, слишком непроницаема и мрачна, чтобы вера в человеческое сердце могла сохранить прежний пыл. И в том же «Холодном доме» разве только виновных подстерегала злая судьба? И разве теперь не сгустилась тень, упавшая на Чарльза Диккенса?

Что он видит вокруг? Не почтенных созидателей национального богатства, но какие-то пародии на них. Не стройную логически убедительную систему мировоззрения, но вредную галиматью. Не благотворность жестких законов о браке, но их жестокость, жертвой которой падает бедняк. Не мирный труд после бурных лет, сулящий эру расцвета, но тяжелые времена.

Читатель размышляет: кажется, сам автор немного удивлен, — что-то не слишком внятно он внушает веру в готовность

рабочего и фабриканта изжить вражду и объединиться в едином порыве к общему благу. Автор не слишком убежденно верит в возможность такого объединения. Или это безверие — отзвук тяжелых времен?

Читатель размышляет. И тот читатель, который благорасположен к владельцам мануфактур, приходит к решительному выводу: у мистера Диккенса безусловно была некая вполне определенная цель; для достижения этой цели мистер Диккенс вывел на сцену кукол — не живых людей, а кукол…

Это очевидно каждому, недовольно заявляет консервативный «Вестминстерский журнал» в октябре, через два месяца после окончания романа. И вообще, раздражается журнал, у читателя, который попадает в холодную и неприветливую «атмосферу романа», создается очень неприятное впечатление… Консервативный журнал не находит никаких достоинств даже в манере повествования. Словом, ему очень не нравится роман. Все.

Через семь лет Чарльз Диккенс прочитает у Джона Рёскина, что по его, Рёскина, понятию, «Тяжелые времена» должны изучаться с особым вниманием каждым, интересующимся социальными вопросами; что тема в «Тяжелых временах» — национального значения; и что роман этот в некоторых отношениях самый значительный из всего написанного Диккенсом.

Но Диккенс еще не знает мнения Рёскина. Он пишет скетчи и статьи для «Домашнего чтения» и замышляет поездку в Париж. И на этот раз его спутником должен быть Уилки Коллинз. Вот поистине одаренный писатель! Жаль, что не все оценили в полную меру его роман «Игра в прятки», напечатанный в «Домашнем чтении». И собеседник он превосходный — умный, веселый. С ним приятно провести недели две в Париже, который готовится к международной выставке.

Дома в политической жизни бурное оживление. Уже давно — с весны 1854 года — Англия находится в состоянии войны с Россией. Наполеону III, французскому императору, удалось убедить английское правительство объявить России войну. Впрочем, лорда Пальмерстона не было нужды убеждать. Он повел сразу решительную кампанию за войну, как только Турция выступила против России. Кампания его усилилась, когда русский флот запер турецкий в гавани Синоп и сжег его. Эта победа русских укрепила воинственную позицию Пальмерстона, но премьер Абердин и кабинет министров колебались до конца марта 1854 года.

Бурное оживление политической жизни вызвано военными неудачами в Крыму. Неумелое военное руководство привело в октябре к гибели под Балаклавой отборных полков легкой кавалерии. Вслед за этими печальными вестями пришли новые вести — о бое под Инкерманом. Правда, русские должны были отступить, командование их войсками находилось в ненадежных руках. Но и английское командование немногим превосходило русское. По вине генерала одна из лучших английских дивизий была окружена, у нее иссякли боеприпасы, храбрые солдаты должны были отбиваться камнями. Но камни — не защита в современной войне, и в конце концов дивизия дрогнула и побежала. Время шло, и новые слухи достигли Лондона. На подступах к Севастополю солдаты замерзают в своих палатках, в лагере холера, подвоз снарядов временами прекращается, у солдат нет горячей пищи.

Кабинет министров должен отвечать за плохое ведение войны. И вот теперь, в январе 1855 года, министерство падает, к власти приходит воинственный лорд Пальмерстон.

Проходят две-три недели после этих событий, и Диккенс вместе с Уилки Коллинзом — в Париже.

Он бродит с Коллинзом по театрам. В театре Амбигю он вновь приходит в восхищение от Фредерика Леметра. Уилки

Коллинз согласен с ним, что Леметр — лучший актер из всех, каких им приходилось видеть! Уилки Коллинз согласен с ним, что постановки театра Французской комедии превосходны, а в театре Порт Сен Мартен нет никакой возможности дослушать до конца первый акт. Причина несколько необычная. Диккенс подозревает, что этот театр, должно быть, выстроен над… выгребной ямой. Французам, по-видимому, это нипочем, они принюхались, а вот англичанам приходится в панике убегать со спектакля и даже заглушать эти сильные переживания изрядной порцией бренди…

Горячительные напитки приходится поглощать ежедневно, на обедах, завтраках и ужинах, устраиваемых французскими собратьями в честь знаменитого английского писателя. Надо вести переговоры о переводе своих книг на французский. Хорошо, что с помощью друзей можно проверить, наврал переводчик или нет. Хуже обстоит дело с далекими русскими почитателями. Он не имеет понятия, в каком виде дошли до русских его книги.

Еще лет шесть назад какой-то русский джентльмен прислал ему книгу «Домби и сын» на русском языке и отрекомендовался переводчиком ее. Джентльмен перевел, по его словам, не только «Домби», но и «Пиквика». Джентльмен писал, что в течение последних одиннадцати лет имя Чарльза Диккенса широко известно в России и книги его с жадностью читаются от берегов Невы до самых отдаленных уголков Сибири. А «Домби и сын» вызывает всеобщее восхищение литературной России. В своем послании переводчик сообщал знаменитому писателю, что он почитал необходимым в переводе сократить «Записки Пиквикского клуба». Причина — невозможность точно передать прелести оригинала; хотя русский язык и является самым богатым в Европе средствами выразительности, но литературный язык России еще не так отшлифован, как языки других цивилизованных наций.

Трудно, конечно, судить, прав ли этот русский джентльмен, подписавшийся «…Тримарх Иванович Вреденский»[4], ссылаясь на особенности русского языка. Вполне возможно, что русский язык здесь ни при чем, но увы, ничего поделать нельзя, если не имеешь никакого понятия о языке.

Но в переговорах с французами не будешь таким беспомощным. Можно, с помощью друзей, указать на погрешности в переводе и проверить способности переводчика.

Пребывание в Париже кончается. В ноябре он приедет сюда снова, со всей семьей и на длительный срок. Он — дома.

Дети снова требуют постановки пьесы в театре Тэвисток Хауз. Но они уже принимали участие в спектакле «Фортунио», в начале года. Теперь на сцене театра Тэвисток Хауз будет поставлена пьеса «Маяк». Ее написал Уилки Коллинз; она в двух актах, в ней участвуют Диккенс, Джорджина, дочь Мэри, Марк Ли́мон, художник Эгг и автор.

Прекрасная пьеса! Ее нельзя смотреть без волнения. Когда шторм обрекает на маяке трех людей на голодную смерть и пожилой моряк, смотритель маяка, истомленный голодом, начинает свою исповедь, у зрителей бегают по спине мурашки. Страшная исповедь. Ее слушает сын моряка. И сын узнает, что его отец был участником, пассивным участником, зверского убийства…

У зрителей по спине бегают мурашки, когда они видят главного режиссера, мистера Чарльза Диккенса, повествующим о преступлении. И сына объемлет ужас, он не может прикоснуться к отцу, узнав о совершенном им злодеянии. Но вот приходит помощь, обреченные на голодную смерть обитатели маяка спасены. И старого моряка нельзя узнать.

---

[4] Иринарх Иванович Введенский — литератор и первый переводчик Диккенса. Мы обязаны ему талантливыми переводами Диккенса, но очень далекими от подлинника. Трудно сказать, исказил ли Форстер имя и фамилию переводчика (Тримарх Вреденский) или сам Диккенс.

Вся его воля направлена к одной цели — скрыть преступление и добиться у сына прощения. Лицо его отражает тончайшие переходы эмоций, чуть уловимые внутренние жесты обнаруживаются в интонациях, вскрывающих в смятенной душе не только страх перед возмездием, но и робкую радость от сознания, что он может больше не скрывать преступления. А когда эта радость завладевает душой моряка и, воздев руки к небу, он стоит и молится, уже освобожденный от страшного груза злодеяния, — зрители совершенно потрясены. Они надолго запомнят лицо Диккенса, игравшего моряка.

И снова Париж. Теперь он пробудет здесь не две недели, но полгода. С ним Кэт, Джорджина и дети, с ним домочадцы. Проклятие! Международная выставка искусств привлекла в Париж уйму иностранцев.

В Париже — Теккерей, и Браунинг, и знаменитый художник Эдвин Лендсир, и немало других соотечественников, привлеченных выставкой. Но в центре внимания литературного и художественного Парижа — он, Чарльз Диккенс.

Теперь он известен не только в избранных кругах. Теперь, где бы он ни появлялся, слышится почтительный шепот.

«Монитор» — газета популярная, изо дня в день парижане читают в подвале «Монитора» «Мартина Чеззлуита»; они почему-то называют беллетристику, печатаемую в газетах, фельетоном. Пусть так, важно, что этот «фельетон» имеет большой успех у капризных парижан. Они полагают, будто чужеземцы ничего путного в искусстве не могут сотворить; к склонности чужестранцев заниматься искусством и литературой, подобно им, французам, они относятся со снисходительной вежливостью. Но этот «фельетон» — «Мартин Чеззлуит» — им очень нравится. О! Мсье Диккенс — великий писатель! Конечно, эта высокая оценка не заставляет предполагать, что они хоть на один момент сомневаются в превосходстве отечественных литераторов, в частности

драматургов. Они уверены, будто их театр, как и драматургия, может воспитать изысканный вкус любого народа. И потому чужестранец поступит правильно, если сосредоточит свое внимание на ознакомлении с театром и драматургией. Театр и драматургия парижан обнаружат эстетические вкусы среднего француза более отчетливо, чем другие искусства.

Теперь у него есть время, он может не торопиться. Вот, например, театр Одеон. Там идет новая пьеса, «Мишель Сервантес». Пьеса написана стихами. Ну, и стихи! Едва ли такая пьеса может внушать правильное понятие о прекрасном. А во время антрактов публика почему-то все время поет «Sa ira!» В театре Порт Сен Мартен на этот раз посторонние ароматы не мешают наслаждаться искусством. Но зрителю от этого не легче, когда он смотрит классическую трагедию «Орест». Трагедия переделана Александром Дюма; на всех персонажах, как полагается, классические хитоны. На сцене, скажем, гробница, а на плите гробницы, около гробницы и друг на дружке громоздятся в классических позах всевозможные женщины в черных хитонах. Можно умереть со смеху…

Театр Амбигю тоже обращается к чужеземной драматургии. Но он предпочитает классической английскую. Перемешав байроновского «Каина» и «Потерянный Рай» Мильтона, театр развлекает этой смесью зрителей. Все сверхнатуральные персонажи — дьяволы и архангелы — до ужаса натуральны, отменно одеты и ведут между собой беседу в таком духе: «Сатана! Думаешь ли ты, что наш спаситель подверг бы тебя пытке, которую ты сейчас выносишь, если бы он не предвидел…» И так далее, такая же галиматья.

Но когда смотришь классическую трагедию на сцене прославленной Французской Комедии, не знаешь, что предпочесть. Выходит, изволите видеть, на сцену актер и в течение всей трагедии только и знает, что хлопает себя по лбу

ладонью, весь трясется, изрыгая свои сентенции, и громоздит их у себя над головой, вздевая указательный палец к небесам. Уф! А если в том же знаменитом театре идет комедия, и на сцене две софы и три столика, и входит в комнату джентльмен, и кладет свою шляпу на один столик, и заводит разговор с леди или джентльменом, — вы можете безошибочно предугадать, когда он пересядет с одной софы на другую и переложит шляпу с одного столика на другой… Хуже дело обстоит, когда в комедии Шекспира «Как вам это нравится» на сцене двадцать пять камней и семнадцать пней и все только и делают, что пересаживаются с пней на камни. Тут уже нельзя вытерпеть и приходится удирать немедленно…

Словом, парижские театры предназначены волновать и развлекать только французов, если не считать двух-трех спектаклей, достойных посещения, и мадам Плесси, из французской Комедии, которая может доставить любителю театра истинную радость.

Но надо без конца принимать посетителей, отдавать визиты, посещать обеды и банкеты, Париж не оставляет его в покое. Особенно щедр на обеды знаменитый драматург Скриб. Приглашенные Скрибом гости выражают свое восхищение сочинениями Чарльза Диккенса. Ламартин называет его «одним из самых великих друзей своего воображения», известный композитор Обер усиленно приглашает его посетить премьеру его новой оперы, «Манон Леско», либретто которой написано неистощимым Скрибом. Его приветствует на другом каком-то обеде Легуве, автор «Адриенны Лекуврер»; всемогущий редактор газеты «Пресс» де Жирарден, — которого остроумные французы прозвали «Жирандоль», что по-французски значит — сноп ракет, — дает в его честь банкет, и в печатном меню обеда рядом с упоминанием о плумпудинге можно прочесть: «В честь

знаменитого английского писателя». Мадам Виардо, замечательная певица, приглашает к себе Жорж-Санд, чтобы познакомить ее с почетным английским гостем.

Диккенс, конечно, слышал немало о Жорж-Санд, хотя ничего не читал из ее сочинений. Он приятно удивлен, что вместо «синего чулка» встретил леди, не выделяющуюся манерами и обращением, разве только слишком уверенную в непогрешимости своих суждений. На обедах и банкетах не раз приходится ему встречаться с Ари Шеффером. Знаменитому художнику, уже семьдесят лет. Он предлагает Диккенсу писать его портрет.

Как жаль, что взыскательность мсье Шеффера была ему неведома. Сеансы начались в конце ноября, некоторые из них длятся три-четыре часа; неделя идет за неделей, конца не видно. Диккенс изнывает, но надо терпеть. Только в середине марта приходит избавление, — портрет закончен. Диккенс не усматривает сходства, безусловно не усматривает. Но и взыскательный художник тоже полагает, что можно было бы добиться большего сходства. Черт возьми! Диккенс не в духе. Ведь он мог обдумывать «Крошку Доррит» дома, а не на этих сеансах, пока любезный маэстро пытается его развлечь. Ибо он не отдыхает в этом шумном Париже. Он занят своим романом, «Крошкой Доррит». Когда он в мае возвращается домой, в Лондон, уже издан шестой выпуск романа.

13. «Каждый за себя, никто за других»

Диккенс помнит: какой-то критик в «Порт Америкен Ревью» — «Северном Американском обозрении» — после окончания «Холодного дома» заявил безапелляционно: «По нашему мнению, произведения Диккенса, написанные им после “Николаса Никльби” и “Лавки древностей”, становятся все менее интересными».

Нельзя отрицать, бормотал дальше бостонский критик, что все эти произведения умны, но… Черт с ним, с этим бостонцем! Он ждал, конечно, что мистер Диккенс сохранит все эти годы бодрость духа, которой наделен был в таком избытке. А заодно с бодростью сохранит и милосердие к кой-кому из героев, которых вывел на свет божий. Милосердие! Другой критик, из «Эклектик Ревью», употребил именно это слово, когда писал о том же «Холодном доме». Этот критик прямо так и писал, что Диккенс, к сожалению, не проявил достаточно *милосердия,* чтобы изобразить более достойных служителей церкви, чем мистер Чедбанд. Мистер Чедбанд, как известно, только и делал, что занимался поглощением горячих пышек, бесчисленных порций чаю и мечтал о более крепких напитках, чем чай. К тому же он был отъявленный лицемер. И все эти качества очень огорчили критика «Эклектик Ревью».

Словом, критика требовала от него бодрости духа и милосердия и не нашла ни того, ни другого в «Холодном доме». И потому поспешила провозгласить, что, например, сэр Дэдлок карикатурен. Критик «Спектэтора», которому тоже не понравился «Холодный дом», должен был, например, признать, что сэр Дэдлок «наводит на мысль о вопиющих социальных пороках». Но почти все черты сэра Дэдлока, разъяснял критик, граничат с карикатурой. Стало быть, и в изображении сэра Дэдлока Чарльз Диккенс не обнаружил милосердия…

Диккенс помнит: кое-кто из критиков все же находил в «Холодном доме» достоинства. Критик «Путнам Монсли Мэгезин» сообщал, что в этом романе Диккенс обнаруживает как романист «свои величайшие недостатки и величайшие достоинства». И не он один был такого мнения.

Но Диккенс не помнит ни одного критика, который нашел бы «величайшие достоинства» в «Тяжелых временах».

Откроются ли они в романе, который он пишет, в «Крошке Доррит»?..

Он начал думать о «Крошке Доррит» больше года назад. Даже попытался писать в начале мая. Но в мае ничего не вышло. Он должен был бросить. Он чертовски нервничал тогда. Помнится, пришел к нему Форстер. Как всегда, сдержанный, неторопливый, взвешивающий. Как всегда, охраняющий традиции благопристойности в поведении и в суждениях, преданный идее прогресса, снисходительный к увлечениям друзей, но не прощающий ошибок врагам. Сказал Форстеру, что ничего не выходит с началом романа. Сказал, что задумал рассказать читателю об узнике в Маршельси, который просидел в долговой тюрьме двадцать пять лет… Форстер поднял брови и переспросил: «Двадцать пять лет?» Помнится, ответил тогда с раздражением, что такие случаи бывали, как он сам прекрасно знает, но некое, мол, учреждение, которому надлежит знать причины, по каким подданный ее величества сидит в Маршельси четверть века, часто не ведает об этих причинах. И пора, давно пора, вывести на свет божий это учреждение, которое лучше всего назвать бы в романе «Волокитное ведомство» и заклеймить его в глазах всех свободных англичан.

Тут Форстер еще раз поднял брови, но промолчал. Он всегда молчит, если видит, что его друг нервничает. А затем заговорили о том, о сем, об этой злосчастной войне с русскими, которые так отчаянно защищают Севастополь. Форстер сказал, что теперь, мол, страна может надеяться на благоприятный поворот событий.

Помнится, это замечание окончательно нарушило равновесие. Даже вскочил с кресла и крикнул, кажется, такие вот слова:

— Война показала, в каких страшных условиях находится страна! Над каждым городом гигантская туча нищеты.

Нищета все растет, а о ней никто не знает и даже не догадывается, что она существует. Аристократия бездельничает. Парламент безмолвствует. Каждый за себя, и никто за других! Вот какова перспектива! Очень плачевная перспектива.

Форстер сказал тогда, что в словах его друга слишком много горечи, но, пожалуй, на этот раз основания есть…

Милый, честный Форстер! Бог простит ему его осторожность. Этот эпизод вспомнился лишь потому, что он имеет прямое касательство к «Крошке Доррит». Вернее, к тем отзывам, которых можно ждать, когда роман будет кончен. К тем кисло-сладким одобрениям, которые последуют. К тем упоминаниям о «сегодняшних намерениях мистера Диккенса», какие уже знакомы. Ибо прошел год после неудачного приступа к роману, война уже давно кончилась, но страна еще ждет благоприятного поворота событий. Только мистеры Баундерби, безусловно, удовлетворены положением вещей, вспоминая с содроганием недавние времена и речи бунтовщиков. И вполне довольны темные дельцы, — им не хуже, чем во время войны. Например, дельцы из Ирландского банка, из железнодорожных компаний, бывшие директора королевского Британского банка. Когда пишешь роман, как пройти мимо таких дельцов, причинивших стране своими аферами столько бед?

И вот теперь читатель знает уже больше двадцати глав романа. Читатель знает, что Чарльз Диккенс снова увлекся знакомой темой. Мистер Пиквик сидел в долговой тюрьме Флит. Вильям Доррит сидит в долговой тюрьме Маршельси.

Снова долговая тюрьма… Когда-то маленький Чарльз хорошо знал тюремный двор Маршельси и камеру, где жил мистер Джон Диккенс с супругой и младшими детьми. Он запомнил ее на всю жизнь; для того чтобы описать Маршельси, ему не нужно вновь ее обозревать. Впрочем, это и невозможно, тюрьма Маршельси несколько лет назад

закрыта, городские власти срыли некоторые здания. Но когда он отправляется в Боро, в заречный Лондон, он находит часть здания неповрежденной. Сохранилась и часть тюремной стены, она стала ниже, чем была раньше.

Он долго смотрел на эти останки, останки здания— они и теперь обитаемы — и вдруг убеждается, что именно вот это окно находится в камере, где капитан Портер в далекие, далекие времена предлагал узникам подписывать петицию на имя его величества… Как давно это было, и как ясно помнит он эти далекие времена!

Артур Кленнам посещает этот памятный двор и памятную камеру. Какая у него цель — у этого джентльмена, приехавшего домой из Китая?

Это достойный, отзывчивый и энергичный джентльмен. У своей матери, которую он не видел много лет, он встречает скромную девушку, швею. Зовут ее Эми, называют — Крошка Доррит. Это именно она родилась в Маршельси. А там в одной из камер уже четверть века заключен ее отец; там же живут ее брат и сестра. Кленнам знакомится с Вильямом Дорритом, слабым, нерешительным, пожилым человеком, почти стариком. Заключенный уже давно потерял надежду выбраться из тюрьмы, он даже гордится своим титулом «Отец Маршельси», — жалкий джентльмен, ради которого Крошка Доррит готова на все лишения. Заключенный ровно ничего не может сказать, кто является его главным кредитором и от кого зависит его освобождение. Кленнам пытается это выяснить — из сострадания к самоотверженной Крошке Доррит.

Читатель уже знает о тщетных его попытках. На любимой автором родине нет возможности узнать, законно или незаконно пребывает двадцать пять лет в тюрьме английский гражданин. Это утверждает Чарльз Диккенс. Отныне пусть знают все английские граждане, питающие традиционное

уважение к образцовым правительственным учреждениям: в системе высших учреждений есть некий центр, через который «проходят все дела в стране». Называется этот центр, бывший некогда самым важным государственным учреждением, «Волокитное ведомство».

В Канцлерском суде задерживалось на многие годы множество судебных дел. В «Волокитном ведомстве» задерживалось множество людей.

— Вздор! — восклицает будущий критик, закрывая десятую главу, в которой мистер Кленнам после долгих мытарств в отчаянии отказывается от своих попыток. — Такого ведомства нет! Пристрастная карикатура! — говорит будущий критик, может быть тот самый, который потом назовет роман «Крошка Доррит» «болтовней».

Чарльз Диккенс посмотрит на одного с сожалением, на другого с раздражением — теперь он раздражается все чаще и чаще — и будет продолжать роман.

Уже завязано немало узлов, в роман вступило немало людей, которые потом разбредутся в разные стороны. Но мистер Кленнам не уклоняется от главной сюжетной линии. Он встречает доброжелательную пару, мистера и миссис Миггльс, которая знакомит его с изобретателем Дойсом, безуспешно обивающим пороги «Волокитного ведомства». Он встречается с миссис Флорой Финчин…

Читатель не ведает, кто такая Флора Финчин. Читатель не знает, что Флора Финчин — та самая Мэри Биднелл, в которую столь длительно и драматически был влюблен некогда Чарльз Диккенс. Та самая Мэри, которой не стоило большого труда уклониться от брака с репортером Диккенсом. Теперь Кленнам встречается с ней, он видит ту Мэри, которую Чарльз Диккенс видел год назад.

Да, год назад Чарльз Диккенс вновь увидел Мэри Биднелл после стольких лет разлуки. В своей утренней почте он нашел

письмо. Оно подписано было: «миссис М. Винтер». Письмо это извещало его о том, что миссис М. Винтер, ставшая вдовой, все еще прекрасно помнит Чарльза Диккенса. Она осведомляется, не возражает ли Чарльз Диккенс против встречи. Нет, не возражает, ответил он, нисколько не возражает, потому что никогда не мог слышать имя Мэри, чтобы не вспомнить о ней, он заверяет в этом миссис М. Винтер.

Артур Кленнам испытывает такое же потрясение, как и Чарльз Диккенс. Перед ним толстая, безмерно болтливая леди почтенных лет, которая все еще полагает, будто она избалованный ребенок. Она посылает ему кокетливые взгляды и многозначительно вздыхает. И оба героя — Диккенс и Кленнам — прощаются навсегда с юношескими воспоминаниями. Артур Кленнам решает стать компаньоном изобретателя Дойса и влюбляется в дочь симпатичных мистера и миссис Миггльс. А Диккенс продолжает писать роман.

Он работает так усиленно, что впервые начинает ощущать физическое недомогание, связанное с работой. Ему нужна какая-то разрядка. Близится рождество 1857 года; он с головой погружается в постановку новой пьесы Коллинза на сцене театра Тэвисток Хауз.

Скоро Тэвисток Хауз уйдет в прошлое. Кто-то другой поселится в этом большом кабинете, отделенном от театрального зала раздвижной стеной. Едва ли, впрочем, удастся окончательно покинуть Тэвисток Хауз раньше, чем через два-три года, но уже теперь в часы отдыха получаешь истинное удовольствие, обдумывая всяческие улучшения в новом доме: этим летом уже можно будет не ездить с семьей в Бродстэр или Булонь. В последние годы потянуло оставить Лондон, купить где-нибудь поблизости дом, разбить большой сад, завести оранжерею. Что это? Старость близится? Или это неистребимое беспокойное желание перемен?

Будто кто-то мешает сидеть на одном месте, и мечешься, не находя покоя, из одного города в другой…

Впрочем, к поискам загородного пристанища он еще не приступал. Но вот в один прекрасный день, это было с год назад, является мистер Уиллс, помощник по журналу «Домашнее чтение», и говорит:

— Странное совпадение! Вчера я обедал у знакомых, — вы их не знаете, — рядом со мной сидела довольно милая леди, разговорились; не помню, по какому поводу, она сказала, что не прочь продать дом и участок земли. Помнилось мне, вы как-то упоминали о загородном доме… Я полюбопытствовал, где этот дом находится. Леди говорит: «Около Рочестера, милях в двух от Струда». Вы эти места знаете, дорогой Диккенс. Вот я и начал расспрашивать более подробно… Леди смеется и говорит: «Вы заинтересовались так, словно сами собираетесь купить мой дом». Я ее успокоил на этот счет, но сказал, что мой друг в самом деле имеет намерение купить дом где-нибудь поблизости от Лондона. «Ну что ж, — говорит она, — скоро там пройдет железная дорога, а кроме того, мой дом, я бы сказала, исторический…» Почему вы вскочили, дорогой Диккенс?

— Это не Гэдсхилл Плес? — восклицает Диккенс.

— Совершенно верно, — говорит мистер Уиллс, — На этом месте, как всем известно, стояла некогда таверна, где Фальстаф…

Но Диккенс перебивает. Он очень возбужден:

— Боже мой! Да ведь это тот самый дом, где я мечтал жить ребенком! Мы не раз с отцом проходили мимо него. Как сейчас помню, когда я особенно размечтался, отец сказал назидательно: «Ну что ж, дружок, если будешь много и хорошо работать, сможешь жить в этом доме?..» Боже мой! Гэдсхилл! Бедный, милый отец!

Горло перехватило. Но он справился и воскликнул:

— Я куплю этот дом! Милый Уиллс, умоляю вас, помогите мне купить этот дом. Я должен его купить.

Он купил Гэдсхилл, цена была недорогая — около тысячи восьмисот фунтов. В июне он приедет туда на лето, а когда закончит все перестройки, можно будет продать Тэвисток Хауз и отныне жить за городом.

Артур Кленнам уже давно убедился, что Минни Миггльс предпочитает ему молодого бездельника Го-вена. Но он не прекращает заботиться о семье Крошки Доррит; жалость к ней и к несчастному «отцу Маршельси» не позволяет ему бросить их на произвол судьбы. В этом добром деле на помощь ему приходит союзник — Пенкс, клерк мистера Кесби, отца Флоры.

Читатель уже узнал о результатах стараний Пенкса помочь семье Доррит. «Отец Маршельси», как оказалось, является наследником крупного состояния. Этот слабый старик уже превратился в напыщенного старца, и вместе с тем жалкого. Он соблазняется перспективой легкого обогащения и вкладывает свои деньги в операции крупного финансиста.

Читатель хорошо помнит темные финансовые махинации банкиров и промышленников, связанные с постройкой железных дорог. Он помнит крах банков и акционерных компаний, вовлеченных в эти махинации. Перед ним — один из типических героев своего времени, член парламента Мердль, финансовый и промышленный гений. Ему верят не только доверчивые Дорриты, но и люди более осторожные. Среди них и Кленнам, который также вкладывает деньги в начинания Мердля.

Пусть судьба Кленнама, пусть судьба «отца Маршельси» предостережет каждого! В эти дни, когда страну бьет лихорадка прожектёрства, долг писателя разоблачить преступников-прожектёров. Финансовый гений Мердля — обман,

все его предприятия — мираж; член палаты Мердль — мошенник, он разоблачен, кончает с собой; рушится состояние Доррит, гибнут деньги Кленнама. «Отец Маршельси» об этом не знает, он умирает раньше. Но Кленнам не умирает. Такова судьба. Теперь он, Артур Кленнам, узник Маршельси. Теперь черед Крошки Доррит облегчить ему нелегкую жизнь.

Роман идет к развязке. Читатель уже привык, что Чарльз Диккенс питает пристрастие к тем же событиям, которые привлекают и его внимание. Например, к уголовной хронике Чарльз Диккенс питает пристрастие, также и к героям преступного мира; во всяком случае — к образам этих героев в своих книгах. Он охотно идет навстречу склонности читателя видеть таких героев в книге — склонности, куда более горячей, чем желание столкнуться с ними в реальной жизни. Уже давно Чарльз Диккенс убедился: присутствие темных личностей, вершащих в романе темные дела, помогает читателю преодолеть менее занимательные главы. А кто из писателей может поручиться, что у него в книге все главы будут в одинаковой мере занимательны? Говорят, у французов известные их романисты Оноре Бальзак и Эжен Сю проявляют даже слишком большой интерес к преступным джентльменам.

Такие джентльмены принимали участие и в «Крошке Доррит», они возились вокруг одного темного дела, — вокруг неблаговидной уловки старухи миссис Кленнам. Приемная мать доброго Артура Кленнама утаила важное добавление к какому-то завещанию. И эти джентльмены, осведомленные об утайке, всячески ее шантажируют. Затем Чарльз Диккенс убирает их, когда находит нужным. Убирает он и других участников. В «Крошке Доррит» он меньше заботится, чем в предшествующих романах, о том, чтобы его персонажи тесно были связаны с главным сюжетом.

Но главных героев, как всегда, он скрепляет прочной цепью. «Волокитное ведомство» плотно закрыло все двери перед изобретателем Дойсом. Ему остается только обратиться к чужой стране. Пусть знают об этом те, кому надлежит знать, — чужая страна оценила его труды по заслугам. Он возвращается на родину, чтобы освободить Кленнама из Маршельси. И возвращенный к жизни Артур Кленнам обнаруживает, что любит самоотверженную Крошку Доррит. Всё.

Диккенс ставит точку. В июне читатель прощается с этим невеселым романом. Диккенс устал. Недомогания не прекратились; ему нужна поездка, перемена места, как бывает всегда, когда напряжение обрывается. Он собирается ехать в Манчестер с труппой для постановки пьесы Коллинза «Ледяная пучина». В труппе перемены. Почему бы не заменить любительниц профессиональными актрисами? Например, он хочет предложить обе роли в спектакле матери и дочери, — миссис и мисс Тернан. Мать — опытная артистка; ее дочь, Эллен, еще совсем недавно на сцене, но, несомненно, очень способная.

Но перед отъездом надо ответить критику «Эдинбург Ревью». По-видимому, этот почтенный журнал с трудом мог дождаться окончания «Крошки Доррит». Тон статьи резкий, — журнал не имеет намерения скрывать свое возмущение.

В чем повинен Чарльз Диккенс?

Первая вина: «Обвинения, выдвинутые Диккенсом против судей, частных лиц, правительства, — тяжелые, несправедливые и жестокие». Критика, изволите видеть, почитает своим долгом обратить на это внимание.

Вторая вина: «Диккенс выбирает одну-две злобы дня, готовит из них сезонное блюдо и ставит перед читателем».

Оказывается, что Диккенс грешит этим не только в «Крошке Доррит». Критик усматривает этот грех в каждом новом его романе.

Третья вина: изображение «Волокитного ведомства» достойно только того, чтобы его высмеять. Критик упоминает о мистере Роуланде Хилле, который действительно обратился к правительству со своим проектом оплаты некоторых почтовых отправлений одним пенни. Разве «Волокитное ведомство», — восклицает журнал, — не обратило на него внимание, клеветало на него, сломало ему сердце и лишило его состояния? Проект его был принят, он получил свою долю в его осуществлении, а ведь это было то самое правительство, которое Диккенс объявляет «заклятым врагом таланта и постоянным недругом изобретательности!»

Четвертая вина: критик читал в «Крошке Доррит» о возмездии, постигшем преступника Риго, который шантажировал мать Артура Кленнама и погиб при обвале дома. «Даже катастрофа в "Крошке Доррит", — снова восклицает журнал, — заимствована из газетных сообщений о недавнем обвале домов на Тотенхем Корт Род».

Ни первое, ни второе обвинение не заслуживают опровержений. Это слишком очевидно. Фактов в них нет. Джентльмены из «Эдинбургского обозрения» — испытанные почитатели консерватизма в политической и социальной жизни…

Их не убедят ни опровержения, ни книги Чарльза Диккенса. И не доказывать же почтенному журналу, что долг писателя — отзываться на то, что волнует его соотечественников, нисколько не смущаясь, если враги прогресса называют «сезонным блюдом» волнующие проблемы сегодняшнего дня.

Но нельзя оставить без внимания искажение фактов.

Диккенс пишет письмо почтенному журналу. Прежде всего — о злосчастном Роуланде Хилле. Именно с мистером Хиллом правительство обращалось, как могло бы обращаться «Волокитное ведомство». Но, к счастью, Роуланд Хилл сильный человек — один на сотню тысяч. «Если бы не это обстоятельство, — пишет он, — “Волокитное ведомство” давным-давно прикончило бы его». Оно приняло проект Хилла, пусть так. Но в конце концов вышвырнуло мистера Хилла. Таковы факты. Касательно же обвала дома в «Крошке Доррит», почтенный журнал, прежде чем делать заключения, мог бы внимательней читать роман. Не случайно автор описывает так подробно в самом начале романа ветхость дома, где погиб Риго. Обвал дома был задуман очень давно, и описание катастрофы можно прочесть в гранках, полученных из типографии до катастрофы на Тотенхем Корт Род…

В заключение надо требовать у эдинбургских джентльменов исправления «странных неточностей» в упоминаемой критической статье. Но на прощание следует подчеркнуть, что Чарльз Диккенс прекрасно понимает причины и поводы возмущения уважаемого журнала. По его мнению, журнал должен «воспользоваться первой возможностью и мужественно выразить сожаление, что чрезмерное рвение в защите “Волокитного ведомства” повинно в искажении истины касательно Тотенхем Корт Род», Чарльз Диккенс выдвинул тяжелые обвинения против административного аппарата правительства. Вот это и взбесило врагов прогресса, джентльменов из Эдинбурга. Разумеется, Чарльз Диккенс не ждет, что они выразят сожаление о проявленном ими рвении в защите «Волокитного ведомства».

Надо ехать в Манчестер. Там отдохнуть не удается. Но Коллинз уж дал согласие отправиться в совместную поездку по Шотландии. Там можно будет отдохнуть.

14. Напоказ

Уже четыре года лондонские бедняки несли свою лепту сборщикам. Никогда, пожалуй, обитательница какой-нибудь лачуги в Сохо не давала свой жалкий пенни с большей охотой, чем этим добровольцам с Грет Ормонд-стрит. При этом она с тревогой спрашивала, правда ли, что джентльмены снова оставят без всякой помощи бедных крошек? Сборщик успокаивал ее, лицо ее прояснялось, она протягивала два пенса — редко больше — и говорила, тяжело вздыхая: «Моя Мэгги совсем плоха. Пойду просить, чтобы положили ее к вам».

Но маленькая Мэгги не всегда переселялась на Грет Ормонд-стрит. Только тридцать кроватей было в первой детской больнице города Лондона, открывшейся лет пять назад. Слишком много маленьких Мэгги нуждались в больничном лечении, — за эти пять лет врачи с Грет Ормонд-стрит оказали посильную помощь пятидесяти тысячам детей из беднейших районов Лондона. И ежегодно в кассу больницы вместе со взносами леди и джентльменов, имена которых красовались на подписных листах, текли трудовые пенсы обитателей Ист-Энда. Пятьсот фунтов в год собирали бедняки Лондона. Но этих пятисот фунтов слишком было недостаточно даже для маленькой больницы, а взносы леди и джентльменов поступали плохо. Надо было воззвать к добрым чувствам благотворителей. Традиция создала форму таких обращений — публичные обеды, а кто, как не Чарльз Диккенс, мог найти нужные слова для воззвания?

В годовщину со дня основания первой детской больницы леди и джентльмены собираются в зале, неподалеку от больницы, пригласительные билеты предупреждают, что председательское кресло занимает Чарльз Диккенс, и в нужный

момент Чарльз Диккенс поднимается с кресла и начинает говорить. Он начинает говорить о детях, об избалованных детях богачей. Но не на них он хотел бы обратить внимание присутствующих.

— Я хочу говорить, — его голос повышается, — об избалованных детях бедняков этого великого города. Две мрачные няньки, Нищета и Болезнь, присутствовали при их рождении, качали их жалкие колыбели, забивали их маленькие гробики, засыпали землей их могилы. В этом великом городе третья часть всех смертей падает ежегодно на них. Я не стану спрашивать вас о том — а так уж повелось — спрашивать о детях богачей — сколь они умны, милы, очаровательны, как много обещают и на кого похожи.

Я только прошу вас, взгляните: их лица — как смерть! И я попрошу вас вспомнить о ваших младенческих годах и подумать о так называемом втором детстве, когда исчезает детская привлекательность и ничего не остается, кроме беспомощности, — я попрошу вас, во имя священных слов «Жалость» и «Сострадание», подумать об *этих* избалованных детях…

Нет, Чарльз Диккенс не заучил свою речь. Он сплел пальцы и сжимает их так, будто надеется, что боль в суставах отвлечет его от другой, невыносимой боли. Ее можно прочесть в его широко раскрытых больших темно-голубых глазах. Эти глаза не видят ничего вокруг, они видят только детей, у которых лица — «как смерть». Он описывает старый особняк на Грет Ормонд-стрит, где раньше рождались цветущие дети богачей, а теперь лежат больные, чуть живые крошки; в течение одного только года в двери этого особняка вошли десять тысяч детей, которые погибли бы без помощи врачей. Голос его не дрожит, но глаза, блестящие и горячие, попрежнему обращены куда-то вдаль.

— Я призывал вас, — продолжает он, — обратить на это внимание не только во имя тысяч детей, умирающих ежегодно в этом великом городе, но и во имя тысяч тех детей, которые живут, измученные болезнями, лишенные благодеяний здоровья и радостей. Если эти несчастные создания не могут вас растрогать, как могу я надеяться, что растрогаю вас во имя их?

А затем глаза его, широко раскрытые, начинают напоминать глаза слепца. Кажется, будто он видит тех детей нашей мечты, о которых так вдохновенно писал Чарльз Лем. И он говорит:

— Дети нашей мечты, которых я хочу вызвать в вашем воображении, — это дети, вами любимые, или вами потерянные, это дети, которых я хочу вызвать в вашем воображении, это дети, которых вы могли бы иметь, это дети, какими вы когда то были… И каждый из этих детей нашей мечты держит в своей руке ручонку ребенка, который лежит в детской больнице, или погибает, потому что не мог туда попасть. И каждый из этих детей мечты взывает к вам: «О! Помоги, ради меня, этому молящему ребенку! Помоги ради меня!..»

Лоб у него влажный, когда он садится в кресло. И он бледен, — нет, он не заучил свою речь.

Подписной лист завершает свой путь вокруг стола, и попечители больницы на Грет Ормонд-стрит с довольным видом знакомятся с итоговой цифрой — три тысячи фунтов.

Когда джентльмены-попечители навещают его в Тэвисток Хаузе и сообщают о размере поступлений в фонд Грет Ормонд-стрит, он все же не удовлетворен. Он прочтет в пользу больницы рассказ, как он не раз читал в пользу других благотворительных обществ и ассоциаций. Да, он будет читать месяца через два, в середине апреля… Джентльмены от души благодарят, он *устало* отмахивается.

Какой, однако, у него утомленный вид! Почти измученный, замечают джентльмены и обмениваются между собой мнениями по этому поводу, когда возвращаются из Тэвисток Хауза. У мистера Диккенса, по-видимому, нервы не в порядке: он болезненно сморщился, когда один из посетителей уронил свою трубку, а временами, право, он их не слушал, глаза его начинали блуждать по стене, потом заставали, он изучал пуговицу на сюртуке собеседника; несколько раз он проводил рукой по лбу и закрывал глаза, а когда один из джентльменов вежливо осведомился, не причиняет ли их посещение беспокойства, мистер Диккенс вдруг доверительно сообщил, что ночью у него бессонница, отчаянная бессонница, но и днем он не может заснуть ни на минуту. Деликатность препятствует джентльменам осведомиться о причине и поводе столь мучительной бессонницы. Они снова благодарят Диккенса за предложение прочесть рассказ в пользу детской больницы и откланиваются.

Но Форстер знает причины бессонницы. Несколько дней спустя, когда он входит в кабинет на Тэвисток Сквер, он зорко всматривается в лицо Диккенса. Форстер молчит, но Диккенс понимает молчаливый вопрос и как-то безнадежно машет рукой:

— Сегодня мы будем говорить на другую тему…

Сегодня он возбужден, выхватывает из стакана гусиное перо, — он сидит за письменным столом перед окном, — нервно сует перо в чернила и начинает что-то рисовать на листе бумаги.

— Что вы думаете о моих платных чтениях? Идея старая, и, скажу вам прямо, она меня очень соблазняет.

Форстер привык к манере Диккенса приступать к деловым вопросам сразу, без подготовки. Но все же он не ожидал,

что речь зайдет о платных чтениях, и хмурится. Думает несколько мгновений и говорит брюзгливо:

— Вы хотите знать мое мнение?

— Да.

— Я не собираюсь отказываться от своих взглядов. Основания для возражений остались те же, что и раньше.

— Неужели те же?

— Да, если не считать, что к ним прибавились новые. Могу их повторить, если вы забыли. Я и теперь считаю, что платные чтения для вас — это подмена высокого вашего назначения как писателя более, я бы сказал, низменным, замена возвышенных целей банальными…

— Ох, дорогой Форстер, вы все тот же…

— Я не считаю человеческой добродетелью измену убеждениям. К тому же вы напрасно полагали, что для меня отпали и другие поводы, по которым я возражал и буду возражать.

— Припоминаю, что вы считали это занятие — чтение собственных произведений с эстрады — недостойным джентльмена. Пустое! Эти две леди, к которым мы тогда обратились за советом по сему пункту, высказались против вас.

Форстер делает гримасу:

— Я не хочу говорить неуважительно об этих леди, но их мнение не играет для меня никакой роли. Это вы предложили выслушать их мление. Вы хотите выставлять себя напоказ, а это унижает вас как писателя.

Диккенс отмахивается гусиным пером. Но Форстер не обращает внимания на этот жест.

— Еще я должен…

Диккенс перебивает:

— Позвольте! Я выставляю себя напоказ независимо от того, в чей карман идут деньги. Вы об этом подумали? Половина

зрителей на моих чтениях с благотворительной целью совершенно уверена, что мне платят деньги. Из двадцати пяти приглашений, которые я получаю еженедельно, в двадцати я нахожу одно и то же: запрос о моих условиях. Вот только что получил два запроса — из Гринока и Абердина.

Он берет два письма со стола.

— Взгляните! Гринок запрашивает, соглашусь ли я читать за сто фунтов. Абердин пишет, что, хотя его театр значительно меньше, чем в Эдинбурге, но, может быть, я соглашусь приехать. Повторяю, половина слушателей убеждена, что я получаю деньги за чтения!

Лицо Форстера подчеркнуто выражает готовность слушать любые доводы.

— Вы меня перебили, — вставляет он. — Мы говорили не о ваших чтениях в пользу благотворительных и просветительных учреждений, а о ваших планах превратить эти чтения в профессию. Допустим, что половина аудитории полагает, будто бы от кого-то вы получаете деньги за выступления, — меня это не интересует. Меня интересовало и интересует лишь то, что «сцена» как профессия имеет столько теневых сторон и недостатков…

Диккенс нервничает, он снова перебивает:

— Неужели вы полагаете, что они представляют для меня какую-нибудь опасность?

— Нет, не полагаю, — резко говорит Форстер. — Но я хотел бы вам напомнить, что Шекспир не любил своей профессии актера потому, что опасался вредного ее влияния на благородный его дух.

— Я не знаю, никого, кто проявлял бы такое же самоотречение, как актер и так же великодушно заботился о своих братьях по ремеслу.

— Актеры могут вызвать удивление — в личной их жизни или в общественной, — хмурится Форстер, — но значение

сценического искусства ни в какой мере не может ослабить свидетельства великого Шекспира против неблагоприятного влияния сцены…

Он делает паузу, искоса смотрит на Диккенса, который в этот момент не отрывает взгляда от голых деревьев за окном. Затем Форстер кончает фразу:

— …против распущенности нравов, против поведения актеров, не всегда совместимого с семейным долгом…

Диккенс молчит, смотрит по-прежнему в окно и барабанит пальцами по столу. Форстер тоже молчит, затем кладет руку ему на плечо и говорит мягко:

— Вы всегда, мой дорогой, внемлете советам относительно ваших книг, но… Но они вам не нужны, когда дело идет о том, на что решиться в жизни. Может быть, вы сами не вполне сознаете, насколько ваше решение читать с эстрады связано с вашими семейными неприятностями.

Рука Форстера продолжает покоиться на плече Диккенса. Тот тяжело откидывается в кресло, опускает голову, захватывает в ладонь бороду, молчит, затем говорит глухо:

— Вы единственный человек, с которым я могу о них говорить… Но я помню все, что услышал от вас. Я сегодня так много об этом думал. И я слишком хорошо знаю, что вы не можете мне помочь, и никто не может…

Разговор окончен.

Весна холодная, но он — в Гэдсхилле. Пустынный дом. Перестройка еще не закончена. Но он здесь, в этом кирпичном доме, построенном, быть может, еще при Георге Первом. Впрочем, пристройки и надстройки, которые уже сделаны, вносят такую сумятицу в ранний георгианский стиль, что джентльмен строгого вкуса всплеснул бы руками.

Пустынный дом. Но и дом на Тэвисток Сквер не очень теперь населен: второй сын, Уолтер, — в Индии, служит субалтерном в шотландском полку; Фрэнк обучается во Франции

коммерческим наукам; Сидней готовится поступить во флот, он в морской школе; нет в Лондоне тринадцатилетнего Фредди и десятилетнего Гарри, они тоже в закрытых школах. Кто же в Лондоне? Старший, Чарльз. Он уже закончил в Лейпциге свое коммерческое образование, теперь он служит в солидной торговой фирме и скоро поедет в Гонконг, он будет негоциантом. Дома — дочери Мэмми и Кэтти, которая, по-видимому, превратится в миссис Коллинз, выйдет замуж за брата Уилки. Дома — шестилетний Эдвард.

И дома Кэт и Джорджина.

Весна холодная, но Диккенс — в Гэдсхилле. Он начнет чтения «Сверчком у камелька». По ночам он не спит, а днем, чтобы забыться, разучивает до изнеможения «Сверчка у камелька». Для чтения надо переделать повесть, как переделал он «Рождественский гимн». Он мог бы разучивать повесть и на Тэвисток Сквер. Но у него нет сил репетировать в Тэвисток Хаузе.

Он не только решил «выставлять себя напоказ», он принял также более важное решение. Никакая сила в мире не заставит его отказаться от этого решения.

Лондон наполняется слухами. Этим слухам не верят, — это слишком невероятно; это сплетни, досужие сплетни, они идут из театральных кулис. Чарльз Диккенс никогда не способен на такой вызов общественному мнению.

Но недели идут, и слухи крепнут. Все чаще мелькает одно имя, которое каким-то загадочным образом вплетается в слухи. Может быть, это и в самом деле гнусная сплетня — имя молоденькой актрисы рядом с именем Чарльза Диккенса? Но если это так, кто-то усиленно заботится о том, чтобы слухи окрепли. Да, рядом с именем Чарльза Диккенса упоминают имя молоденькой актрисы Эллен Лоулесс Тернан, дочери миссис Тернан. Быть может, это все-таки гнусная сплетня?

Но лондонцы блюдут мораль и нравственность, это всем известно, и бедняга Артур Смит, администратор, возбужден и взволнован.

Вечером двадцать девятого апреля 1858 года Чарльз Диккенс впервые поднимается на эстраду как профессиональный чтец-исполнитель. А вдруг найдутся ханжи, которые осмелятся бросить осуждение Диккенсу? Мистер Смит холодеет от ужаса.

Задолго до назначенного часа людская толпа заливает Сен Мартин Холл. На эстраде стол с пюпитром. Диккенс появляется в дверях. Его встречает вой приветствий и грохот рукоплесканий. Артур Смит вытирает пот со лба.

Диккенс уже простился с пристрастием к смелому соседству ярких красок в костюме. Он избрал черные и серые тона: темно-серый фрак, брюки чуть посветлее и черный жилет, оттеняющий обнаженную крахмальную грудь, замкнутую вверху широким черным галстуком. Но в петлице яркая бутоньерка — словно некий символ его любви к красочности.

Он идет, как всегда, чуть-чуть подавшись вперед правым плечом, поднимается на эстраду, кладет на стол перчатки и книгу и обводит взглядом зал. Усы не закрывают рта, они переходят в темную прямоугольную бороду; темные, чуть пепельные волосы зачесаны наверх и падают по обе стороны широкого и высокого лба. Но на щеках будто врублены складки, а усталые глаза кажутся еще больше, чем всегда, — под ними темная, глубокая синева.

Он начинает говорить о том, что с этого дня он может считать себя профессиональным чтецом и не видит в сей профессии ничего предосудительного, ничего унижающего достоинство. Он это обдумал, и суждение его по этому вопросу — твердое и окончательное.

Затем он раскрывает книгу, а в правую руку берет палочку, напоминающую дирижерскую. И медленно произносит: «Начал чайник! Не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл».

И уже через момент Сен Мартин Холл в самой гуще спора о том, кто же начал первым — чайник или сверчок? И всем присутствующим кажется очень важным установить это обстоятельство, настолько важным, что они стараются не дышать. Они слушают подробное описание сварливого чайника, им кажется, будто это не чтец чертит в воздухе вензель своей палочкой, а в самом деле с чайника слетает крышка, и не голос чтеца ритмически спотыкается, а содрогается косец на верхушке голландских часов, и не палочка взлетает, а из чайника вырывается вверх легкое облачко. А когда они слышат: стрек-стрек-стрек, им кажется, что так натурально не мог бы стрекотать и реальный сверчок; а когда начинается гонка между сверчком и чайником и гудение упорного чайника чередуется со стрекотанием сверчка, — Сен Мартин Холл испытывает такой азарт, какой ведом только истому спортсмену.

Но вот чтец чуть-чуть склоняется набок и смотрит вниз, на существо, которого нет рядом с ним, смотрит так, что все решительно уверены, будто перед ними мистер Пирибингл, шести футов шести дюймов росту, а рядом с ним его крохотная супруга.

Летят секунды, и каким-то чудом исчезает мистер Пирибингл, и раздается мелодическое, звонкое восклицание крохотной супруги, а затем неспешное басовитое гудение доброго Джона. И на глазах всех лицо чтеца испытывает чудесную метаморфозу, — кажется, будто борода растворяется в воздухе, обнажается гигантский подбородок, на этот подбородок свободно можно повесить чайник; а в округлившихся глазах ничего нельзя прочесть, кроме тугодумия и доброты,

и все лицо разрастается в некое подобие лошадиного, — ведь недаром добрый Джон столько лет занимался извозным промыслом. Но вот начинают мелькать все чаще реплики супругов. Слушатели могут поклясться, что на эстраде — двое, а у дирижерской палочки — магические свойства. То она медленно и осторожно плывет прямо в зрительный зал, и зрители видят, что она поддерживает запеленутого младенца, которого протягивает Тилли Слоубой, то она заставляет возникать в воздухе кость от окорока и булку с поджаристой корочкой, то вычерчивает в два взмаха острые, как гвозди, плечи преданной Тилли, то…

Но не меньше завораживает голос рассказчика, ровный, грудной, чуть-чуть певучий. Каждая интонация возникает совершенно свободно и легко, нет и следа тяжелой длительной работы над дикцией, трудных поисков безукоризненного произношения. Чтец знает «Сверчка» наизусть, но книга перед ним, он перелистывает страницы.

И когда, наконец, эта книжка захлопывает «Сверчка» и рядом с ней опускается на стол магическая палочка, Сен Мартин Холл приходит в себя. Пробуждение слушателей сопровождается таким восторженным взрывом восхищения, что он должен быть слышен на улице, безусловно на улице.

Нет, никогда Англия не слышала такого чтения.

Через несколько дней в том же Сен Мартин Холле он читает «Рождественский гимн». Те же овации, что и в первый день чтения. Он читает и в третий раз, еще через неделю. Бутоньерка все такая же яркая, все так же уверенно взлетает дирижерская палочка, но время от времени он прикладывает левую руку ко лбу, словно у него невыносимо болит голова. И тогда внимательный наблюдатель мог бы заметить, что рука дрожит и весь он напряжен больше, чем на первых чтениях. А еще через неделю это напряжение обнаруживается более ясно, — внимательный наблюдатель, посетивший Сен

Мартин Холл, мог бы даже заметить, что Чарльз Диккенс, кончив чтение, тяжело облокачивается на пюпитр, словно боится упасть.

И очень скоро, через несколько дней, Лондон узнает, что Чарльз Диккенс расстался со своей женой.

Лондон ошеломлен. Слухи возникают, опровергаются, укрепляются, заставляют недоумевать, сетовать, возмущаться, находить оправдания. Лондон узнает, что миссис Диккенс, по соглашению с мужем, покинула его дом и отныне будет жить отдельно, вместе со старшим сыном. Называют даже цифру ежегодного содержания, которое Чарльз Диккенс, назначает ей, а именно — шестьсот фунтов. Называют имена посредников, которые участвовали во всех переговорах между супругами, а именно — мистера Форстера и мистера Ли́мона: первый выступил со стороны мистера Диккенса, второй — от имени миссис Диккенс. Сообщают даже о том, что мистер Диккенс все последнее время пребывал в болезненном состоянии, вызванном волнением, а что касается миссис Диккенс, то ее состояние даже невозможно описать… Дни идут. Разносятся новые слухи. Чарльз Диккенс настаивал на опубликовании в «Панче» своего обращения к читателям с объяснениями по поводу прискорбного факта развода с супругой. Марк Ли́мон — редактор и фирма Брэдбери и Эванс — издатели не сочли возможным откликнуться на эту просьбу. И Чарльз Диккенс разорвал отношения по этой причине со своим старинным другом, мистером Ли́моном, и со своими издателями, Брэдбери и Эвансом.

Волнение нарастает, когда «Манчестер Гардиен» сообщает, что читатели оповещаются о напечатании в журнале «Домашнее чтение» обращения Чарльза Диккенса к ним по поводу его семейных дел. И, наконец, появляется в «Домашнем чтении» обращение Диккенса.

Лондон и вся страна читает его, обращает внимание на страстный, слишком нервический тон, в каком оно написано. Лондон читает о том, что Чарльз Диккенс никогда не занимал внимания читателей своими личными делами, как бы ни раздражали его, как бы его ни ранили слухи о нем и сплетни. Но теперь, впервые в жизни, Чарльз Диккенс вынужден изменить своему правилу и оповестить прежде всего о том, что события его семейной жизни привели к дружескому соглашению, а все этапы этих событий были известны его детям. Лондон далее узнает, что эти семейные события послужили поводом к чудовищной и жестокой клевете, не только на автора «обращения», но и на лиц, ни в чем не повинных, которые очень страдают, являясь жертвами ничем необъяснимых сплетен, порожденных либо недоразумением, либо злобой и глупостью. И Лондон читает торжественное заверение Чарльза Диккенса от своего имени и от имени его жены, что все эти сплетни «отвратительно лживы». И каждый, кто будет их распространять, заканчивает писатель, будет лгать так же преднамеренно и гнусно, как любой лжесвидетель перед небом и землей. Лондон ахает, сочувствует Чарльзу Диккенсу, но тем не менее слухи и сплетни не угасают, а желание услышать Чарльза Диккенса на эстраде еще более усиливается. Сен Мартин Холл заполнен до краев каждый раз, когда Диккенс появляется на эстраде. Артур Смит уже давно успокоился.

Слишком строгий моралист, который попытался бы публично выразить свое мнение по поводу семейных дел Диккенса, осужден на позорное поражение. Это очевидно и для моралистов, — они безгласны на «чтениях». Может быть, они с удовлетворением наблюдают измученное лицо Диккенса, когда он появляется у пюпитра. Но удовлетворение их недолго длится. Но проходит минуты, и они забывают о том, что мистер Диккенс должен понести наказание за содеянное.

Не проходит минуты, я вместе со всеми они присутствуют в конторе старого Скруджа, или у камелька Джона Пирибингла, или в доме мистера Домби.

Чтения идут не прекращаясь. Каждые шесть-семь дней Диккенс на эстраде. Шестнадцать раз он поднимается на эстраду Сен Мартин Холла. Затем делает короткий перерыв и в начале августа переносит свои чтения в провинцию.

Города мелькают один за другим: Клифтон, Шрусбери, Честер, Ливерпуль с его залом на две тысячи триста человек, затем Ирландия, которой он еще не видел. Сперва Дублин, где восторженные ирландки ринулись на эстраду после окончания чтения о смерти маленького Поля Домби. По лепесткам расхватали они рассыпавшуюся бутоньерку из петлицы его фрака и умчались со своей добычей. Затем Бельфаст. Сколько людей не могут сдержать слезы, когда слушают сцену смерти Поля Домби!

Но здесь, в Бельфасте, один джентльмен охватил голову руками и содрогается от рыданий. А в Йорке — отнюдь не на земле импульсивных ирландцев — к Диккенсу подходит на улице неизвестная леди и трогательно просит разрешения прикоснуться к его руке, которая наполнила ее дом друзьями, и как много у нее этих друзей!

И сколько во всех этих городах у него друзей! Сотни людей рвутся к кассам, давно выбросившим плакаты об аншлагах; в Бельфасте все стекла в кассах выбиты. Если бы открыть двери всем, пришлось бы в каждом городе пробыть бог знает сколько времени — и в Манчестере, и в Шеффильде, и в Лидсе, и в Гулле. Но когда он приезжает в Шотландию, перед энтузиазмом шотландцев тускнеет даже восхищение манчестерцев или ирландцев. На четырех чтениях в Эдинбурге вся эстрада заполнена слушателями, а перед зданием нельзя пробиться сквозь толпу тщетно алчущих попасть на чтения. В Глазго, как и в Эдинбурге, приходится читать

четыре раза. В Перт съезжаются слушатели со всей округи, и по окончании чтения сотни шляп взмывают в воздух, и тысяча восемьсот человек сопровождают эти проявления восторга неистовым ревом.

Поистине он поставил целью промчаться по намеченным городам с предельной быстротой. Он выступает каждые три-четыре дня, в его душевном состоянии ему нужна смена впечатлений, ему нельзя оставаться наедине с собой. Он читает «Сверчка», «Рождественский гимн», «Колокола», «Смерть Поля Домби», «Остролистник», «Мисс Гэмп»… Он возвращается в середине ноября на Тэвисток Сквер, куда уже никогда не вернется миссис Диккенс.

15. Недоброе старое время

Он сидит в кресле перед письменным столом, повернувшись всем корпусом к художнику, правая рука облокачивается на низкую спинку кресла, левая — на стол. Он заложил ногу на ногу и смотрит куда-то влево; бархатный сюртук, напоминающий халат, застегнут, прямоугольная борода с проседью почти закрывает черный галстук, оставляющий открытой мягкую домашнюю манишку.

Вильям Фрит работает над портретом. Это не первый сеанс. Но художник и Форстер обещали, что ему не придется позировать до бесконечности, как три года назад, когда он необдуманно дал согласие знаменитому Ари Шефферу. Если бы не Форстер, он ни за что не согласился бы позировать, но Форстер задумал заказать для себя его портрет, а когда старина Форстер что-нибудь задумает, ничего поделать нельзя. Едва ли, впрочем, Вильям Фрит преуспеет в своем начинании. Беда с этими портретами, — художникам никак не удается уловить сходство. Писали его и Лейн, и Маргарет Джиллис, и Уорд и Шеффер, писали и другие, но если не считать портрета Маклайза, сделанного двадцать лет назад,

нет ни одного удачного. Во всяком случае по его мнению. Должно быть, та же судьба ждет и этот портрет, хотя Фрит — художник первоклассный и по заслугам семь лет назад избран в Королевскую академию. Он почитается крупным портретистом, а его пейзажи, исторические и жанровые картины на ежегодных выставках академии вызывают восхищение. В особенности он прославился своими картинами «Пески Рамсгета» и «Дерби», и с каждой новой картиной его мастерство все более укрепляется. Что же, ради Форстера надо терпеть, а там видно будет.

— Кажется, — говорит Диккенс, — вы собирались раздобыть у Уоткинса мои фотографические карточки?

— О, да, мистер Диккенс! — вздыхает художник. — Не только собирался, но и получил. К сожалению, они мало мне помогают. Ваше лицо так изменилось за все эти годы, что для работы они бесполезны. Да к тому же ваша борода и усы…

— Моя борода и усы принесли мистеру Форстеру много неприятностей, — смеется Диккенс. — Он надеялся, что я скоро откажусь от этой прихоти.

— Если вы заговорили об этом, — улыбается художник, — то позвольте вам сказать, что мистер Форстер давно обратился ко мне с просьбой написать ваш портрет, но откладывал с года на год. Он надеялся, что вы от нее откажетесь.

— Вот чудак!

— Позволю с вами не согласиться. Мистер Форстер безусловно прав. Усы почти закрывают вам рот, а рот у вас красивый и выразительный.

— Не думаю, чтобы мистер Форстер объявил войну моей бороде и моим усам по этим причинам. Не думаю также, что борода и усы помешали мистеру Шефферу добиться в портрете, который он написал, сходства с вашим покорным слугой.

Диккенс переводит взгляд на Фрита. Художник прерывает работу.

— Вас очень трудно писать, мистер Диккенс, очень трудно, — нахмурившись, говорит Фрит. — А могу ли я узнать, почему не закончен тот портрет?

Он указывает кистью в отдаленный угол кабинета, где на мольберте стоит портрет, задернутый холстом. Мистер Фрит продолжает:

— Мы все знаем этого художника, у нас, в академии, он пользуется большой популярностью…

— Почему не закончен этот портрет? — снова улыбается Диккенс. — Это не тайна. Видите ли, милый Фрит, я позировал долго. Сначала я очень напоминал на портрете Бен Каунта. Вот-вот, знаменитого боксера. Затем я превратился бог знает в кого. Наконец я решил, что пора кончать. Я слишком долго смотрел на портрет и, ей-ей, почувствовал, что начинаю на него походить… Нетрудно представить, какое разочарование ожидало бы тех, кто никогда меня не видел и судил бы обо мне по этому портрету.

— Публика всегда интересуется внешностью литературных знаменитостей, — вставляет Фрит.

— Возможно. Но должен сказать, что те, кто видел меня впервые, не раз испытывали разочарование.

Недоверие написано на лице Фрита, который усиленно работает кистью, и Диккенс добавляет:

— Бывает и так, что это разочарование переходит в решительное неудовольствие. Вот, например, Шеффер. Он считается у вас, художников, большим мастером, не так ли? Когда он меня увидел, он мне заявил: вы совсем не такой, какого я ожидал увидеть. Вы похожи на голландского шкипера.

— На кого?

— На голландского шкипера.

Диккенс делает короткую паузу и заканчивает:

— Если же говорить о портрете, который он писал с меня, то я могу только сказать одно: портрет не похож ни на меня, ни на голландского шкипера.

Фрит молчит, ему явно не хочется продолжать беседу на эту деликатную тему. Диккенс терпеливо сидит, не меняя позы. Понемногу он находит путь к обычному своему занятию во время этих сеансов. Занятие то же, что и три года назад, когда его писал Ари Шеффер. Но тогда он был окружен участниками романа «Крошка Доррит», он видел перед собой слишком хорошо знакомую камеру в Маршельси, — теперь перед ним Бастилия и бульвары Парижа.

Какую удивительную книгу написал Карлейль! Он читал ее и раньше — книга вышла в год издания «Пиквика», — не так давно, несколько месяцев назад, он снова начал читать «Французскую революцию». И, когда кончал эту волшебную книгу, уже знал, что не уйдет от соблазна писать роман, в котором примут участие мрачные события, ужасные tricoteuses — вязальщицы, казематы Бастилии… Впрочем, он тогда же решил, что место действия не должно ограничиться пределами Парижа. Он попытается рассказать о двух городах — Париже и Лондоне, — разделенных в ту памятную эпоху враждой и ненавистью, более непреодолимыми, чем Ламанш. И он попытается построить свой роман точь-в-точь, как французы строят свои пьесы, — он опишет сначала события одной эпохи, прервет повествование, перешагнет через несколько лет и развернет новые события.

У него уже был опыт исторического романа. Но работа над новым романом обещала быть более сложной. Франция — чужая страна, а события той эпохи куда более сложны, чем мятеж лорда Гордона. Надо перечитать немало книг.

Но когда Карлейль прислал эти книги, он ахнул. Милый Карлейль! Немедленно отозвался на его просьбу и прислал

книги, о которых он его просил, — те книги, на какие ссылался в своей «Французской революции». Две нагруженные с верхом телеги.

Разве возможно прочесть такую уйму книг? И необходимо ли это ему — романисту, который не собирается писать еще одну историю французской революции? Конечно, многие из этих книг ему нисколько не нужны, но зато такие книги, как томики Мерсье «Картины Парижа», — клад для романиста…

Итак читатель уже познакомился с главными участниками романа. Снова он встречается с героями Диккенса в конце каждой недели. Снова надо заботиться о том, чтобы в каждом номере журнала читатель нашел такое событие, которое не позволит ему скучать. Снова каждый номер еженедельного журнала надо насыщать действием. Это нелегко; ежемесячные выпуски позволяют сюжету развиваться в более спокойном тоне.

Но иного выхода не было. Разрыв с издателями Брэдбери и Эвансом заставил проститься с «Домашним чтением». Сложные юридические споры с издателями закончились основанием нового журнала. Десятки заглавий состязались между собой, пока тридцатого апреля 1859 года не вышел первый его номер. На титуле читатель прочел: «Круглый год». Еженедельный журнал под редакцией Чарльза Диккенса. Над заглавием напечатано было мотто Шекспира: «Повесть о нашей жизни из года в год», и на том же титуле читатель оповещался, что «Домашнее чтение» слилось с новым журналом. Внимание читателя надо было сразу привлечь к «Круглому году».

Чем же, если не новым романом Чарльза Диккенса — «Повесть о двух городах»?

Читатель «Повести о двух городах» познакомился с симпатичным пожилым джентльменом мистером Лорри, опытным

и преданным клерком лондонского банкирского дома. Мистер Лорри предан не только этому банкирскому дому, но и своему другу, французу, доктору Манетту, который много лет назад был брошен в Бастилию. Теперь, после восемнадцатилетнего заключения, он освобожден, но не вернулся в Англию, где находилась его дочь Люси. Мистер Лорри и Люси едут в Париж, чтобы его разыскать.

Мистер Лорри и Люси встретились в винной лавке Сен-Антуанского предместья с владельцем лавки Дефаржем и его женой Терезой Дефарж. Вместе с добрым клерком и Люси читатель нашел доктора Манетта полупомешанным стариком. И вместе с ними возвратился в Лондон, где доктор понемногу восстанавливает свои душевные силы, подорванные Бастилией.

Как во французской драме, прошло несколько лет, и на сцене уже новые участники романа: сын маркиза, француз Шарль Сен Эвремон, учитель в Лондоне. У себя на родине он отказался от всех привилегий французской знати и превратился здесь, в Лондоне, в Чарльза Дарнея. И неожиданно предстал перед судом Олд Байли как обвиняемый в шпионаже в пользу Франции.

И читатель уже встретился с Сидни Кэртоном, безработным адвокатом и человеком большого сердца и неудавшейся судьбы. Картон — чернорабочий в мире законников и знает, что ему не суждено добиться иного положения. Случайное сходство его с Чарльзом Дарнеем уже стало известно читателю, известен стал и исход процесса по обвинению француза в шпионаже, — умелый адвокат невинного Дарнея использовал сходство его с Картоном, и Дарней спасен от смерти. Доктор Манетт и Люси, симпатичный мистер Лорри, свидетели в процессе, — все они душевно рады оправданию невинного человека. Дом доктора открыт для Дарнея, открыт он и для его двойника — Кэртона. Оба они влюбились в Люси.

Диккенс пишет роман в Гэдсхилле. Лето. Если верить Шекспиру, то прямо перед дверью в дом, которого еще не было в те времена, произошло ограбление, в котором участвовал сэр Джон Фальстаф. И именно оттуда, где теперь сидит в своем кабинете Чарльз Диккенс и пишет роман, сэр Джон Фальстаф пустился наутек, испугавшись возмездия.

Теперь из открытого окна кабинета Диккенс может разглядеть через дорогу, пролегающую перед участком, коттедж. Там деревенская пивная, названная в честь небезызвестного события в «Генрихе IV» «Сэр Джон Фальстаф». Позади дома — лес Кобхем и парк, некогда принадлежавшие потомкам лорда Кобхема. Бедный Шекспир вынес немало неприятностей от потомков славного лорда, некогда погибшего за великое дело Виклефа, который, как известно, смело восстал против римского престола. Но, пожалуй, потомки лорда Кобхема были правы. Ведь сочинитель трагедий Вильям Шекспир изобразил сначала своего сэра Джона Фальстафа под именем сэра Джона Ольдкестля. Имя это он нашел в старинной хронике, и еще сейчас из окна кабинета в Гэдсхилле можно видеть развалины замка, где жил этот сэр Джон Ольдкестль. Кто был этот Джон Ольдкестль — сочинитель трагедий, Шекспир не знал, но в той же хронике он нашел под тем же именем некоего пажа герцога Норфольского. Потому он и наделил этим званием своего неблаговидного трусливого толстяка. А в результате — весьма серьезная неприятность. Оказалось, что знаменитый сторонник Виклефа, погибший геройской смертью за дело протестантизма, именитый лорд Кобхем, был пажем герцога Норфолька. Потомки лорда-героя были взбешены таким неуважением сочинителя к имени их славного предка, и пришлось бедному Шекспиру заявлять, что он отнюдь не имел в виду опорочить лорда Кобхема, и что под именем Ольдкестля выведен

отнюдь не протестантский мученик. Пришлось отказаться и от имени Ольдкестль для своего толстяка и назвать его сэром Фальстафом.

Словом, жизнь в Гэдсхилле может разбудить не только детские воспоминания, но и интерес к историческим местам, окружающим новый дом. А когда ежедневная работа над «Повестью о двух городах» кончается, можно совершать далекие прогулки.

Можно обогнуть Кобхем Холл, где в елизаветинские времена обитал в замке лорд Дарнлей, деревушку Кобхем и парк. Можно идти через Рочестер к фортам Питта, где в четемские времена он так часто участвовал в детских играх, или к Гревсенду через болотистую низину, а затем вернуться назад мимо церковки в Чоке, где над портиком укреплен высеченный из камня монах, держащий в руках горшок.

Погода не должна мешать этим дальним прогулкам. Если в Гэдсхилле никто не гостит, спутником можно взять преданного Турка, замечательного мастифа, а иногда и молодую Линду, которая обещает стать гигантским сенбернаром. К сожалению, в прогулках не может принимать участие любимая кошка, избалованнейшее существо, привыкшее сидеть рядом с ним, когда он работает. Теперь она остепенилась, но однажды ее шалость поставила его в тупик. Как-то вечером он читал книгу, рядом на столе стояла, как обычно, зажженная свеча. Внезапно она потухла. Что за чертовщина! Он снова ее зажег и увидел, что котенок пристально на него смотрит. Не успел он снова взяться за книгу, котенок осторожно приблизился к свече и ловко потушил ее лапкой. Пришлось отложить книгу и заняться игрой с котенком, чего тот и добивался. Так же привольно живется в Гэдсхилле еще более беззащитному существу — канарейке. Она чувствует себя в безопасности, невзирая на кошку и собак, — в большей

безопасности, чем когда-то чувствовал себя орел, прикованный к гроту в саду Тэвисток Хауза.

Едва ли эта царственная птица могла найти какую-то связь между работой хозяина дома и ее мучениями. Но эта связь была. Хозяин дома, задумав писать «Барнеби Раджа», должен был изучить повадки ворона, в противном случае ворон бедняги Барнеби грозил показаться ненатуральным. И вот тогда в доме появился прототип Грипа, который объявил войну прикованному орлу. Прототип Грипа не только ухитрялся утащить у орла полагавшуюся ему еду, но, должно быть, испытывал удовольствие, долго не приступая, за пределами досягаемости, к уничтожению украденной пищи и видя, как беснуется враг.

Если бы этот реальный Грип был и сейчас, в Гэдсхилле, не пришлось бы канарейке Дику свободно разгуливать по обеденному столу и по плечам обедающих. И не пришлось бы хозяину дома семь лет спустя хоронить в саду Гэдсхилла умершего естественной смертью Дика. Когда это печальное событие произойдет, каждый, кто прочтет надпись на мемориальной доске, сможет убедиться, что перед ним могила Дика — «лучшей из птиц».

А теперь каждый посетитель Гэдсхилла может убедиться в неукротимой деятельности Диккенса. Всё ему кажется, что Гэдсхилл требует новых и новых переделок и перестроек. Он затевает рыть новый колодец, строить новую большую гостиную, переделывает в первом этаже свою спальню в кабинет, строит новые помещения для прислуги и новые конюшни, перестраивает чердак в школьные комнаты. Небольшой участок, поросший кустарником, расположен по ту сторону дороги, проходящей перед усадьбой; участок теперь принадлежит ему, и вдруг он решает соединить дом с этим участком подземным тоннелем, чем приводит в изумление местных чиновников.

Пока тоннель прокладывается, создаются новые проекты перестроек. Надо построить еще две спальни, надо превратить каретный сарай в холл для прислуги, купить луг позади дома, посадить перед домом липы, построить солидную оранжерею… В последующие годы все эти планы осуществятся, возникнут новые, и, кажется, нет никакой возможности укротить его неиссякаемую энергию.

Тем временем «Повесть о двух городах» развивается дальше и скоро, в конце ноября, закончится.

Соперничество Дарнея и Кэртона уже завершилось. Люси любит француза, она вышла за него замуж, но жертвенная любовь к ней Кэртона не угасла. Читатель верит, что этот беспутный адвокат в самом деле готов ради ее счастья принести себя в жертву. Исторические события во Франции дают Кэртону возможность доказать Люси свою любовь.

Уже первая стадия французской революции позади. Маркиз Эвремон, дядя Дарнея, успел расплатиться за грехи «старого порядка» и свои собственные; та же участь грозит и его сборщику податей, который призвал Дарнея спасти его из тюрьмы. Дарней покинул Лондон, ему удалось достичь Парижа, где уже разыгрались революционные события девяносто второго года. Владелец винной лавки Дефарж и его жена Тереза — безжалостные вершители народного суда над «старым порядком» — уже обрекли на гибель Дарнея, которого предал ради своего спасения сборщик податей, вызвавший его из Лондона. Дарнею грозит смерть. Люси и ее отец, приехавшие в Париж, бессильны ему помочь, но Кэртон твердо решил ради счастья Люси пожертвовать своей жизнью. Он проникает в тюрьму, где заключен Дарней, усыпляет его, переодевается в его костюм. Пользуясь своим сходством с Дарнеем, он остается в тюрьме, чтобы затем погибнуть на гильотине.

С новым романом Англия знакомится не только по журналу «Круглый год». Старый издатель Чарльза Диккенса, фирма Чепмен и Холл, — с ними он не порвет отношений уже до конца жизни, — издает роман ежемесячными выпусками, с гравюрами Физа, — последними его гравюрами, которые он делает для Диккенса. Роман закончен, и читатель может вынести свое суждение о том, обрел ли Чарльз Диккенс прежнюю свою безмятежность и прежнюю веру в человеческое сердце и в волшебные его превращения. Быть может, Чарльз Диккенс задумал свое путешествие в прошлое, надеясь найти там свои обветшавшие иллюзии? Может быть, на них пала тень социальных затруднений, которые переживала Англия в последнее время, и они воскреснут, когда он погрузится в «добрые старые времена»?

Путешествие в «добрые старые времена» оказалось бесплодным. В прошлом можно встретить добрых, достойных людей — например, мистера Лорри, доктора Манетта, можно встретить даже Сидни Кэртона, — но разве в этом дело? Таких же достойных людей можно найти в любую эпоху. Присутствие их нисколько не рассеет мрачной тени, уже давно, для Чарльза Диккенса, павшей на человека, на его труды и дни.

В романе совсем нет юмора — мрачный роман, как и эта тень. Еще недавно Чарльз Диккенс не придумал ничего лучшего, как назвать свою эпоху «Тяжелые времена». А теперь он возвестил читателю, что не понимает, почему старое время называется добрым. «Сетадэй Ревью» — «Субботнее обозрение» — не может пройти мимо такого печального факта. В одном из своих декабрьских номеров оно разоблачает Диккенса. Критику очень не нравится роман, он возмущенно пишет: «Англии в такой же мере, как и Франции, мистер Диккенс уделил свою благосклонность. Он находит

своеобразное удовольствие, — по нашему мнению, крайне неуместное и возмутительное, — привлекая внимание читателей исключительно к дурным свойствам их ближайших предков и к заслуживающим осуждения историческим событиям. Если верить ему, деды современного читателя были похожи на дикарей, либо чуть-чуть получше. Они были жестоки, фанатичны, несправедливы, имели негодное правительство, их угнетали, с ними обращались так плохо, как только возможно».

Когда читатели знакомятся с этими строками, они не сомневаются, что «Субботнее обозрение» меньше всего склонно защищать мсье Дефаржа и его жену Терезу от Чарльза Диккенса. Но «Субботнее обозрение» весьма склонно защищать дедов современного читателя от обвинений в угнетении мсье Дефаржей — безразлично, где они проживают, во Франции или в Англии. Это ясно читателям, и многие из них согласны с почтенным журналом. А для некоторых из них, быть может, очевидно, что Чарльз Диккенс обратился к французской революции не случайно. Разве в грозный исторический час не предстает сердце человека свободным от тех идиллических покровов, в которые облекал его когда-то Чарльз Диккенс? Очень соблазнительно взглянуть в этот час на того, кто угнетал, и на того, кто был угнетен.

И вот Диккенс рассказал о том, что у людей французской революции он не нашел ничего, кроме жажды разрушения и мести. Никакой Карлейль не смог бы это ему внушить. Да, Диккенс испытывал своеобразное удовольствие, когда рисовал свойства человеческой природы, столь возмутившие журнал. Кроме этих свойств, Диккенс в самом деле ничего не разглядел. Это не могло никого удовлетворить — ни сторонников консервативного журнала, ни более зорких их политических врагов. Но выводы удовлетворили самого Диккенса.

16. И рушатся большие надежды

И раньше у него бывали периоды бессонницы, но они проходили. Теперь не то. Испытания последних двух лет — разрыв с женой, новая жизнь без нее — повлекли бессонницу, с которой нет сил бороться. Остается один выход — бродить всю ночь по Лондону или по окрестностям Гэдсхилла. Если зима на исходе, но рассветает еще не очень рано, бродишь по отдаленным лондонским районам с двух часов ночи до восхода солнца. Возвращаешься домой усталым, и есть надежда уснуть с зарей. А летом и ранней осенью в Гэдсхилле шагаешь милю за милей, лунной короткой ночью и… И тогда рождается плодотворная идея. Не вернуться ли на время к жанру Боза? Во время таких прогулок немало видишь, вспоминаешь немало, пусть читатели «Круглого года» читают о том, что видел и о чем вспомнил…

Он рекомендуется читателю как путешественник — пешеход по городу и по сельским большакам и проселкам. И начинает печатать в «Круглом годе» серию «Неторгового путешественника». Это серия скетчей, эссеев, путевых картин, воспоминаний детства. Это снова Боз.

Летом его семья еще уменьшается. Эльстон Коллинз, брат Уилки, славный малый, получает от Кэт — младшей дочери — согласие выйти за него замуж. Теперь, стало быть, в доме остается только Джорджина и старшая дочь Мэри, да три младших мальчика. Джорджина и Мэри никогда его не покинут, а младшие сыновья также скоро разлетятся по колледжам и будут наезжать домой только на каникулы. Гэдсхилл как будто приспособлен уже для зимнего жилья, можно продать Тэвисток Хауз и переселиться за город. Если же придется оставаться в Лондоне на несколько дней, можно оборудовать две комнаты в редакции «Круглого года».

Из Тэвисток Хауза отправлены в Гэдсхилл вещи, с которыми не хочется расстаться. Тэвисток Хауз продан. Теперь, с сентября 1860 года, Диккенс — деревенский житель. Приходит к концу «Неторговый путешественник», — последнее, шестнадцатое, «путешествие» замыкает в октябре серию. Нет охоты продолжать ее, когда с каждым днем яснее видишь участников нового романа. Почему-то теперь готовишься к новому роману с большей тревогой, чем в прежние времена. Очень неспокойно, сильный нервический подъем. Или это тоже последствия памятных событий?

Когда в декабре читатели «Круглого года» находят в журнале первые главы романа «Большие надежды», суровые морозы угрожают деревенским обитателям Гэдсхилла лишениями. На рождество безнадежно замерзают все трубы в доме, никакой камин не обогреет комнат. Зима необычная, надо снова переезжать до лета в город, во временную меблированную квартиру, которую удается арендовать в Риджент Парке на Ганновер Террас. Снова надо работать с большим напряжением — по законам еженедельного журнала. Работать — трудно, ревматизм вскрылся еще летом, а от морозов он обострился.

Но радует прием читателем нового романа. Неделя идет за неделей, и с каждым номером успех романа становится все более очевидным. Нужно признать удачной идею повествования от лица главного героя, как в «Дэвиде Копперфильде».

В романе «Большие надежды» ведет рассказ мальчик. Он сирота. Зовут его Филипп Пиррип, он называет себя — Пип. В болотистой низине, где Пип любит бродить, — в семи милях от Гэдсхилла, Диккенсу хорошо знакомы эти болота, — сирота встречает странного человека. Он скрывается здесь, этот человек, бежав из тюрьмы, и он заставляет Пипа принести ему пищу из запасов миссис Гарджери. Но на следующий вечер беглеца уже нет там, где Пип с ним встретился.

Он пойман, ему не удалось скрыться. Время идет, Пип учится в воскресной школе, потом его помещают к маниакальной богатой старой деве мисс Хевишам. Когда-то ее жених, некий Компейсон, в день свадьбы покинул ее. С той поры мисс Хевишам носит всегда подвенечное платье и обучает молодых девушек, которых берет на воспитание, завоевывать сердца мужчин и разбивать их. У такой эксцентричной леди Пип встречает воспитанницу ее — Эстеллу, которая причиняет подростку много горя, высмеивая его невежество и бедность, что не мешает ему по-детски в нее влюбиться. Скоро мисс Хевишам отдает его в учение к кузнецу, четыре года служит Пип подручным кузнеца Джо Гарджери, добряка, женатого на сестре Пипа, женщине крутого нрава. Вместе с ним работает поденщиком подросток Орлик, который становится его заклятым врагом. Орлик жестоко расправляется с женой своего хозяина, добряка Джо; после этой расправы миссис Гарджери остается калекой.

Дни идут, и читатель узнает о событии, повлекшем за собой резкий перелом в жизни Пипа. Из подручного кузнеца Пип превращается в состоятельного юношу. Какой-то благодетель поручает юристу Джеггерсу выплачивать Пипу ежегодно по пятьсот фунтов. Сообщая об этом Пипу, Джеггерс добавляет, что юноша может надеяться на получение большого состояния. Так возникают у нищего Пипа «большие надежды».

В следующих главах обнаруживается разрушительное действие этих «больших надежд» на юношу. Пип — в Лондоне, с ним его друг Покет — честный малый, прямодушный и энергический. Пип учится, но «большие надежды» помогают ему не заботиться о выборе профессии. Жизнь его пуста, но легка, и этой легкой жизнью он обязан, как полагает, мисс Хевишам. Он в этом даже уверен, ибо экстравагантная леди, по его мнению, намерена выдать за него замуж Эстеллу.

Но читатель чувствует, что Диккенс готовит ему неожиданность. Снова это не тот Диккенс, каким он был десять лет назад. Роман тревожный. Правда, в нем есть юмор, о котором Диккенс почти совсем забыл в последних романах, но разве прежний Диккенс вынес бы осуждение большим надеждам?

Большие надежды разъедают душу Пипа, как кислота, — медленно, но неуклонно; Пип отвращается от доброго Джо Гарджери, кузнеца, который любит его, и погружается в мечты о той жизни, в которую никогда не войти таким, как Джо. Читатель помнит, что Чарльз Диккенс осуждал богатых людей, если они были этого достойны, но он помнит также и братьев Чирибл в «Никльби» и не может только вспомнить, где и когда раньше Чарльз Диккенс осуждал «большие надежды». Респектабельный читатель пока удовлетворен, не найдя обычных для теперешнего мистера Диккенса саркастических даже гневных выпадов против привычных институтов. Но и этот читатель смутно чувствует, что еще рано делать выводы.

Однако один вывод уже можно сделать. Диккенс ведет повествование к какой-то своей цели. Следует подождать развития событий. Они должны скоро наступить.

Если в «Больших надеждах» события еще не наступили, они наступили в реальной жизни.

Почти двадцать лет прошло после его визита в страну подлинной демократии, почти двадцать лет прошло после обиды, которую, по мнению американцев, он нанес их великой стране. За эти годы обида забыта, американский читатель давно вернул ему свою любовь. Года полтора назад один американский журнал предложил ему любую сумму за рассказ или повесть, если только она будет напечатана в журнале прежде, чем в Англии. И когда Диккенс послал за океан свою небольшую повесть «Пойман с поличным», журнал прислал ему чек на тысячу фунтов… Такого гонорара

не получал еще никто. Стало быть, американцы уже давно забыли о своих распрях с Чарльзом Диккенсом. Почему бы не отправиться вторично в Америку?

Но события наступили именно там — исторические события для Америки, которые могут отозваться и в Европе. Южные, рабовладельческие, штаты давно боролись с общесоюзным законодательством, которое наносило нередко ущерб интересам плантаторов. Но когда на выборах президента Штатов победили республиканцы-северяне, политикам южанам стало очевидно, что их влияние на политическую жизнь союза и на законодательство будет невелико. И южане решились на выход из союза и на организацию самостоятельного государства. Это государство названо было Южной конфедерацией. Междоусобная война была уже неизбежна. В начале апреля 1861 года южане первыми начали военные действия против северян.

Итак, война в Америке разразилась. Немедленно она отозвалась в Европе. И в первую очередь — в Англии. Приток хлопка в английские порты из южных штатов прекратился. Для фабрикантов Ланкашира и других текстильных районов такое положение было нетерпимо. Англия решительно отказалась от какой бы то ни было поддержки северян, заявив о своем нейтралитете. Газеты северян возмущались. Но когда пакетботы доставляли в Америку английские газеты, северяне могли в них прочесть немало статей, выражавших удовлетворение известиями о военных неудачах северных штатов.

События разражаются и в романе «Большие надежды». Проходит два года. Пип продолжает считать мисс Хевишам своей тайной благодетельницей. Истина обнаруживается внезапно. На сцене появляется тот самый беглый арестант, которого некогда Пип накормил, встретив его среди болот. Зовут его Мегуич. Он был сослан на каторгу в Австралию,

создал там себе состояние, но не забыл услуги, оказанной ему Пипом. Это он, а не мисс Хевишам, помог Пипу жить безбедно и питать «большие надежды» на получение крупного состояния. В Лондон он возвращается, чтобы повидать Пипа. Его ждет эшафот, если об этом станет известно властям, и Пип вместе с Покетом скрывают его в уединенном домике, под чужим именем.

Но закон безличен и беспощаден. Если человек однажды пал, закону нет дела до причин падения и нет дела до мотивов нарушения закона. Преступник может давно раскаяться, стать совсем другим человеком, да и преступление может быть совершено под давлением чужой злой воли, но государство изобрело такой закон, который слеп.

Вот перед читателем Абель Мегуич. Когда-то человек злой воли — его зовут Компейсон — втянул его в преступление. Уже давно Абель Мегуич расплатился за зло, содеянное им в минуту слабости. Теперь он здесь, в Лондоне; он приехал, чтобы взглянуть на «своего мальчика», который только один раз накормил его, в этом вся заслуга Пипа. Но закон травит Абеля Мегуича, словно он дикий зверь, а не человек большого сердца. Таков ваш закон, перед которым вы преклоняетесь, сограждане!

Респектабельный читатель не обманулся. Он чувствовал: какую-то неожиданность Диккенс ему готовит. Но что поделать!

Надо узнать, спасет ли Диккенс Абеля Мегуича от беспощадного закона.

Нет, Диккенс задумал трагическую развязку. Мегуич обречен. За ним охотится Компейсон, его жестокий враг, тот самый Компейсон, который в свое время нанес непоправимый удар мисс Хевишам, покинув ее в день свадьбы. Сообщником у него Орлик, жестокий враг Пипа, покушавшийся на него, как некогда покушался на миссис Гарджери.

И оба они — Компейсон и Орлик — сообщники беспощадного закона. Абелю Мегуичу от них не уйти.

Мегуич не покинет Англии. Слуги закона наведены на его след Компейсоном, когда Пип и Покет пытаются переправить Мегуича через реку. В схватке с Мегуичем Компейсон тонет в реке, но Мегуич ранен, он пойман слугами закона. Его приговаривают к смерти, этого можно было ждать. Таков ваш закон, сограждане! И не вина закона, если Мегуич избегает эшафота и умирает в тюремной больнице, перед казнью.

Так рушатся «большие надежды» Пипа. Но вместе с их гибелью рождается вера в то, что никакой соблазн «больших надежд» не властен над ним, и к прошлой пустой и легкой своей жизни он не вернется.

Но он вернется к Эстелле. Теперь он знает, что она дочь Мегуича. И он к ней возвращается после долгих лет разлуки. Читатель может быть удовлетворен хотя бы этим: Диккенс не решился нарушить традицию и заключил свой роман обычной концовкой.

Но читатель не знает, что в гранках романа Пип не возвратился к Эстелле. Виновником традиционной концовки был Бульвер Литтон, который настоял на ней, — Диккенс уступил его доводам. Он был счастлив, когда Карлейль, строгий судья, отозвался о романе с большой похвалой.

Теперь надо работать над подготовкой новых чтений до начала провинциального турне. Мешают невралгические боли, но ничего не поделаешь. Чтения были прерваны работой над романом, — в январе он читал в Лондоне, теперь, с ноября, он снова отправляется в провинцию.

Он отправляется в тревожное время. Гражданская война в Америке в самом разгаре. Совсем недавно южане были уже в семидесяти милях от Вашингтона, столицы северных штатов. Теперь они вынуждены отступить, но военное их положение исполняет южных плантаторов светлых надежд.

И они отправляют во Францию двух специальных послов, чтобы заручиться политической поддержкой Парижа. Послы — Мэзон и Слиддель — покидают Америку на судне «Трент». В океане крейсируют военные суда северян, блокируя южные штаты. Одним из корветов командует капитан Уилкс. Корвет Уилкса настигает «Трент» и требует остановиться.

Но на почтовом судне «Трент» британский флаг. «Трент» продолжает идти своим курсом. Упорный капитан Уилкс угрожает, — он намерен произвести осмотр судна, его не испугал британский флаг. Капитан Уилкс производит осмотр «Трента» и забирает с собой вражеских послов Мэзона и Слидделя. Всё.

Нет, не всё. Капитан Уилкс нанес рану национальной чести Англии! Северяне нарушили свободу морей. Англия не остановится перед выводами, которые истекают из этого факта. Пусть Вашингтон задумается над этим.

Вступают в спор юристы: английские признают задержание двух эмиссаров незаконным, американские признают законным. Тон английских газет повышается изо дня в день, из недели в неделю. Кто-то расклеивает плакаты с призывом к войне против северян. «Панч» бряцает оружием, как и либеральная газета «Дейли Телеграф», как десятки других газет.

Провинциальные газеты не отстают от лондонских. Все они также заняты «Трентом». Диккенс читает их, переезжая из города в город, с ноября 1861 года.

Но международный конфликт не мешает провинциальным жителям осаждать кассы, где они найдут билеты на чтения Чарльза Диккенса. Успех едва ли не больший, чем во время первой поездки. Он читает сцены из «Никльби» и «Копперфильда». В Дувре слушатели не желают уходить после окончания чтений, они готовы слушать всю ночь.

В Ньюкестле происходит инцидент, который мог бы закончиться печально. Во время чтения падает газовая лампа,

укрепленная над эстрадой. Еще один момент и толпа, переполнившая четырехъярусный театр, ринется к выходам, ища спасения. Некая леди в ужасе бросается к эстраде. И вдруг раздается спокойный, веселый голос чтеца. Диккенс приказывает перепуганной леди сесть на место. Так же стремительно та повинуется. Все в порядке! Диккенс смертельно бледен, но на лице его успокоительная улыбка.

Снова, как и раньше, каждые три-четыре дня он на эстраде. И каждый раз — новый город. В Эдинбурге слушателям нельзя пошевельнуться, они сидят и стоят, прижавшись друг к другу, обливаясь потом. После сцены бури из «Копперфильда», которую он читает и в Торнее, за кулисы приходит бравый моряк, лейтенант, и плачет, как леди, и говорит, что все его товарищи, а их было немало в зале, растроганы до слез.

Но приходит пора и Диккенсу растрогаться до слез. Он в Челтенхеме. После нервного напряжения он еле двигается, он возвращается после чтения сцены бури из «Копперфильда» в свой номер гостиницы. Там его должен ждать Макреди. Великому актеру под семьдесят, десять лет назад он ушел со сцены, он живет здесь, в Челтенхеме, работает над планами народного образования, участвует во всех начинаниях по просвещению бедноты.

Диккенс входит в комнату. Макреди был у него утром и теперь вернулся к нему после чтения. Он сидит в глубоком кресле у камина и, не отрываясь, смотрит в огонь, поворачивает голову на шум шагов. Глаза у него воспалены, должно быть ему вредно смотреть на яркое пламя.

— Что вы скажете, мой дорогой, о чтении? — спрашивает Диккенс устало и, сделав приветственный жест, проходит в спальню. Макреди был свидетелем приема, оказанного Диккенсу челтенхемцами, но у него есть собственные — о, да! — взгляды на чтение с эстрады…

Ответ, казалось, должен последовать немедленно, но его нет. Что за черт! Должно быть, Макреди не нравится. Диккенс сбрасывает фрак, подхватывает халат и возвращается, Макреди в тот же момент поворачивает к нему лицо, рот его чуть скошен, будто он собирается говорить, но не может, и он поднимает к потолку широко раскрытые глаза, — так бывает всегда, когда он очень взволнован.

— Ба! — говорит Диккенс. — Вы не изменились, теперь я вижу, что Джексон вас нарисовал превосходно. Говорите прямо, мой друг, вам не понравилась «буря»?

Вдруг Макреди начинает лепетать:

— Диккенс! Э… Клянусь небом, нет! Это… э… неописуемо. Это… э… такое волнующее, такая игра… это… это поражает меня, ошеломляет… Это такое искусство… Клянусь. И я ведь видывал актеров, в лучшие времена… Не понимаю, Диккенс…

Он встает, большой, грузный. Диккенс растерян. Макреди достает платок, прикладывает его к глазам, опускает руку ему на плечо.

— Не понимаю… Как это сделано? — говорит он. — Как может это передать один человек? Э… непостижимо… Да что говорить об этом!

И он машет платком и снова прикладывает его к глазам.

17. Работать, только работать

Лихорадка, в течение трех месяцев трепавшая Англию, оборвалась. Северяне приняли английский ультиматум, и злосчастные эмиссары Юга, Мэзон и Слиддель, покинули Бостон, получив свободу. Но война в Америке шла с переменным успехом, конец ее был еще очень далек. О язвительном ответе государственного секретаря северян Сюарда на английский ультиматум Диккенс узнает в провинции,

он кончает там чтения в последних числах января 1862 года. Но скоро — чтения в Лондоне. И снова он читает «Копперфильда» и «Никльби», на этот раз в большом зале Сен Джемс Холла. Лондонцы в таком же восхищении, как и провинциалы. Читает он до середины июня, затем отдыхает в Гэдсхилле, два месяца живет в Париже, возвращается в Лондон, и снова в начале следующего года едет в Париж — с Джорджиной и Мэри.

Он возвращается домой, пишет несколько эссеев для «Круглого года» и — снова чтения… В течение двух летних месяцев он дает в Лондоне тринадцать чтений и до сентября пишет эссе для «Круглого года». В прошлом году он выступил в своем журнале только три раза, в этом году, до октября, читатель находит в «Круглом годе» тринадцать его скетчей и эссеев.

Как разнообразны темы! Тут и «Богадельня Титбала», и «Празднование дня рождения», и «Врачи цивилизации» и путевые сцены — «Ночная почта в Кале», «По французской и фламандской земле», и описания конторы пассажирских карет в прошлые хорошо знакомые ему времена или четемских доков, также хорошо ему знакомых…

И надо готовить рождественский номер «Круглого года». Рождественский номер должен включать фабульную повесть — такова традиция. В прошлом году, кажется, удалось написать занимательную повесть, читателю она нравилась. Называлась повесть «Чей-то багаж», он рассказал о найденной рукописи, якобы заключавшей две историйки. Некий джентльмен, по утверждению автора, когда-то сдал этот багаж на хранение в гостинице официанту, а затем исчез, не уплатив по счету. И вот скромный официант находит в невостребованном багаже рукописи. Он читает их и публикует во всеобщее сведение две историйки. Одна о трогательной любви одинокого почтенного англичанина, попавшего

во Францию, к маленькой французской девочке сиротке, вторая — о неудачливом художнике.

Как легко ввести в заблуждение простые души! Должно быть, есть на свете душа, которая поверила, будто скромный официант нашел в своей гостинице оставленный джентльменом багаж. Во всяком случае, одна из этих душ была не прочь выкупить багаж, уплатив по счету в гостиницу долг исчезнувшего джентльмена — что-то около трех фунтов. Этот лукавый простак даже прислал редактору «Круглого года» чек на указанную сумму. Вот к каким недоразумениям может привести стремление писателя добиться иллюзии, будто описываемые события выкачены из живой жизни…

В этом году тоже надо будет написать повесть совсем правдоподобную — такую, чтобы все было «как в жизни». Большинство читателей любит именно такие повести.

Но, надо сознаться, трудно писать. Должно быть, виной эти чтения; он переутомился, после каждого чтения «бури» из «Копперфильда» он долго не мог прийти в себя от упадка сил. А к тому же и смерть матери…

Миссис Диккенс до конца своих дней не изменила своей склонности радоваться новым шалям, которые дарил ей сын. Это была примечательная черта в характере старой леди, и она вела к воспоминаниям о детстве. О детстве, и о страшной фабрике ваксы, и о роли матери в «коммерческой карьере» маленького Чарли. Но, как ни тонки были нити душевной близости между матерью и сыном, смерть миссис Диккенс, в сентябре, принесла немало тяжелых часов. Когда эти часы прошли, надо было приниматься за рождественскую повесть. Она называлась «Меблированные комнаты миссис Лиррипер».

Повесть вышла к рождеству. И почти в то же время, в канун рождества, Лондон, а за ним вся Англия узнали о смерти Теккерея.

Теккерей болел три дня и умер внезапно. Умер тот, чье имя английский читатель называл рядом с именем Чарльза Диккенса. Умер тот единственный его современник, чья известность в некоторых кругах английских читателей заслоняла его славу. Диккенс это знал. Начиная с того дня — двадцать семь лет назад, — когда молодой Теккерей неудачно пытался иллюстрировать «Записки Пиквикского клуба», у него не сложились близкие отношения с Теккереем. Теккерей завоевывал себе имя медленно и трудно. Многие годы, несмотря на книги, им изданные, он был поденщиком в «Панче». Имя Чарльза Диккенса уже двенадцать лет было известно каждому школьнику в Англии, когда Англия прочла замечательный роман Теккерея «Ярмарка тщеславия». С той поры Теккерей написал «Пенденниса», «Эсмонда», «Ньюкомов» и «Виргинцев» — романы, которые укрепили его известность. Он не стал соперником Чарльза Диккенса в Англии, на континенте и в Америке, но он стал достаточно известен, чтобы его почитатели могли противопоставлять его мастерство мастерству Чарльза Диккенса, а общие их знакомые — подчеркивать несходство их характеров. И дружеских отношений между ними не возникло, хотя Теккерей не раз посещал театральные представления труппы Тэвисток Хауз, а однажды даже чуть не упал со стула от хохота, вызванного игрой Диккенса. Такие отношения — добрых знакомых — сохранились бы, надо думать, и на будущее время, если бы не злосчастный инцидент, виновником которого был литератор Иетс, приятель Диккенса. Инцидент произошел пять лет назад, обе стороны проявили излишнюю горячность, и отношения между ними прорвались. Правда, разрыв закончился через некоторое время примирением, но оба они — и Диккенс и Теккерей — не были уверены в том, что прежние отношения восстановятся.

Теперь Теккерей умер…

Диккенс пишет статью о нем — дань его уважения крупнейшему из его современников, английских писателей. И скоро он узнает о другой потере, более для него тяжелой. Его второй сын Уолтер, двадцатидвухлетний лейтенант, умирает в Индии. Он умирает, не дождавшись приезда своего брата Фрэнка.

Смерть сына на далекой чужбине заставляет отложить на время план нового романа.

Он приступил к плану совсем недавно. Еще три-четыре месяца назад, устав от чтений, он сомневался, удастся ли ему написать занимательную рождественскую повесть. Эту повесть он написал, и очень скоро имя миссис Лиррипер стало таким же популярным, как имя миссис Гэмп. Книготорговцы посылали все новые и новые требования на рождественский номер «Круглого года».

Стало быть, усталость его была только временной. Можно подумать о романе.

Популярность миссис Лиррипер напоминала внезапную популярность миссис Гэмп. Но как они были различны, эти две леди! Миссис Лиррипер — бедная вдова, она сдает внаем меблированные комнаты, она храбро сражается со своим конкурентом по профессии, миссис Уозенхем. Она — деловая леди, очень деловая, она убеждает в этом и себя, и читателей. Но вот судьба посылает в ее меблированные комнаты брошенную возлюбленным молодую женщину, которая должна скоро стать матерью. И в этой деловой леди, миссис Лиррипер, открывается такой неиссякаемый источник человечности, такая чуткость и такая заботливость о людях, что вскоре после выхода повести нет в Англии ни одного читателя «Круглого года», который не полюбил бы миссис Лиррипер. Деловая леди берет на воспитание новорожденного своей случайной жилицы, умершей от родов. Вместе со своим приятелем, майором Джекманом, она воспитывает этого ребенка,

мальчика Джемми, и повесть о меблированных комнатах миссис Лиррипер превращается в повесть о воспитании двумя добряками шаловливого мальчика.

Эту повесть читают сотни тысяч читателей, скоро тираж номера достигает двухсот двадцати тысяч экземпляров. Читают, восхищаются и запоминают трогательную миссис Лиррипер.

Итак — большой успех, большая удача. Она необходима ему. Непрерывное напряжение, связанное с чтениями — нередко после них он лежит полумертвый, — обессиливает его. Он дорого платит за радость общения со своими читателями и за возбуждение, которое ему необходимо. Несколько месяцев назад он почти был уверен, что его творческая фантазия ослабела.

У него были основания для такого заключения. Он пытался приступить к роману, работал над планом, знакомился с будущими участниками романа, созданными его воображением. Но решительно отложил роман в сторону.

Миссис Лиррипер рассеяла его опасения. Его фантазия еще не иссякла. Можно вернуться к роману.

Роман называется «Наш общий друг», первый выпуск выходит в мае 1864 года. Тираж выпуска достигает тридцати тысяч экземпляров. Это не мало. Хуже, что тираж следующего выпуска падает до двадцати пяти тысяч. Нездоровье вызывает неуверенность в том, удастся ли вернуть читателей, которые не проявляют желания узнать развитие событий в «Нашем общем друге». А при таких обстоятельствах нервное возбуждение не способствует успешности работы.

В доме, в Гэдсхилле, мертвая тишина. Да и кому шуметь? Просторный кабинет выходит на солнечную сторону, в нем все привычно; каждая вещь на письменном столе, каждая книга на полках — старые, старые знакомцы. Перед столом широкое окно, за которым большая лужайка с газонами.

На столе укреплен низкий пюпитр, — удобней писать, когда лист бумаги лежит наклонно. Вот на столе, по краю его, за пюпитром, низкая полка. На ней привычные, любимые статуэтки французской бронзы: два смешных толстяка фехтуют на шпагах, знаток собак, ужасно похожий на парижанина, смотрит на кролика, который уморительно встал на задние лапки, расположившись на позолоченном листе. Вот разрезной нож, блокнот на каждый день, зеленая вазочка, где всегда стоят свежие цветы…

Но разве плохо, если в окно заглянут зеленые ветви? Осенью они станут желтыми и карминными, солнце окрасит их в такие пышные цвета, от которых не оторвешь глаз. Покажется, будто рабочая комната укреплена на ветвях, совсем близко, почти в комнате, будут петь птицы, а весной какой аромат потечет от лип, омытых дождем! Там, через дорогу, есть участок земли, куда ведет тоннель прямо от крыльца усадьбы. Почему бы не выстроить на этом участке хижину с рабочей комнатой?

Милый мсье Фехтер присылает из Парижа хижину. Кто такой этот обязательный мсье Фехтер?

Шарль-Альберт Фехтер — замечательный французский актер. Он играл во многих театрах Парижа, пока не остановил свой выбор на театре Водевиль. Никто не превзошел его в роли Дюваля в «Даме с камелиями», а когда, три года назад, он целый сезон играл в Лондоне, лондонцы забывали о его французском акценте.

И вот теперь милый Фехтер прислал в подарок небольшую двухэтажную хижину, chalet в швейцарском стиле. Она прибыла в разобранном виде. Ее можно собрать — и поставить среди кустов и деревьев, за проезжей дорогой, под которой прорыт тоннель.

Диккенс работает в хижине, в верхнем этаже, и птицы прыгают на ветвях, свисающих в раскрытые окна, и они поют

весь день. А ночью запевают другие птицы — соловьи, и аромат цветов и листвы нельзя описать. И здесь, в этой хижине, можно позволить себе удовольствие, которого лишен в кабинете Гэдсхилла, — установить, например, пять больших зеркал, смотрящих друг в друга. Комната кажется тогда бесконечной. Это успокаивает нервы, да к тому же, когда переходишь из Гэдсхилла в хижину, кажется, будто куда-то уезжаешь.

Он пишет роман лето и осень. «Наш общий друг» уже обнаружил сложный свой сюжет, и немало участников романа обнаружили свои душевные свойства.

Сюжет, в самом деле, сложный. Но на этот раз Диккенс не хочет никого обвинять, он увлечен запутанной интригой. Читатель любит такую интригу и, как всегда, любит тайны; и одновременно, пусть читатель познакомится с новыми типами, они не совсем похожи на старых его знакомых.

Например, мистер Джон Подснеп. Его профессия… Но какое значение имеет профессия мистера Подснепа, если сам мистер Подснеп считает свой авторитет непререкаемым? Человечеству надлежит знать, что мистер Подснеп стоит необычайно высоко во мнении мистера Подснепа. Он совершенно удовлетворен всеми событиями своей жизни — своим происхождением, от весьма состоятельных предков, своей женитьбой на весьма состоятельной невесте, своими успехами на поприще страхования морских судов. Он, безусловно, не понимает, как это возможно, что не все люди испытывают такое же удовлетворение. И он всегда сознает, что являет собой образец человека, удовлетворенного всем, и прежде всего — самим собой.

Но у мистера Подснепа есть еще одно качество. Он крепко убежден в том, что для человечества нет и не должно быть таких проблем, которые он полагает не заслуживающими никакого внимания. Если же человечество с ним не согласно

и склонно считать ту или иную проблему трудной, мистер Подснеп говорит решительно: «Я не желаю об этом знать. Я не желаю об этом спорить. Я этого не допускаю».

Познакомившись с мистером Подснепом уже в первой главе, читатель втягивается в сложные перипетии борьбы между многочисленными участниками романа.

Борьба идет по нескольким линиям. Вот линия Джона Хармона, молодого джентльмена. В свое время он поссорился со своим отцом и уехал за границу. Это был опрометчивый шаг, потому что его отец являлся владельцем гигантской кучи мусора; можно сказать, не кучи, но холма мусора.

Пусть, читатели не удивляются. Около пятнадцати лет назад журнал «Домашнее чтение» обращал особое их внимание на то, что в столице, в районе Холстон, есть такой холм мусора, принадлежащий некоему мистеру Додду, и этот холм оценивается в… десятки тысяч фунтов.

Такой же холм стало быть принадлежал и отцу Джона Хармона. Но достался он по наследству не Джону, а десятнику покойного мистера Хармона — Боффину. Случилось это потому, что наследник, Джон Хармон, был убит после ограбления и сброшен в Темзу.

Но он не был убит. Примерно в то самое время, когда грабители оглушили его, некий джентльмен, похожий на него, был ограблен, убит и также сброшен в Темзу, а засим опознан как Джон Хармон. Подлинный Джон Хармон спасся, назвался Джоном Роксмитом и поселился в семье мистера Уильфера. Семья Уильферов имела непосредственное отношение к богатому наследству мистера Хармона-старшего. Этот джентльмен, хотя и поссорился с сыном, но все же в своем завещании оставил ему большую часть состояния, при условии, если тот женится именно на Белле Уильфер, дочери мистера Уильфера. Таким образом, Боффин слишком рано вступил в права наследства и получил в свою собственность

драгоценный мусорный холм. Джон Роксмит, не ведает ни о каких завещаниях. Мусорный холм поступил в собственность Боффина только потому, что сын покойного мистера Хармона якобы убит.

Итак, Роксмит живет в семье Уильфера, а тем временем перед читателем развивается новая, параллельная линия сюжета.

Кто такая Лиззи? Она — дочь лодочника Хексема, профессия которого не столь невинна, как может показаться. Хексем — один из тех темзинских лодочников, которые рыщут по реке в поисках утопленников, а когда находят утопленника, грабят его, прежде чем заявить о находке. Именно Хексем нашел труп мнимого Джона Хармона, и некий Райдерхуд, поссорившийся с Хексемом, бывшим его компаньоном по работе, обвиняет его в убийстве Хармона. По доносу Райдерхуда, полиция является с ордером на арест отца Лиззи, но находит Хексема утонувшим неподалеку от его лодки. Лиззи остается сиротой, на ее руках брат Чарли, малопривлекательный юнец. Еще менее привлекателен его учитель Хедстон, который домогается ее любви. И одновременно с Хедстоном проявляет к ней интерес молодой юрист, бездельник и прожигатель жизни Юджин Рейберн. В сущности, он еще не любит бедную Лиззи и волочится за ней, как подобает молодому повесе. Но когда Лиззи, спасаясь от преследований Хедстона, покидает дом и уезжает в провинциальный городок, Рейберн следует за ней, не подозревая, что за ним следит Хедстон, считающий его счастливым соперником.

Диккенсу недостаточно двух линий развития сюжета.

Читатель уже узнал в начале романа и о богатых выскочках Венирингах, и о Подснепе, и о супругах Леммль. Вот и они начинают вести свою игру. Но читатель одновременно ждет, не подарит ли ему Чарльз Диккенс рождественской повести. В прошлом году он узнал замечательную

пару — миссис Лиррипер и майора Джекмана. Кого он узнает теперь? Или в этом году Диккенс не прервет романа?

Диккенс прервал роман. Он написал рождественскую повесть. Снова повесть о миссис Лиррипер, и о майоре Джекмане, и о маленьком Джемми, который превратился из маленького мальчика в подростка. Можно было вдосталь посмеяться над распорядительностью майора во время пожара у сборщика налогов Бафла, и над приключениями миссис Лиррипер, майора и Джемми во французском городке Санс, куда они были вызваны к заболевшему английскому джентльмену. И можно было растрогаться до слез, читая описание смерти этого джентльмена, в котором нетрудно узнать отца Джемми, злосчастного возлюбленного случайной жилицы миссис Лиррипер. Теперь можно, не отвлекаясь, следить за развитием многочисленных интриг в «Нашем общем друге».

Но читатель не знал, с каким напряжением писал Чарльз Диккенс свой четырнадцатый роман. Нервный подъем сменялся упадком, временами ему казалось, что он потерял свою изобретательность в ведении интриги, приходилось даже прерывать на несколько дней работу. Душевное его состояние еще ухудшилось в начале 1865 года, когда обострилась боль в ноге, некогда отмороженной. Сперва он начал прихрамывать на левую ногу, но дни шли, хромота не исчезала.

Он работает. Когда боли в ноге немного утихают, он вдруг срывается с места, садится в почтовый поезд на Дувр, пересекает Канал, несколько дней проводит на французском побережье, затем возвращается домой. Такие внезапные перемены обстановки ему необходимы, — еще недавно ему казалось, что он возвращается после коротких рейдов «свежим, как маргаритка». Теперь он нуждается в этих рейдах так же, как и раньше, но боли в ноге мучительны, и нервное напряжение не прекращается.

И вдруг эта железнодорожная катастрофа.

Девятого июня Лондон узнает о ней. Пассажирский поезд, шедший в Лондон из Дувра через Фолькстон, свалился в реку у станции Степльхерст, в нескольких милях южнее Медстона, главного города графства Кент.

В этом поезде Диккенс. Он возвращается домой после короткого рейда во Францию.

Ясный, погожий день. Поезд идет, как всегда, вздрагивая на стыках рельс. Пассажиры в купе — старая и молодая леди — мирно беседуют. Диккенс читает. Вдруг вагон резко тормозит, и в тот же момент пассажиров подбрасывает вверх, и мерное скольжение вагона сменяется резкими толчками. Едва только у Диккенса мелькает: «Поезд сошел с рельс», как он слышит вопли. Вопят обе леди. Он хватает обеих леди за руки и говорит: «Спокойно! Мы не можем себе помочь, но не кричите!» И в тот же миг всех троих швыряет в угол купе. Это вагон упал набок. Кое-как выпрямившись, Диккенс пытается помочь женщинам, но встать они не могут. Он говорит им со всем спокойствием, на какое способен: «Опасность для нас миновала. Лежите спокойно. Вы можете лежать спокойно, пока я попытаюсь вылезти из окна?» Леди что-то бормочут. С большим трудом он вылезает из окна, решает спуститься на землю, ставит ногу на подножку, смотрит вниз и…

Под ним широкое болото, загроможденное разбитыми вагонами. Мост рухнул под тяжестью опрокинувшихся вагонов. Он видит только рельсы, висящие в воздухе. А внизу, футах в пятнадцати, сорвавшийся с моста поезд.

Какие-то фигуры бегают по нижним стропилам моста, которые уцелели. Это двое проводников, голова у одного в крови. Рядом пассажиры соседнего купе пытаются высадить окно. Диккенс кричит, как можно громче, проводникам: «Вы узнаете меня? Остановитесь!»

Они знают Чарльза Диккенса. Они поднимаются выше, он проект у них ключ от двери. С помощью двух-трех досок они помогают немногим пассажирам вагона выкарабкаться наружу. Теперь они в безопасности. Он забирает с собой и флягу с бренди. Он уже начинает спускаться по стропилам моста вниз, к разбитым вагонам, как вдруг вспоминает: в вагоне он оставил рукопись — несколько глав «Нашего общего друга», которые он кончил во Франции. Он снова возвращается в вагон. Затем спешит вниз.

Там, у упавших вагонов, люди, пришедшие на помощь. И он среди них. Он работает вместе с ними в болоте, разгребает обломки, чтобы добраться до несчастных. Как страшно изуродованы некоторые тела, почти засосанные болотом! Мало надежды, что тяжело раненные смогут выжить. Он дает им глотнуть бренди, — несколько мгновений кажется, будто смерть их минует, но нет, они умирают у него на глазах. И как мало счастливцев, которым суждено остаться в живых в этом месиве из дерева, железа и грязи.

Он смотрит вверх, на вагон, который недавно покинул. Позади его вагона, наверху, лежат еще два товарных. Все остальные в болоте. И он видит, что его вагон наткнулся на обломок рухнувшего моста, преградивший ему путь в болото.

18. «Это только расплата»

Последствия катастрофы у Степльхерста очень тяжелы для Диккенса.

Он пытается писать роман, но через час-другой вынужден прерывать работу. Поездка по железной дороге связана теперь с таким напряжением нервных сил, что становится нестерпимой. Отныне только с большим трудом он может заставить себя сесть в поезд. Катастрофа у Степльхерста не останется бесследной.

В ноябре Англия получает заключительные главы романа. Роман не имеет того успеха, какой сопровождал последние главы «Больших надежд». Но все же, какой искусник Диккенс, как он изобретателен! Вот как развивались события в жизни Джона Хармона, ставшего Джоном Роксмитом. Не ведая о том, что его отец оставил ему наследство под условием женитьбы его на Белле Уильфер, Джон Роксмит снимает комнату у мистера Уильфера. Бедняга мистер Уильфер, маленький клерк в торговом доме Веніринга и его компаньонов, забитое, несчастное существо. Если бы не любовь дочери Беллы, он был бы совсем несчастен рядом со своей величественной супругой, уничтожающей его своим презрением. Джон Роксмит влюбляется в Беллу, которой выпадает неожиданная удача, — счастливые наследники покойного мистера Хармона, мистер и миссис Боффин, предлагают ей поселиться у них. Бывший десятник Боффин, превратившись в богатого джентльмена, нуждается в секретаре, и Джон Роксмит становится его секретарем. Боффин скоро узнает в своем секретаре сына мистера Хармона и всячески старается внушить Белле неприязнь к нему и, в конце концов, чуть ли не выгоняет его из дома. Но Боффины — добрые люди; только впоследствии Белла узнает, что они были несправедливы к Джону, чтобы пробудить в Белле жалость к нему. Они знали сердце девушки, — жалость Беллы перешла в любовь, и вот она также их покидает и выходит замуж за Джона.

Но на второй линии сюжета события развивались не столь благополучно для их участников. Учитель Хедстон зорко следил за своим соперником Рейберном, который из пустой прихоти разыскал, наконец, Лиззи Хексем, покинувшую дом после смерти своего отца, лодочника. Хедстон решил не останавливаться перед преступлением и попытался убить Рейберна. Это ему не удалось, он тяжело ранил Рейберна и бросил его в реку; но молодой юрист был спасен Лиззи.

Законы сердца непреложны. Лиззи уже раньше была неравнодушна к своему легкомысленному поклоннику, но когда ей пришлось выходить его и спасти от смерти, она почувствовала, что ее любовь к нему укрепилась. Почувствовал к ней любовь и Рейберн, а близость смерти оказалась лучшей школой для беспечного повесы, — жизнь предстала перед ним во всей своей сложности. Но иная судьба подстерегала Хедстона. Уже знакомый читателю Рейдерхуд, бывший соучастник Хексема, пытавшийся оклеветать отца Лиззи, оказался свидетелем покушения учителя на Рейберна и начал его шантажировать. Хедстон решил убрать со своего пути свидетеля, и во время схватки у речных шлюзов оба пошли ко дну.

Пошла ко дну, но в фигуральном смысле, и достойная чета авантюристов Леммль, которые подвизались в числе друзей Вениринтов, богатых выскочек. Ухищрения молодого ростовщика Фледжби, несмотря на всю его деловую предусмотрительность, окончились его поражением. Он не смог даже осуществить свой хитроумный план — жениться на дочери мистера Подснепа. Таким образом, этот чудовищно самодовольный джентльмен — мистер Подснеп — счастливо избегнул мрачных последствий этого брака и счастливо сохранил нерушимую веру в свою непогрешимость.

Как удивился бы читатель, если бы проник в творческую лабораторию Диккенса! Восхищаясь выразительностью этой фигуры — мистером Подснепом, он не подозревает в ней некоторых портретных черт некоего джентльмена. Этот джентльмен не только известен как весьма видный литератор, но и как лучший, самый близкий друг Чарльза Диккенса, — человек, которого Диккенс преданно любит.

Словом, этот джентльмен — Джон Форстер.

Итак, «Наш общий друг» закончен. А через несколько месяцев Джон Форстер узнает, что Диккенс собирается дать третью серию своих чтений.

Мисс Мэри Диккенс и мисс Джорджина Хогарт очень обеспокоены этим решением. Здоровье Диккенса не улучшается, он часто возбужден без причины и повода, затем возбуждение резко сменяется апатией. Мэри и Джорджина призывают на помощь Форстера и в одно прекрасное утро входят к нему в кабинет. Диккенс лежит на кушетке, он читает, ноги его укутаны пледом, — стоит февраль, в камине пылают дрова, в комнате холодно.

— Hallo, старина! — приветствует он Форстера и закрывает номер «Круглого года». Он пошевельнулся, нога заболела, и лицо его скривилось. Складки вокруг рта врублены в пожелтевшее, усатое лицо. Бородка, как обычно, тщательно подстрижена, но теперь она длиннее, чем раньше, поредела и веером ложится на вырез вельветового халата. Чуть заметно улыбаются глаза. Должно быть, предстоит важная беседа, если у домашних столь озабоченные лица, и они призвали на помощь старину Форстера. Форстер похлопывает его по плечу, и все усаживаются вокруг кушетки.

— Перечитывал «Меригольда», — невинно говорит Диккенс, кивая на книгу. — Решил подготовить его к чтениям.

«Рецепты доктора Меригольда» — рождественская его повесть, вышедшая месяца два назад.

Форстер издает какой-то носовой звук, а Мэри с Джорджиной обмениваются взглядом — Диккенс его ловит. Конечно, он не ошибся, беседа будет посвящена его чтениям. Несколько дней назад он как-то невзначай сказал Мэри о своем намерении. Вот чудаки!

Джорджина начинает первой. Милая, преданная Джорджина! Когда речь заходит о его здоровье, ее глаза становятся умоляющими. Это так трогательно…

— Вот, именно, Чарльз… Мы пришли…

Форстер менее робок, чем трогательная Джорджина.

— Мне сказала мисс Джорджина, что вы собираетесь снова отправиться в турне. Это неблагоразумно, дорогой Диккенс.

— Почему? — поднимает брови Диккенс.

Мэри стремительно восклицает, подчас она бывает так же стремительна, как он:

— Потому что вы больны, отец! Потому что врач обеспокоен состоянием вашего сердца. Чтения…

— Пустяки, дорогая. Другой врач нисколько не обеспокоен.

Форстер, посапывая, веско говорит:

— Не так давно я слышал от вас, что боль в сердце мешает вам работать. И потому я решительно высказываюсь против чтений.

Джорджина, наконец, встает.

— Пульс у вас очень плохой. Оба врача согласны, что пульс плохой.

— Пульс, пульс! Милая Джорджина, должен же я как-то расплачиваться за свою работу, это только расплата.

Форстер удивленно смотрит на него. И обе леди не могут взять в толк, считает ли он такое признание достаточным основанием для нового турне.

— Я принимаю лекарства, возбуждающие лекарства, как вам известно, мои дорогие, и все в порядке, — продолжает он.

Но тут Мэри не дает ему кончить:

— Но вспомните, *па*, каких усилий требует от вас каждое чтение!

— А поездки по железной дороге! — восклицает Джорджина, она волнуется.

Диккенс мрачнеет. Он смотрит каким-то пустым взглядом в пространство, на миг лицо его искажается, но вот оно уже прежнее… Он нервно оглаживает бородку и говорит:

— Да, придется взять себя в руки… Но я справлюсь. Я должен снова читать. Чеппели предлагают мне уплатить

все расходы в поездке, мне нет дела ни до чего… И предлагают за чтение по пятьдесят фунтов. Я могу взять с собой двоих людей для услуг, они согласно оплатить и их… Я наметил тридцать чтений.

Форстер разводит руками, — это привычный его жест, когда он бессилен в спорах с Диккенсом.

— Тридцать чтений и мчаться из города в город! Это очень утомительно и для здорового человека.

Обе леди смотрят на Диккенса с тревогой. Но они слишком хорошо его знают. И они, и Форстер бессильны что-нибудь изменить.

И они не изменили.

С апреля по июль он снова мчался из города в город. Он читал не только сцены из «Пиквика», «Никльби», «Копперфильда», но и отрывки из последней рождественской повести «Рецепты доктора Меригольда». Повесть была трогательная — о добряке докторе, взявшем на воспитание глухонемую девочку, которая с течением времени выходит замуж за глухонемого и покидает своего приемного отца. В ней был юмор, в этой повести, а когда приемная дочь доктора возвратилась к нему и привезла с собой ребенка, который оказался вполне нормальным, доктор испытал такую радость, что читатели пришли в умиление. Так же умилялись и жители Ливерпуля, когда услышали «Меригольда» на эстраде.

Города мелькали один за другим. В Ливерпуле три тысячи человек не могли достать билетов, в Глазго жители были предупреждены, что у входа никакой продажи билеты не будет, и десятки полисменов препятствовали толпе ворваться в зал; в Бирмингеме забиты были слушателями все проходы в зале, вмещавшем больше двух тысяч человек.

После чтения в этом душном зале он чувствует себя так плохо, как никогда раньше, сердечная слабость сопровождается острой болью в левой руке. Наконец он в Гэдсхилле.

Пора сделать перерыв. У него нет сил, приходится взбадривать уставшее сердце большими дозами тонического.

Лето пролетает быстро. Нужно подумать о рождественском номере «Круглого года». Не написать ли взамен повести ряд сюжетных скетчей, связав их, как сюиту, единством темы? Эта идея ему нравится. И на рождество 1866 года появляется «Станция Мегби», в которой читатель находит некоего путешественника мистера Censored Бербокса, приехавшего на большую узловую станцию в поисках впечатлений, которые помогли бы ему забыть о тяжелой душевной драме, перенесенной им уже давно, много лет назад. Мистер Бербокс ищет исцеляющего средства от воспоминаний и устремляется из Мегби по железнодорожным линиям, идущим с узловой станции. Перед ним — труженики на железных дорогах, маленькие люди с их повседневной работой, радостями и горем. Одного из таких тружеников — он работал фонарщиком на станции Тильбери, и звали его Чипперфильд — Диккенс хорошо помнит. Он нередко беседовал со стариком, и теперь этот старик может себя узнать в фонарщике Лемпсе, отце Фебы, бедной калеки, когда прочтет посланный ему рождественский номер «Круглого года». Неизвестно, узнали ли себя в роли рассказчиков этой сюиты скетчей и другие труженики железных дорог, с которыми доводилось встречаться Диккенсу, но успех этих скетчей превзошел даже успех «Доктора Меригольда», — английский читатель потребовал двести пятьдесят тысяч экземпляров «Станции Мегби».

Когда Джорджина, Мэри и Форстер узнали, что он готовит для чтений два скетча из «Станции Мегби» и в январе снова отправляется в длительное турне по Англии, они опять пытались его отговорить от поездки. Пятьдесят чтений! Форстер снова разводил руками. Но это было безуспешно.

И снова Диккенс в дороге.

Он читает в Бирмингеме. Слушатели, не отрываясь, смотрят на изможденное лицо с горящими глазами, по каким-то чудесным законам преображенное в лицо мистера Снифера, джентльмена, занятого приготовлением тартинок на станции Мегби. Слушатели не отрывают взоров от дирижерской палочки Диккенса, преображенной в пробочник, которым мистер Снифер откупоривает бутылки. И они не видят, что делается у них за спиной.

Но Диккенс видит. Там, наверху, у большого рефлектора, заливающего светом эстраду, авария… Газовое пламя вырвалось из трубы и охватило проволоку, на которой подвешен рефлектор. Боже! Медная проволока расплавится, и тяжелый рефлектор рухнет вниз, в партер.

Диккенс читает, вертит палочкой над головой, словно это пробочник мистера Снифера, и, не отрываясь, смотрит туда, вверх. Надо продолжать, надо читать до конца! Прервать нельзя, начнется паника, а что будет тогда… Но долго ли может выдержать проволока? Если кто-нибудь невзначай посмотрит вверх и увидит газовое пламя — катастрофа неотвратима…

Но он не один видит пламя. На миг он бросает взгляд в сторону, и там, у кулис, стоит Дольби, его администратор, и газовщик, которого он возит с собой. И оба с ужасом смотрят вверх. Дать приказ выключить газ? Но разве избежишь паники?

И он читает. Должно быть, он очень бледен, так ему кажется; публика, вероятно, полагает, что виной его бледности яркий газовый свет. И он кончает чтение. Проволока выдержала. Газовщик немедленно выключает газ.

А затем Диккенс лежит без сил в комнате за сценой, и ему кажется, что никогда силы не вернутся.

Впрочем, он лежит без сил после чтения почти каждый раз. Пустяки! Должно быть, эта слабость — следствие

постоянной бессонницы. Но странные болезненные ощущения во всем теле не могут являться последствиями бессонницы, это очевидно. А сколько сил отнимают репетиции!

Он едет из города в город; в середине марта он в Дублине.

Тревожные дни для Ирландии. С месяц назад ирландское революционное «братство фениев» попыталось захватить арсенал в Честере, в английском городе Честере. Еще через несколько дней около тысячи фениев двинулись к местечку Келле в графстве Керри, здесь, в Ирландии. Тайное общество фениев уже не в первый раз угрожало поднять восстание в Ирландии, — у всех на памяти волнения в Дублине года полтора назад. Каким-то путем правительство осведомлено о том, что именно теперь, в марте, фении сделают попытку снова поднять восстание в Ирландии.

Когда бродишь по Дублину, кажется, что все спокойно. Погода хорошая, днем улицы оживлены, как всегда, только по вечерам они необычно безлюдны. А чуть подальше от центра можно заметить оживление вокруг казарм и полицейских участков. Власти Дублинского Замка — здесь находятся английские правительственные учреждения, управляющие Ирландией, — принимают меры предосторожности. И потому даже путешественник, неосведомленный о внутренних делах Ирландии, чувствует в городе тревогу и беспокойство. Город чего то ждет. Город о чем-то знает и ждет.

Едва ли дублинцы хлынут к кассам в один из этих тревожных вечеров.

Но они хлынули. Дольби осаждали сотни людей, не получивших билетов на чтение Чарльза Диккенса. Они забыли о восстании, которое вот-вот может разразиться. И проводили его овациями, в которые вложили весь свой ирландский темперамент. Такие же овации встретили его и в Бельфасте, где ожидание фенианского восстания также не помешало

бельфастцам заполнить доверху огромный зал. И через Кембридж и Манчестер он возвратился домой.

К этим чтениям он заново прорепетировал все сцены. Он читал «Копперфильда», сцену суда из «Пиквика», «Буфетного мальчика» из «Станции Мегби», «Доктора Меригольда» и смерть Поля из «Домби» — сцену, которую он давно не читал. Если сосчитать все репетиции «Меригольда», окажется, что, прежде чем выйти на эстраду, он читал его в четырех стенах своего кабинета около *двухсот* раз…

Май… В швейцарском chalet стоит птичий гомон, липовый дух вплывает в открытые окна, Диккенс читает гранки «Круглого года», который так удачно ведет мистер Уиллс. Впрочем, гранки журнала настигают его и во время поездок с чтениями. Мистер Уиллс — безупречный редактор, но на титуле журнала читатель видит имя Чарльза Диккенса, а стало быть… И мистер Уиллс неправ, когда, увидев его после возвращения, настаивал на длительном его отдыхе, на полном отказе от работы хотя бы на некоторое время. И неправы Джорджина, и Мэри, и старина Форстер, которые настаивали на том же. И неправы знакомые леди и джентльмены, повторяющие одно и то же слово «отдых»! Но он не может отдыхать, пока чувствует, что ему еще не изменили способности, не может! Да и слово «отдых» — не совсем понятное слово.

Когда пребываешь в чудесном расположении духа и воображение без конца и непрерывно откуда-то извлекает людей, которых раньше он сам не знал, но узнает скоро читатель, когда фантазия сталкивает этих людей в каких-то немыслимых комбинациях, после чего надо наводить во всей этой сумятице порядок, когда воображение легко заставляет некоторых из новых знакомцев высказывать твои собственные мысли, а ты сам словно куда-то исчез, или когда ты

исчезаешь и воплощаешься в какого-нибудь мистера Домби и говоришь его голосом, а лицо у тебя такое, что все вокруг замерзает, когда отрываешься от самого себя или уходишь в фантазию (так обычно говорится в таких случаях), — можно ли считать такое состояние отдыхом?

Если нет, то почему же такое состояние удивительно освежает?

А что касается отдыха — того отдыха, против которого не возражают ни Мэри, ни Джорджина, ни мистер Форстер, ни мистер Уиллс, — право, кажется, будто в своей жизни он отдыхал больше, чем работал.

Мистер Уиллс от удивления даже лишился дара речи, услышав такое заключение в ответ на уговоры отдохнуть.

Отдых! На столе лежит груда предложений от американских предпринимателей посетить Америку с чтениями. Их передал Дольби. Эти предложения поступали и раньше, теперь они прибывают от каждого американского дельца, приезжающего в Англию, не говоря уже о письмах, пересекающих океан. А вот, например, милейший мистер Фильдс, бостонский знакомый, посещавший уже Гэдсхилл, пишет, что Америке решительно необходимо увидеть Чарльза Диккенса на эстраде. И от имени какого-то бостонского комитета заявляет об отсутствии у комитета коммерческих побуждений и предлагает Чарльзу Диккенсу приехать с чтениями в Америку. Цифра гонорара заставляет подумать об этом предложении. Эта цифра — десять тысяч фунтов…

Он нервничает. Да, эти чтения подчас ему не по силам. Домашние и друзья правы. Надо также сознаться, что боль в ноге снова усилилась. Он не собирается в ближайшее время начать роман, он устал, в этом году он напишет только рождественскую повесть.

Но он уже не может отказаться от чтений. Чтение — это самое близкое общение с теми людьми — о! как они разнообразны, эти безыменные почитатели его книг, — ради которых пишешь.

Когда кончаешь за письменным столом какую-нибудь новую сцену и знаешь, что она тебе удалась, откидываешься на спинку кресла и пытаешься представить себе этих людей, которые когда-то и где-то прочтут ее. Пытаешься их увидеть, — это необходимо писателю! Достигнут ли этих людей твои сокровенные мысли, не угаснут ли они в пути, как погасает в темном небе падучая звезда? Никакое воображение, никакая фантазия не ответит на это.

На это ответит зал в Честере, в Глазго, в Эдинбурге, любой зал в любом городе, набитый теми, кто пришел слушать Чарльза Диккенса. И когда слышишь этот ответ — не ответ, а рев! — волнуешься так, что потом силы тебя покидают. Но едва только возвращаются силы, снова и снова хочешь увидеть эти лица, обращенные к тебе, и носовые платки, которые мелькают там и сям, когда сам с трудом удерживаешь слезы. И так же, с такой же силой, хочешь услышать раскаты хохота, когда у тебя самого на лице не дрогнет ни один мускул. Разве можно забыть эти часы на эстраде, разве не отдал бы каждый писатель многое за такие часы?

Вот чего не могут понять милые, умные друзья.

И наконец… У него большая семья, он должен думать о том, чтобы близкие его могли найти опору в жизни без тревоги за завтрашний день. В сущности, надо спешить, надо спешить…

Итак, он поедет в Америку.

Он принимает бой. И домашние и Уиллс и Форстер — все против поездки. Тяжелый бой. Но, разумеется, он остается победителем. В августе его администратор Дольби едет

в Америку выяснить все условия поездки. Лондон об этом уже знает, поездку Дольби не скрыть.

Что за черт! Слухи о его болезни достигли даже берегов Ирландии. Знают ирландцы и о планах поездки в Америку. Но у бельфастской газеты есть в запасе сенсационные известия и свои собственные соображения о причинах поездки. Нужно послать милейшему Финли, издателю «Норсерн виг» — «Северного вига» — опровержение.

И Диккенс опровергает:

«Настоящим доводится до сведения, что нижеподписавшаяся жертва газетной заметки о болезни, которая обычно появляется каждые семь лет (попадая через Индию сухопутным путем в Англию, а океанским путем — в Америку, где она ударяется о подошву Скалистых гор и, отскочив в Европу, погибает в степях России), отнюдь не находится в “критическом состоянии здоровья”, и не советовалась с выдающимися врачами, но никогда в жизни не чувствовала себя лучше, чем теперь, и ей не рекомендовали отправиться в Соединенные Штаты для “прекращения литературных трудов”, и вообще у сей жертвы не было за двадцать лет даже головной боли».

Ох, эти репортеры!

Дольби возвращается. Он привозит точные финансовые расчеты и неопровержимые доказательства того, что американцы не успокоятся, пока не увидят Чарльза Диккенса на эстраде.

Рождественская повесть уже написана. Она называется «В тупике». В ней есть злодеяние коварного дельца; ряд сцен происходит в Швейцарии, где преступник находит возмездие, погибая под снежной лавиной. Уилки Коллинз — большой мастер произведений такого рода, работать с ним легко, часть повести написал он. Читатель любит коварных злодеев, заманивающих свою жертву в ловушку. Странное, неспокойное душевное состояние.

Снова Форстер приводит возражения против поездки. Снова одно и то же — опасно для здоровья! Но в конце концов соглашается, да и что делать бедняге, как не согласиться…

Итак, через двадцать пять лет после памятной поездки — снова в Америку.

19. Как четверть века назад

Двадцать пять лет назад он воздал черной неблагодарностью за гостеприимство Америки. Он окарикатурил ее, он наклеветал на нее, он оказался неспособным понять ее. Так бушевала когда-то американская пресса. Он отмалчивался. Неужели нация так же яростно негодует на него, как пресса?

Но нация не страдала болезненной чувствительностью. У каждой нации чувствительность всегда вполне нормальная, и американский читатель не изменил Чарльзу Диккенсу. По-прежнему американские издатели могли беспрепятственно печатать его книги, не уплачивая ему гонорара, и они пользовались своим правом с похвальным рвением. И так же, как раньше, — до конфликта, — американский читатель поглощал огромные тиражи всех его новых книг. Годы шли, и имя Чарльза Диккенса окончательно и бесспорно стало в Америке самым популярным именем современной литературы — более популярным, чем любые имена литературы отечественной.

Итак, Америка ждет Диккенса.

Девятнадцатого ноября 1867 года он снова вступает на землю американской демократии. Его встречают мэр, магистраты и огромная толпа народа. Времена переменились. Теперь на этой земле нет черных рабов. И Бостон изменился. Он вырос за эти четверть века, как и вся страна. Он превратился в большой торговый город. Отель, который казался ему

в первый приезд весьма поместительным, кажется теперь совсем скромным рядом с другими отелями.

С ним Дольби, его маг-администратор, с ним его секретарь, с ним постоянный спутник — газовщик, который является укротителем коварного газа и имеет попечение над осветительной системой эстрады. В помощь Дольби надо будет еще взять двух-трех американцев. Не так просто организовать в Америке турне Чарльза Диккенса.

Он очень устал после дороги, и он решительно отказывается от посещения общественных мест, его навещают лишь немногие друзья. Впереди — нелегкая работа. Восемьдесят чтений! Надо беречь силы.

Крупные газеты страны уже прислали репортеров. О первом чтении Чарльза Диккенса в Бостоне Америка получит полный отчет. Витрины всех книжных магазинов посвящены Диккенсу. Должно быть, нет в Бостоне семьи, в которой имя его не упоминается ежедневно. Бостон уже давно — в течение нескольких часов — раскупил билеты на четыре первых чтения. Бостон ждет назначенного дня, первого чтения Диккенса в Америке. Этот день — второе декабря — наступает.

В театре Тремонт Темпль на сцене — эстрада. За эстрадой полотняный экран каштанового цвета, посреди эстрады стол, на котором укреплен справа от зрителя пологий пюпитр. Стоит графин с водой и стакан. Высокие стойки по обе стороны выдвинуты вперед, к рампе, на них протянута проволока и укреплен рефлектор и газовая трубка, внизу и наверху также укреплены рефлекторы; они бросают яркий равномерный свет на светло-коричневый экран.

Чуть выдвигая правое плечо, Диккенс быстро выходит из-за кулис. Он держится прямо, не горбясь. Нет у него теперь былых кудрей по бокам и сзади короткие волосы еще достаточно пышны, но крутой лоб его кажется непомерно большим, он начинает лысеть, и волосы зачесаны сейчас

на пробор. Усы с сильной проседью совсем закрывают рот, они свисают вниз, на бороду, которая снова стала прямоугольной. Он в черном фраке с бархатным воротником, в петлице бутоньерка, перчатки в руках, он бросает их на стол рядом с пюпитром и стоит, залитый светом ярких рефлекторов.

Каждая складка кожи видна на его худом, утомленном лице. Много их, этих глубоких складок, и много морщин. Он стоит и ждет, пока затихнут аплодисменты. Затем поднимает руку, — в ней нет дирижерской палочки, как бывало раньше, — и, хмуря лоб, опускает руки на пюпитр. Левая рука откидывает переплет небольшой книжки, он не глядит в нее, он глядит в зал. И начинает. Тишина словно падает в зал.

Он читает «Рождественский гимн».

Перед американцами нет Диккенса — перед ними целая труппа актеров. Вот с эстрады дребезжит противный, старческий, гнусавый голос, и слышатся какие-то посапывания. Они исходят от какого-то старика, брезгливо оттопырившего нижнюю губу; у старика острый нос, щеки совсем сморщенные; он стоит на месте и покачивается вперед и назад, вперед и назад, и, словно на пружинах, чуть подпрыгивает, — кажется, будто скряга Скрудж ходит по своей угрюмой конторе и леденит воздух не только на эстраде, но и в зале. Диккенс читает. И вдруг перед бостонцами вырастает над пюпитром жалкое, жалкое лицо маленького человечка с испуганными, добрыми глазами; человек положил локти на пюпитр и подпер ладонями лицо, и голос у него тихий, кроткий и покорный — голос Боба Кречита, клерка, отца четырех детей, получающего пятнадцать шиллингов в неделю.

Диккенс читает о горе бедного Боба, у которого только что умер сын, бедный калека, крошка Тим… Глаза у него влажные, влажные глаза почти у всех слушателей. Он горестно восклицает: «Крошка моя, мальчик мой!» — и внезапно

в зале раздаются истерические рыдания леди, которая сидела в одном из первых рядов, а теперь беспомощно склонилась на ручку кресла и рыдает безудержно. К ней подбегают стражи порядка, помогают ей встать и выводят из зала, а она вся сотрясается от рыданий. Диккенс читает. И снова у зрителей глаза влажны от слез, но это — слезы умиления, когда они узнают, что крошка Тим жив и раскаявшийся скряга Скрудж прибавляет бедняге Бобу жалованья, а тот ошалел до такой степени, что готов ударить своего патрона линейкой.

Диккенс кончает, лицо его поражает бледностью в ярком свете рефлекторов. Зал воет от восторга. Поклон — и Диккенс быстро покидает эстраду. Когда он уходит, зрители замечают, что он хромает и чуть покачивается. Перерыв.

И снова дают занавес. Диккенс читает сцену суда из «Пиквика». По залу проносится вздох, у зрителей такие изумленные лица, будто им внезапно показали невесть что. Но на эстраде и не Диккенс. На эстраде жирный человек, переполненный до краев своей маленькой фигурки чувством собственного достоинства. Лицо у него пухлое и глупо-самодовольное. Каким чудом на лице чтеца появился вдруг короткий тупой носик? И откуда взялся этот подбородок, утопающий в жирной шее? Или эти свиные маленькие глазки, откуда они появились? Это мистер Старлей, судья в процессе миссис Бардль против Пиквика. Но это не чтец.

Зал ахает от изумления. Диккенс читает. Сэм Уэллер призывается дать свидетельские показания. Он бережно опускает шляпу — это не шляпа, а перчатки Диккенса — на пол. Он развязно кладет локти на пюпитр, и затем он беззаботно и весело обводит взглядом сверху донизу бостонский театр Тремонт Темпль. Он отвечает на вопросы самовлюбленного судьи Старлея. Допрос идет, Сэм доверительно сообщает, что в памятное утро он получил новый костюм, и обещает судье быть очень «осторожным» с этим подарком. Вдруг

из рядов партера встает какой-то слушатель и, топоча на весь зал, направляется к выходу. Его перехватывает Дольби. Он очень любезен.

— Вам нездоровится, сэр? — спрашивает он.

Джентльмен высоченного роста и завидного телосложения вместо ответа хмуро говорит:

— Вы скажите лучше, кто это на сцене?

У Дольби отвисает челюсть.

— То есть как… Это мистер Чарльз Диккенс.

— Но это не тот Диккенс? — еще более хмуро спрашивает джентльмен.

— Простите, сэр, я не совсем понимаю…

— Я хочу сказать — это не тот Диккенс, который пишет книги? — раздражаясь непонятливостью Дольби, чудит бостонец.

— Что вы, сэр! Тот самый.

У Дольби такой вид, словно тяжелый рефлектор упал рядом с ним и случайно его не задел. Джентльмен вдруг приходит в бешенство.

— Тот самый?! Так позвольте же вам сказать, что я читал книги Диккенса, и вот этот джентльмен понимает в Сэме Уэллере ровно столько, сколько корова в глажении манишек. Мой Сэм Уэллер совсем другой.

Неизвестно, много ли бостонцев увидели на эстраде «своего» Сэма Уэллера. Но когда Диккенс кончает, овации оглушают его. В первых рядах сидят «отцы города», отечественные писатели, художники и актеры. Многие из них приехали из Нью-Йорка. Они вскакивают с мест и выражают восторг не менее бурно, чем публика верхних ярусов Тремонт Темпля.

Мистер Фильдс, старый бостонский знакомый Диккенса, входит вместе с женой в артистическую, как только занавес скрывает экран и эстраду.

Диккенс лежит на диване. Лицо, которое совсем недавно было пергаментно-бледным, сейчас окрашено в яркий коричневый цвет. И руки его необычно темные, — кажется, будто к ним прихлынули потоки крови. Фильдс обнимает его, Диккенс с трудом встает, чтобы приветствовать входящих знакомых. Впереди седовласый Лонгфелло.

— Нет, я недоволен чтением «Гимна», — говорит Диккенс каждому, кто выражает свое восхищение. — Постараюсь исправить в следующий раз.

Он читает еще три раза бостонцам. И едет в Нью-Йорк. А в это время приходят неутешительные вести из Нью-Йорка.

Дольби в отчаянии. Трудно организовать турне Чарльза Диккенса в Америке. Дельцы-спекуляторы — такая грозная сила, что борьба с ними безнадежна. Стоят холода. С двух часов ночи у кассы толпа народу. Но среди них немало субъектов, которым нет дела до Чарльза Диккенса. Это отряды скупщиков, каждый из них отнесет спекуляторам купленные им шесть билетов на четыре чтения Диккенса. Под утро толпа вырастает до пяти тысяч человек, когда она выстраивается в очередь — у кассы два тонких потока протяжением около мили. Соседние рестораны работают на славу, — жаждущие услышать Диккенса снабжаются оттуда холодными закусками.

У Дольби ошалелый вид, просьбам и требованиям билетов нет конца, но не может же он впихнуть в театр почитателей Диккенса, если дельцы захватили львиную часть билетов. И ему, бедняге, приходится читать о себе в лучших нью-йоркских газетах такие отзывы, что даже его хладнокровию грозит опасность испариться. Прежде всего он «тупоголов». Таково общее мнение американской печати. Засим ему надлежит вернуться в ту изначальную тьму, из которой он вынырнул.

Но эти суждения о Дольби не помогают делу. Цены на билеты немилосердно взвинчены пронырливыми дельцами, а на кассах уже давно висят аншлаги.

Нью-Йорк встречает «Гимн» и «Пиквика» еще более шумными овациями, чем бостонцы. Второе чтение — буря из «Копперфильда» и сцена с медицинским студентом Бобом Сойером из «Пиквика» — вызывает такой энтузиазм, какого не приходилось Диккенсу видеть даже в Шотландии.

Начинается страдная пора.

Теперь он здесь, на священной земле американской демократии, с иными целями, чем четверть века назад. Он приехал не для изучения Америки. И не собирается писать новых «Американских заметок». Он видит вокруг себя разросшийся город с сотнями новых зданий, новые люди вышли на политическую арену, страна еще залечивает раны после пятилетней междоусобной войны, в ней немало перемен. Но для изучения нет времени. Можно только запоминать отдельные явления столичной жизни молодой страны, которых не приходилось наблюдать раньше. Например — ежедневные пожары в городах или опасность передвижения по железным дорогам. У него нет времени и для посещения театров, о чем, впрочем, жалеть не приходится, потому что американский зритель уже в течение года с третью ежедневно наполняет зал театра, где идет чудовищная по своей наивности пьеса.

Он снова читает в Нью-Йорке, читает в Бруклине, в предместном нью-йоркском городке, где американские дельцы демонстрируют свою изобретательность. Их агенты появляются у кассы еще вечером, вооруженные тюфяками, которыми устилают всю улицу. Зима в этом году холодная, с метелями, предстоит морозная ночь, и на узкой улочке раскладывается огромный костер, угрожающий великолепным пожаром. Перепуганная полиция пытается потушить костер, начинается драка, люди с тюфяками мечутся по улице,

стараясь расположиться поближе к заветному входу… Драка разрастается, дому, где утром должен появиться Дольби с билетами, угрожает опасность. Только железные брусья, надежно укрепленные перед входом, предотвращают ее…

И Диккенс мечется из Нью-Йорка в Бостон и снова в Нью-Йорк. Ему плохо, он сильно простужен, его бьет лихорадка, она проходит лишь на два часа, когда он читает.

У него бессонница и головные боли. Он лечит простуду и бессонницу и головные боли всеми способами, но тщетно. Тогда он решает, что виной всему — склонность к гастрономии. Этой склонности у него не было и раньше, теперь он приговаривает себя к голоданию. За брекфастом не позволяет себе съесть даже тост с маслом, достаточно одного яйца и чашки чаю. Вместо ленча — бокал вина, обед легчайший. Но после обеда в дни чтений — ряд средств, которые должны подхлестнуть падающие силы, — крепкое кофе, крепкая сигара, рюмка бренди. Увы, эти возбудители скоро теряют свой эффект. Перед выходом на эстраду он выпивает бокал шампанского. А после чтения целый час лежит без сил.

Но нужно пускаться в дальнейший путь.

Это не так легко. По всей стране — метели, а его «Катар», который американцы с гордостью называют «национальным», ничуть не уменьшается. И силы не прибывают. Значит, надо ограничиться городами, не слишком далеко отстоящими от Нью-Йорка. Увы, Средний Запад его не услышит! Но Ниагарский водопад он снова должен увидеть, это он решил.

— Средний Запад его не услышит! Да это невозможно, сэр! В Чикаго у всех жителей будет припадок, — в ужасе говорит ему один филадельфийский джентльмен. — На это приходится ответить, что Чарльз Диккенс жестокосерд и предпочитает, чтобы припадок был у чикагцев, а не у него.

И он пытается выяснить по филадельфийским и балтиморским газетам, какое впечатление произвело на граждан его вторичное появление, через четверть века.

Это не так просто. Газеты, безусловно, расходятся в описании его внешности. Он похож на приличного американского джентльмена, а также на французского императора, он явно нервничает во время чтений, а также слишком спокоен, а глаза у него голубые, красные, серые, белые, зеленые, карие, каштановые и лиловые…

Но провинциальные газеты и провинциальные слушатели единодушны в оценке чтений Чарльза Диккенса. Когда он кончает свои чтения в Балтиморе, местные жители не желают верить, что он никогда больше не приедет в их прославленный город. В Вашингтоне семья президента Эндрью Джонсона не пропускает ни одного чтения, и седьмого февраля президент просит Диккенса посетить его. Президент ему нравится, но встреча с другим государственным деятелем Америки остается более памятной.

Диккенс даже сконфужен во время беседы с военным министром Стэнтоном. У этого джентльмена поистине удивительная память. Такое свойство не является еще достаточным основанием для смущения, но как в данном случае не смутиться, если мистер Стэнтон знает произведения Чарльза Диккенса лучше, чем сам автор?

Однако это так. Мистер Стэнтон во время гражданской войны командовал войсками, защищавшими Вашингтон от генерала Ли. В течение всей войны он привык на ночь читать книги мистера Диккенса и готов точно ответить на все самые каверзные вопросы касательно событий и лиц, созданных гением мистера Диккенса.

Военный министр мистер Стэнтон не только отвечает на все упомянутые вопросы, но без ошибок продолжает

цитировать любой отрывок, начатый автором. А когда он сам переходит в наступление, Диккенс признает немедленно свое поражение.

Снова — Нью-Йорк, оттуда он должен ехать в маленькие города — в Ньюхевен и Провиденс, чтения назначены там на середину февраля, все билеты проданы. Но, увы, в Америке нелегко организовать турне Чарльза Диккенса!

Из Ньюхевена и Провиденса — тревожные слухи. Да, все билеты на чтения проданы, но все они попали в руки спекулянторов. И эти достойные рыцари коммерции облагают жителей этих маленьких городков такой данью, что там народные волнения. Вмешиваются оба мэра, созываются митинги горожан, народ возбужден до крайности…

Он мчится в Провиденс, произносит речь, доказывает невиновность своего штата во главе с Дольби и успокаивает разбушевавшиеся страсти. В Ньюхевене дела обстоят хуже. Когда он приказывает Дольби вернуть деньги за билеты, волнения усиливаются. Но он неумолим! Представители города должны взять контроль над продажей билетов, и, во всяком случае, он не будет читать ни в одном из этих городов до конца марта. Пусть граждане благодарят за это своих рыцарей легкой наживы.

Возбуждение охватывает и жителей Нью-Йорка, а также других центральных городов. Но повод — иной, не спекуляция с билетами на чтения Диккенса. Президент Эндрью Джонсон уже раньше был не в ладах с конгрессом, а теперь совершил, по мнению конгрессменов, нарушение конституции. Он уволил военного министра Стэнтона и назначил сначала Гранта, а затем Томаса. В ответ на это демократы внесли билль о предании его суду за должностные преступления.

Диккенс — в Нью-Йорке, и перед ним протекает эта борьба демократов, среди которых большинство южан, против

Джонсона. Попытка демократов провести билль успеха не имеет, но политические страсти нью-йоркцев долго еще не утихают.

И не утихают по всей стране метели, снеговые бури. Но Диккенс должен ехать, начинается его северо-западный тур. Он держит путь в Буффало, к Ниагарскому водопаду. Снег заметает все пути, поезда приходят и отходят, когда им заблагорассудится. Но в Сиракузах снежная буря не мешает жителям осаждать местный театр, где выступит Чарльз Диккенс. В Рочестере его ждет неожиданность. Здесь, неподалеку от Ниагары, гигантские глыбы льда застряли у порогов реки, на которой стоит Рочестер. Мартовское таяние снегов в верховьях реки грозит зато-питы город до коньков крыш. Никто не смыкает глаз. Городок в боевой готовности. Момент, не совсем подходящий для чтений, тем более что в театре наводнение. Спасение приходит в последний момент: слышится отдаленный грохот, — это у порогов тронулся лед… И через два дня потрясенные событиями жители Рочестера слушают Чарльза Диккенса.

И снова Ниагарский водопад, как двадцать пять лет назад. Снова Диккенс не может оторвать глаз от падающей отвесно водяной стены, от окрестных скал и лесов, от крутых берегов реки, от долины, расстилающейся там, внизу. А сейчас, когда он вторично в своей жизни видит эту неповторимую картину, она расцвечена гигантской, пересекающей ее радугой. Поистине, ради Ниагары можно приехать из-за океана…

Городки Массачусетса… Перед чтениями он подхлестывает силы бренди и шампанским, выступает больной; снова невыносимо начинает болеть левая нога, затем правая.

А впереди еще прощальные чтения в Бостоне и в Нью-Йорке. Выдержит ли он их?..

Дольби сидит у самой эстрады и не спускает с него глаз — он знает и видит то, чего не знает и не видит слушатель.

Шесть раз в течение десяти дней Дольби дежурит у эстрады на прощальных чтениях в Бостоне и пять раз в Нью-Йорке. Неужели этот хрупкий, больной, пожилой человек на эстраде доведет до конца чтения?

Диккенс кончает свое турне. Таких оваций, какими его провожают в Нью-Йорке двадцатого апреля, ему не приходилось еще слышать.

Он порывается уйти с эстрады. Нет, две с половиной тысячи человек его не отпустят, он должен попрощаться.

Он делает шаг вперед, он благодарит американцев за прием, он говорит, что вечно будет его помнить.

Затем вдруг восклицает: «Да благословит вас господь! Да благословит господь страну, в которой я вас покидаю!»

Целый час ждут его через несколько дней почетные участники банкета, который устраивает в его честь Нью-Йорк.

Наконец он появляется. Он еле двигается. На ноге у него рожистое воспаление. И у него нет сил. Но он, морщась от боли, говорит — говорит о переменах, происшедших за четверть века в Америке, о благодетельных улучшениях жизненных условий, о благотворном прогрессе американской печати и о новых, необходимых для блага человечества тенденциях американской общественной жизни. И он обещает американцам новые изданий «Американских заметок» и «Мартина Чеззлуита» снабдить указаниями на происшедшие в Америке за четверть века перемены.

Это полное примирение Диккенса с Америкой.

20. Конец

Итак, полгода в Америке, и теперь Диккенс снова у себя, в Гэдсхилле. Май… и снова поют птицы у самого окна швейцарской хижины. И Джорджина, и дочь Мэри — рядом; они с тревогой всматриваются в исхудавшее лицо

и предупреждают все желания его… И старина Форстер, которого так приятно было обнять по приезде и услышать, как тот растроганно вздыхает. И Чарли, старший сын; он живет с матерью и часто навещает Гэдсхилл; и самый младший сын, Эдвард Бульвер, который вот-вот должен уехать к брату в Австралию, — они тоже внимательны к нему, они платят ему любовью за его любовь и заботы. И, наконец, Уиллс, доблестно сражавшийся один с трудностями, знакомыми каждому редактору, беззаветно преданный ему, верный помощник…

Покой как будто восстанавливает его силы, рожистое воспаление на больной ноге утихло. Чудаки эти врачи! Они все еще недовольны его состоянием и полагают, будто он может пребывать в покое, бог знает сколько времени. Но он отнюдь не имеет такого намерения. Надо подумать о журнале. Прежде всего, надо написать для журнала тот постскриптум об Америке, которым он обещал американцам снабдить две свои книги, столь памятные за океаном. И надо начать серию эссеев и скетчей, — это будет вторая серия «Неторгового путешественника». К тому же следует напечатать в «Круглом годе» два рассказа, которые потребовали у него американцы. Как и за «Пойман с поличным», они заплатили за эти рассказы по тысяче фунтов. Теперь они напечатаны за океаном, и английский читатель уже имеет право с ними познакомиться. Один из рассказов ему удался, в этом нельзя сомневаться, «Роман, написанный на каникулах» нравится решительно всем.

Он начинает работать. Он пишет «Долг чести». Так он называет свой постскриптум, свидетельствующий о его полном примирении с Америкой. Он начинает вторую серию «Неторгового путешественника». А тут бедный Уиллс вынужден по болезни прервать свою работу, и на Диккенса обрушиваются все заботы о «Круглом годе». И надо бы заранее обдумать сюжет рождественской повести…

Но, увы, он чувствует, что эта задача дьявольски трудна. Должно быть, он в самом деле не может еще оправиться после поездки. Ни один сюжет ему не нравится, все попытки «изобрести» его — безуспешны. Он готов заплатить своим друзьям сто фунтов за удачный сюжет. Уилки Коллинз изощряет всю свою фантазию, но нет, и у него ничего не получается. В этом году читатель останется без рождественского рассказа Диккенса. Когда наступит рождество, а рассказ Диккенса не появится в специальном номере «Круглого года», один из критиков провозгласит этот печальный факт национальным бедствием.

Читатель еще об этом не знает. Не знает он и о том, что пустеет дом Чарльза Диккенса. Вот и самый младший его сын, Эдвард Бульвер, покидает отчий дом; мальчику только шестнадцать лет, если у него уже сейчас непреклонное желание повидать заморские страны, пусть едет, пусть едет… За морями его братья — в Южной Америке, в Индии, в Австралии. Пусть и он едет к брату, Альфреду Теннисону, в Австралию. В Англии останется один Чарльз, старший сын, да кембриджец Генри, у которого большая склонность к науке. Трудно отпускать от себя и младшего сына; когда наступают дни отъезда его из Гэдсхилла, кажется, что никого так не любил, как Эдварда Бульвера. А когда мальчик уже покинул Англию и отец возвращается после проводов в свою маленькую квартирку при редакции журнала, он долго и горько плачет.

Но такова жизнь, — одни покидают нас, чтобы начать новую жизнь, другие покидают навсегда. Едва только Эдвард достигает Австралии, умирает брат Диккенса — Фредерик. Это тот самый Фредерик, который подолгу жил у него в далекие времена «Твиста» и «Никльби» и находился на его попечении. Он сильно привязался к брату еще в ту пору… А теперь Фредерик умер. И снова тяжелые, трудные дни;

вспоминается, как Фредерик приехал к нему в Геную двадцать пять лет назад и чуть не утонул, купаясь в заливе, вспоминается более ранняя пора — детство и Четем, когда Фредерик мог быть только безмолвным свидетелем — ему было года три — состязаний в шарики между учениками миссис Боль и мистера Джайльса.

Но нужно готовиться к новым чтениям. К новому турне. Джорджина и Мэри испуганно смотрят на него, когда он объявляет, что отдохнул после Америки. В октябре он начинает большое турне; да, он поедет и в Шотландию, и в Ирландию. Вот совсем недавно шотландцы прислали ему лестное предложение выставить его кандидатуру в Палату общин от Эдинбурга. Он поблагодарил милых эдинбуржцев за доверие, но отказался. Ибо он продолжает считать, что приносит большую пользу как писатель, чем на посту члена парламента. И испытывает большее удовлетворение, нежели то, какое испытал бы на этом посту. В настоящее время он считает себя достаточно здоровым, чтобы продолжать чтения.

Мэри отчаянно цепляется за соломинку:

— Дорогой *па*, но вы сами говорили недавно, что вас иногда охватывает ужас, когда вы едете в вагоне железной дороги. Вы сами это говорили…

— А мне вы говорили, что ни за что не взялись бы править парой лошадей даже у нас, на деревенской дороге, а о том, чтобы править лошадьми в Лондоне, вы даже думать не можете, — взволнованно говорит Джорджина.

Опять у Диккенса какое-то странное лицо и странный, застывший взгляд. Но вот, словно губка стирает это выражение, он улыбается, правда, чуть-чуть криво.

— Пусть так. Я могу даже добавить, что сомневаюсь, поеду ли я куда-нибудь верхом. Придется, следовательно, страдать во время переездов. Но Дольби знает о моих приступах

ужаса, и у него всегда наготове рюмка бренди. Все в порядке, дорогие. Я скоро начинаю чтения, в начале октября. А закончу… Закончу в июле. Всё.

Джорджина и Мэри беспомощно переглядываются.

И снова Диккенс занят подготовкой. Он решил читать также и сцену из «Твиста». Он долго колеблется, прежде чем начинает репетировать сцену убийства Нэнси Сайксом. Не слишком ли эта сцена мрачна? Но ему так хочется ее читать! Он сокращает ее, переделывает, как и другие сцены. Одна беда: после чтения этой сцены он не только не может двигаться, но ему трудно говорить.

Но он все же будет ее читать. Как жаль, что великий Макреди очень плохо слышит. Тем не менее надо будет заехать к нему в Челтенхем. И пора ехать.

Снова с ним Дольби и обычный штат спутников. Снова из города в город, и снова все тот же, все такой же успех.

И сразу, почти немедленно вслед за началом чтений, — возмездие.

Ночи без сна, боли в руке и ноге, непомерная усталость после чтений. Теперь в день чтения он должен лежать с утра до выхода из очередной гостиницы в театр. Только так он может сохранить силы для чтений.

А он упорно едет по маршруту из города в город.

Может показаться, что он задумал себя убить этой сумасшедшей непоколебимостью.

Он возвращается к рождеству в Лондон. Короткая передышка. И в первых числах января, нового 1869 года, он читает страшную сцену убийства Нэнси.

Когда он кончает сцену, зал молчит. Диккенс медленно, с трудом поворачивается и, чуть-чуть волоча ногу, направляется к выходу. Только тогда зал приходит в себя, — начинает сознавать, что на этих подмостках он не видит трупа Нэнси, и удаляющаяся фигура — не Сайкс, а Диккенс. Тяжелый

вздох, — так иногда вздыхает человек после пробуждения от страшного сна. И тогда только овации.

Но Диккенс уже лежит на диване. И от слабости не может произнести ни слова.

Он читает в Челтенхеме, сюда он приезжает ради Макреди.

Макреди мучительно напрягает слух. Лицо его искажено и от напряжения, и от потрясения. Он долго не может говорить, когда приходит в артистическую и опускается в кресло около лежащего Диккенса. Наконец он нежно кладет широкую белую старческую руку со вспухшими венами на руку Диккенса, ненатурально потемневшую, и говорит:

— Сцена убийства — сильнее, чем в Макбете, Диккенс…

Они едут дальше — Диккенс и его штат. Дольби трогателен в своих заботах о нем.

Но Дольби все тревожней всматривается в его лицо во время чтений, молчит и о чем-то думает. В один прекрасный день он обнаруживает свой замысел. Они обедают в клифтонской гостинице. Дольби опрокидывает в себя большую рюмку черри-бренди, вытирает усы и говорит:

— Я протестую, сэр, против чтения «Твиста». Это немыслимо. Вы себя убьете.

Вдруг Диккенс вскакивает. Что такое с ним? Должно быть, нервы не совсем в порядке. Он швыряет вилку — бац! — тарелка треснула. И он кричит:

— Дольби! Черт подери вашу осторожность! Она вас погубит!

Дольби немеет от неожиданности. Через мгновение Диккенс плачет и бросается ему на шею.

— Простите меня, Дольби, дорогой мой, простите!

А когда он читает на следующий день сцену убийства, в зале то и дело раздаются болезненные восклицания. Слишком страшно, эту сцену нельзя вынести. Одна за другой

из рядов партера встают леди и нетвердыми шагами — хотя они и опираются на руки клифтонских джентльменов — направляются к выходу.

Теперь он читает сцену убийства так, что каждый раз несколько зрительниц покидают зал. В середине февраля он снова должен читать в Лондоне. Но он не может стоять на эстраде, боль в ноге, — загадочная боль в ноге, на которой уже не раз было рожистое воспаление, — прерывает чтения.

Но ненадолго. Он снова в пути — в Ливерпуль, Бирмингем и в Шотландию.

Как радостно, когда на улицах Ливерпуля подходят незнакомцы в рабочих блузах, в рабочих шапках и говорят, что они знают его книги и просят позволения пожать ему руку!

Но как странно! Когда касаешься чего-нибудь не правой, а левой рукой — ничего ровно не ощущаешь. Держишь левой рукой бокал на банкете, который устроен городом Ливерпулем в честь Чарльза Диккенса, и не ведаешь, стекло ли под пальцами или нет. Врачам можно пока не говорить о таких странностях. Они могут вообразить бог знает что и предписать покой. Но это значит — прервать чтения теперь, в апреле…

Однако в Честере приходится обратиться к врачу: теряет чувствительность не только левая рука, но и нога. Рука почти безжизненна, а нога теряет устойчивость.

Врач вмешивается решительно: надо возвращаться домой. Дома призывают медицинскую знаменитость, сэра Томаса Уотсона. Сомнений быть не может: чтения угрожают Чарльзу Диккенсу параличом левой стороны, а может быть — ударом.

Итак, надо дать себе отдых. Вокруг все те же родные, близкие люди, родные места, которые знаешь так, что можешь обойти их с завязанными глазами. И судьба в этом году

не так жестока, как в прошлом. Она дарит хорошие часы, хотя все еще не совсем прошли эти странные ощущения в руке и в ноге.

Хорошие часы… Правда, и они вызывают слезы, но ведь слезы можно проливать и от радости. И от гордости, например, за своего сына, которого, должно быть, больше любишь, чем остальных сыновей. Впрочем, трудный это вопрос — кого любишь больше. Но как не гордиться Генри Фильдингом, математиком и кембриджцем? Ему двадцать лет, а он уже получил отличие за свою математику и стипендию до конца пребывания в колледже св. Троицы.

Это известие Диккенс получает от самого Генри Фильдинга. Он встречает сына на железнодорожной станции, они едут в Гэдсхилл, сын сообщает ему о своем отличии. Отец молчит, идет вперед. Сын слегка удивлен таким безразличием.

Вдруг отец останавливается и круто к нему поворачивается. Что это? У отца на глазах слезы, слезы радости. Он крепко жмет обеими руками руку сына и шепчет: «Благослови тебя господь!»

Должно быть, врачи все же правы: покой укрепляет его силы. В конце сентября ему разрешают даже поехать в Бирмингем. Механический бирмингемский институт хранит воспоминания о помощи, которую оказывал ему Чарльз Диккенс, выступая в прошлом со своей труппой или чтениями. Теперь Чарльз Диккенс должен выступить с речью на торжественном акте, открывающем, по традиции, учебный год.

И Диккенс говорит. Он говорит о том, можно ли называть девятнадцатый век веком материализма, он исследует различные значения этой характеристики девятнадцатого века, он обращается к молодежи с призывом взять своим девизом два слова, исполненные глубокого смысла. Эти слова, говорит он, Мужество и Настойчивость. Он призывает юное поколение отказаться от щегольства всезнайства и не подвизаться

во всех областях науки и искусства, но стремиться к подлинному мастерству в своей профессии. Он сам крепко верит в эту истину, он обращает особое внимание молодежи на самое основное качество человеческого характера, открывающее ей пути овладения мастерством. Он говорит:

— Единственно пригодное, надежное, верное, дарующее награду и вполне достижимое человеческое качество при изучении любого дела и любой профессии — терпение. Со всей искренностью заявляю вам, что моя собственная «изобретательность», а также воображение никогда не сыграли бы той роли, какую они для меня сыграли, не будь у меня простого, скромного, повседневного и упорного терпения. Нельзя приобрести гениальность, быстроту сообразительности и блеск при ассоциации идей, как нельзя приобрести свойств призрака, присущих голове в шлеме из «Макбета». Но после некоторого периода верного служения всегда овладеешь терпением. Подобно некоторым растениям, которые самый бедный землепашец может вырастить на самой плохой земле, каждый из нас может вырастить терпение, и в надлежащее время оно неотвратимо принесет цветы и плоды…

Юноши, заполнившие актовый зал института, слушают Чарльза Диккенса, боясь пошевельнуться. Он видит обращенные к нему молодые лица, они выражают восхищение, преклонение, благоговение… Они, эти юноши, готовы целую вечность слушать напутствие Чарльза Диккенса, обращенное к ним, стоящим на пороге жизни.

И вдруг у его блестящих и усталых глаз собираются веселые лучики, глаза щурятся, и он кончает:

— Могу вас заверить, между прочим, что эта хвала терпению с моей стороны безусловно бескорыстна, поскольку она не имеет ни малейшего отношения к тому терпению, с каким вы меня слушали!

Да, ему кажется, что здоровье его восстанавливается. Может быть, испытать свои силы на каком-нибудь остросюжетном романе? На романе, который показал бы и ему самому, в самом ли деле потускнела его способность «изобретательности», или «выдумки», или как там еще зовут это умение вести за собой читателя, куда автору заблагорассудится. Неужели он снова окажется бессильным «выдумать» сюжет и развить его, как это было год назад, когда пришлось отказаться от рождественской повести? Неужели его сил хватает только для статей и скетчей «Круглого года»?

Он работает терпеливо и упорно, с таким же упорством, к какому призывал бирмингемских юношей. Он завязывает сложный узел романа, где некий юноша Эдвин Друд вступает в странные отношения со своим дядей и опекуном Джаснером, страстно влюбленным в нареченную невесту своего племянника. Он вводит все новых участников, старается переплести их отношения как можно сложнее. Кажется, будто он ставит себе задачу состязаться с молодым Уилки Коллинзом, хитроумным автором запутаннейших романов тайн и приключений. Ну, что ж, когда роман будет кончен, пусть читатель решит, выдержал ли Чарльз Диккенс это состязание.

Он вполне оправился после болезни, он безусловно может продолжать свои чтения. Он ведь не успел закончить их, его насильно заставили их прервать. Теперь он объявит с начала нового, 1870, года прощальные чтения. После окончания этих чтений он больше не появится на эстраде. Это решено. Он начнет прощальные чтения 11 января. Чтений будет двенадцать. Это тоже решено.

Мистер Бирд, постоянный его врач, «насильно» заставивший его прекратить чтения в прошлом году, разводит руками, когда узнает об этом решении. Он подражает Джону Форстеру, который на этот раз, узнав о чтениях, почему-то

не прибегает к своему привычному жесту, но смотрит куда-то вдаль и тяжко вздыхает. Что же касается мистера Бирда, он призывает к себе мистера Чарльза Диккенса-младшего, которого он знает с юношеских лет и потому называет запросто, «Чарли».

— Чарли, — говорит мистер Бирд, хмуро пощипывая бородку, — я распорядился ставить у самой эстрады две низких скамеечки — для вас и для меня. Вы должны быть на своем посту каждый вечер во время чтений. И как только вы услышите, что отец начнет чуть-чуть запинаться, немедленно бросайтесь к нему и старайтесь его поддержать, чтобы он не упал. Я буду с вами, мы вместе увлечем его с эстрады… А то… да ведь он может умереть у них на глазах!

Итак Чарльз Диккенс читает в Сен Джемс Холле, в Лондоне. Рядом с эстрадой на скамеечках его старший сын и доктор Бирд. Они прислушиваются к каждому его слову, они готовы ко всему…

А затем, в перерыве, доктор Бирд бежит в артистическую. Диккенс не может произнести ни слова в течение десяти минут, он распростерся на диване и молчит. Когда раздается звонок и он снова должен выйти на эстраду, ему дают большую рюмку бренди. Он выпивает, медленно поднимается с дивана и идет.

Но он доводит двенадцать чтений до конца. И каждый вечер после чтений, вплоть до прощального чтения, он стоит на эстраде, не сутулясь, крепко уцепившись обеими руками за пюпитр. Он смотрит, не отрываясь, в зал, где слушатели уже охрипли от восторженных криков, и он ждет, чтобы овации ослабели. Тогда он уходит.

Но он не уходит после прощального чтения. 13 марта он читает в последний раз — читает те сцены, с которых он начал свое общение со своим читателем: «Рождественский гимн» и сцену суда из «Пиквика».

Когда овации чуть ослабевают, он поднимает руку и заставляет слушателей замолкнуть. Он говорит:

— Леди и джентльмены! Не имело бы смысла скрывать, что я заканчиваю этот эпизод в моей жизни с чувством сильной боли. Это была бы не только нелепость, но и бесчувственность с моей стороны и притворство. Примерно в течение пятнадцати лет я имел честь излагать перед вами в этом зале и в многих других местах свои любимые мысли, и, внимательно следя за тем, как вы относились к ним, я испытывал такую радость художника, какую, быть может, мало кому довелось испытать… Но теперь я ухожу навсегда от этих ярких огней, и от всего сердца почтительно благодарю вас и с самой большой нежностью говорю вам — прощайте!

Его темное — от крови, прихлынувшей к мозгу, — лицо искажается.

И он плачет.

Проходит две-три недели, и английский читатель получает первый выпуск «Тайны Эдвина Друда».

Но так и не удастся читателю раскрыть эту тайну. Выходит еще один выпуск — в мае. Скоро, к первому июня, должен выйти третий выпуск; в рукописи на письменном столе читатель мог бы прочесть, что Эдвин Друд таинственно исчезает, а часы его находят в реке…

Двадцать второго мая Диккенс встречается с Форстером.

Сегодня он узнал о смерти Марка Ли́мона. Четверть века назад английский читатель вверил Марку Ли́мону прославленный юмористический журнал «Панч» и за это время не разочаровался в нем. Когда-то хохот «дяди Марка» на Девоншир Террас или в Тевисток Хауз будоражил все юное население дома. Когда-то и сам *па* любил этот хохот не меньше, чем Кэт и Мэри, Уолтер и Фрэнк. Давно прошли эти времена. Нет охоты ворошить прошлое и вспоминать об отказе «дяди Марка» напечатать обращение Чарльза Диккенса

к своему читателю с разъяснением трагических своих семейных дел. Но с той печальной поры разошлись дороги его и Марка Ли́мона.

И вот теперь «дяди Марка» нет…

Диккенс сидит со своим другом за обеденным столом, в своей лондонской квартирке. Он задумчиво покачивает головой и тихо говорит:

— Многих уж нет из тех, кто когда-то играл с нами старика Бена… Помните это время? Вы знаете, о чем я сегодня думал, мой дорогой? Я думал о том, что никто из них не дожил до шестидесяти лет. Никто. И немногие — до пятидесяти…

— Не стоит об этом говорить — прерывает Форстер, и взгляд его скользит по восковой руке Диккенса, лежащей на белоснежной салфетке.

— Пусть так… Но думать об этом мы все равно будем — не поднимая глаз, говорит Диккенс.

Восковая рука лежит, как неживая, и Форстер меняет тему разговора.

— Я не видел у вас этого барельефа, — говорит он и показывает на серебряный барельеф в центре стола. — Прекрасная работа. И фигуры превосходны.

Диккенс поднимает тяжелые веки.

— Ах, вот этот барельеф… Разве вы не видели его? И я вам не рассказывал о подарке, который я получил?

— Нет.

— В таком случае взгляните и на эту корзинку.

Он медленно встает, прихрамывая, подходит к серванту и приносит серебряную чеканную корзинку. На ней выгравирована надпись.

— «Чарльзу Диккенсу от того, кого ободряли и поддерживали его произведения, и кто немедленно вспомнил об их авторе, когда ему повезло» — читает Форстер.

— Я получил корзинку и барельеф из Ливерпуля. Неведомое имя, — тихо говорит Диккенс. — Милый, добрый человек. В письме он писал, что я на заре его деятельности научил его относиться к людям с добротой и сочувствием… Теперь он добился успеха, просит его простить за смелость и принять от него пятьсот фунтов… Да, пятьсот фунтов. Я, конечно, отослал деньги, поблагодарил и написал, что согласился бы принять на память какую-нибудь безделицу… Вот он и прислал.

— На барельефе я вижу фигуры времен года, — говорит Форстер, — но фигуры Зимы нет.

— Да, фигуры Зимы нет, — повторяет Диккенс и о чем-то думает. — Эта простая душа объяснила в письме, что не хочет посылать мне Зиму… Мое имя связано в его памяти с самыми светлыми и ясными для него днями, пишет он…

Оба молчат. Потом Диккенс медленно говорит:

— Но вы знаете, Джон, когда бы я ни смотрел на этот барельеф, я всегда думаю о Зиме…

А через день — второго июня — Чарльз Диккенс пишет свое завещание. Оно начинается так:

«Я, Чарльз Диккенс, из Гэдсхилл Плейс, Хайгет, графство Кент, настоящим отменяю все мои прежние завещания и распоряжения и объявляю, что сие завещание есть моя последняя воля. Я оставляю тысячу фунтов стерлингов, свободных от пошлин, мисс Эллен Лоулесс Тернан, проживавшей в Хаутон Плейс, Эмптилл Сквер в графстве Миддлсекс. Я оставляю девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов моей верной служанке, миссис Энн Корнелиус. Я оставляю девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов дочери, единственному ребенку вышеупомянутой миссис Энн Корнелиус. Я оставляю по девятнадцати фунтов девятнадцати шиллингов каждому Слуге мужского и женского пола в моем доме…

Длинное завещание, в нем упоминается много имен, оно подписано, как полагается, двумя свидетелями. Оно составлено по всей форме, требуемой английскими законами. Чарльз Диккенс может быть спокоен: никакому законнику не удастся оспорить его последней воли.

Теперь он спокоен и работает. Он работает утром восьмого июня в швейцарской хижине. Июнь. Птицы поют на ветвях у самого окна… В шесть часов вечера он идет подземным тоннелем в столовую Гэдсхилла. Обед на столе, Мэри сегодня нет, она у сестры; Джорджина уже ждет его…

Он садится за стол. Странное у него лицо. Да, он должен сознаться, что ему нехорошо. Но надо продолжать обед, все в порядке.

И вдруг он что-то бормочет. Он хочет ехать в Лондон. Немедленно. Джорджина явственно слышит: «Лондон».

И он встает из-за стола. Делает шаг, шатается, Джорджина с криком бросается к нему. Но ей не удержать его. Он шепчет: «наземь» — и тяжело падает наземь.

Лицо у него темное, темное…

Через сутки — девятого июня — не приходя в сознание, он кончает свой жизненный путь.

Конец

Оглавление

Евгений Львович Ланн

Диккенс

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д. 166